S5+83
И68

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2002

РОМАН ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА "99 ФРАНКОВ" / РАССКАЗЫ МИЛОРАДА ПАВИЧА И ЯСМИНЫ МИХАЙЛОВИЧ / САЛЬВАДОР ЭСПРИУ: СТИХИ ИЗ ЦИКЛА "КНИГА СИНЕРЫ"/ "БИОГРАФИЯ ОДНОГО НЕМЦА": ВОСПОМИНАНИЯ СЕБАСТИАНА ХАФНЕРА / "ЛЕДИ СЬЮЗЕН" ДЖЕЙН ОСТИН В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"

Основан в 1891 году

Имена лауреатов наших ежегодных литературных премий за 2000 год

Премия ***ИЛлюминатор***
[учредители — *ИЛ* и ЗАО Конверсбанк]
присуждена Евгению Солоновичу
за книгу *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича.*
М., Радуга, 2000.

Премия ***Инолит***
[учредители — *ИЛ* и ЗАО Конверсбанк]
присуждена Юлиане Яхниной
за перевод романа ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА *Пятая зима магнетизера.*

Премия ***Инолиттл***
[учредители — *ИЛ* и ЗАО Конверсбанк]
присуждена Наталье Ванханен
за перевод стихотворений ХОСЕ МОРЕНО ВИЛЬЯ.

Премия ***имени отца А. Меня***
[учредители — *ИЛ*, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Институт истории и географии Тюбингенского университета и Академия епископата Роттенбург-Штутгарт]
присуждена Отто Графу Ламбсдорфу.

Премия ***имени А. Карельского***
[учредители — ИЛ и европейская академия *Гражданское общество*]
присуждена Галине Вороненковой
за книгу *Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества.*
М., Языки русской культуры, 1999.

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден Геннадию Киселеву
за перевод рассказов из книги АЛЬДО НОВЕ *Супервубинда.*

[2]

2002

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Фредерик Бегбедер. *99 франков*. Роман. Перевод с французского Ирины Волевич

115 Сальвадор Эсприу. *Стихи из цикла "Книга Синеры"*. Перевод с каталанского и вступление Натальи Ванханен

125 Милорад Павич. *Тунисская белая клетка в форме пагоды*. Рассказ. Перевод с сербского Ларисы Савельевой

132 Ясмина Михайлович. *Завтрак у "Цитураса"*. Рассказ. Перевод с сербского Ларисы Савельевой

Литературное наследие

150 Джейн Остин. *Леди Сьюзен*. Роман в письмах. Перевод с английского А. Ливерганта. Вступление И. Васильевой

Документальная проза

199 Себастиан Хафнер. *Биография одного немца*. Воспоминания 1914–1933 гг. Перевод с немецкого Е. Колесова

234 Лори Бауке, Колин Уайт. *"Нелетучие голландцы"*. Перевод с английского Е. Зиминой

Наши гости

254 *"Архипелаг Павич"*. Беседа с Милорадом Павичем и Ясминой Михайлович. Подготовка материала Алисы Романовой

260 Карл Любомирский. *Я человек-путник*. Запись беседы В. Агафоновой

Комментарий

266 Алексей Зверев. *"Умирание искусства": 65 лет спустя*

Среди книг

271 Борис Дубин. *Дневник воображаемых путешествий*. Татьяна Баскакова. *Прогулки с идиотом в зимнем лесу*. Сергей Зенкин. *Зарницы постмодернизма*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Редакция :

О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Фредерик Бегбедер

99 *франков*

Роман

Перевод с французского Ирины Волевич

Нас покинул Брюно Ле Му,
Эта книга посвящалась ему.

Раз уж так получилось,

Дарю ее Хлое,
Которая только что появилась.

Разумеется, новым тоталитарным режимам совершенно необязательно походить на старые. Управление государством с помощью репрессий и казней, специально организованного голода, арестов и ссылок не только антигуманно (в наши дни это мало кого волнует), но к тому же — и это можно доказать — неэффективно, а в эру передовых технологий неэффективность — страшный грех перед Господом. Тоталитарное государство, заслуживающее названия действительно "эффективного", — это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей, опираясь на целую

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2000
© И. Волевич. Перевод, 2002
Журнальный вариант. Полный текст романа готовится к публикации в издательстве "Иностранка".
Переводчик выражает горячую благодарность автору, который с величайшей готовностью ответил на все вопросы по этому непростому тексту.

армию администраторов, держит в руках порабощенное население, которое излишне даже принуждать к труду, ибо оно с радостью приемлет свое рабство. Заставить людей полюбить рабское положение — вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах на министерства культуры, главных редакторов газет и школьных учителей.

Олдос Хаксли. Новое предисловие к роману *"Лучший из миров"*, 1946

Нам всем внушают
Желанья, которые нас удручают.

Ален Сушон. *Сентиментальная толпа*, 1993[1]

Капитализм пережил коммунизм.
Теперь ему осталось пожрать самого себя.

Чарльз Буковски. *Капитан ушел обедать, а матросы захватили корабль*, 1998

THE NAMES HAVE BEEN CHANGED TO PROTECT THE GUILTY[2].

I
Я

То, что невозможно изменить,
нужно хотя бы описать.

Райнер Вернер Фасбиндер

1

ВСЕ проходит: любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Смерть настолько неизбежна, что всех застает врасплох. Как узнать про этот день — не последний ли он? Вы думаете, что у вас уйма времени впереди. А потом вдруг — здрасьте пожалуйста! — вы тонете, вы утонули, ваше время истекло. Смерть — единственная встреча, не записанная в вашем органайзере.

Все продается: любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Эту книгу я пишу, чтобы заставить моих шефов уволить меня. Если я уйду по собственному желанию, не видать мне никаких компенсаций как своих ушей. Так что я вынужден подпилить сук, на котором зиждется мое благополучие.

1. Ален Сушон — популярный французский эстрадный певец. "Сентиментальная толпа" — одна из его песен. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Все имена и названия изменены, чтобы укрыть виновных (*англ.*).

Моя свобода называется пособием по безработице. Я предпочитаю быть вышвырнутым из фирмы, нежели из жизни, ИБО МНЕ СТРАШНО. Сослуживцы вокруг меня мрут как мухи: остановка сердца в бассейне от переохлаждения, передозировка кокаина под видом инфаркта миокарда, взрыв личного самолета, крутой автомобиль, не вписавшийся в крутой вираж. Вчера ночью, например, мне приснилось, будто я тону. Я видел, как опускаюсь на дно, гладя по пути крылья гигантских скатов и впуская воду в легкие. Вдали, на пляже, меня звала какая-то красивая дама. Я не мог ей ответить, набравши в рот воды (соленой). Я тонул — но на помощь не звал. И все, кто находился в море, вели себя точно так же. Ныряльщики шли ко дну, не взывая о помощи. Я думаю, мне давно пора все бросить, ибо я разучился держаться на плаву.

Все проходит и все продается. Человек — такой же товар, как и все остальное, и у каждого из нас свой срок годности. Вот почему я решил уйти на пенсию в тридцать три года. Похоже, это идеальный возраст для воскресения.

2

Именуюсь я Октавом, одеваюсь в APC[1]. Я рекламист: да-да, это именно я загаживаю окружающую среду. Я — тот самый тип, что продает вам разное дерьмо. Тот, что заставляет вас мечтать о вещах, которых у вас никогда не будет. О вечно лазурных небесах, о неизменно соблазнительных красотках, об идеальном счастье, подкрашенном в PhotoShop'е[2]. Зализанные картинки, модные мотивчики. Но когда вы, затянув пояса, соберете денежки и купите наконец машину — предел ваших мечтаний, она моими стараниями давным-давно выйдет из моды. Я ведь иду на три круга впереди вас и, уж будьте уверены, позабочусь о том, чтобы вы чувствовали себя облапошенными. Гламур — это праздник, который всегда с другими — не с тобой. Я приобщаю вас к наркотику под названием "новинка", а вся прелесть новинок состоит в том, что они очень недолго остаются таковыми. Ибо тут же возникает следующая новинка, которая обратит предыдущую в бросовое старье. Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки текли, — вот она, моя наивысшая цель. В моей профессии никто не желает вам счастья. Ведь счастливые люди — не потребляют.

Ваши страдания подстегивают сбыт. На жаргоне рекламщиков это называется "печаль пост-шоп". Вы нуждаетесь в некоем товаре, но стоит вам завладеть им, как вы уже хотите чего-то нового. Гедонизм — это не гуманизм, это cash-flow[3]. Знаете, каков его девиз? "Я трачу, следовательно, я существую". Но для того чтобы зародить в человеке жажду приобретательства, нужно возбудить в его душе зависть, горечь, алчность — таково мое оружие. А моя мишень — вы сами.

Я расходую свою жизнь на то, чтобы лгать вам, и за это мне щедро платят. Я зарабатываю 13 тысяч евро плюс представительские, служебная тачка, биржевые акции и golden parachute[4]. Евро был изобретен специ-

1. Дорогой магазин сверхмодной одежды в Париже.
2. Компьютерная программа для работы с графикой.
3. Движение наличности (*англ.*).
4. Букв.: "золотой парашют" (*англ.*) — выходное пособие при увольнении; размер этого пособия специально оговаривается в контракте при поступлении на работу.

ально для того, чтобы непристойно высокие заработки богачей выглядели в шесть раз скромнее. Много ли вы знаете парней, которые загребали бы 13 тысяч евро, – в мои-то годы? Я пудрю вам мозги, а мне выдают за это новенький "мерседес SLK" (с крышей, автоматически убирающейся в багажник), или "BMW Z3", или "Porsche Boxter", или "Mazda MX5". (Лично я питаю слабость к "BMW Z3"; в нем идеально сочетаются аэродинамическая эстетика кузова и мощь шестицилиндрового мотора в 321 л. с., что позволяет за 5,4 секунды развить скорость до 100 км в час. К тому же эта машина похожа на гигантский суппозиторий, что весьма практично, если хочешь воткнуть его Земле в зад.)

Я прерываю ваши телефильмы, чтобы навязать свои логотипы, а мне за это оплачивают отпуск на Сен-Барте, или в Ламу, или на Пхукете, или в Лакабане[1]. Я заполоняю рекламными слоганами ваши излюбленные журналы и получаю в награду сельский дом в Провансе, или замок в Перигё, или виллу на Корсике, или ферму в Ардеше, или дворец в Марокко, или катамаран на Карибах, или яхту в Сен-Тропе. Я везде[2]. Вам от меня не скрыться. Куда ни плюнь, всюду царит моя реклама. Я запрещаю вам скучать. Я мешаю вам думать. Терроризм, именуемый "новинкой", помогает мне впаривать вам пустоту. Спросите у любого серфера, и он подтвердит: если хочешь удержаться на поверхности воды, необходимо, чтобы под ногами был провал. Серфинговать означает скользить по отвесной стенке гигантской пропасти (фанаты Интернета знают это так же хорошо, как чемпионы Лакано[3]). Это я решаю, что́ есть Истина, что́ есть Красота, что́ есть Добро. Это я отбираю манекенщиц, на которых вы западете через полгода. Да-да, западете как миленькие и окрестите их топ-моделями; мои девки закомплексуют любую бабу старше четырнадцати. Вы боготворите моих избранниц. Этой зимой в моду войдут сиськи выше плеч и плоская задница. Чем смелей я играю с вашим подсознанием, тем безропотнее вы мне покоряетесь. Если я нахваливаю йогурт, залепив плакатами все стены вашего города, то, даю голову на отсечение, вы его купите. Вам-то кажется, будто вы свободны в своем выборе, но не тут-то было: в один прекрасный день вы углядите мой товар на полке супермаркета и возьмете его – просто так, чтобы попробовать; вы уж поверьте мне, я свое дело знаю туго.

М-м-м, до чего ж это приятно – влезать к вам в мозги! До чего сладко владеть вашим правым полушарием! Ваши желания больше вам не принадлежат – я навязываю вам свои собственные. Я запрещаю вам желать как бог на душу положит. Ваше желание должно быть результатом многомиллиардных инвестиций в евровалюте. Это я решаю сегодня, чего вы захотите завтра.

Все сказанное, вероятно, не пробуждает у вас симпатии ко мне. Вообще-то любой автор, заводясь с новой книгой, должен прикинуться эдаким симпомпончиком, но я не желаю скрывать правду: я нелицеприятный рассказчик. Более того, я представляю собой вполне мерзопакостную

1. Сен-Бартелеми (сокр. Сен-Барт) – один из Антильских островов; Ламу – дорогой курорт в Кении; Пхукет – остров в Таиланде; Лакабан – курортное местечко в Аквитании, на юге Франции.
2. "Я везде" – так называлась патриотическая газета, выходившая в годы Второй мировой войны в оккупированной Франции.
3. Морской курорт в районе Бордо, где проходят соревнования по серфингу.

сволочь, способную загадить все, до чего дотронусь. В идеале желательно, чтобы вы уже сейчас возненавидели меня — перед тем как возненавидеть эпоху, которая меня породила.

Но самое удивительное, что все вокруг считают такую ситуацию нормальной! Эй, вы, меня тошнит от вас, жалких рабов, покорно выполняющих любой мой каприз! Ну зачем вы сделали из меня Повелителя Мира? Мне давно хочется разгадать эту тайну: как, каким образом на гребне нашей циничной эпохи рекламу провозгласили верховной властительницей? Никогда еще за последние две тысячи лет слабоумные кретины вроде меня не обладали таким могуществом.

Я хотел бы все бросить к черту и удрать отсюда, прихватив с собой башли, наркоту и парочку шлюх, на какой-нибудь дурацкий необитаемый островишко. (И все дни напролет я бы лежал и любовался, как Сорайя с Тамарой полируют друг дружке клитор, а мне — фактор.) Но нет, у меня кишка тонка уволиться самому. Вот почему я и пишу эту книгу. Меня выставят и тем самым позволят сбежать из моей золотой клетки. Я же вредоносен, так остановите меня, хотя бы из жалости! Бросьте мне в морду сто штук отступного, и я смоюсь навсегда, зуб даю! Разве я виноват, что человечество решило заменить Господа Бога товарами широкого потребления?!

Я усмехаюсь — знаете почему? Если с книжкой дело выгорит, мне не только не дадут коленкой под зад, но, наоборот, еще и зарплату повысят. Потому что в мире, который я собираюсь вам описать, любую критику глотают не поперхнувшись, наглость всячески приветствуется, донос оплачивается, поношения заказываются теми, кого поносят. Скоро у нас учредят Нобеля за Лучшую в мире провокацию, и тогда я уж точно буду первым на очереди. Бунт входит в правила игры. Прежние диктатуры боялись свободы слова, искореняли инакомыслие, сажали писателей, сжигали вольнолюбивые книги. Достославные времена мерзких аутодафе позволяли отделить агнцев от козлищ, добрых от злых. Рекламный же тоталитаризм — вещь куда более тонкая, тут легко умыть руки. Эта разновидность фашизма хорошо усвоила уроки провалов предыдущих режимов — в Берлине 1945-го и в Берлине 1989-го (интересно, почему обе эти варварские диктатуры отдали концы в одном и том же городе?).

Чтобы обратить человечество в рабство, реклама избрала путь въедливого, умелого внушения. Это первая в истории система господства человека над человеком, против которой бессильна даже свобода. Более того, она — эта система — сделала из свободы свое оружие, и это самая гениальная ее находка. Любая критика только льстит ей, любой памфлет только усиливает иллюзию ее слащавой терпимости. Она подчиняет вас в высшей степени элегантно. Все дозволено, никто тебя не трогает, пока ты миришься с этим бардаком. Система достигла своей цели: даже непослушание стало формой послушания.

Наши разбитые жизни оформлены красивей некуда. Вот вы сами, читатели этой книжонки, наверняка сейчас думаете: "Ну до чего же он мил, этот малыш-рекламист, плюющий в колодец; ишь как развоевался, ну да ладно, никуда ты не денешься, ты ведь в тех же тисках, что и остальные, ты будешь исправно платить налоги, как все мы!" И верно, из этого заколдованного круга выхода нет. Все двери на замке, охрана ласково улыбается. Вас держат в неволе с помощью долгосрочных креди-

тов, ежемесячных взносов, квартплаты. Вы не в настроении? Гляньте в окно: там миллионы безработных ждут не дождутся, когда вы освободите теплое местечко. И можете дуться сколько угодно — Черчилль давно уже сформулировал ответ: "Это самая плохая система, не считая всех остальных". Заметьте, он не стал водить нас за нос; он не сказал "самая хорошая система", он выразился именно так — *самая плохая.*

3

Сегодня в 9 утра я отзавтракал с директором по маркетингу отдела молочной продукции "Мадонны" — одной из крупнейших агропромышленных корпораций в мире (торговый оборот в 1998 г. — 84,848 миллиардов франков или 12,395 миллиардов евро) — в бункере из стекла и стали с дизайном в духе Альберта Шпеера[1]. Чтобы проникнуть внутрь, надо предъявить свой бэдж: империю йогурта охраняют строже, чем военный объект. Никогда еще молочные продукты не оберегались так ревностно, как теперь. Не хватает только табличек со сроком годности над автоматическими дверями. Мне выдали магнитную карточку для входа в лифт, но сперва я прошел через предбанник с железными турникетами, как в метро, и внезапно возомнил себя такой важной птицей, точно наносил визит самому президенту республики, а не какому-то старперу-вэкакашнику[2] в полосатой рубашке. Едучи в лифте, я продекламировал сам себе строфу Мишеля Уэльбека:

> Сверкая никелем, набитые кабины
> Возносят на Голгофу нас, к кресту.
> Повсюду секретарши-магдалины
> Наводят торопливо красоту.

Как-то странно и неуютно стало мне от этого холодного четверостишия.

По зрелом размышлении приходишь к выводу, что совещание в то утро и вправду было куда важнее встречи с президентом. Более того, оно оказалось самым важным в моей жизни, ибо предопределило все, что случилось дальше.

На девятом этаже "Мадонны" начальство щеголяет в полосатых рубашках и галстуках с узором в виде мелких зверюшек. Директор по маркетингу непрерывно терроризирует своих ассистенток, которые пухнут от невыплаканных слез. Его зовут Альфред Дюлер. Альфред Дюлер начинает все свои совещания одной и той же фразой: "Мы собрались здесь не ради собственного удовольствия, а ради удовольствия потребителя". Как будто пресловутый потребитель существо иной породы, "Untermensh"[3]! От этих слов меня каждый раз мутит и тянет "похвалиться харчами" — не правда ли, странная реакция для того, кто горбатится во славу этих самых харчей?! Представляю себе, как он по утрам отдается процедуре бритья, завязывает галстук, донимает деток вопро-

1. Альберт Шпеер (1905—1981) — немецкий архитектор, член национал-социалистической партии, построивший, в частности, рейхсканцелярию в Берлине.
2. ВКК — Высшие коммерческие курсы.
3. Человек низшей расы (*нем.*).

сами о свежести своего дыхания, включает на полную катушку "Франс-Инфо", читает "Эко", стоя в кухне с чашкой кофе. Он не спит с женой аж с 1975 года, но и не изменяет ей (чего не скажешь о его половине!). Он читает ровно одну книгу в год, да и та написана Аленом Дюамелем[1]. Он носит шикарные костюмы, свято верует в свою ключевую роль в холдинге, ездит на громоздком "мерседесе", который утробно рычит в уличных пробках, говорит по сотовой "Мотороле", звонко бибикающей в кожаном футляре над автомагнитолой "Pioneer", откуда несутся рекламные вопли: "CASTO-CASTO-CASTORAMA!", "'МАМОНТ' СОКРУШАЕТ ЦЕНЫ!", "ВЫБИРАЙТЕ УДАЧНО, ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ!". Он глубоко убежден, что рост производства — величайшее благо, тогда как этот самый рост все чаще и чаще выливается в "перепроизводство" (Карл Маркс), в горы бесполезных, ненужных вещей, которые рано или поздно погребут нас под собой. Ибо у него есть ВЕРА. Он обрел ее на своих Высших курсах: "Да уверуешь в РОСТ ПРОИЗВОДСТВА!" Давайте выпускать миллионы тонн продуктов, и мы будем счастливы! Слава экспансии — двигателю заводов, которые двигают экспансией! Главное — не останавливаться и ничего не брать в голову!

Мы сидим в конференц-зале, абсолютно пустом, как и все офисы мира, вокруг большого овального стола с бокалами апельсинового сока и чашками кофе, который разносит в термосе, потупив взор, рабыня-секретарша; от подмышек собравшихся несет кислым пóтом вчерашних вечерних бдений.

Дюлер открывает совещание сакраментальными формулами: "Все, что здесь прозвучит, в высшей степени конфиденциально; протокол вести не будем; это собрание в условиях кризиса; придется изучить возможности новых закупок, но меня беспокоит ротация; конкуренты начали активно раскручивать товар-имитатор и, согласно данным из нескольких источников, намерены захватить часть наших рынков сбыта, так что мы стоим перед лицом реальной опасности". В тот же миг все сидящие за столом начинают дружно хмурить брови. Нам бы сюда еще каски, мундиры цвета хаки да штабные карты, и был бы точь-в-точь "Самый длинный день"![2]

После традиционных метеорологических комментариев Жан Франсуа, экаунт-менеджер нашего агентства, берет слово, дабы вкратце обрисовать исходное задание; одновременно он включает проектор и демонстрирует на стене слайды.

— Итак, сейчас мы вам покажем скрипт тридцатисекундного ролика, призванного защитить "Мегрелет"[3] от атаки дистрибьюторов товара-имитатора. Напомню стратегическую цель, поставленную во время предыдущего заседания: "Мегрелет" выходит на разрушающийся рынок как инновационный продукт и предлагает новое видение товара, благодаря новой, эргономичной упаковке".

Оторвавшись от своих шпаргалок, он меняет слайд. Теперь на стене возникает текст, набранный жирным шрифтом:

1. Современный французский писатель консервативного направления.
2. Американский фильм, посвященный высадке союзников во Франции во время Второй мировой войны.
3. От франц. "maigrelette" — худышка.

Ключевые достоинства бренда (продолжение)

Эмоциональные характеристики

Для гурманов / устоять невозможно

Удовольствие / Мода **“МЕГРЕЛЕТ”** **Стройность / красота**

Полезный / питательный

Рациональные характеристики

Поскольку никто не реагирует, он продолжает долдонить то, что отпечатала в Word-6 его ассистентка (у которой ребенок как раз в тот день заболел отитом в яслях):

– Как было решено двадцать третьего числа, мы вместе с Люком и Альфредом основывались на мотиве потребительской выгоды: “С ‘Мегрелет’ я останусь стройной и, кроме того, буду питаться разумно благодаря повышенному содержанию витаминов и кальция!” И действительно, анализ конкурирующих брендов в этом перенасыщенном секторе показал, что нам нужно делать ставку на двойную формулу “красота + здоровье”. “Мегрелет” полезен и моему телу, и моему духу. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы, ха-ха... кхе-кхе-кхе!..

Эта речь – плод изысканий отдела стратегического планирования (две сорокалетние депрессушницы) и парочки замов по рекламе (птенцов гнезда дижонского – ВКК). Она составлена с учетом в первую очередь желаний и вкусов клиентов и обосновывает a priori скрипт, коим я разродился вчера вечером. Но тут наш Жан Франсуа (или попросту Джеф) перестает хихикать, осознав, что, кроме него самого, никто не веселится. И продолжает свой танец живота:

– Мы разработали единую концепцию, которая совпадает с идеями текстовиков и одновременно способна сделать максимально привлекательным обещание бренда, в частности на уровне визуального кода. Ну вот, а теперь передаю слово Октаву.

Поскольку Октав – это я, мне приходится встать и изложить проект ролика среди гробового молчания собравшихся, демонстрируя раскадровку из дюжины цветных картинок, нарисованных нашим художником за бешеные бабки.

– Значит, так: мы находимся на пляже Малибу в Калифорнии. Погода шикарная. Две ослепительные блондинки в красных купальниках бегут по песку. Вдруг одна говорит другой: “Ономастическая экзегеза входит в противоречие с ложной герменевтикой”. На что другая отвечает: “Осторожно! Главное, не впасть в онтологическую парономазию!” А в это же время двое загорелых серферов препираются прямо в море: “Тебе известно, что Ницше вознес плаванию поистине гедоническую хвалу в своей книге “Ecce homo”? На что другой сердито возражает: “Ничего подобного, он всего лишь защищал концепцию Большого Здоровья посредством аллегорического солипсизма”. Мы вновь возвращаемся на пляж, где две девушки теперь чертят на песке математические уравнения. Диалог: “Предположим, что корень кубический из *X* изменяется как функция на бесконечности...” – “Верно, – говорит другая, – но ты еще не отделила множество, которое стремится к асимптоте”. Фильм за-

вершается показом баночки "Мегрелет" с титром: "'МЕГРЕЛЕТ' – ЧТОБ СТРОЙНЫМ СТАТЬ И ПРИТОМ СООБРАЖАТЬ!"

В зале по-прежнему стоит гробовая тишина. Директор по маркетингу обращает взор на бренд-менеджеров, которые лихорадочно строчат в блокнотах, лишь бы их не заставили высказать свое мнение. Наконец Жан Франсуа решается – правда, без особого энтузиазма – исполнить свою партию:

– Ну и, конечно, в конце мы даем обычный джингл: "М-м-м, 'Мадонна!'" Гм... мы решили, что это интересный поворот: представить на экране олицетворения стройности, ведущие в высшей степени интеллектуальные беседы... Кроме того, не будем забывать, что спорт на свежем воздухе все больше входит в мейнстрим. К тому же здесь есть возможность вариантов: парочка "мисс Франция" спорит о геополитике или о Брестском мире (1918 г.); двое голых чипендейлов[1], трактуют наготу как телесную свободу и отрицание постмодернистского отчуждения и при этом демонстрируют накачанные мускулы и т. д. Разве не забавно?!

Тут наконец прорезаются Дюлеровы замы, которые комментируют услышанное в строгой иерархической очередности: "Мне импонирует такой подход", "Я скорее за", "Я не очень убежден, хотя сразу понял замысел", "Это путь, требующий тщательного изучения"... Причем заметьте: каждый, как попка, слово в слово повторяет сказанное его непосредственным подчиненным. Наконец очередь доходит до самого Дюлера. Главный с низшими не согласен:

– К чему нам тут юмор?

В общем-то Альфред Дюлер прав: мне на его месте тоже было бы не до смеха. Давясь подступающей блевотой, я пытаюсь аргументировать свое мнение:

– Это очень подходит для вашей марки. Юмор делает вас симпатичным. Он великолепно способствует запоминанию. Потребитель никогда не забудет того, что вызвало у него смех: он сможет пересказывать эту хохму на званых обедах, на работе, на отдыхе. Возьмите, к примеру, комедии, которые сейчас идут на сцене. Люди ходят в театр или в кино, чтобы хоть немного развлечься...

В ответ Альфред Дюлер изрекает следующую бессмертную фразу:

– Да, но после этого они же не едят кинопленку.

Я прошу извинить меня и удаляюсь в туалет, думая по пути: "Тебе, дерьмо собачье, уже готово место в моей книге. Ты у меня будешь наипервейшим героем. Начиная с третьей главы. Которая так и будет называться – "АЛЬФРЕД ДЮЛЕР – ДЕРЬМО СОБАЧЬЕ".

Всякий писатель – доносчик. А всякая литература – донос. Какой интерес писать книги, если при этом не плюешь в лицо своим благодетелям?! Так уж получилось, что я стал свидетелем определенных событий нашей эпохи, а кроме того, вожу знакомство с одним издателем, достаточно безумным, чтобы позволить мне их обнародовать. В начале пути я никого ни о чем не просил. Я угодил в самое сердце страшного механизма, который все перемалывает на своем пути, и не надеялся выбраться из него целеньким. Я только хотел дознаться, кто же тут в силах изменить наш мир, пока не уразумел: возможно, это я сам и есть.

1. Чипендейлы – мужчины-стриптизеры (*жарг.*), от известного стриптиз-клуба "Chip-and-Dale".

4

В общих чертах их замысел сводился к тому, чтобы уничтожить леса и заменить их автомобилями. Это даже не был осознанный, продуманный план – все обстояло гораздо хуже. Они сами не знали, куда идут, но шли и шли, беспечно посвистывая, – после них хоть потоп (притом кислотный потоп!). Впервые в истории планеты Земля все люди во всех странах задались единой целью: заработать столько денег, чтобы уподобиться героям рекламы. На остальное они плевать хотели, последствия расхлебывать уже не им.

Маленькое уточнение. Я вовсе не предаюсь здесь самобичеванию или публичному психоанализу. Я просто пишу исповедь сына тысячелетия[1]. Слову "исповедь" я придаю в данном случае чисто религиозный смысл. Желаю спасти свою душу перед тем, как свалить из этого мира. Ибо "на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии" (Евангелие от Луки). Отныне единственное начальство, с коим я готов заключить бессрочный контракт, это Господь Бог. Хочу напомнить, что я пытался сопротивляться, даже сознавая, что одно лишь участие в таких сборищах, как это, уже есть коллаборационизм. Стоит сесть вместе с ними за стол в их унылых мраморных кондиционированных залах, и ты начинаешь содействовать всеобщему оболваниванию. Их выдает воинственный лексикон: слова *кампания, цель, стратегия, удар* не сходят у них с языка. Они планируют *тактические задачи, первую атаку, вторую атаку.* Они опасаются *каннибализации*, отказываются иметь дело с *вампирами.* Я слышал, что у Марса (фабриканта шоколадных батончиков, носящего имя бога войны!) делят год на 12 периодов по 4 недели каждый: там не говорят "1-е апреля", там говорят "М4Н1Д1"! Одним словом, генералы, затеявшие Третью мировую войну. Реклама – это техника запудривания мозгов, изобретенная в 1899 г. американцем Албертом Дэвисом Ласкером, а в тридцатые годы нашего века ее блестяще усовершенствовал некий Йозеф Геббельс – с целью убедить немецкий народ посжигать всех евреев. Геббельс был гениальным концептуалистом, асом пропаганды: "DEUTSCHLAND ÜBER ALLES", "EIN VOLK, EIN REICH, EIN FÜHRER", "ARBEIT MACHT FREI"...[2] Старайтесь не забывать об этом: с рекламой шутки плохи.

Ибо разница между словами "потреблять" и "истреблять" не так уж велика.

В какой-то момент я решил, что могу стать той самой песчинкой, которая остановит этот убийственный механизм. Эдакий бунтовщик в еще плодоносящем чреве гадины, солдат-новобранец в пехоте глобального рынка. Я говорил себе: "Невозможно захватить самолет, не войдя в него; мир нужно менять изнутри, как считал Грамши[3] (Грамши, хоть он и не такой крутой, как Троцкий, проповедовал все тот же принцип "внедрения". Я мог бы процитировать здесь в том же смысле Тони Блэра или

1. Намек на произведение французского писателя Альфреда де Мюссе (1810–1857) "Исповедь сына века".
2. "Германия превыше всего", "Один народ, одна страна, один фюрер", "Труд делает свободным" (лозунг на воротах Освенцима) (*нем.*).
3. Антонио Грамши (1891–1937) – итальянский политический деятель, социалист, с 1921 г. член компартии Италии, с 1923 г. ее руководитель.

Даниеля Кон-Бендита[1].) Эта мысль помогала мне выполнять свою грязную работенку. В общем-то, парни 68-го начали с революции, а кончили рекламой; я же хотел действовать в обратном порядке.

Я воображал себя кем-то вроде либерального Че Гевары, мятежником в пиджаке от Гуччи. Вот именно: я был адъютантом командующего Гуччи! Viva Гуччи! Какой шикарный слоган! И прекрасно запоминается. Жаль только, что есть парочка проблем на уровне восприятия:

1) "Гуччи" звучит почти так же, как "Дуче";

2) величайший революционер XX века — не Че Гевара, а Михаил Горбачев.

Иногда, вернувшись с работы в свою необъятную квартиру, я маялся бессонницей, сострадая бездомным. На самом-то деле мне мешал уснуть "кокс" — от его металлического привкуса постоянно першило в горле. Я мастурбировал в ванной, куда шел за таблеткой стилнокса. Просыпался я лишь к полудню. У меня больше не было женщины.

Мне кажется, изначально я хотел сеять вокруг себя одно добро. Но это оказалось невозможно по двум причинам: во-первых, мне мешали, во-вторых, я сам отрекся от своего намерения. Люди, питающие благие намерения, как раз и становятся чудовищами. Сегодня я уже знаю, что ничего не изменю, не смогу изменить, слишком поздно. Нельзя одолеть противника, который вездесущ, виртуален и нечувствителен к ударам. Возражая Пьеру де Кубертену, я бы сказал, что ныне главное — НЕ участвовать[2]. Нужно просто свалить подальше — как Гоген, Рембо или Кастанеда, вот и все. Удрать на необитаемый остров с Анжеликой, которая будет умащать кремом грудки Джулианы, которая будет умащать (но не кремом) мое жало. Возделывать свой сад марихуаны, тешась надеждой, что сдохнешь раньше, чем наступит конец света. Торговая марка выиграла у людей битву в World War III[3]. Особенность Третьей мировой войны состоит в том, что ее продули все страны *одновременно*. Заявляю вам с полной ответственностью: Давид никогда не победит Голиафа. Я был наивным дурачком. А наивность — не то качество, которое пользуется спросом в нашей гильдии. Вот меня и поимели. Как, впрочем, и вас — и это единственное, в чем мы с вами схожи.

5

Я выблевал все двенадцать чашек кофе в туалете "Мадонна интернэшнл" и зарядил себя приличным дозняком, чтобы встряхнуться. Перед тем как идти назад, я ополоснул лицо холодной водой. Ничего удивительного, что на "Мадонну" не хочет горбатиться ни один креатор, — дураков нет! Но у меня в загашнике имелись и другие сценарии; я предложил проект под названием "Крутые телки": три красотки скачут на экране под музыку соул семидесятых, целясь из пистолетов в камеру; они арестуют бандитов, декламируя стихи Бодлера и чередуя их с приемами дзюдо, ударами ногой в стиле кун-фу, прыжками, пируэтами и прочей акро-

1. Даниель Кон-Бендит — лидер левых экстремистов в 60-е годы во Франции, один из идейных вождей студенческой революции 1968 г.
2. Пьер де Кубертен (1863–1937) — французский общественный деятель, основатель современного Олимпийского движения, выдвинул лозунг: "Главное — не победа, а участие".
3. Третья мировая война (*англ.*).

батикой; одна из девиц смотрит в объектив, выкручивая руку бедняге гангстеру, вопящему от боли, и провозглашает:

— Мы не смогли бы осуществить это задержание без фруктового обезжиренного йогурта "Мегрелет". Он держит нас в прекрасной физической и интеллектуальной форме!

Это предложение было отвергнуто так же, как и все последующие: 1) в стиле "индийский структуралистский фильм"; 2) девица-агент 007 на приеме у психоаналитика; 3) римейк "Чудо-женщины" в духе Жан-Люка Годара[1]; 4) лекция Юлии Кристевой, снятая Дэвидом Хэмилтоном[2]...

Наш деревенский дурачок мирового масштаба продолжает ныть по поводу юмора:

— Вы, креаторы, воображаете себя великими творцами, только и мечтаете что о премии в Канне, а мне нужно принимать решение go/no go[3] по поводу этой штуки, я должен наладить сбыт продукции, перед нами стоит важнейшая задача. Поймите, Октав, вы мне очень симпатичны, и ваши хохмы меня смешат, но ведь я не среднестатистическая "домохозяйка моложе пятидесяти", мы работаем на рынке рекламы, наш долг — абстрагироваться от собственных мнений и прислушаться к мнению потребителей, которые увидят в супермаркетах наши "гондолы"[4].

— Не наши, а венецианские, — поправил я. — Оставьте уж гондолы Венеции.

Но Альфред-проктерианец не оценил по достоинству мое остроумие. Теперь он перешел к апологии тестов. Его "шестерки" продолжали строчить в своих блокнотах, от усердия едва не выпрыгивая из галстуков.

— Мы собрали фокус-группу из двух десятков покупательниц, и они ровно ничего не поняли в ваших бредовых сюжетах — не поняли и не смогли объяснить. Все, что им нужно, это конкретная информация: показ товара, цена товара — и точка! А потом, где она — моя визуальная идея, где, я вас спрашиваю? Ваши творческие замыслы конечно превосходны, но я простой торговец, мне нужно сбывать товар, и его реклама должна запасть в душу клиента на всю жизнь. Как я буду, например, делать ее в Интернете? Американцы уже разрабатывают "spam", то есть рассылку рекламы по электронной почте, а вы застряли в двадцатом веке! Нет, так дело не пойдет! Я уже избавился от иллюзий, да-да! Твердая почва под ногами — вот главное! И тогда я готов купить нечто удивительное, но в границах наших требований.

Я изо всех сил старался держать себя в руках.

— Разрешите задать вам один вопрос, месье: каким образом вы собираетесь удивлять своих потребительниц, если заранее спрашиваете их мнение? Разве вы предлагаете своей супруге выбрать подарок, который хотите ей же преподнести сюрпризом ко дню рождения?

— Моя жена терпеть не может сюрпризы.

— Именно поэтому она и вышла за вас?

Жан Франсуа захлебнулся кашлем.

Я продолжал мило улыбаться Дюлеру, невольно вспоминая при этом фразу Адольфа Гитлера: "Если вы хотите завоевать любовь народных масс,

1. "Чудо-женщина" — фильм-триллер Р. В. О'Нила (1973), известный также под названием "Китайские головоломки".
2. Юлия Кристева — французская писательница, филолог и философ. Дэвид Хэмилтон — фотограф, специализирующийся на эротических снимках.
3. Пойдет/не пойдет (*англ.*).
4. "Гондолами" во Франции на рекламном жаргоне называют плакаты, используемые для оформления места продажи и развешанные поперек проходов, между полками с товарами.

говорите им самые нелепые и грубые вещи". О это презрение, эта ненависть к народу, который считают покорным быдлом!.. Иногда мне кажется, что промышленники, так страстно желающие впарить людям свой товар, не постеснялись бы загнать их в вагоны для скота. Вы мне разрешите еще три цитатки? "Мы добиваемся не правды, а эффекта". "Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной". "Чем ложь грубее, тем легче ей верят". Все эти максимы принадлежат опять-таки Йозефу Геббельсу.

Альфред Дюлер меж тем продолжает свою диатрибу:

— Перед нами стоит конкретная цель — сбыть в этом году двенадцать тысяч тонн продукции. Ваши девицы, бегающие по пляжу с заумными рассуждениями, чересчур интеллектуальны; это годится для кафе "Флора", а рядовая потребительница ни шиша не поймет! Что же до упоминания книги "Ecce homo", то мне, например, ясно, о чем речь, но, боюсь, широкая публика учует тут педерастический душок! Нет, прямо вам говорю, вы должны все переделать с начала до конца, как это ни печально. Вам, конечно, известен принцип Проктера: "Не считайте людей дураками, но никогда не забывайте, что они и есть дураки".

— Но ведь это ужасно! Это означает, что демократия идет к саморазрушению. С такими изречениями не мудрено вернуться к фашизму: сначала людей объявляют дураками, потом их под этим же предлогом уничтожают.

— О, только не вздумайте изображать здесь креатора-мятежника! Мы всего лишь продаем йогурты, а не устраиваем революции. Что это с ним сегодня? Почему такой злой? Не пустили вчера вечером в "Бэн"[1]?

Атмосфера накалялась. Жан Франсуа попытался ее разрядить:

— Честно говоря, контраст между сексуальной внешностью девушек и их разговором о герменевтике... Он выражает как раз то, к чему вы стремитесь, — красоту и интеллект... так сказать, в одном флаконе... разве нет?

— Их фразы слишком длинны, они не уместятся на стенке фургона, — отрезал один из замов-очкариков.

— Позвольте напомнить вам принцип рекламы: создавать юмористический сдвиг (на нашем жаргоне он называется "креативным скачком"), способный вызвать улыбку зрителя и создать у него ощущение причастности, которое помогает продавать марку. Впрочем, для так называемых проктерианцев ваша стратегия, вы уж простите, скорее уязвима: формула "стройность и интеллект" как уникальное торговое предложение здесь прямо-таки напрашивается!!!

Жан Франсуа знаком попросил меня не упорствовать. Мне жутко хотелось предложить им другой слоган: "'Мадонна' über alles", но я смалодушничал. Вам, наверное, кажется, что я делаю из мухи слона, что все это не так уж и серьезно. Но вы только вдумайтесь, какая игра велась на этой гнусной утренней сходке! Вовсе не обсуждение очередной рекламной кампании, нет, куда там! Это совещание было поважнее Мюнхенского сговора (в Мюнхене в 1938 г. руководители Франции и Англии, Даладье и Чемберлен, сдали Чехословакию нацистам просто так, за здорово живешь, подмахнув договор на уголке стола). Сотни оперативок, подобных той, что шла сейчас в "Мадонне", ежедневно сдают целый мир. Тысячи Мюнхенов каждый день! То, что здесь творится, поистине страшно: это убийство идей, это запрет на перемены. Вы сидите лицом к лицу с типами, которые презирают народные массы, стремятся загнать их в рамки акта приобретения — бессмысленного, но заранее жестко обус-

1. Дорогой ночной ресторан в Париже.

ловленного. Они зациклены на мысли, что имеют дело с умственно отсталой домохозяйкой моложе пятидесяти. Вы пытаетесь предложить им нечто забавное, говорящее хоть о каком-то уважении к людям и способное чуточку поднять их над самими собой, потому что надо же проявить хоть минимальную вежливость, когда врезаешься со своей рекламой в их телесериал. Надо — но это запрещено. И вечно одна и та же история, каждый день, каждый час... И вечно тысячи моих собратьев в своих тергалевых костюмчиках капитулируют, трусливо поджав хвост. И малодушно утешаются кто чем может. Шаг за шагом эти сотни тысяч дебильных совещаний подготавливают триумф хладнокровно рассчитанной, циничной глупости над простодушным и наивным стремлением человечества к прогрессу. В идеале при демократии следовало бы использовать потрясающую власть масс-медиа для того, чтобы будить умственные способности, вместо того чтобы давить их. Но такого никогда не будет, ибо те, кто обладает этой властью, предпочитают не рисковать. Рекламодатели хотят, чтобы все было заранее разжевано и протестировано, чтобы вы, боже упаси, не вздумали сами ворочать мозгами; им нужно превратить вас в баранов; я не шучу, вот увидите, в один прекрасный день они отштампуют у вас на руке магнитный код. Уж им-то известно, что ваша единственная сила — в кредитной карточке. Они не хотят давать вам свободу выбора. Они хотят свести все ваши немотивированные действия к одному в высшей степени мотивированному — к акту покупки.

Категорическое неприятие перемен — вот что исповедуют во всех этих безликих конференц-залах. Здесь царит Ее Величество Стагнация, ее дворец — это здание, ее подданные — эти вот "шестерки" с перхотью в волосах и супинаторами в ботинках. Им доверили ключи от власти — иди знай почему! Они — пуп земли! Политики ничего больше не контролируют, теперь нами правит экономика. Маркетинг — это демократия, поставленная с ног на голову, оркестр, командующий дирижером. Опросы общественного мнения определяют политику, тесты делают рекламу, анкетирование влияет на выбор музыки для радио, результаты sneak previews[1] меняют развязку фильма, телеметрия определяет содержание программ TV, и все эти "исследования" организуются такими вот альфредами дюлерами по всему земному шару. Вся ответственность лежит только на альфредах дюлерах, больше ни на ком. Альфреды дюлеры держат бразды, но только никуда не едут. Big Brother is not watching you, Big Brother is testing you[2]. Однако тестомания и есть залог косности, отречения от свободы. Вам больше не предлагают абы что, ведь это РИСКОВАННО — вдруг вам не понравится! Вот так и убивают новизну, оригинальность, творчество, мятеж духа. Результаты налицо. Наши клонированные судьбы... Наша сонная одурь... Одиночество в толпе... Полнейшее безразличие к уродству. Нет, это не рядовое совещание. Это конец света на марше. Нельзя одновременно прогибаться под мир и менять его. Когда-нибудь в школах будут изучать тему "Самоуничтожение демократии".

Лет через пятьдесят Альфреда Дюлера будут судить за преступления против человечества. Всякий раз, когда этот тип произносит слово "рынок", он подразумевает "навар". И если он говорит об "исследовании рынка", это следует понимать как "исследование навара"; "экономика рынка" оз-

1. Пробный просмотр (*англ.*).
2. "Большой Брат не наблюдает за тобой, Большой Брат тебя тестирует" (*англ.*).

начает "экономика навара". Этот человек одобряет либерализацию навара, он намерен вбрасывать в продажу новые продукты ради навара, спешит завоевывать все новые и новые области производства во имя навара и никогда не забывает подчеркнуть мировое значение навара. Он вас ненавидит, знайте это. Вы для него всего лишь бессловесный скот, поставленный на откорм, собаки Павлова; его интересует только одно — ваши денежки в карманах его акционеров (американских пенсионных фондов, иными словами, шайки старперов с "подтяжкой" на мордах, одной ногой в гробу, другой — где-нибудь в бассейне Майами, штат Флорида). И да процветает во веки веков Лучший из Материальных Миров!

Я снова попросил разрешения выйти, чувствуя, что у меня вот-вот пойдет носом кровь. Вечная проблема с этим парижским кокаином: он до того разбодяжен, что нужно иметь железные ноздри. Я почувствовал, как прихлынула кровь, встал и на всех парах понесся в сортир; из носу вдруг полило как никогда, кровь не останавливалась, она была всюду — на зеркале, на моей рубашке, на валике с бумажным полотенцем, на полу; ноздри пускали большие кровавые пузыри. К счастью, в сортир никто не заходил; я глянул в зеркало, и оно отразило мою окровавленную физиономию — багровые губы и подбородок, грудь и умывальник в крови, кровь на руках, — вот-вот, на сей раз победа за ними, у меня буквально "руки в крови"; и тут мне пришла в голову замечательная мысль, я начертал кровью "Pigs"[1] на стенах их шикарного сортира, затем "PIGS" покрупнее — на двери, вышел в коридор и изобразил "Pigs" снаружи, "Pigs" на ковровой дорожке, "Pigs" на стенке лифта и наконец удрал; камеры наблюдения наверняка запечатлели мой подвиг. В тот день я окропил капитализм своею кровью.

6

Оп-ля! ПГД[2] нашего агентства собственной персоной явился ко мне в кабинет. Он носит белые брюки, темно-синий блейзер с золотыми пуговицами и белым платочком в кармашке, розовую клетчатую рубашку "виши" (естественно, а какую же еще!). Я едва успел убрать этот текст с экрана. Он отечески хлопнул меня по плечу: "Всё трудимся?" Филипп меня очень любит — он нюхом чует, как я отношусь к своему грязному ремеслу. И еще ему известно, что без меня он — ноль, и это взаимно: без него мне не видать как своих ушей необитаемого острова, кокса и шлюх (томная Вероника на пылкой Фионе, а я сверху, на томной Веронике). Он принадлежит к тем людям, о которых я буду сожалеть, когда меня начнут распинать вкупе со всей французской рекламой после публикации этого опуса. Он дорого платит мне, чтобы доказать свою любовь. А я его уважаю, потому что его квартира больше моей. Ну так вот, он как-то странно похлопывает меня по плечу и встревоженно шепчет на ухо:

— Скажи-ка... Ты, случаем, не переутомлен?

Я пожимаю плечами:

— Да я переутомлен с тех пор, как родился.

— Октав, ты ведь знаешь, тебя здесь просто обожают. Но, прошу тебя, уймись; похоже, ты сегодня утром здорово наколбасил в "Мадонне". Дюлер вызвал меня на ковер и устроил жуткий скандал. Мне пришлось

1. Свиньи (*англ.*).
2. Президент — генеральный директор.

высылать туда команду уборщиков, чтобы отмыть твои художества. Может, тебе нужен отдых?

– А тебе не кажется, что лучше всего дать мне коленкой под зад?

Филипп смеется и опять хлопает меня по спине.

– Ну вот, сразу лезешь в бутылку! Об этом и речи быть не может, мы слишком ценим твой талант. Твоя работа крайне полезна для "Росса" – вспомни, как американцы тащились от твоих клипов "Оранжина-кола", какой отличный рейтинг получил в IPSOS[1] твой слоган "ЭТО ДАЖЕ СЛИШКОМ WONDERFUL![2]" ... но, может, тебе стоило бы пореже контачить с клиентами, а?

– Слушай, я вел себя вполне пристойно; эта сволочь Дюлер затрахал меня своим спэммингом в Интернете; я вполне мог бы попросить Чарли отымейлить вирус, уж он бы ему похерил всю базу данных. И это обошлось бы дороже, чем мытье сортира!

Филипп вышел, закудахтав на весь коридор, – знак того, что он ни хрена не понял. Однако тот факт, что ПГД явился распекать меня самолично, – доброе предзнаменование для моего увольнения: он ведь просто мог связаться со мной по Интранету[3]. Люди все реже говорят друг с другом; и вообще, когда кто-то решается наконец сказать тебе правду в лицо, это значит, что уже ПОЧТИ слишком поздно.

7

Меня часто спрашивают, за что креаторам платят такие бешеные бабки. Какой-нибудь вольный журналюга, который неделю корпит над статьей для "Фигаро", зарабатывает в пятьдесят раз меньше, чем копирайтер[4], за десять минут набрасывающий рекламный слоган. Почему так? Да просто потому, что работа копирайтера приносит больше прибыли. Рекламодатель располагает годовым бюджетом во многие десятки, а то и сотни миллионов. Агентство рассчитывает свои гонорары исходя из процента от стоимости покупаемых рекламных площадей; в среднем эта комиссия составляет 9 процентов (раньше мы брали 15 процентов, но рекламодатели быстренько пресекли это жульничество). На самом-то деле креаторам даже недоплачивают, если учесть приносимые ими доходы. Когда видишь, сколько денежек утекает у нас из-под носа, какие суммы загребают шефы, наша зарплата кажется и вовсе мизерной. Но попробуй-ка кто-нибудь из концептуалистов запросить прибавки – это сочтут неудачной шуткой. Однажды, выходя с очередного совещания, я задал вопрос Марку Марронье:

– Почему все слушают Филиппа, а не меня?

– А потому, – ответил он и глазом не моргнув, – что Филипп заколачивает триста тысяч франков в месяц, а ты нет.

Креатив – не то ремесло, где ты должен оправдывать свою зарплату; это такое ремесло, где твоя зарплата оправдывает тебя. И карьера креатора так же эфемерна, как карьера директора телепрограмм. Вот почему креатор огребает за несколько лет столько, сколько нормальный работяга за всю жизнь. Но между рекламой и TV есть одна существенная разни-

1. Институт рейтинговых оценок товарных знаков.
2. Чудесно (*англ.*).
3. Внутренняя компьютерная связь в учреждениях.
4. Автор рекламных текстов или слоганов.

ца: креатор тратит год на создание тридцатисекундного ролика, тогда как для составления телепрограммы на год достаточно тридцати секунд.

И потом, креаторский труд – не из легких. Репутация этой профессии страдает из-за ее кажущейся простоты. Все считают, что могут делать рекламу одной левой. Но сегодняшнее утреннее сборище, надеюсь, доказало всю сложность нашей работы. Если продолжить сравнение с газетчиком из "Фигаро", то можно сказать, что продукция креатора – та же статья, которую исправит сначала замредактора, потом редактор, потом главный редактор, потом ее прочтут и исковеркают все упомянутые в ней лица, а за ними – фокус-группа читателей данной газеты, после чего ее перепишут сверху донизу, и при этом 90 шансов из 100, что ее вообще не напечатают. Много ли вы знаете журналистов, которые согласились бы терпеть такое обращение? Вот почему нам так щедро платят.

И вот почему нужны люди, которые пекут эту самую рекламу, что повсюду мозолит вам глаза: директор агентства и его коммерческие директора продают ее рекламодателям; далее о ней говорят в прессе, ее пародируют по телику, ее разбирают по косточкам в аналитических центрах, она поднимает рейтинг товара, а заодно и цифры торгового оборота. И вот почему некий юный хмырь сидит на своем стульчике, напрягает свои юные мозги и вытаскивает из них слоган за слоганом, и этот юный хмырь ценится дорого, очень дорого, ибо он – Повелитель Вселенной, как я уже имел честь вам доложить. Этот юный хмырь находится на самой вершине производственного процесса, там, где всякое производство уже завершено и начинается битва не на жизнь, а на смерть – за сбыт. Фирмы разрабатывают новые марки, миллионы рабочих изготавливают эти товары на заводах, потом их выставляют в бесчисленных магазинах. Но вся эта заваруха ни к чему не приведет, если юный хмырь на своем стульчике не удумает, как раздавить конкурента, как вырваться вперед, как убедить покупателей брать именно этот товар и никакой другой. Такая война требует каторжных усилий, и дилетантам тут делать нечего. Ее ведут всерьез. Это странный, мистический процесс: когда мы с Чарли, нашим артдиректором, сидя лицом к лицу, скрипим мозгами и вдруг чувствуем, что у нас родилась идея, как в очередной раз впарить очередной ненужный товар бедной домохозяйке, мы смотрим друг на друга, точно пара вампиров-сообщников. Свершилось магическое действо: мы разбудили у людей, не имеющих средств на покупку, желание совершить эту самую покупку, о которой они и думать не думали еще десять минут назад. И каждый раз это нас изумляет словно впервые. Замысел всегда рождается ниоткуда, из пустоты. Это чудо потрясает буквально до слез. Да, похоже, меня действительно пора вышвырнуть вон.

Название моей должности – концептуалист-текстовик, так в наши дни зовут рекламных авторов. Я сочиняю сценарии для тридцатисекундных роликов и слоганы для рекламных плакатов. Я говорю "слоганы", чтобы вы легче поняли, но вообще-то это словечко давно уже has been[1]. Сегодня у нас говорят "цеплялки" или "титры". Мне лично больше нравятся "цеплялки", но "титр" звучит солиднее. Все самые крутые снобы-концептуалисты говорят "титр", иди знай почему. Ну и я тоже объявляю, что

1. Здесь: устарело (*англ.*).

родил тот или иной титр, потому что, ежели ты крутой сноб, тебе и зарплату чаще повышают. Я тружусь сразу на восьми направлениях: французский парфюм, шмотье немодного направления, итальянские макароны, заменитель сахара, мобильники, обезжиренный йогурт, растворимый кофе и "Оранжина". Дни мои текут подобно нескончаемому зэппингу[1] между этой восьмеркой пожаров, требующих тушения. Я должен непрерывно перестраиваться. Я — хамелеон, хамло занюханное.

Знаю, вы мне не поверите, но эту профессию я выбрал не только из-за денег. Я люблю изобретать фразы. Ни одна работа не дает столько власти над словом, как эта. Рекламист — автор афоризмов на продажу. Я могу смертельно ненавидеть то, чем стал, но факт есть факт: лишь в нашем ремесле можно три недели подряд спорить до хрипоты о каком-нибудь паршивом наречии. Когда Чоран написал: "Я мечтаю о мире, где можно было бы умереть ради запятой", он и не подозревал, что говорит о мире КТ — концептуалистов-текстовиков.

КТ работает в одной связке с артдиректором. Артдиректоры тоже нашли фишку, чтобы выглядеть снобами: они величают себя АД. Они могли бы зваться просто ХД — художественными директорами, но нет, куда там, АД звучит более классно! Ладно, я не стану разъяснять вам все рекламные приколы, не в том суть; если хотите — читайте сами древние комиксы папаши Лозье[2] или смотрите по телику (как правило, воскресными вечерами) комедии 70-х, где рекламистов всегда играет Пьер Ришар. В те времена реклама еще вызывала смех. Сегодня над ней уже никто не смеется. Шуточки кончились. Теперь перед нами мощное, поставленное на поток производство. А работа в рекламном агентстве стала почти такой же захватывающей, как профессия бухгалтера.

Короче, прошло-пролетело то золотое времечко, когда рекламисты были безобидными шутами. Отныне это деловые люди — опасные, расчетливые, безжалостные. И народ начал это замечать: он воротит нос от наших роликов, рвет наши проспекты, шарахается от наших плакатов на автобусных остановках, заливает из баллончиков наши щиты. Такую реакцию называют рекламофобией. Ибо реклама цепко, как спрут, завладела миром. Начав с фиглярства, она теперь управляет нашими жизнями: финансирует телевидение, командует прессой, распоряжается спортом (это не Франция обыграла Бразилию в финале Чемпионата мира, это "Adidas" победил "Nike"!), формирует общество, влияет на сексуальность, поддерживает рост благосостояния. Угодно скромную циферку? В 1998 г. рекламные инвестиции в мире достигли 2 340 миллиардов франков (даже выраженная в евро, эта сумма впечатляет). И могу вас заверить, что за такие денежки продается абсолютно всё — особенно ваша душа.

8

Я остервенело массирую десны; они, проклятые, зудят днем и ночью. Скоро я, наверное, сотру их до самой кости. Теперь мне требуется не меньше четырех граммов кокса ежедневно. Начинаю с утра: первый до-

1. От англ. "zapping" — переключение телевизора с программы на программу.
2. Жерар Лозье — художник и кинорежиссер сатирического направления, начавший работать в 70-х годах и высмеивавший рекламу.

зняк уходит еще до первой чашки кофе. Какая жалость, что у нас всего пара ноздрей, а то я бы занюхивал и больше: даже старик Фрейд говорил, что кокаин разводит любую печаль. Он, как анестезия, снимает все проблемы. Целый день я хожу тупой, как жвачная скотина. А ночами шастаю по тусовкам, где меня никто не видит.

Почему американкашки контролируют весь мир? Да потому, что они контролируют коммуникации. Я пришел в это американское агентство потому, что там вкалывал Марк Марронье. Агентство называется "Rosserys and Witchcraft", но для краткости все зовут его просто "Росс". Это французское подразделение первого сетевого агентства, основанного в Нью-Йорке в 1947 г. Эдом Россерисом и Джоном Уичкрафтом (к 1999 г. – 5,2 миллиарда долларов чистой прибыли). Наш офис был построен, скорее всего, в 70-е годы, когда в моду вошли здания-корабли. Здесь есть большой внутренний двор и везде торчат желтые трубы – в общем, помесь Бобура и Алькатраса[1], хотя дом находится в районе Булонь-Бийянкур, которому, ясное дело, далеко до Мэдисон-авеню. Холл украшен гигантскими инициалами "R & W", вокруг полно зелени – искусственной, конечно. Там кадры снуют вприпрыжку, зажав документы под мышкой. Там девы, красою обильные, говорят в телефоны мобильные. И у каждого такой вид, будто он выполняет важнейшую миссию – а как же! – один придает новый блеск марке туалетной бумаги, другой "раскручивает" новый порошковый суп, третий "консолидирует репозиционирование, оптимизированное в прошлом году по маргариновому сегменту рынка", четвертый "исследует новые регионы сбыта копченой колбасы"... Как-то раз я случайно наткнулся в коридоре на беременную служащую экспертного отдела, которая плакала, забившись в уголок (экспертши всегда плачут по углам). Я изобразил услужливого жалельца, притащил ей стаканчик холодной газировки, дал клинекс и даже похлопал по заднице. Напрасный труд: несмотря на ее бледную улыбку, я понимал, как ей стыдно за то, что она раскисла на людях.

– Сегодня ночью мне приснилось, что ноги сами несут меня в "Росс". Я упиралась изо всех сил, но они все шагали и шагали, как на автопилоте... Ну ладно, все о'кей, не беспокойся... пустяки... это пройдет.

Она попросила меня не выдавать ее шефу, заверила, что уже оклемалась, что работа здесь ни при чем – это, мол, беременность виновата. И, напудрив нос, бодренько зашагала в свой офис. Так вот я и уразумел, что состою на службе в сатанинской секте, которая превращает беременных женщин в ржавых роботов.

Марк Марронье звонко шлепает меня по ладони в знак приветствия.

– Здорово, проказник! Все пописываешь свой романчик против рекламы за счет рекламного агентства?

– И еще как! Ты же сам всему меня обучил!

Хуже всего, что это истинная правда. Марронье – креативный директор "Росса", но притом успевает публиковать книжки, мелькать на телеэкране, разводиться с женой и кропать литературные обзоры во всяких скандальных журнальчиках... В общем, многостаночник. И своих подчиненных склоняет к тому же, дабы, как он выражается, "мозги не заржавели" (я-то знаю: это для того, чтобы не свихнуться вконец). В нашем деле Марронье – человек почти конченый, но было время, когда он ходил в ко-

1. Бобур – Центр Помпиду в Париже, здание, в котором все коммуникации выведены наружу. Алькатрас – маленький остров в заливе Сан-Франциско; до 1962 г. там находилась государственная тюрьма, где, в частности, отбывал заключение Аль Капоне.

ролях: "Каннские Львы", портреты на обложке "Стратежи", Гран-при в клубе АД... Он автор многих известных слоганов: "А У ВАС КАКОЙ ТЕЛЕФОН?" (для "Bouygues Telecom"), "МАЛО ЛЮБИТЬ ЗВУК, НУЖЕН ЕЩЕ И ОБРАЗ" (для MCM)[1], "СМОТРИТЕ МНЕ В ГЛАЗА; Я СКАЗАЛА: В ГЛАЗА!" (для "Wonderbra"[2]), "ОДНА ВАША ПОЛОВИНА ЖАЖДЕТ КУПИТЬ ЭТО, ЗНАЧИТ, ВТОРАЯ МОЖЕТ ЗАТКНУТЬСЯ!" (для Форда). Но самая известная все же эта: "КОФЕ 'МАМИ'? НАВЕРНО, ГДЕ-ТО ЕСТЬ И ЛУЧШЕ. ЖАЛЬ, ЧТО ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ!" Здорово, черт подери! На первый взгляд кажется: чего уж проще, однако такие вроде бы незатейливые "титры" сочинять труднее всего. В них главное – обезоруживающая доходчивость: "НУЖНО СПЯТИТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ", "ВСЕ, ЧТО У НЕГО ВНУТРИ, ЕСТЬ СНАРУЖИ – ЛИШЬ СМОТРИ!", "ВОДА, ВОЗДУХ, ЖИЗНЬ", "ХЛЕБА, ВИНА – И ЖИЗНЬ ПОЛНА!", "100 % ВЫИГРАВШИХ ПОПЫТАЛИ СЧАСТЬЯ", "ОБЪЕДИНИМ НАШИ ТАЛАНТЫ", "ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ ОДЕВАТЬСЯ УНЫЛО", 'МАЙ'-ГОРЧИЦА ВСЕМ СГОДИТСЯ", " 'SEB'[3] – СЕБЕ, И ТОЛЬКО СЕБЕ!", "А ВЕДЬ ЭТО ТАК ЛЕГКО – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ!", "ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТЕ К НАМ... СЛУЧАЙНО", "ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ!", "НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ!", "ДЕСЯТЬ ГРАММОВ ИЗЫСКА В МИРЕ ГРУБОГО РИСКА", "ЕСЛИ ДЕЛО УЖЕ СДЕЛАНО, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ", ну, и конечно, "JUST DO IT"[4] – шедевр истории бизнеса. Хотя, если подумать, мой любимый слоган все же " 'HYUNDAI'. PREPARE TO WANT ONE!"[5]. Он самый честный из всех. Раньше, пытая людей, им кричали: "Ты у меня заговоришь!" Теперь кричат: "Ты у меня захочешь!" И боль при этом острее, ибо ранит сильней.

Марронье прекрасно знает кухню нашей профессии. Это он посвятил меня в неписаные законы, которые никогда не узнаешь на ВКК; я не поленился отпечатать их на большом листе бумаги и прикнопить над своим "макинтошем".

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ КРЕАТОРА

1. Опытный креатор обращается не к потребителям, а к двум десяткам людей в Париже, которые могут нанять его на работу (КД двадцати лучших рекламных агентств). Получить премию в Канне или в клубе АД куда важнее, чем помочь клиенту завоевать новый сегмент рынка.

2. Первая идея – самая удачная, но нужно выждать недельки три перед тем, как представить ее заказчику.

3. Реклама – единственное ремесло, где работнику платят за то, чтобы он работал хуже. Если мы представили гениальный проект, а рекламодатель хочет его угробить, подумай прежде всего о своей зарплате, сляпай под диктовку клиента, на скорую руку (секунд за тридцать) какое-нибудь дерьмо послаще и смело отбывай на неделю в Майами или Кейптаун – снимать ролик.

4. Всегда являйся на собрания позже назначенного времени. Пунктуальный креатор не внушает доверия. Войдя в зал, где тебя ждут уже три четверти часа, не извиняйся, а просто небрежно брось: "Привет, у меня есть для вас ровно три минуты". Или же процитируй Ролана Барта: "Мы

1. Музыкальный канал на французском телевидении.
2. Торговая марка дорогих бюстгальтеров.
3. Торговая марка кухонной техники.
4. Реклама фирмы "Nike".
5. Приготовься хотеть! (*англ.*)

продаем не мечту, а смысл". (Другой вариант, из Раймона Леви[1], правда не такой шикарный: "Уродство трудно продать"). Тогда клиенты сочтут, что ты стоишь их денег. Никогда не забывай, что рекламодатели обращаются в агентства потому, что сами не способны выдавать идеи, страдают от комплекса неполноценности и втайне злобствуют. Поэтому креаторы должны их презирать: бренд-менеджеры — все до одного — завистливые мазохисты. Они платят нам, чтобы мы их унижали.

5. Если проект у тебя не готов, нужно выступать последним и при этом нагло повторять все, что уже сказали другие. На всяком собрании прав тот, кто произнес заключительное слово. Никогда не забывай, что главная цель собрания — подставить другим ножку.

6. Разница между работником высшего и низшего звена состоит в том, что первый получает больше, а работает меньше. Чем больше ты заколачиваешь, тем внимательнее тебя слушают и тем меньше ты говоришь. В нашей профессии важные шишки должны помалкивать, ибо, чем реже ты открываешь рот, тем гениальнее кажешься.

Отсюда вывод: чтобы продать идею КД (креативному директору), креатор должен СИСТЕМАТИЧЕСКИ внушать ему, что это он, КД, ее и родил. Для чего следует начинать представление фразами типа: "Я долго обдумывал то, что ты вчера сказал мне...", или: "Я вернулся к той идее, что ты недавно высказал, и...", или: "Я решил идти тем путем, который ты тут наметил...", тогда как слепому ясно, что КД ничего не говорил вчера, не высказывал никаких идей ни недавно, ни давно и, уж конечно, не намечал никаких путей.

6-bis. Другое средство распознать младшего и старшего по службе: младший отпускает удачные остроты, над которыми никто не смеется, старший же выдавливает из себя унылые шутки, вызывающие бурный восторг слушателей.

7. Культивируй абсентеизм, приходи на работу не раньше полудня, никогда не отвечай на приветствия коллег, трать на обед не меньше трех часов, не подходи к телефону. На любые упреки по этому поводу тверди одно: "У креатора нет расписания, у него есть только сроки".

8. Никогда ни у кого не спрашивай мнения по поводу ведущейся кампании. Интересуясь чужим мнением, ты ВСЕГДА рискуешь его услышать. А услышав, ты, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, должен будешь с ним считаться.

9. Каждый делает работу вышестоящего начальства. Стажер делает работу концептуалиста, который делает работу креативного директора, который делает работу президента агентства. Чем выше сидишь, тем меньше вкалываешь (см. заповедь № 6). Жак Сегела́ лет двадцать безбедно прожил на дивиденды от "Спокойной Силы" — лозунга Леона Блюма[2], выкопанного двумя креаторами его агентства, которых никто знать не знает. Филипп Мишель прославился в народе рекламой "ЗАВТРА Я СНИМУ ВЕРХ, ЗАВТРА Я СНИМУ НИЗ", придуманной его подчиненным Пьером Бервилем. Сплавь свое задание стажеру: в случае успеха ты присвоишь себе все лавры, в случае провала выгонят его, а не тебя. Стажеры — это современные рабы: им не платят, на них ездят как хотят, их можно в любой момент вышвырнуть вон, они разносят кофе и бегают к факсу — в общем, одноразовые существа, совсем как бритвенные станочки "Bic".

1. Раймон Леви — американский дизайнер французского происхождения.
2. Жак Сегела — известный французский специалист по рекламе. Леон Блюм (1872–1950) — французский политический деятель, лидер Французской социалистической партии, глава правительства Народного фронта в 1936–1937 гг.

10. Когда твой собрат-креатор демонстрирует тебе удачный слоган, главное — не выдать своего восхищения. Напротив, скажи, что идейка дохлая, неходовая, или что она "с бородой", сто лет в обед, или что он скачал ее со старой английской рекламы. Зато, если он принесет тебе и впрямь дерьмовый титр, расхваливай его вовсю и притворись, будто сгораешь от зависти.

Теперь, став креативным директором, Марронье напрочь позабыл все эти заповеди. Когда подчиненные представляют ему проект будущей рекламной кампании, он бурчит либо "ничего", либо "чего-о-о?". "Ничего" означает, что проект одобрен и автору светит повышение к концу года. А вот "чего-о-о?" говорит о том, что нужно срочно искать другой вариант, иначе в два счета вылетишь за дверь. В общем, работа у КД непыльная: главное, вовремя пробурчать либо "ничего", либо "чего-о-о?". Иногда я спрашиваю себя, уж не произносит ли Марк свои сентенции наугад, мысленно подбрасывая монетку — орел или решка.

Он умильно глянул на меня перед тем, как прервать мои раздумья:

— Похоже, ты сегодня здорово порезвился в "Мадонне"?

И тут я выдал ему нижеследующую тираду, заодно отстукивая ее на компьютере, чтобы и вы могли с нею ознакомиться:

— Слушай, Марк, ты же знаешь. у ВСЕХ креаторов тараканы в голове: наша работа — чистый яд, каждый норовит плюнуть тебе в душу, и, чем дальше, тем это тяжелее. Наш главный клиент — мусорная корзинка, на нее-то мы и вкалываем! Ты присмотрись к старым рекламщикам, к их убитым физиономиям, к их пустым глазам. Мы сочиняем слоганы, которые клиент бракует один за другим, и после очередного отказа начинается дикий стресс; пусть мы хорохоримся — плевать, мол, переживем! — все равно это нас гложет днем и ночью. Мы и без того все тут творцы-лузеры, а нас с утра до вечера заставляют молча утираться и набивать ящики отвергнутыми проектами. Ты скажешь: это лучше, чем горбатиться на заводе. Но рабочий хоть знает, что он производит нечто осязаемое, тогда как креатор занимается тем, что выдумывает трескучие словечки и идиотские названия, годные лишь на то, чтобы сотрясать воздух и кормить проститутку-автора. Обрати внимание: все здешние либо алкаши, либо наркоманы, либо в депрессухе. К полудню все уже ходят бухие, собачатся друг с другом, часами играют на компьютерах, курят травку — в общем, каждый спасается как может. Недавно я даже видел, как один псих изображал лунатика, прогуливаясь по балке в пятнадцати метрах от пола. Вот и я уже сыт по горло; ты видишь, у меня кровит нос, стучат зубы, дергается щека, вся морда в поту. Но я объявляю от имени всех своих угнетенных собратьев: моя книга отомстит за наши загубленные идеи!

Марронье слушает меня сочувственно, как врач, который готовится сообщить пациенту, что у того положительный тест на СПИД. Дождавшись конца моей пламенной речи, он делает свой выпад:

— Тогда чего ж ты не увольняешься?

И выходит из кабинета.

Ну уж нет, не дождетесь, хрен я вам уволюсь! Уйти по собственному желанию — да это все равно что покинуть ринг до конца матча. А я предпочитаю скапутиться прямо тут, на месте, и пускай меня вынесут ногами впе-

ред. Кроме того, Марк блефует: никто меня не отпустит, а если я все же надумаю смыться, как в "Пленнике"[1], они замордуют меня вопросом: "Почему вы уволились?" Я давно уже интересовался, зачем правители Деревни без конца приставали с этим к Номеру 6. Сегодня я наконец понял. Ибо главный вопрос нашего века, в мире, запуганном безработицей и исповедующем культ труда, звучит именно так: "ПОЧЕМУ ВЫ УВОЛИЛИСЬ?" Я помню, как восхищался в каждой серии хитрой усмешкой, с которой Патрик Макгоэн возглашал: "Я не номер, я свободный человек!" Нынче все мы ходим под номером 6. Все бьемся насмерть, лишь бы удостоиться вожделенного БК (бессрочный контракт). И попробуй только бросить свою работенку и свалить на спасительный необитаемый остров в компании накокаиненных шлюх: из песка тут же поднимется огромный воздушный шар с вопросом, долженствующим водворить тебя обратно в офис, как норовистую скотину в хлев: "ПОЧЕМУ ВЫ УВОЛИЛИСЬ?"

9

В те времена гигантские фотографии товаров красовались на стенах домов и автобусных остановках, на крышах и асфальте, на такси и грузовиках, на мебели, в лифтах и на билетных автоматах, на всех улицах города и даже за городом. Жизнь захлебывалась в океане бюстгальтеров, быстрозамороженных овощей, шампуней от перхоти и бритв с тройным лезвием. Никогда еще за всю историю человечества у наших глаз не было столько работы: статистики подсчитали, что каждый из нас от рождения до 18 лет видит рекламу 350 000 раз. Даже на лесных опушках, на околицах захолустных деревень, в глубине безлюдных долин, на вершинах снежных гор и на вагончиках фуникулеров вам лезли на глаза логотипы "Castorama", "Bricodecor", "Чемпион Мидас" и "Ярмарка одежды". Ни минуты покоя взгляду *homo consommatus*[2].

Тишина тоже оказалась на грани исчезновения. Невозможно было спастись от включенных приемников и телевизоров; крикливые рекламные слоганы грозили врезаться даже в ваши частные телефонные разговоры. Это изобретение принадлежало компании "Bouygues Telecom": бесплатная связь в обмен на рекламные паузы через каждые 100 секунд. Вы только представьте: раздается звонок, и полицейский сообщает вам о гибели вашего ребенка под колесами автомобиля; вы рыдаете, а на другом конце провода веселый голосок распевает: "С 'ПЕРЕКРЕСТКОМ', С 'ПЕРЕКРЕСТКОМ' БУДЕТ СЧАСТЬЕ ВСЕМ ПОДРОСТКАМ!"[3]. Лифтовая музыка[4] звучала на каждом углу, где и лифтов-то не было. Мобильники верещали в скорых поездах, ресторанах, церквах; даже бенедиктинские монастыри и те уступили натиску окружающей какофонии (я это знаю доподлинно, сам проверял!). Согласно все тем же исследованиям, среднестатистический житель Запада ежедневно выслушивал 4 000 рекламных объявлений.

Человек вошел в пещеру Платона. Греческий философ описывал людей, прикованных к скале и созерцающих тени реальности на стенах темни-

1. "Пленник" — американский телесериал о заколдованной деревне, обитатели которой живут в плену, но должны всегда улыбаться.
2. Человек потребляющий (смесь *лат.* и *франц.*).
3. "Перекресток" (Carrefour, *франц.*) — сеть супермаркетов с широким ассортиментом товаров. Как правило, такие магазины расположены за чертой города.
4. В лифтах высотных зданий звучит при подъемах и спусках легкая музыка.

цы. Пещера Платона нашла свое воплощение в нашей действительности — теперь она зовется телевидением. Мы смогли любоваться на голубом экране реальностью под названием "Canada Dry": это походило на реальность, имело цвет реальности, но не было настоящей реальностью. ЛОГОС на сырых стенах нашей пещеры уступил место ЛОГОТИПУ.

Человечеству понадобилось две тысячи лет, чтобы дойти до этого.

А ТЕПЕРЬ – РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА!

СЦЕНА ПРОИСХОДИТ НА ЯМАЙКЕ.

ТРОЕ РАСТАМАНОВ ЛЕЖАТ ПОД КОКОСОВОЙ ПАЛЬМОЙ, ИХ ЛИЦА СКРЫТЫ ПОД ДРЕДАМИ[1]. ОНИ ЯВНО ОБКУРИЛИСЬ ТРАВКОЙ И ТЕПЕРЬ ВЫРУБИЛИСЬ ВЧИСТУЮ. ИХ ОКЛИКАЕТ ТЕМНОКОЖАЯ ТОЛСТУХА:

– ЭЙ, ПАРНИ, НЕ ПОРА ЛИ НА РАБОТУ?

РАСТАМАНЫ НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ. У НИХ НЕТ СИЛ ДАЖЕ ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ. ОНИ ТОЛЬКО ИДИОТСКИ ЛЫБЯТСЯ И ПОЖИМАЮТ ПЛЕЧАМИ, НО ЖИРНАЯ ГУСЫНЯ НЕ ОТСТАЕТ:

– ВСТАВАЙТЕ, ВСТАВАЙТЕ! СИЕСТА ОКОНЧЕНА! ЗА РАБОТУ, МАЛЬЧИКИ!

ВИДЯ, ЧТО ТРОИЦА ПРИЯТЕЛЕЙ НЕ ДВИГАЕТСЯ С МЕСТА, ОНА В ОТЧАЯНИИ ТРЯСЕТ У НИХ ПОД НОСОМ БАНОЧКОЙ "ДАНЕТ". ПРИ ВИДЕ ЭТОГО ДЕСЕРТНОГО ШОКОЛАДНОГО КРЕМА ПАРНИ РЕЗВО ВСКАКИВАЮТ НА НОГИ И ЗАПЕВАЮТ ПЕСЕНКУ БОБА МАРЛИ "GET UP, STAND UP"[2]. ОНИ ТАНЦУЮТ НА ПЛЯЖЕ, СМАКУЯ ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ.

СЛЕДУЕТ PACKSHOT[3] "ДАНЕТ" С ТИТРОМ: " 'ДАНЕТ' ПОДНИМЕТ НА НОГИ ЛЮБОГО!"

II
Ты

Можно сделать весьма ценные откры́тия как в "Мыслях" Паскаля, так и в рекламе мыла.

Марсель Пруст

1

Нынче тебя подстерегает бессонная ночь. Со времени ухода Софи ты маешься по выходным как проклятый. Наступила страда страданий. Ты тупо смотришь "The Grind" по MTV. Тысяча девчонок в бикини и коротеньких, выше пупа, маечках дрыгают ножками на гигантской танцплощадке под открытым небом, явно где-то на Саут-Бич в Майами. Чернокожие крепыши прижимают их к своим накачанным шоколадным лоснящимся торсам. Передачка простенькая, без претензий — славит всего лишь красоту пластики и упоение стилем техно. Всем нам должно быть по 16 лет, всегда! Всем нужно быть красивыми, спортивными, загорелыми, улыбчи-

1. От англ. "dreadlock" — волосы, заплетенные в мелкие косички.
2. "Поднимайся, вставай!" (*англ.*).
3. Заключительный кадр рекламного ролика с изображением продукта и указанием его торговой марки (*англ.*).

выми и железно держать ритм! И конечно, беситься вовсю, но по команде и дружно, под жарким солнышком Флориды. Облегающий прикид обязателен. "The Grind" — это другой, идеальный мир, идеально чистый пляж, идеально чистый танец. А ведь "grind" — это по-нашему "долбежка". И сия молодежная, тщательно организованная долбежка напоминает тебе "Триумф воли" Лени Рифеншталь или скульптуры Арно Брекера[1].

Время от времени одна из девиц на заднем плане, не зная, что она сейчас в объективе, зевает и расслабляется. Но стоит камере взять ее крупным планом, как она тут же бодро взбрыкивает, вертит задом, как отъявленная порнушница, и с нарочито невинным видом обсасывает пальцы. Целый нескончаемый час ты любуешься этим пляжным фашизмом, накачиваясь своим любимым коксом. Чтобы не кровил нос, ты тщательно растираешь порошок на зеркальце с помощью карты "Премьер". Кристаллики нужно превратить в мельчайшую пудру. Чем она мельче, тем легче будет твоей слизистой. Вот они — "дорожки" твоей жизни. Когда ты вдыхаешь их через трубочку литого золота, то запрокидываешь голову, чтобы как можно меньше кокса попало на слизистую. Почувствовав наконец знакомый вкус в горле, ты заглатываешь большой стакан водки с тоником — она помешает тебе чихать без передышки. Это не сенная лихорадка, это новая, открытая тобой болезнь — кокаиновая аллергия (симптомы: онемевшие ноздри, непрерывный насморк, судорожная дрожь челюсти и голубая карта "Премьер" с истертым, белым от кокса краем). После чего ты проводишь уик-энд, паря в воздухе над самим собой.

Наркотики... ты ясно видел, как они к тебе подбираются. Вначале ты знал о них только понаслышке:

— Мы все выходные занюхивали "Коринну".

Потом какие-то друзья твоих друзей подступились к тебе напрямую:

— Нюхнуть хочешь?

Так друзья твоих друзей стали твоими дилерами.

Потом один из них откинул копыта от передозировки, другой угодил за решетку. Сперва ты нюхал просто так, из интереса, время от времени, потом для того, чтобы взбодриться по выходным, дальше — чтобы опять же взбодриться, но уже и по будням. Потом ты забыл, что кокс — это праздник, и стал занюхивать каждый день с утра пораньше, чтобы не свихнуться, и тебе выть хочется, когда в него подмешивают слабительное, и хочется оторвать зудящий нос, когда подмешан стрихнин. Но ты не жалуешься: без этого порошка тебе пришлось бы развлекаться прыжками на батуте в зеленом светящемся трико, или носиться на скейтборде в уродливых наколенниках, или петь караоке в китайском ресторане, или бить черножопых в компании скинхедов, или развлекаться спецгимнастикой с пожилыми красавцами, или играть в спортлото с самим собой, или предаваться психоанализу с собственным дивано-

1. "Триумф воли" — документальный фильм об Олимпийских играх 1936 г. в Берлине, снятый режиссером Лени Рифеншталь. Арно Брекер — немецкий скульптор, член национал-социалистической партии, прославлявший своим искусством мощь так называемой высшей расы.

ропейский манер), или завести электронную игрушку, или выпиливать лобзиком в кружке "Умелые руки", или похаживать на орально-анальные оргии. Каждый человек нуждается в каком-то хобби — якобы с целью "выйти из стресса", — но ты-то прекрасно понимаешь, что на самом деле люди попросту пытаются выжить и не сойти с ума.

С тех пор как ты остался один, ты слишком часто мастурбируешь под видеопорнуху. И вечно у тебя липнут к пальцам размокшие обрывки бумажных салфеток. Перед тем как отделаться от Софи, ты еще успел ей сообщить, что предпочитаешь шлюх:

— Я тебе верен: ты единственная женщина, которой мне хочется изменять.

Как же все это случилось? Ах да, вы с ней ужинали в ресторане, и вдруг она объявила, что беременна от тебя. Уф, даже сейчас вспомнить жутко! И внезапно ты разразился длинным, беспаузным монологом. Ты вылил на нее то, что все парни в мире мечтают вылить на своих забрюхатевших подруг:

— Нам нужно расстаться... Прости меня... Ну умоляю, не плачь! Я мечтаю только об одном — чтобы нам больше не видеться... Я сдохну где-нибудь в одиночестве, как шелудивый пес... А ты оставь меня, уходи, наладь свою жизнь заново, пока ты еще красива... Уйди от меня подальше... Поверь, я старался, изо всех сил старался, но больше у меня нет сил... Я задыхаюсь, я не умею быть счастливым... Мне нужны случайные бабы и одиночество... Я хочу путешествовать холостяком по городам и весям. Я не способен воспитать ребенка — я сам ребенок... Я — свой собственный сын. Каждое утро я произвожу себя на свет... У меня не было отца — как же ты хочешь, чтобы я стал отцом?! Мне не нужна твоя любовь... Я...

В общем, это был сплошной поток фраз, начинавшихся с "я". Софи ответила:

— Ты чудовище.

— Да, я чудовище, и ты меня любишь, а значит, ты такая же дуреха, как невеста Франкенштейна[1].

Софи испепелила тебя взглядом, потом встала из-за стола и навсегда ушла из твоей жизни. Странная штука: когда она в слезах выходила из зала, тебе все время чудилось, будто это ты бежишь прочь, а не она. Ты сделал вдох-выдох и почувствовал то трусливое облегчение, которым завершаются все разрывы, а затем начертал на бумажной салфетке: "Разлуки — это Мюнхены любви", и следом: "То, что люди именуют нежностью, я называю страхом разлуки", и еще: "Женщины — это такие существа, которых либо бросают, либо боятся бросить". Иными словами, если тебе на нее не плевать, значит, она тебя запугала вконец.

Когда девушка сообщает своему парню, что ждет от него ребенка, у парня НЕМЕДЛЕННО возникает вопрос — но не тот, о котором вы подумали: "Хочу ли я этого ребенка?", а совсем другой: "Хочу ли я остаться с этой девушкой?"

В конечном счете свобода — всего лишь трудный, но краткий миг. Сегодня вечером ты решил наведаться в "Хмель-бар", твой излюбленный бордель. Дома терпимости во Франции как бы запрещены, но в одном только Па-

1. "Невеста Франкенштейна" — американский фильм ужасов.

риже их не меньше полусотни. Там тебя прямо с порога обожают все девки. Которые отличаются двумя фундаментальными достоинствами:

1) они хороши собой,

2) они тебе не принадлежат.

Ты заказываешь пузырь "шампуня", угощаешь дам, и вот они уже гладят тебя по головке, лижут шею, царапают ноготками грудь под рубашкой, теребят то, что набухает в ширинке, нашептывают в самое ухо нежные сальности:

— Ах ты мой котеночек, как мне хочется тебя пососать. Соня, глянь, до чего же он мил! Мне не терпится посмотреть на его личико, когда он будет у меня во рту. Ну-ка, пощупай у меня в трусиках, какая я мокренькая. Дай сюда палец — чувствуешь, как дрожит мой клитор, как он тебя хочет?

И ты веришь этим шлюхам, веришь на слово. Ты забываешь, что платишь им. В глубине души ты догадываешься, что Иоанну зовут попросту Жаниной, но пока ты с ней не переспал, тебе на это начхать. Ты — обожаемый петушок среди роскошных курочек. Забравшись в недра "Хмель-бара", ты впиваешься губами и зубами в насиликоненные груди девиц. Они по-матерински ласковы с тобой. По-кошачьи вылизывают твое лицо. А ты оправдываешься вслух — сам перед собой:

— Чтобы починить машину, нужно нанять опытного механика. Чтобы построить дом, желательно иметь дело с опытным архитектором. Заболев, необходимо обратиться к опытному врачу. Так почему же физическая любовь не нуждается в опытных специалистах?! Мы все — проститутки. Девяносто пять процентов людей согласились бы переспать с кем угодно за десять тысяч франков. А любая девочка отсосет тебе и за половину. Она, конечно, для виду оскорбится и ни словом не обмолвится об этом подружкам, но я уверен, что за пять кусков ты с ней сделаешь все, что захочешь. Да и за меньшую сумму — тоже. Можно поиметь кого угодно, вопрос в тарифе: вот вы бы отказались сделать минет за миллион, за десять, сто миллионов? В большинстве случаев любовь лицемерна: красивые девчонки влюбляются (они уверены, что искренне) как раз в тех типов, у кого тугой кошелек и кто способен устроить им сладкую жизнь. Разве они не похожи на шлюх? Похожи!

Иоанна и Соня охотно соглашаются с твоими аргументами. Они всегда одобряют твои блестящие теории. Мы с ними одного поля ягоды — ты-то сам тоже продался, как последняя девка, Большому Капиталу.

Вдобавок одни только проститутки умеют пробудить в тебе мужчину, даже при твоем накокаиненном рубильнике и с резинкой на залупе, когда ты способен лишь на то, чтобы проблевать:

— Не замечай соломинку в ноздре соседа, но заметь бревно, что торчит у тебя из ширинки!

Ты изображаешь пресыщенного циника, но в действительности ты не таков. Ты ходишь к проституткам не из цинизма, о нет, — ты идешь к ним из страха перед любовью. Они занимаются с тобой сексом, ровно ничего не чувствуя, доставляют наслаждение, не причиняя душевной боли. "Истина — это момент лжи", — написал Ги Дебор[1] вслед за Гегелем, а

1. Ги Дебор — современный французский философ, критиковавший общество потребления и обслуживающие его СМИ. Первым ввел философское понятие "зрелища" (1967). Покончил жизнь самоубийством.

они оба были поумней тебя. Это изречение прекрасно ложится на атмосферу баров с девочками. Рядом с проститутками ложное становится моментом истины. А ты наконец становишься самим собой. В обществе так называемой "приличной" женщины нужно непрерывно делать над собой усилия, пыжиться, изображать героя, в общем, лгать: вот когда мужчина ведет себя как отъявленная шлюха. Зато в борделе он свободен, он может расслабиться, ему не нужно нравиться, выглядеть лучше, чем он есть. Это единственная обитель лжи, где он наконец правдив, то есть слаб, красив и хрупок. Неплохо бы написать роман под названием "Любовь стоит 3 ооо франков".

Продажные девки обходятся тебе дорого, но ты платишь, чтобы сэкономить самого себя. Ты слишком изнежен, чтобы еще раз влюбиться, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как-то: взволнованное сердцебиение, бурные эмоции, внезапные разочарования, трагические-вопли-и-сопли. Теперь для тебя самое романтичное приключение — это визит к блядям. Лишь тонко организованные существа испытывают потребность платить за любовь, дабы избежать риска страдать от любви.

После тридцати все мы одеваемся плотной броней: пережив несколько любовных катастроф, женщины бегут от этой опасности, встречаясь с надежными пожилыми олухами; мужчины, также опасаясь любви, утешаются с лолитами или проститутками; каждый сидит в своей скорлупке, никто не хочет оказаться смешным или несчастным. Ты скорбишь о том возрасте, когда любовь не причиняла боли. В шестнадцать лет ты ухаживал за девчонками, бросал их (или они тебя бросали) и не маялся никакими особыми комплексами: раз-два и дело в шляпе. Так отчего же с годами все это приобретает такое значение? По логике вещей, должно быть наоборот: драмы в отрочестве, пустяки — после тридцати. Но, увы, так не получается. Чем ты старше, тем уязвимее. В тридцать три года все воспринимаешь всерьез.

Потом, вернувшись домой и налексомилившись, ты уже больше не грезишь. Ты в отключке; на несколько часов тебе, горемычному, удается позабыть Софи.

2

В понедельник утром ты тащишься в "Росс" на ватных ногах, размышляя по пути о неумолимом искусственном отборе Его Величества Маркетинга. Прежде у нас продавали до шестидесяти сортов яблок, ныне осталось только три — голден, зеленые и красные. Прежде кур выращивали три месяца, ныне яйцо и курицу на полке супермаркета разделяют всего 42 дня, и каких жутких 42 дня! 25 птиц на один квадратный метр, откорм антибиотиками и анксиолитиками[1]. До 70-х годов нормандские камамберы разделялись на 10 вкусовых категорий, ныне их максимум три из-за введения стандартов на стерилизованное молоко. Это, конечно, не твоих рук дело, но это твой мир. В кока-колу (10 миллиардов франков на рекламу в 1997 г.) больше не кладут кокаин, зато подмешивают фосфорную и

1. Анксиолитики — разновидность транквилизаторов.

лимонную кислоты, чтобы создать иллюзию утоления жажды и привыкание к этому напитку. Молочных коров откармливают специальным бродильным силосом, от которого у них развивается цирроз, и тоже напихивают антибиотиками, порождающими новые виды резистентных бактерий, что сохраняются и в говядине; я уж не говорю о костной муке, вызывающей коровье бешенство, — об этом достаточно много пишут в газетах. В молоке таких коров полно еще и диоксинов, которые они съедают вместе с травой. Разводимую в искусственных водоемах рыбу кормят рыбной мукой (такой же вредной для них, как костная мука для скота) и опять же антибиотиками... Зимой трансгенная клубника даже не замерзает благодаря гену, заимствованному от рыбы из северных морей. Генетики — большие умельцы! — скрещивают кур с картофелем, скорпионов с хлопком, морских свинок с табаком, табак с латуком, а человека с помидором.

Наряду с этим все больше тридцатилетних заболевают раком почек, матки, груди, прямой кишки, щитовидки, желудка, яичек, и врачи не знают причины этой напасти. Болеют даже малые дети: в больших городах резко возросло количество лейкемий, опухолей мозга и эпидемий бронхиальных заболеваний... Как считает профессор Люк Монтанье, появление СПИДа объясняется не только передачей вируса (который он сам и открыл), но еще и дополнительными факторами, "связанными с современной цивилизацией", а именно с загрязнением окружающей среды и питанием, которые, по его словам, ослабляют иммунитет и сопротивляемость организма. С каждым годом уменьшается количество спермы: под угрозой само существование рода человеческого.

И эта цивилизация зиждется на ложных желаниях, которые ты возбуждаешь и подогреваешь. Она обречена на гибель.

Там, где ты работаешь, циркулирует много разной информации; так, например, ты случайно узнаешь, что существуют сверхпрочные стиральные машины, которые, однако, не хочет выпускать ни один производитель; что какой-то тип изобрел нервущуюся нить для чулок, но крупная фирма колготок откупила у него патент и похерила его; что патент на "вечные" шины тоже спрятан в долгий ящик, и это при том, что ежегодно на дорогах гибнут тысячи людей; что нефтяное лобби делает все от него зависящее, дабы затормозить распространение электромобилей (ценой загрязнения атмосферы углекислым газом, влекущего за собой нагревание планеты — так называемый "парниковый эффект", который, скорее всего, и вызовет в ближайшие пятьдесят лет многочисленные природные катаклизмы и прочие беды — ураганы, таяние арктических льдов, повышение уровня моря, рак кожи, не считая нефтяных разливов); что даже зубная паста — совершенно бесполезный продукт, ибо зубам необходим только массаж щеткой, а паста всего лишь освежает дыхание; что все жидкости для мытья посуды абсолютно одинаковы, а главное, ее — посуду — отмывают вовсе не они, а машина; что компакт-диски так же непрочны, как обычные виниловые; что фольга гораздо вреднее асбеста; что состав кремов от солнца не менялся со времен Второй мировой войны (несмотря на возросшее число заболеваний меланомой), так как эти кремы защищают от безобидного ультрафиолета типа B, но не от вредного типа A; что рекламные кампании "Nestlé", нацеленные на сбыт порошкового молока для младенцев в странах третьего мира, повлекли за собой миллионы смертей, так как родители разводили его сырой водой.

Царство рынка зиждется на сбыте товаров, а твое ремесло состоит в том, чтобы убедить потребителя выбрать из этих товаров самый недолговечный. Промышленники называют это "программированием морального износа". А тебе приказано заткнуться и держать при себе свои переживания. Конечно, ты всегда сможешь заявить, как Морис Папон[1], что ничего не знал или что не мог поступать иначе, что пытался приостановить этот процесс, что вообще не обязан быть героем... Как бы то ни было, но за все десять лет ты ни разу не восстал против этой мерзости. Может, откажись ты от своей работы, дела пошли бы совсем иначе. Может, тогда вездесущая реклама, от которой уже тошнит, не уродовала бы мир, на дорогах не мелькала бы зазывная наружка, города обходились бы без фаст-фудов на каждом углу, а люди просто гуляли бы по улицам и разговаривали друг с другом. Жизнь вовсе не должна была получиться именно такой, как сейчас. И ты вовсе не хотел этого искусственного кошмара. И не ты произвел все эти немобильные автомобили (2,5 миллиарда тачек на планете к 2050 году). Однако ты и пальцем не шевельнул, чтобы изменить мир в лучшую сторону. Одна из десяти заповедей гласит: "Не делай себе кумира и никакого изображения... Не поклоняйся им и не служи им..." Но ты, как и все остальные, впал в этот смертный грех и теперь застигнут на месте преступления. Ну, а Божья кара давно известна — это ад, в котором ты живешь.

— У вас найдется для меня зазор, или вы овергружены?

Это Жан Франсуа, экаунт-менеджер, ведущий "Мадонну", всовывается к тебе в кабинет.

— Чарли занят с художниками, лучше загляни после обеда.

— О'кей, — говорит он, — но ты ж понимаешь, надо утрясти это дельце с "Мегрелет". Умаслить начальство.

— Ах да, обольщение — это же наше всё! Нет на земле ничего, кроме обольщения, единственного двигателя прогресса!

Он смотрит на тебя как на полного психа.

— Скажи-ка, ты уверен, что хорошенько отдохнул за выходные?

— Я, верный клеврет Общества Показухи, полон кипучей энергии и готов к новым свершениям. Вперед, друзья, к четвертому рейху!

Жан Франсуа подходит ближе и всматривается в кончик твоего носа.

— У тебя тут что-то белое.

Он смахивает краешком рукава остатки порошка с твоего руля и продолжает:

— Мне сейчас надо выскочить на деловую встречу, но ты всегда сможешь достать меня по мобильнику.

— М-м-м, Джеф! Обожаю доставать тебя по мобильнику!

Вскоре возвращается Чарли и садится напротив меня. Чарли — мой оплот и утешение: он настолько же крепок, насколько сам я хил и убог. Чарли — счастливчик или умело изображает такового. У него жена и двое детей, он смотрит на жизнь бодро и весело — каждый из нас по-своему сопротивляется всеобщему абсурду. Чарли прощает тебе все твои закидоны. Ты любишь Чарли, ибо он буквально во всем — твой антипод. Чарли покуривает травку, а ты глушишь себя коксом. Он проводит дни за просмотром самых похабных порнушек, какие только можно нарыть в Интернете: к примеру, женщина делает минет коню; мужик прикола-

1. Морис Папон — француз, сотрудничавший с гитлеровцами во время Второй мировой войны и осужденный в 90-х годах на пожизненное заключение.

чивает к доске свои яйца; тучная дама ублажает себя пластмассовым членом; он находит этот жанр "развлекательным".

— Чарли, ты когда-нибудь видел "The Grind" по телику? Мне кажется, из этой "несентиментальной" толпы, из этого озверевшего поганого стада можно кое-что сляпать. Эдакая пространственная эстетика...

Чарли кивает, скручивая себе очередную "петарду":

— Да, передачка не из нормальных. Что, если предложить "Мегрелет" проспонсировать ее? А для рекламы выбрать фрагментики секунд на двадцать и поставить логотип "Мегрелет" сверху в правом углу, вместо MTV...

— Шикарно придумано! Воображаю, как эти крутые парни и девки выплясывают на канале "Мегрелет-TV"! А можно сунуть это и на CNN! И потом ретранслировать во время вечерних новостных передач как совместный бренд "Grind-Мегрелет"!

— Точно! А поскольку передачи идут в разное время, можно каждый день выдавать разные отрывки: это будет первая телереклама без повторов!

— Отличная идея! Пресса точно на нее западет! Распиши-ка все это и сделай проект раскрутки.

— О'кей, но только как мы вставим туда титр "'МЕГРЕЛЕТ' СДЕЛАЕТ ВАС КРАСИВЫМ И УМНЫМ"?

— Я уже придумал. Вот слушай: на экране сотни парней и девок выплясывают на лужайке возле огромного бассейна, под ярко-синим небом. И вдруг, через двадцать секунд, появляется фраза: "'МЕГРЕЛЕТ' СДЕЛАЛ ИХ КРАСИВЫМИ, НО ЭТО НЕ ВСЕ: ВЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ, КАК ОНИ ГОВОРЯТ!"

— Октав, ты гений!

— Нет, Чарли, мне до тебя далеко!

— Я знаю, что ты гений!

— А я знаю, что мне до тебя далеко.

— Дай я тебя поцелую!

— Я в восторге от того, что ты делаешь!

— А я в восторге от ТЕБЯ самого!

На самом деле и то и другое вранье; ты принимаешься кропать новый скрипт, а Чарли разыскивает в сети новую порнуху (какой-то тип напялил искусственный член на электродрель и собирается всадить его в девчонку-подростка, которая тем временем сосет свой не единожды использованный тампон. Хорошенькое развлечение!).

На следующий день ты предъявляешь свою стряпню Марронье, который важно кивает (что вполне нормально: он наш отец, мы его дети):

— Это, конечно, тоже не купят, но если вас это греет, валяйте трудитесь дальше. Я прошу тебя, Октав, только об одном: не оставляй больше свои граффити в духе Чарльза Мэнсона[1] на стенах у нашей любимой клиентуры.

Позже ты связываешься по своему "трубешнику" с Жаном Франсуа:

— Слушай, Джеф, у меня для тебя кое-что наклевывается.

— Юпика!

(Это у нас такой гибрид из слов "youpi"[2] и "эврика").

1. Глава "семьи хиппи", промышлявший наркотиками и совершивший в 70-х годах ряд кровавых ритуальных убийств; среди его жертв — американская кинозвезда Шарон Тейт и ее друзья. В доме, где было совершено это преступление, на стенах остались сделанные кровью надписи "Pigs".
2. Здорово! (*франц.*)

— Но нам понадобится недели три для доработки.

Гробовое молчание на другом конце провода беспроводной связи. Затем:

— Парни, да вы что, рехнулись? Я должен представить им проект уже на следующей неделе!

— Ну, дней пятнадцать.

— Десять!

— Двенадцать!

— Одиннадцать!

— Значит, так: посылаем в "Мадонну" видеозапись передачи сегодня же днем, — командует Чарли. — Они так обалдеют от нашей сверхзвуковой скорости, что купят не глядя.

Жан Франсуа важно заявляет, что "это перспективное предложение может стать краеугольным камнем будущего проекта" (конец цитаты). Ты мысленно аплодируешь. Принято считать, что креаторы презирают "экаунт-менеджеров", и наоборот. Но это неправда: мы нуждаемся друг в друге, а в нашей лавочке любят только тех, в ком нуждаются, со всеми же остальными сводят знакомство лишь на "отвальной" пьянке. Чарли — молодец, держит фасон. Да и вообще, когда Чарли начинает командовать, ему никто не перечит.

3

Софи ушла от тебя так просто, как обычно приходят.

Теперь ты обедаешь в одиночестве.

Раньше у тебя была куча друзей, теперь никого нету.

Это означает, что их и не было никогда.

Ты пьешь, и твой пиджак насквозь пропах раклетом[1].

Оч-чень мило, да!

"Позволь мне бросить тебя, позволь мне уйти, позволь снова быть молодым и свободным подонком", — вот что ты сказал ей.

Ты выходишь на улицу без очков, чтобы не видеть дальше собственного носа.

Близорукость — твоя последняя роскошь. Все вокруг волшебно расплывается, прямо как в рекламном клипе.

Все поверхностно и зыбко.

Держись, старик! Где твоя улыбка?

Ты ведь взобрался на самый верх общества потребления и на самый пик общества коммуникаций.

В ресторанах ты заказываешь суши из гусиной печенки с перцем по сычуаньски и чатни под соусом из телячьего бульона сои и душистого уксуса.

Тебе мило улыбается вон та девица.

Ей не узнать вовек, что ты готов влюбиться.

Фу-ты ну-ты!

Какие чудные минуты!

Навалившись на стойку бара, ты мечтаешь о новых женщинах. Тебе понадобилась масса времени, чтобы узнать, чего ты хочешь в этой жизни: одиночества, тишины, выпивки, книг, "дури", писательства и, изред-

1. Сорт пахучего сыра.

ка, красивой девки в постели – девки, которую ты потом никогда больше не увидишь.

Итак, настал час, когда креаторы отдаются со́скам. Проходя по Булонскому лесу, ты делаешь привал и оплачиваешь минет без резинки. Двадцать минут спустя ты уже в агентстве.

– Увольте меня!

Ты орешь как ненормальный, стоя посреди холла "Росса", но никто тебя не слушает.

– Увольте меня!

Несколько стажеров гогочут, тыча в тебя пальцами; наверно, думают, что ты шутишь, и пользуются случаем, чтобы подмазаться, восторгаясь твоими патетическими воплями.

– Увольте меня!

Но в этой пустыне никто твоих криков не слышит. И вдруг до тебя доходит, над чем они все потешаются: ширинка твоих белых джинсов запачкана губной помадой.

Твои слоганы ежедневно звучат с телеэкрана: "НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ, ПОВТОРЯЙТЕ!"; "ЧТО ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ШАМПАНСКОГО 'KRUG'?!"; "'ДУШОК' – ЗАПАХ, КОТОРЫЙ ТАК НРАВИТСЯ ПРЕЗИРАТЬ!"; "РАДИО 'NOVA' ВСЕГДА НОВО!"; "'KENZO-JUNGLE': ПОПРОБУЙТЕ СБЛИЗИТЬСЯ!"; "ВИАГРА: СКАЖИ СЛАБОСТИ 'НЕТ!'"; "'ЕВРОСТАР' – ЗАЧЕМ ЛЕТЕТЬ ИЗ РУАССИ В ХИТРОУ, КОГДА МОЖНО ЕХАТЬ ИЗ ПАРИЖА В ЛОНДОН?!"; "'CANDEREL' – И ТЫ КРАСИВА, "CANDEREL" – И ТЫ СТРОЙНА, "CANDEREL" – И ТЫ ИГРИВА, ТОЧНО РАННЯЯ ВЕСНА!"[1]; "'BOUIGUES TELECOM'! БУДУЩЕЕ ЗАКАЗЫВАЛИ? НЕ КЛАДИТЕ ТРУБКУ!"; "'LACOSTE': БУДЕМ ЭЛЕГАНТНЫ, КАК НАШИ РОДИТЕЛИ!"; "'CHANEL' НОМЕР ПЯТЬ: И ПРЕЖДЕ И ОПЯТЬ!"

– Увольте меня!

Тебе хочется разлечься на зеленой траве и лить слезы, глядя в небо. Реклама – виновница того, что народ выбрал себе в вожди Гитлера. Реклама призвана убеждать граждан, что ситуация нормальна, когда она катастрофически ненормальна. Словно ночные сторожа в Средние века, она постоянно кричит: "Спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина́ – и жизнь полна, 'Май'-горчица всем сгодится, Радио 'Nova' всегда ново, 'Mini-Prix' – ваш друг – максимум услуг! Спите спокойно, добрые люди!" Все несчастны в современном мире – об этом нас предупреждал еще Шарль Пеги[2]. И говорил сущую правду: безработные несчастны без работы, работающие несчастны от ее избытка. Спите спокойно, а от бессонницы глотайте прозак. И главное, не надо лишних вопросов. Hier ist kein warum![3]

Нужно признать, что все происходящее на нашей планете не столь уж важно в масштабах Вселенной. И то, что написано одним землянином, будет прочитано всего лишь другим таким же землянином. Возможно даже, что соседним галактикам наплевать на то, что годовой оборот компании "Microsoft" равен валово́му доходу всей Бельгии, а личное состояние Билла Гейтса оценивается в 100 миллиардов долларов. Ты усердно трудишься, ты привязываешься к каким-то людям, к каким-то

1. Заменитель сахара.
2. Шарль Пеги (1873–1914) – французский писатель, поэт, публицист.
3. Никаких "почему"! (*нем.*)

пейзажам, ты суетишься вовсю на этом круглом булыжнике, летящем в черном пространстве Вселенной. Но тебе не мешало бы и поумерить свои амбиции. Вспомни: ты всего лишь ничтожный микроб. Существует ли достаточно эффективный "Baygon"[1] против вредных насекомых вроде тебя?

Отныне ты слушаешь только диски самоубийц – "Nirvana", INXS, Joy Division, Mike Brant. Ты чувствуешь себя древним старцем, ибо тебе нравятся допотопные виниловые пластинки (30 см в диаметре). Во Франции происходит 12 000 самоубийств в год, то есть больше одного самоубийства в час: один час чтения этой вот книжонки – и готов покойник. А два часа (это если вы читаете медленно) – уже пара покойников. Ну и так далее. 24 добровольных жмурика в день. 168 сознательных уходов из жизни в неделю. 1 000 желанных смертей каждый месяц. Настоящая бойня – под покровом всеобщего молчания. Франция – это сплошная гигантская секта Храма Солнца. По данным "Sofres"[2], 13 процентов взрослых французов "уже серьезно обдумывали возможность самоубийства".

Каждое утро ты прослушиваешь три автоответчика – у себя дома, в конторе и на мобильнике, плюс e-mail на твоем "макинтоше". Один только почтовый ящик вечно и безнадежно пуст. Ты больше не получаешь любовных писем. И никогда больше тебе не прочесть листочков, нацарапанных робким почерком, влажных от слез, благоухающих любовью, с трепетом вложенных в конверт, где тщательно выписан адрес и призыв к почтальону: "Не заплутайся в пути, милый почтальон, доставь это послание моему обожаемому адресату!.." Люди кончают самоубийством оттого, что получают по почте одну рекламу.

Ты уступаешь соблазну УФ. Стоит тебе впасть в депрессию – а ты пребываешь в ней постоянно, – как ты ублажаешь себя ультрафиолетом. В результате, чем сильнее ты хандришь, тем больше загораешь. Печаль придает тебе здоровый вид. Отчаяние равно солнечному удару. Кто догадается, что ты несчастлив? Твое бронзовое лицо сияет, как медный таз. Думаешь, загар омолаживает? – дудки, все как раз наоборот: стариков распознают именно по этому несходящему коричневому налету. В наши дни только у старперов достаточно времени на то, чтобы золотить свою пилюлю. У молодежи бледные унылые физиономии, а стариканы, все как один, загорелые и веселые – еще бы, пенсии-то им капают с наших трудов! Походить на Жака Сегела – ты этого добиваешься? Берегись – в конце концов ультрафиолетовые лучи поджарят тебя не хуже адских угольев.

Это было в угаре, в садах лупанара[3]. Всему виной проклятый кокс. Если бы не он, ты много чего не натворил бы – например, не прогнал бы Софи, не щеголял бы этими дурацкими каламбурами. На кокс можно списать все на свете. Набирая свой романчик на компьютере, ты воображаешь себя отважным лазутчиком, внедрившимся в самое сердце системы, дабы следить за работой машины, отравляющей наши души. (В конце концов, разве ЦРУ – не такое же агентство?) Наемник и разведчик в одном лице, ты собираешь сверхсекретную информацию, записывая ее на

1. Марка инсектицида.
2. Центр изучения общественных проблем во Франции.
3. Намек на первую фразу из романа Г. Флобера "Саламбо": "Это было в Мегаре, в садах Гамилькара".

дискеты. Если тебя когда-нибудь заловят, то будут пытать до тех пор, пока ты не выдашь все свои микрофильмы. Но ты не расколешься, ты все свалишь на наркоту. А если тебя проведут через детектор лжи, ты поклянешься всеми святыми, что участвовал в этой гнусной авантюре лишь как... часовой.

Каждое утро ты натыкаешься в своем подъезде на клошара, как две капли воды похожего на тебя самого. Такой же тощий, долговязый, бледный, с впалыми щеками. Да, это ты, вылитый ты, только заросший щетиной, немытый, в лохмотьях, воняющий помойкой, с серьгой в ноздре, без гроша в кармане, дышащий перегаром; ты в будущем, когда повернется колесо Фортуны и тебе придется ночевать на вентиляционной решетке метро, со стертыми до крови ногами. Время от времени он орет во всю глотку: "КТО СЕЕТ ВЕТЕР, ПОЖНЕТ БУРЮ!", потом снова засыпает.

Ты проводишь все ночи напролет перед своей "PlayStation". За 189 франков (включая все сборы) ты вступил в клуб "PlayStation". Семь раз в году тебе бесплатно присылают CD с демонстрационными версиями, призывами к дальнейшим покупкам и вопросником, позволяющим фирме "Sony" выяснить количество и динамику твоих приобретений, покупательную способность и степень удовлетворенности товаром на основе твоих собственных непредвзятых оценок.

Долгими часами ты бродишь по супермаркету, улыбаясь камерам слежения. Вот, кстати, еще одна информация, которую ты почерпнул у себя на работе: скоро эти штуки будут служить не только для задержания клептоманов. Инфракрасные Web-камеры, скрытые в подвесных потолках и подключенные к центральному компьютеру, позволят дистрибьюторам узнать ваши пристрастия и привычки, фиксируя магнитные коды покупок с тем, чтобы предлагать вам скидки, заставлять дегустировать новые продукты и по радио направлять к полкам с вашими излюбленными товарами. Скоро вам и вовсе не понадобится ходить в магазин: маркетологи и так разведают ваши вкусы, подключив ваш холодильник к Интернету, и доставят все нужное прямо на дом; таким образом, жизнь ваша будет целиком расписана и включена в процесс глобальной индустриализации. Восхитительно, не правда ли? А ну-ка, мальчик, поздоровайся с камерой, это твоя единственная подружка!

Сегодня ты получил по почте плотный коричневый конверт. Значит, рано отчаиваться: кто-то тебе все-таки пишет. Распечатав его, ты находишь странный лазерный черно-белый снимок с небрежно набросанными загадочными буквами и цифрами: "43 5.0 bg 4 fr 15 pse 12 rj 33 gm f 2, alr 1 i/1 ml dr 55"; наверху слева указаны дата и час. Ты недоумеваешь. Наконец среди белых пятен на сером фоне тебе удается различить пристальный глаз какого-то внеземного существа, две руки, зачатки носа, а рядом что-то похожее на ухо... Ты смутно догадываешься, что перед тобой эхограмма, напоминающая абстрактную картину. К снимку приложен клочок бумаги, на котором написано от руки: "Это твоя дочь, которую ты видишь первый и последний раз. Софи".

4

Вот уже несколько дней, как ты никого из них не встречал. Сегодня Жан Франсуа вносит в твой кабинет свою депрессию.

– У меня скверный feedback[1] от заказчика. Альфред Дюлер просмотрел запись с "Grind", позвонил мне и объявил, что там слишком много цветных. Вот его точные слова – цитирую: "Я, конечно, не расист, но чернокожие составляют весьма незначительный сегмент рынка, а мы должны делать ставку на коренных французских потребителей. Не моя вина, что наш продукт – белый и для его сбыта нужно показывать белых людей; повторяю: это не расизм, но мы, черт подери, не производим черных йогуртов! Вот когда разработаем гамму шоколадных "Мегрелет", тогда и будем демонстрировать негров". По-моему, ассистенты хихикали, когда он это излагал. Но стоило ему пригрозить, что он снова выставит заказ на тендер, как им стало не до смеха.

– Слушай, не бери в голову, расслабься. Этот вонючий фашист – просто жалкая посредственность. Тебе бы следовало напомнить ему, что он выпускает "Мегрелет" с диоксинами... И что для рекламы такого продукта вообще нужны бесформенные, оплывшие, прыщавые толстухи, отравленные его знаменитыми йогуртами.

В глубине души ты ликуешь: угробить один из самых жирных заказов агентства – да это просто королевское решение проблемы, наконец-то Бог услышал твои молитвы и уготовил тебе рай оплаченного безделья, бессрочный отпуск за государственный счет... Однако Жан Франсуа вовсе не желает оказаться на улице. Он смотрит на эту ситуацию другими глазами: его отнюдь не программировали для жизни на улице. Он окончил частную коммерческую школу для папенькиных сынков, женился на скучной чистюле, пятнадцать лет безропотно терпел издевательства и оскорбления своих шефов и клиентов, лишь бы взять кредит в "Сосьете женераль" и купить наконец трехкомнатную квартиру в Леваллуа-Перре. Какие у него в жизни радости? Только одна: слушать оригинальные записи "Titanic". Он даже не подозревает, что возможен какой-то иной способ существования. Он никогда не полагается на случай, его бытие течет по раз и навсегда намеченному курсу. И если "Мадонна" расплюется с нашим агентством, ему от этого удара не оправиться. Он чуть не плачет: такой финт не предусмотрен в планах его карьеры. Впервые со дня своего появления на свет он терзается сомнениями. Эдак, глядишь, и человеком станет... почти!

– Я прекрасно знаю, что Дюлер – сволочь и фашист, – лепечет он, – но этот фашист тянет на 80 тысяч франков!

Тут ты начинаешь его любить. В конце концов, это именно он несколько дней назад смахнул с твоего носа кокаин.

– Не дергайся, – слышишь ты собственный голос. – Мы с Чарли тебе подмогнем, верно, Чарли?

– Ага! Я думаю, пора объявлять готовность номер один.

В приотворенную дверь просовывается голова Марка Марронье.

– Эй, парни, что это вы приуныли, как будто работаете на Россериса и Уичкрафта, вместе взятых... Ку-ку!

И он хлопает себя по лбу.

– Дурак я, дурак! Вы же и вправду на них работаете!

1. Букв.: обратная связь (*англ.*).

– Кончай базар, Марк! – стонет Джеф. – Мы тут по уши в дерьме из-за "Мегрелет".

– Да-а-а!.. Тяжелы они, эти фабриканты легких продуктов...

И Марк бросает на тебя соболезнующий взгляд (он со-болезнует, то есть смотрит как больной на больного).

– Октав, Чарли, – спрашивает он, – а не пора ли вам задействовать план ORSEC[1]?

– Они уже объявили готовность номер один, – сообщает Джеф. – Только я не пойму, в чем тут фишка.

И тут Чарли приступает к своему коронному номеру. Воздев руки и глядя в потолок, он делает глубокий вдох и шумный выдох, как будто собрался толкнуть речь (или прихлопнуть какую-нибудь симпатичную букашку), выдерживает театральную паузу и последний раз смотрит на Марронье:

– Ну что, шеф? Даете зеленый свет?

Шеф величаво кивает и выходит из комнаты, где тут же воцаряется благоговейная, почти дзеновская тишина. Чарли медленно поворачивается к тебе и произносит заветный приказ:

– Говномет к бою!

– Есть, командир!

И прямо на глазах у Жана Франсуа, ровно за одну минуту, вы с Чарли сочиняете рекламу – хрустальную мечту всех рекламодателей, чарующую, невинную и лживую насквозь, – для блеющего стада потребителей (ибо генетика уже достигла таких высот, что и людей можно заставить блеять, как баранов).

Затем ты громко оглашаешь сей шедевр:

– "Очаровательная БЕЛАЯ женщина (не старая и не молодая), шатенка (не блондинка и не брюнетка) сидит на террасе живописного сельского домика, декорированного в стиле "Южный берег" (уютного, но скромного), в кресле-качалке (не слишком дорогом и не слишком убогом). Она смотрит в камеру и восклицает (умильным, но естественным голосом): "Я КРАСИВА? ДА, ТАК ГОВОРЯТ. НО САМА Я НЕ ЗАДАЮСЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ. Я – ЭТО ПРОСТО Я". Спокойным жестом (не сексуальным и не манерным) она берет со стола баночку "Мегрелет", бережно (не слишком быстро и не слишком медленно) открывает ее и кладет в рот ложечку йогурта (не слишком полную, но и не совсем пустую). Потом, закрыв глаза от удовольствия, смакует продукт (минимум две секунды). Вслед за чем произносит остальной текст, глядя прямо в глаза телезрителям: "МОЙ СЕКРЕТ – 'МЕГРЕЛЕТ', ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ЙОГУРТ. С КАЛЬЦИЕМ, ВИТАМИНАМИ И ПРОТЕИНАМИ. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ФОРМЫ НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ!" Она встает (грациозно, но не слишком) и заключает с лукавой (но не слишком) улыбкой: "ВОТ МОЙ СЕКРЕТ. НО ТЕПЕРЬ ЭТО УЖЕ НЕ СЕКРЕТ, РАЗ Я ПОДЕЛИЛАСЬ ИМ С ВАМИ, ХА-ХА-ХА!" И она разражается игривым (но в меру) смехом. Далее на экране возникает packshot (минимум на пять секунд) со следующим титром: "'МЕГРЕЛЕТ' – ЧТОБ СТАТЬ СТРОЙНЕЕ И ПРИТОМ ВДВОЙНЕ УМНЕЕ!"

Жан Франсуа в один миг перешел от отчаяния к эйфории: ей-богу, этому парню следовало бы поступить в Школу драматического искусства,

1. Программа помощи при чрезвычайных обстоятельствах (в случаях стихийных бедствий и других крупных катастроф).

на отделение мимов-циклотимиков[1]. Он пылко лобызает нам руки и ноги, не говоря уж о губах.

— Друзья, вы спасли мне жизнь!

— Ладно, ладно, только без фамильярностей, — бурчит Чарли, который уже вперился в экран своего компьютера, где какой-то мужик предается содомии с угрем.

И тут ты наконец понимаешь, какого дурака свалял:

— Твою мать, значит, теперь меня не выгонят! За этот спот Филипп меня озолотит и оставит в покое еще лет на десять. Мы же опять вставили этой гребаной "Мадонне"!

Но за Чарли всегда остается последнее слово:

— Можешь сколько угодно кричать, что ты им вставил, но в глубине души ты прекрасно знаешь, что это они вставили тебе.

Окрыленный Жан Франсуа уходит, зажав под мышкой свой говенный скрипт. Сцена сия разворачивалась в начале третьего тысячелетия после Рождества Христова (Иисус Христос — лучший в мире рекламист, автор многочисленных бессмертных слоганов, как-то: "ВОЗЛЮБИТЕ БЛИЖНЕГО СВОЕГО", "ПРИИМИТЕ, ЯДИТЕ, СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ", "ПРОСТИТЕ ИМ, ИБО НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ", "И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ", "В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО"... ах, нет, пардон, это сказал его папаша.

5

Хороший кокс продается по сто евро за грамм. Цена завышена специально, ради драгоценного здоровья богачей, тогда как беднота травит себя низкосортным "Рикаром"[2].

Ты звонишь Тамаре, своей любимой call-girl[3]. Ее автоответчик откликается сладеньким голоском: "Если вы хотите пригласить меня выпить, нажмите кнопку номер один. Если хотите пригласить поужинать, нажмите кнопку номер два. А если хотите жениться на мне, положите, пожалуйста, трубку". Ты оставляешь свой прямой рабочий номер, сопроводив его призывом: "Вспомни обо мне, ты должна развеселить меня, это срочно, твои плечи нежны, как яйцо всмятку, я жажду окунуться в эту нежность! Октав". У нее лицо, от которого трудно оторвать взгляд.

Загадка: у кого душистая кожа, фигура мексиканки и малайские глаза? Ответ: у берберочки, чье настоящее имя вовсе не Тамара. Вечером она приходит к тебе. Ты попросил ее надушиться "Наваждением" — духами Софи.

У нее голос с хрипотцой, тонкие пальцы, смешанная кровь. Женственное тело состоит из множества элементов, отнюдь не лишенных приятности: смуглые хрупкие щиколотки, покрытые лаком ногти на ногах, ямочки повсюду (в частности, на щеках и над ягодицами), зубы, ослепительно сверкающие между пунцовыми губками, соблазнительные изгибы (в районе икр и талии), розовая кожа всевозможных оттенков (на скулах, коленях, пятках и между ног), однако внутренняя сторона рук остается белоснежной — и нежной, как чувство, которое они вызывают.

Да, то были времена, когда даже нежность шла на продажу.

1. Циклотимик (*мед.*) — больной, страдающий легкой формой маниакально-депрессивного психоза.
2. Анисовая водка.
3. Девушка по вызову (*англ.*).

Тамара — проститутка, с которой ты не спишь. На ее мини-юбочке написано "LICK ME TILL I SCREAM"[1], но ты довольствуешься тем, что лижешь ей ухо (она этого терпеть не может). За 250 евро она проводит у клиента всю ночь. Прежде вы вместе слушали пластинки: группы "Il etait une fois", "Moody Blues", "Massive Attack". Ты готов отстегнуть сколько угодно за один тот миг, когда ваши губы сольются, точно два магнита. Ты не хочешь спать с ней, тебе нужно только касаться ее, испытывать ее внеземное притяжение. Любовники — это магниты. Ты не хочешь надевать презерватив, проникая в Тамару. Вот почему вы никогда не занимаетесь любовью по-настоящему. Вначале она никак не могла понять этого странного клиента, которому было достаточно сплести свой язык с ее собственным. А потом и она вошла во вкус, и теперь ей нравятся твои зубы, покусывающие ее рот, струйки твоей слюны с запахом водки, и вот уже ее язык сам пробирается к твоей гортани, складывается трубочкой, принимает в себя жесткий напористый таран твоего языка, который лижет ей щеки, шею, веки... сладость, стоны, учащенное дыхание, щекочущее вожделение... Стоп! Ты прерываешься, чтобы улыбнуться ей, в каком-то сантиметре от ее лица, заставить себя выждать, снова насладиться, снова притормозить, и так без конца. Назовем вещи своими именами: соитие языков иногда бывает много прекраснее просто соития.

— Обожаю твои волосы!

— Это парик.

— Обожаю твои голубые глаза!

— Это линзы.

— Обожаю твои груди!

— Это "Wonderbra".

— Обожаю твои ноги!

— Ну слава богу, хоть один заслуженный комплимент!

И Тамара хохочет.

— Ты мне устраиваешь такой кайф!..

— Это молодежное выражение, означающее, что ты счастлива?

— В эту самую минуту — да.

— А я знаю, что ты в эту самую минуту притворяешься.

— Во-первых, если я работаю за деньги, это еще не значит, что я притворяюсь. Тут нет никакой связи. А во-вторых, да, я счастлива, если учесть, что зарабатываю десять штук в месяц наличными.

— Значит, счастье все-таки в деньгах?

— Совсем нет, просто я откладываю достаточно, чтобы купить дом и вырастить моего ребенка.

— Какая жалость! Мне так хотелось бы сделать тебя несчастной.

— Я никогда не бываю несчастной, если мне платят.

— А я наоборот: плачу тебе, чтобы не быть несчастным.

— Ладно, поцелуй меня еще сюда, сегодня я тебе сделаю десятипроцентную скидку.

И она снимает "верх". На талии у нее поблескивает тоненькая золотая цепочка. Над правой грудью вытатуирована роза.

— Это настоящая татуировка или переводная?

— Самая настоящая, можешь полизать, она не сойдет.

Еще несколько магнитных бурь, после чего ты снимаешь Тамару цифровой камерой, одновременно интервьюируя ее:

— Скажи мне, Тамара, ты и правда хочешь стать актрисой, или это шутка?

1. Лижи меня, пока я не закричу (*англ.*). Конец фразы созвучен слову "ice-cream" (мороженое).

— Это моя мечта, я мечтаю освоить актерское ремесло... наряду с этим.

— А почему ты не стала моделью?

— Да я и работаю моделью — в дневное время. Как почти все девчонки из "Хмель-бара". Бегаю по кастингам все свободное время. Но сейчас так много девушек и так мало работы; нужно наизнанку вывернуться, чтобы заколотить побольше...

— Нет, я тебя спросил, потому что... ну, в общем, слушай: мне хочется предложить твою кандидатуру для следующей рекламы "Мегрелет".

— О'кей, за это я тебе сегодня сделаю бесплатный минет.

— Даже и не думай! Неужели ты еще не усекла, что перед тобой новый Робин Гуд?

— Это как понимать?

— Очень даже просто: я отнимаю у богатых, чтобы раздавать девкам.

Да, бывали вечера, когда ты раскошеливался на три куска только для того, чтобы целоваться с нею на улице, под дождем, и удовольствие того стоило. Черт подери, еще как стоило!

6

Спустя десять дней в агентстве назначают PPM[1] (произносится "пи-пи-эм"). Саммит в полном смысле этого слова. Тишина такая, что даже мух не слышно: еще бы, они знают, что, попавшись, рискуют подвергнуться безжалостной содомии. От "Мадонны" явился сам Альфред Дюлер и троица его отважных мушкетеров; наш "Росс" представляют пара менеджеров, дама-телепродюсер и двое креаторов (мы с Чарли); здесь же приглашенный режиссер по имени Энрике Курдюкул, а с ним целая свита — его парижский продюсер, его депрессивная стилистка, его художник-англичанин и его финдиректриса с "ушитым" лицом. Чарли заключил со мной пари: первый из нас, кто произнесет слова "анксиогенный" и "миноризировать", выигрывает обед в "Апиции". Первой слово берет продюсерша:

— Решения, выработанные на совещании двенадцатого числа, были подвергнуты модификациям. Мы ждем других кастингов, но Энрике в целом одобряет проект вашего агентства. Итак, сейчас мы покажем вам кассету.

Как это всегда бывает на таких важных сборищах, видак барахлит, и никто из присутствующих не может с ним сладить. Приходится вызывать умельца со стороны, ибо четырнадцать человек, сидящих в зале и получающих вместе 6 720 000 франков (более миллиона евро) в год, не способны включить технику, с которой шестилетний ребенок справился бы одной левой, с закрытыми глазами. В ожидании спасителя, умеющего нажимать кнопку "play", режиссер перечитывает вслух свой проект.

— Нэ нада, стобы дэвуска был слиском красиви, пусть будэт просто молодой, свежи и симпатисни.

Энрике Курдюкул начинал как фотограф в гламурном журнале, после чего стал звездой эстетского рекламного ролика в оранжевых тонах.

1. Pre-Production-Meeting — совещание перед началом съемок фильма (*англ.*).

Он тщательно культивирует свой венесуэльский акцент, ибо эта экзотическая нотка и есть главный залог его успеха (полтыщи других — безработных — режиссеров умеют снимать не хуже его, то есть пользоваться кучей фильтров, делать "смазки" и озвучку в стиле трип-хоп, но они никому не нужны, поскольку их не зовут Энрике Курдюкул).

— Мнэ осень-осень нравится, сто марку видно с первого зе кадра. Está muy muy importante[1]. Но я сситаю, сто нада оставлять и свобода творсества для актриса.

Его выбрали потому, что Джо Питка был занят, а Жан-Батист Мондино отказался. Все прилежно, как первоклашки, водят пальцами по ксерокопиям его текста. Внезапно без стука входит рабочий в синей спецовке; крякнув, он в один момент включает нам видак.

— Спасибо, Жеже, — говорит Джеф, — что бы мы без тебя делали?!

— Сидели бы в дерьме, — ответствует Жеже, покидая комнату.

Джеф принужденно смеется:

— Ха-ха, уж этот Жеже!.. Ну ладно, давайте смотреть наш кастинг.

И вот четырнадцать "сидящих в дерьме" видят на экране прелестную Тамару, обнаженную по пояс, в черном бюстгальтере от "Wonderbra"; она смотрит прямо в камеру и, покусывая губы, возглашает: "Это моя мечта, я мечтаю заниматься актерским делом... наряду с этим. Бегаю по кастингам все свободное время. Но сейчас так много девушек и так мало работы..." (стоп).

Ты торопливо берешь слово и сообщаешь, что речь идет о любительском кастинге, о случайной съемке исключительно интересной модели, с которой завтра же созвонятся, чтобы сделать настоящие пробы.

Альфред Дюлер спрашивает, возможно ли отретушировать картинку после съемок, чтобы чуть высветлить тон кожи модели.

— Ну разумеется, нет проблем. Мы из нее сделаем чистокровную француженку.

Дюлеровская директриса по рекламе, жирная колбаса в костюмчике от "Zara", первый и последний раз открывает рот, чтобы изречь:

— Главное — пробудить желание.

Потрясающе! Вы только гляньте на всех этих баб, которых никто не трахает и которые тем не менее вкалывают с утра до ночи, чтобы пробуждать желание у миллионов потребителей!

Продюсерша заносит в свой блокнот: "ОК Тамара — отзвонить и высветлить лицо".

Альфред Дюлер продолжает:

— Я хотел бы добавить, что мы счастливы сотрудничать с Энрике, звездой нашей рекламы, ведь всем известно, какой это замечательный мастер видеоряда.

(Синхронный перевод: "Мы выбрали послушного режиссера, который не изменит ни слова в нашем сценарии".)

— Да, Энрике, я оценил твое замечание насчет марки товара. Все мы отлично понимаем, что у нас тут не клуб любителей поэзии. Главное, чтобы клиент с первого же кадра увидел на экране логотип "Мегрелет".

— Si, si! Я намэрен делать осень-осень ярки packshot.

— Именно так! — подхватывает Джеф. — В целом фильм будет залит солнцем, но солнцем, так сказать, clean — непорочным.

Тут берет слово стилистка:

1. Это очень-очень важно (*исп.*).

— Я думаю, все должно получиться прекрасно, лишь бы костюмы не выглядели уныло.

И она трясет перед нами какими-то пестрыми майками.

— Можно подобрать в этом духе — яркие, светящиеся.

— Конечно, — отвечает один из бренд-менеджеров, чтобы оправдать свое присутствие на этом PPM (а заодно и в самой фирме "Мадонна"), — разумеется, но нам нужен "внесезонный" стиль, ведь мы будем демонстрировать ролик в течение всего года.

— Возвращаясь к тому, что прозвучало на собрании двенадцатого числа, — добавляет финдиректриса, чья задача: контролировать выход рекламной продукции, оплачиваемой "Мадонной", критиковать все подряд и снижать затраты (все, кроме своей зарплаты), — я бы советовала сделать фильм чуть более раскованным, пикантным.

— Несомненно, — заверяет Джеф, — мы ведь именно так и решили двенадцатого!

Вы только послушайте, как упоенно они токуют — ну прямо тетерева в брачный период! Стилистка стала краснее своих маек.

— Я принесла также вот эту рубашку...

Все дружно критикуют рубашку — до тех пор, пока не замечают, что их заказчик носит точно такую же.

— Послушайте, — говорит Чарли, — у нас есть общий контракт, но ведь мы можем позволить себе некоторые варианты при съемках, верно?

Взгляды всех присутствующих обращаются к Альфреду Дюлеру-Большой-Вэкакашке.

— Я должен вам напомнить, что авторские права на сценарий принадлежат "Мадонне", и если при монтаже мы обнаружим изменения, то не возьмем фильм. Нас связывает с вами четкий контракт, и в этом пункте я буду тверд.

— Ну конечно, конечно, — испуганно блеет Джеф, — наше агентство обязуется включить в ролик все, что мы вам сегодня показали.

И так без конца, час за часом. Близится вечер. А ты сидишь и протоколируешь их бредятину усердно, как служебный секретарь — летописец современного кошмара. Ибо данное собрание — отнюдь не мелочь в истории Третьей мировой войны.

— Добавить в сценарий наречие "жадно". Это совершенно необходимо.

— А нужны ли нам все тридцать секунд? Разве нельзя поджать планы и уложиться в двадцать?

— О'кей, мы их урежем, но учтите, при этом возникнет ощущение скомканности.

— Мы постараемся быть предельно краткими.

— Если только IPSOS нас не завернет на тестировании, можно ужаться и до двадцати.

— Заменить в сценарии "жадно" на "неодолимо". Так мы придадим ему оттенок возвышенности. Это крайне важно. Я просто настаиваю...

— Нужно, чтобы это был продукт, который НЕОДОЛИМО притягивает покупателя. Напоминаю вам, что перед широким показом ролик пройдет через фокус-группу. И если наше предварительное тестирование не даст однозначно положительных результатов, фильм выбросят в корзину.

— Итак, господа, я зачитываю проект: "Потребление продукта. Открыв баночку "Мегрелет", женщина съест его с неодолимым наслаждением и с помощью ложки".

— Октав, может, хватит острить?

— Недурно было бы снять девушку идущей с продуктом в руке...

— Ну нет! Это абсолютно исключено! "Мегрелет" — это вам не бродячий йогурт!

Ты записываешь каждое их слово, ибо это слишком правдиво, чтобы быть прекрасным.

— Давайте перейдем к натуре: слово за Тони.

— Ми осмотреть много домов вокруг Майами и находить масса варианти: ошень откритие, или с большой сад, или более современни, вот, смотреть эти фотографии с просторни веранда, или еще можно снимать традиционни ферма в южни стиль, да-а-а?

— Тони, последний слово за тобой, — говорит Энрике. — Какая твой рекомендасьон?

— Я полагать, что хорошо классически дом и крильцо впереди; для тебья это будет о-о-ошень beautiful, я так думать. Не надо делать скучни клип, да-а-а?

— Если ти о'кей, то и я о'кей.

— Вернемся к съемкам самого продукта.

— Необходимо, чтобы этот йогурт вписался в окружающую среду... как бы это сказать... ну, например, баночка "Мегрелет" в траве, чтобы подчеркнуть идею природы.

— Это вроде бы продукт-забава, но в то же время несущий в себе мощный заряд здоровья.

— Наша главная и конечная ценность — любовь, — заключает Дюлер. — Наши клиенты покупают не йогурт, а любовь (вот что наверняка понравится Тамаре, думаешь ты). Мы продаем им не йогурт, но материнское молоко! Именно поэтому наша фирма world-wide[1]. Любовь правит миром. Мы обязаны мыслить как истинные world-wide. И действовать как истинные world-wide.

Внезапно без стука входит Филипп. Он просит не обращать на него внимания и продолжать, но обсуждение начинают снова, только теперь прения время от времени прерываются звонками мобильника, который Филипп и не подумал вырубить.

— Это женщина в полном смысле слова. На ней грубые джинсы, майка с длинными рукавами — понимаешь, к чему я веду? Нужно с первой же минуты внушить зрителю ощущение эдакой небрежной элегантности.

— В общем, Шарон Стоун, только брюнетка и помоложе.

— А вы уверены, что какая-нибудь занюханная мадам Мишю из Валансьена узнает себя в этой особе?

— Обрати внимание: она типичная миддл-класс, только fun[2].

— Не очень-то у нее европейский вид.

— Мы-то сами ничего не имеем против североафриканцев, но есть риск, что наша целевая аудитория не отождествит себя с нею.

— Ну и ничего страшного! Да, у нее вид уроженки юга, но это отвечает современной тенденции; сейчас в моде смуглая матовая кожа, как у Инес Састр, Дженнифер Лопес, Сельмы Хайек или Пенелопы Крус.

— Сельма Хайек — это кто?

— Энрике отсмотрел восемьдесят девушек и сказал, что она фотогеничнее всех.

1. Всемирная (*англ.*).
2. Здесь: забавная (*англ.*).

— И она полностью соответствует духу этой торговой марки — раскованная, чувственная, именно то, что надо для "Мегрелет".

— Да-да, он будет magnifica[1]!

— Very cute[2]!

— Сельма Хайек — это кто??

— И вы правы, она прекрасно передает эмоции в кадре.

— Я не против поддержать этот выбор, но только после повторных проб.

— "Атмосфера загородного дома, спокойная, но динамичная. Трава должна быть зеленой с желтоватым (по-южному) оттенком. Звуковое оформление естественное, поют птицы".

— Надо будет потом добавить стрекот цикад.

— Сельма Хайек — это кто???

— Это красотка из модных "латинос".

— Ее снимок был на обложке английского "Vogue", в сентябрьском номере.

— Не знаю такой.

Стилистка, уже на грани истерики, раскладывает по столу пар двадцать солнечных очков, чтобы клиент выбрал те, которые Тамара водрузит себе на макушку. После двадцатиминутного обсуждения решено все их привезти на съемки, чтобы выбрать нужные прямо на месте (то есть решено пока ничего не решать).

— Теперь музыка: нам прислали кассеты пятеро исполнителей. Прослушаем?

Демо-версия 1:

— Слишком продвинутая.

Демо-версия 2:

— Слишком тяжеловесная.

Демо-версия 3:

— Слишком кичевая.

Демо-версия 4:

— Слишком замедленная.

Демо-версия 5:

— Слишком вульгарная.

"Просить музыкантов переделать музыкальный фон", — записывает продюсерша.

— Лично я против съемок с нижней точки во время дегустации продукта. Боюсь, фигура девушки получится деформированной. Я предпочел бы что-нибудь более классическое в соответствии с концепцией бренда.

И вот тут-то Чарли, улучив момент, выигрывает у меня обед в "Апиции":

— Вы находите это анксиогенным? Но ведь ролик можно миноризировать.

Гендиректор Филипп встает и, перед тем как покинуть собрание, обращается к продюсерше:

— Браво, Мартина, прекрасно организовано, великолепная работа... а что, ты здесь новенькая? Тогда, надеюсь, тебе понравится у нас в "Россе"! Марк молодец, что нанимает таких асов, как ты.

— Филипп, меня зовут Моника, и я работаю здесь уже пять лет! — отвечает дама с холодностью, в данном случае вполне оправданной.

1. Великолепна (*исп.*).
2. Очень мила (*англ.*).

7

Ну вот, теперь ты и сам обмегрелетился вконец: за три месяца похудел на семнадцать кило. И немудрено – с некоторых пор ты питаешься только через нос. Каждое утро ты просыпаешься с застывшими меловыми комками в онемевших ноздрях. Ты приходишь на работу в 5.35 дня. А когда Марк Марронье делает тебе замечание, ты огрызаешься:

– Я объявляю забастовку до тех пор, пока ты меня не вышвырнешь.

– Да что с тобой? Ты хочешь прибавки?

– Нет, я и в самом деле хочу все похерить.

– Может, тебе звонили из CLM? Или из BDDP?[1]

– Да нет, господи боже, я просто решил завязать со всей этой бодягой! Ты что, не видишь, что я подыхаю, что я похож на скелет?

– Ну, сходство с этой "вешалкой" Кейт Мосс еще не может служить поводом для увольнения.

– Но я рискую умереть от опухоли мозга!

– Не рискуешь, потому что ты безмозглый.

– Но я все реже и реже выхожу на публику!

– Знаю, но ты нужен нам для представительства.

Ты носишь костюм от Эрика Бержера, рубашку "Hedi Sliman" из магазина мужской одежды "Сен-Лоран – Рив Гош", туфли от Берлути, часы "Royal Oak" от Одмара Пиге (в ожидании новой модели – "Samsung Watch Phone" со встроенным мобильником), очки "Stark-Eyes", трусы "Banana-Republic", купленные в Нью-Йорке. Ты владеешь пятикомнатной квартирой в Сен-Жермен-де-Пре (дизайн Кристиана Льегра). В твоем распоряжении имеются также:

музыкальный центр-стойка "Bang and Olufsen" с чейнджером на 10 дисков и пультом;

спутниковый телефон с факсом GSM;

полдюжины стульев эпохи Людовика XV, унаследованных от деда с бабкой;

табурет "Барселона" Миса ван дер Роэ;

книжный шкаф от Жана Пруве с полным собранием "Плеяды" (ни разу не раскрытым);

мультисистемный видеомагнитофон "Sony";

новенький телевизор "Philips" с плоским экраном;

портативный DVD-плейер "Sony Glasstrom";

шезлонг Чарлза Эймса (1956 г.);

игровая приставка "Sony PlayStation";

двухкамерный холодильник "General Electric" (битком набитый осетровой икрой от Петросяна, гусиной печенкой с трюфелями из "Petite Auberge" и шампанским "Cristal Roederer") с гигантской морозилкой и автоматическим дозатором льда;

цифровая видеокамера "Sony PC1" (360 граммов веса, 12 см в высоту, 5 – в ширину);

цифровой фотоаппарат "Leica Digilux Loom";

24 хрустальных бокала "Puiforcat";

три подлинных эстампа Жана Франсуа Жонвеля;

1. Крупные французские рекламные агентства.

картина Баскиа (площадью три квадратных метра) и рисунок Дэвида Хокни;

афиша Жана Кокто;

журнальный столик "Modénature" черного дерева;

несколько подлинников Пьера Ле Тана, Эдмона Кира, Рене Грюо, Жан-Жака Семпе, Жан-Филиппа Делома, Вуча, Матса Густафсона;

торшер от Урбана Оутфиттерса;

8 подушек, белых и бежевых, из индийской пашмины (магазин "Дом и семья");

автограф Летиции Каста в рамке;

твои портреты, выполненные Марио Тестино, Эллен фон Унверт, Жан-Батистом Мондино, Беттиной Реймс, Доминикой Инсерманн;

фотографии, где ты снят вместе с Инес Састр, Жераром Депардье, Ридли Скоттом, Евой Герциговой, Наоми Кемпбелл, Карлой Бруни, Дэвидом Линчем и Тьерри Ардиссоном;

погреб, битком набитый отборными бордоскими винами из погребов Оже (бульвар Османн, 116, 8-й округ Парижа): "Chasse-Spleen", "Lynch Bages", "Talbot", "Petrus", "Haut Brion", "Smith Haut Laffite", "Cheva Blanc", "Margaux", "Latour", "Mouton Rothchild"...

тысяча компакт-дисков, DVD, CD-ROM и видеокассет;

"BMW Z3" на стоянке, арендуемой годично, под кафе "Флора";

ее брат-близнец "SDF" — на стоянке возле твоего дома;

пять пар обуви от Берлути, три пары "Nike Air Max", пара "Adidas Micropacer" (со встроенным хронометром и электронным шагомером);

три кашемировых пальто от "Hermès" и три замшевых — от Луи Вюиттона;

пять костюмов "Dolce e Gabbana" и пять от Ричарда Джеймса;

"Sumo" — гигантский (50 x 70 см) фотоальбом Хельмута Ньютона (издательство "Ташен"), на мольберте (дизайн Филиппа Старка);

пять пар джинсов от Хельмута Ланга и пять пар мокасин от Гуччи

двадцать рубашек "Prada" и двадцать маек "Muji";

десять кашемировых пуловеров высшего качества от Хусейна Шалайяна и десять от Люсьена Пелла-Фине (все, что не сделано из кашемира или вигони, вызывает у тебя невыносимый зуд);

платяной шкаф с полной коллекцией новинок APC за последние десять сезонов;

картина Рубена Альтерио;

десять пар солнечных очков "Cutler and Gross";

ванная комната, полностью оборудованная в стиле Келвина Кляйна (полотенца, халаты, мыльницы, косметика, духи); только лосьоны — от Кильса, Нью-Йорк;

розовый "Мас", на котором и пишется эта книга; другой, оранжевый, с беспроводным выходом в Интернет и цветным принтером "Epson Stylus 740";

Большинство других вещей, коими ты владеешь, приобретено у "Колетт". А если не у "Колетт", значит, у "Катрин Мемми". А если не у "Колетт" и не у "Катрин Мемми", значит, ты не у себя дома.

Как правило, ты ужинаешь в ресторанах, где платят не меньше 100 евро с человека. Путешествуя, ты останавливаешься только в гостиницах сети "Реле-э-Шато". Вот уже три года, как ты летаешь исключительно бизнес-классом (а иначе у тебя ломит поясницу после сна), где выдают кашемировые пледы (а иначе у тебя начнется чесотка: см. выше).

Кстати, сообщаю: рейс Париж – Майами и обратно в бизнес-классе стоит 62 000 франков (10 тысяч евро).

Имея все эти вещи и ведя столь роскошный образ жизни, ты, по идее, должен быть счастлив. Так почему же счастья нет? Почему ты без конца набиваешь себе нос белой отравой? Как можно быть несчастным при банковском счете в два миллиона евро? Если уж ты стоишь над краем пропасти, то кто же там, на дне?

Недавно ты разревелся перед витриной "Бонпуэн" на Университетской улице. Созерцая все эти беленькие детские кроватки, лампочки в виде зверюшек, серебристые пинетки, пальтишки по 360 франков и крошечные свитерочки по 620 франков для трехмесячных, ты рыдал как последний дурак, и покупатели, выходившие из магазина, испуганно и жалостно качали головами, убежденные, что этот бедняга, льющий слезы при виде детских вещичек, потерял своего ребенка в автокатастрофе; увы, для того чтобы лишиться ребенка, тебе даже этого не понадобилось.

Однако пора чем-нибудь озадачить глотку. Войдя в свою необъятную кухню, ты подходишь к ультрасовременному холодильнику. Ты отражаешься в его блестящей дверце. Нервно жмешь на кнопку подачи льда. Твой стакан с "Абсолютом" уже заполнен льдинками, они сыплются через край, но ты не отпускаешь кнопку, и вскоре весь пол в кухне покрыт ледяными кубиками. Тогда ты программируешь агрегат на "толченый лед". И снова жмешь на кнопку. И вот уже черный мрамор запорошен снежной крошкой. Ты разглядываешь свое лицо, отражение своего лица в самом дорогом холодильнике в мире. Насколько легче быть закоренелым холостяком, зная, что кто-то с любовью поджидает тебя здесь, в этом доме. Ты так накокаинился, что машинально тянешь водку носом, через соломинку. Ты чувствуешь приближение коллапса. Ты видишь в зеркале собственное ничтожество: разве ты не знал, что слова "нарциссический" и "наркотический" имеют общий корень? Ты вывернул на пол весь запас льда из морозилки. Ты скользишь и падаешь на десятисантиметровый слой льда. Тонешь в холодных кубиках. А что, если так и заснуть среди этих тысяч мини-айсбергов? Уснуть, пойти ко дну, как оливка, в гигантском стакане кухни. "Титаник", канувший в "Абсолют". Ты барахтаешься на этом искусственном катке. Твоя захолодевшая кожа липнет к мрамору. Под тобой столько льда, что хватит освежить целый полк; а впрочем, ты сам и есть полк, наполеоновская армия, бегущая из России. Ты присасываешься к мраморной плитке. Глотаешь кровь, стекающую из носа прямо в горло. И едва успеваешь вызвать по мобильнику "скорую" перед тем, как потерять сознание.

ВСТРЕТИМСЯ ПОСЛЕ РЕКЛАМНОЙ ПАУЗЫ!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЗАХОДИТ В ПРАЧЕЧНУЮ-АВТОМАТ И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЕРЕД ОГРОМНОЙ – ДВА МЕТРА В ВЫСОТУ – МАШИНОЙ. ОН БРОСАЕТ В ЩЕЛЬ НЕСКОЛЬКО МОНЕТ, ВЫНИМАЕТ ИЗ КАРМАНА ПАКЕТИК СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА "АРИЭЛЬ", ОТСЫПАЕТ ПРИГОРШНЮ СЕБЕ В РУКУ И ВДЫХАЕТ ЕГО НОСОМ. ПОТОМ ГОРДО ТРЯСЕТ ГОЛОВОЙ, СЛОВНО ПОРОШОК "АРИЭЛЬ" ПРИДАЛ ЕМУ НОВЫХ СИЛ. ЗАТЕМ ОН ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЦУ МАШИНЫ, ЗАЛЕЗАЕТ ПРЯМО В ОДЕЖДЕ ВНУТРЬ, В БАРАБАН. И САДИТСЯ, ПОДЖАВ НОГИ. ЕДВА ОН ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРЦУ, КАК МАШИНА ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ. МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА КРУТИТ И ШВЫРЯЕТ ВО ВСЕ СТОРОНЫ, ОБДАЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.

КАМЕРА ВРАЩАЕТСЯ ВМЕСТЕ С БАРАБАНОМ , ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СКОРОСТЬ ОБОРОТОВ МАШИНЫ.

ВНЕЗАПНО МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ЧЕЛОВЕК ВИДИТ ИЗНУТРИ, КАК В ПРАЧЕЧНУЮ ВХОДИТ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ВЕСЬМА СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЙ НАРУЖНОСТИ, В МИНИ-ЮБОЧКЕ. ЖЕНЩИНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГИГАНТСКОЙ МАШИНЕ, ВИДИТ В НЕЙ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА И, ОТКРЫВ ДВЕРЦУ, УЛЫБАЕТСЯ ЕМУ. ТОТ ВЫПЛЕВЫВАЕТ СТРУЮ МЫЛЬНОЙ ВОДЫ. ЖЕНЩИНА ЗАМЕЧАЕТ СТОЯЩУЮ НА ПОЛУ КОРОБКУ "АРИЭЛЯ", СНОВА УЛЫБАЕТСЯ, ПРИПОДНИМАЕТ ЮБОЧКУ, СНИМАЕТ ТРУСИКИ И БРОСАЕТ ИХ В БАРАБАН, К МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАХЛОПЫВАЕТ ДВЕРЦУ И ВКЛЮЧАЕТ МАШИНУ НА ДОСТИРЫВАНИЕ. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ, ЗАХЛЕБЫВАЯСЬ В ВОДЕ И ПУСКАЯ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК И PACKSHOT "АРИЭЛЯ". ТИТР: "'АРИЕЛЬ УЛЬТРА'. УЛЬТРАЧИСТОТА, ДАЖЕ В МАШИНЕ".

III
Он

То было время, когда богатые сверхиндустриальные державы, изобилующие магазинами, открыли для себя новый символ веры, проект, достойный усилий и чаяний людей на протяжении многих тысячелетий: обратить мир в единое гигантское предприятие.

Рене-Виктор Пиль. *Проклинающий*, 1974 г.

1

По данным Красного Креста, миллиард человек на нашей планете живет в трущобах, что не мешает Октаву вновь обрести аппетит: поглядите, как жадно он грызет ногти, и это только начало. Марронье устроил ему месячный курс дезинтоксикации в психиатрической клинике Бельвю (Медон, улица Одиннадцатого Ноября, дом, 8), так как центр Кейт Берри в Суассоне был полон под завязку. Рекламные тузы действуют по примеру врачей-дилеров на Тур де Франс: сперва накачивают своих чемпионов допингами, рекордов ради, а потом, когда те ломают себе шею, начинают собирать их по кусочкам. Вот почему Октав и перекочевал из ЧК в ПК – из частной квартиры в психиатрическую клинику.

Каждое утро он гуляет по парку, лавируя между столетними дубами и психами всех видов. Он читает только тех авторов, что покончили с собой: Хемингуэя, Кавабату, Гари, Шамфора, Сенеку, Риго, Петрония, Павезе, Лафарга, Кревеля, Цвейга, Дриё, Монтерлана, Мисиму, Дебора и Ламарш-Ваделя, не забывая и о женщинах – Сильвии Платт и Вирджинии Вулф. (Любителю авторов-самоубийц хватит чтива на всю долгую жизнь.) Чтобы подбодрить больного, его коллеги прислали ему экспресс-почтой пакет муки "Франсина"[1]. Однако лечащий врач-психиатр не оценил в должной мере эту дурацкую шутку. Чарли перегнал Октаву

1. Мука "Франсина" внешне напоминает кокаин.

на его ноутбук порнушку, где девчонке полируют одним кулаком задний проход, а другим — передний. Мало-помалу Октав начал улыбаться. Лечение экспериментальным препаратом BP-897 должно окончательно избавить его от кокаиновой зависимости. Если все сойдет благополучно, он вскоре сможет глядеть на свою кредитную карту не чихая.

В столовой он узнает о новых болезнях. Например, его сосед по этажу объясняет, что он "спидофил" (невиданное доселе сексуальное извращение).

— Я снимал на камеру девок, которые трахались без презервативов с больными СПИДом. Девчонка, ясное дело, ничего не знала. А потом я снимал ее же скрытой камерой, когда она шла в лабораторию за результатами анализа на ВИЧ-инфекцию. И вот в ту минуту, когда она узнавала, что заразилась СПИДом, я и кончал. Она вскрывала конверт, и у меня наступал оргазм. Это я, и только я изобрел спидофилию. Ах, если б ты только знал, что это за наслаждение — смотреть, как она рыдает, выходя из лаборатории с листочком, где написано: "ВИЧ-инфекция — положительный!" Но пришлось остановиться: полиция конфисковала все мои кассеты. Я отсидел в тюрьме, а теперь меня сунули сюда. Но я все равно скоро умру. А пока мне хорошо, да, мне хорошо. Мне хорошо. Да-да, мне хорошо мне хорошо мне хорошо мне хорошо мне хорошо...

Он икнул и срыгнул ложку морковного пюре на щетинистый подбородок.

— Я тоже, — сказал Октав, — я тоже страдаю от очень странной сексуальной психопатии. Я — эксофил.

— А это еще что за хреновина?

— Извращение, которое выражается в навязчивых воспоминаниях о моей экс-возлюбленной. Но мне теперь тоже хорошо, мне хорошо мне хорошо мне хорошо мне хорошо...

Софи так и не навестила его. Да и знала ли она, что он в больнице? Спустя три недели Октав уже часто смеялся при виде шизофреников в саду, строивших гримасы: это зрелище напоминало ему родное агентство.

— Жизнь состоит из деревьев, "эмдепешников"[1] и белок.

Да, можно утверждать, что ему полегчало: теперь он мастурбирует по шесть раз в день (мечтая об Анастасии, которая лижет клитор Эдвины, которая глотает его сперму). А впрочем, рано загадывать — может быть, Октав еще и не совсем здоров.

В любом случае ему пора было меняться. Слишком уж он завяз в эпохе 80-х со своим коксом, черными костюмами, бешеными бабками и дешевым цинизмом. С тех пор мода ушла далеко вперед: теперь было принято не хвастаться своими успехами и своей работой, а косить под нищего и никчемного лодыря. Лузеры стали крайне популярны в первые месяцы нового века. Профессионалы и трудоголики старались как можно больше походить на бродяг без гроша в кармане. Пришел конец стилю Сегела, с его шумными, загорелыми, вульгарными парнями, обвешанными цепочками; конец рекламе в духе Ридли Скотта (венецианские жалюзи и вентиляторы на потолке). Она, реклама, как и все остальное, подвержена модным веяниям: в 50-е годы держалась на каламбурах, в 60-е — на комедиях, в 70-е — на молодежных тусовках, в

1. От МДП — маниакально-депрессивный психоз.

80-е — на зрелищах, в 90-е — на контрастах. Отныне полагалось носить старые "адидасы", дырявую майку "Gap", потертые джинсы "Helmut Lang" и подбривать отросшую щетину так, чтобы она выглядела трехдневной. В моду вошли сальные волосы с неряшливыми бачками, вязаные шапки, испитые лица, как в журнале "Dazed and Confused", и черно-белые клипы, где тощие, развинченные, голые по пояс обормоты бренчат на гитарах. (Другой вариант: лимузины, которые медленно катят на зеленоватом фоне мимо ярких зданий, и мальчишки-пуэрториканцы, играющие под дождем в волейбол.) Чем чудовищнее было ваше богатство (с появлением Интернета ко многим состояниям прибавилось три дополнительных нуля), тем больше вам полагалось смахивать на бомжа. Все новые миллиардеры щеголяли в истасканных кроссовках. Октав решил, что, как только выйдет из клиники, сразу проконсультируется на предмет новой моды со своим двойником-клошаром.

— Странное впечатление: когда я был маленьким, двухтысячный год казался несбыточной фантазией. Наверно, я здорово повзрослел, раз этот год уже наступил.

У Октава было достаточно времени на размышления в этом просторном здании конца XIX века. Похоже, в Медоне дни текут медленнее, чем в других местах. Бродя по лужайке, Октав подбирает булыжник, которому, наверное, не меньше двух тысяч лет. В отличие от тюбиков пасты, булыжники не умирают. Он швыряет его подальше, за дерево; в ту минуту, когда вы прочтете эти строки, камень все еще будет находиться в том же месте. Не исключено, что он пролежит там еще пару тысяч лет. Вот так-то — Октав завидует булыжнику.

Он сочиняет:

Отдай мне блеск твоих волос,
И тела юного атлас,
И соль твоих прозрачных слез,
И синеву прекрасных глаз.

Но подарить сей катрен некому, и он преподносит его своему другу-спидофилу, перед тем как покинуть шизоприимный дом в Бельвю.

— Пошли его одной из твоих жертв. Вот увидишь, это будет так же захватывающе — следить за реакцией женщины, которая читает не положительный результат анализа на СПИД, а нечто другое.

— Ну-ка, покажи... О нет, ты спятил... нет-нет... эти твои стишки — да ведь это мечты серийного убийцы!

2

Октав подгадал свое возвращение в рекламно-предпринимательский бизнес аккурат к сенегальскому семинару. "Росс" подобен армии: время от времени начальство осчастливливает персонал "увольнительными" под названием "мотивационные семинары". Иными словами, 250 служащих садятся в автобусы и катят в аэропорт Руасси. Среди них множество замужних машинисток (без мужей), бухгалтеры-неврастеники (с запасом антидепрессантов), отечески снисходительное начальство, а также

грудастая телефонистка, жирная колбаса-директриса (сильно похорошевшая с тех пор, как трахается с директором по персоналу) и несколько креаторов, которые стараются хохотать погромче, чтобы еще больше походить на креаторов. Все поют, как в караоке: если не хватает слов, прямо на ходу придумывают новые. Все сплетничают и гадают, кто с кем будет спать в Сенегале. Октав многого ждет от туземных проституток, чьи прелести ему нахваливала Дороти О'Лири, приятельница-журналистка с "Франс-2". Что же касается Одиль, то сия 18-летняя особа с голой спиной, ленточкой в волосах и джинсовой сумкой на шнуре уже надела пляжные шлепанцы и теперь сосет "Чупа-чупс с кока-колой". Она "размышляет о жизни". Как распознать среди других девушек 18-летнюю? Это нетрудно; у нее нет морщин и мешков под глазами, зато есть гладкие, по-детски пухлые щечки, а на голове — плейер; она слушает Уилла Смита и "размышляет о жизни".

Одиль взяли в агентство в качестве стажера-редактора, пока Октав лежал в клинике. Она обожает деньги и славу, но притворяется наивной простушкой. Нынешние девицы все таковы: пухлый приоткрытый ротик, восторженные глазки, как у Одри Марне в фотосерии Терри Ричардсона; в последнее время умело разыгранная невинность — верх искусства карьеризма. Одиль рассказывает Октаву, как однажды в субботу вечером она пошла — одна! — делать пирсинг языка:

— Знаешь, без всякой анестезии; татуировщик просто вытягивает щипцами язык наружу и втыкает свои иголки. Но, уверяю тебя, это совсем не больно, просто есть не очень удобно, особенно вначале, тем более у меня там все воспалилось и еда пахла гноем.

Она не снимает черных очков ("это стекла с диоптриями") и читает исключительно англосаксонские глянцевые журналы ("Paper", "Talk", "Bust", "Big", "Bloom", "Surface", "Nylon", "Sleazenation", "Soda", "Loop", "Tank", "Very", "Composite", "Frieze", "Crac", "Boom", "Hue"). Она садится рядом с Октавом и снимает с головы плейер только для того, чтобы сообщить ему, что она больше не смотрит телик, "разве лишь канал "Arte" время от времени". Октав спрашивает себя, какого черта он вообще тут делает (этот вечный вопрос он задает себе с самого рождения). Одиль указывает на гигантскую многоэтажку рядом с автотрассой:

— Гляди, вон Ситэ-4000, я там живу, возле "Стад де Франс". Ночью здесь такая красивая подсветка, прямо как в фильме "Independence Day".

Но Октав не реагирует, и она пользуется его молчанием, чтобы обсудить с сотрудницей ее и свою эпиляцию:

— Сегодня утром я ходила к косметичке на лазерную эпиляцию, это жутко больно, особенно в промежности. Но все равно я рада, что меня обработали как следует.

— Вот кстати, напомни мне купить крем для эпиляции в аэропорту.

— А мы когда прилетим в Дакар?

— Где-то к полуночи. Я прямо из самолета двину в ночной клуб. У нас всего три вечера, надо их провести грамотно.

— Ох, черт, я забыла дома кассету, где Лара Фабиан!

— В самолете я всегда снимаю макияж, чтобы зря не сушить кожу; просто очищаю лосьоном, а сверху накладываю увлажняющий крем.

— А я занимаюсь маникюром и педикюром. Крашу ногти — сперва на ногах и, пока они сохнут, на руках.

Октав пытается собрать себя в кучку. Нужно привыкать жить без кокса, адекватно воспринимать действительность, интегрироваться в общество, уважать окружающих, выглядеть нормальным человеком. Он хочет ознаменовать свой выход из клиники чем-нибудь приятным. И потому запускает пробный шар:

— Девочки, а что, если нам с вами трахнуться прямо здесь — эдак без затей, на скорую руку?

Они бурно негодуют, и это ему приятно.

— Вот псих несчастный!

— Да лучше сдохнуть!

Он улыбается.

— Напрасно вы отказываетесь. Девушки говорят "да" либо слишком поздно, когда парень уже отступился, либо слишком рано, когда их еще ни о чем не просили.

— ...?

— А потом, я готов раскошелиться аж на пять кусков.

— Нет, вы только послушайте! Он что, принимает нас за шлюх?

— Ты посмотри на себя! С тобой и за сто кусков никто не ляжет!

Октав хохочет — слишком громко, чтобы это выглядело естественно.

— Сообщаю вам, что Казанова часто платил своим любовницам, значит, ничего зазорного в этом нет.

Затем он демонстрирует им эхограмму, присланную по почте:

— Смотрите, вот мой будущий ребенок. Неужели даже это не внушает вам трепетной нежности к бедному отцу?

Но и такой заход терпит позорное фиаско. Ситэ-4000 стремительно уменьшается в заднем стекле автобуса. Значит, Октав разучился клеить девиц? Значит, ему не хватает убедительности? Если и существует что-нибудь несовместимое с иронией, то это, конечно, способность к обольщению. Одна из девиц спрашивает:

— У тебя случайно нет с собой журнала по внутреннему дизайну?

— Которого — "Newlook"? "Playboy"? "Penthouse"?

— Ха-ха! Все остришь, бедняжка Октав!

— По-моему, он стал пошляком. Я-то думала, ему там вправили мозги.

— Нет, тебя явно недолечили! Гляньте на него, девочки, — типичный Альцгеймер![1]

Опустив глаза, Октав изучает собственные ноги, обутые в сиреневые туфли (стоимость каждой из них равна одной минимальной зарплате). Затем поднимает голову и жалобно взывает к своим собеседницам:

— Ну довольно, пощадите меня, юные девы! Думали ли вы когда-нибудь, что все, кто вам встречается на улице, все, кто проезжает мимо на машинах, все они, абсолютно все без исключения, обречены на смерть? И вон тот дурачок за рулем своей "Audi Quattro". И вон та сорокалетняя психопатка, что обогнала нас на своем "Mini Austin"! И все обитатели многоэтажек, понастроенных за этими антишумовыми, но совершенно неэффективными барьерами! Способны ли вы представить себе, что все они рано или поздно превратятся в кучи гниющих трупов? С тех пор как существует наша планета, на ней прожили свои жизни восемьдесят миллиардов человек. Запомните эту цифру, девушки! Вообразите, что мы с вами ходим по восьмидесяти миллиардам жмуриков! А теперь подумайте

1. Болезнь Альцгеймера обычно сопровождается слабоумием.

о том, что все мы, кому еще дана отсрочка, представляем собой будущую гигантскую свалку смердящей падали! Жизнь — это сплошной геноцид.

Ну вот, теперь он и впрямь вогнал их в тоску. Он доволен. Ощупывает в кармане своей замшевой куртки от Марка Жакоба зеленую коробочку с лексомилом. Она придает ему такую же уверенность в себе, как ампула с цианистым калием — герою Сопротивления перед допросом в гестапо, на улице Лористон, шестьдесят лет назад.

3

Самолет битком набит рекламистами. Если он разобьется, это будет началом победного шествия Правды. Но жизнь так подло устроена, что самолеты с рекламистами не разбиваются никогда. Разбиваются самолеты с невинными людьми, с пылкими влюбленными, с благодетелями человечества, с Отисом Реддингом, группой "Lynyrd Skynyrd", Марселем Дади[1], Джоном Кеннеди-младшим. И это придает загорелым деятелям мировых коммуникаций еще больше спеси: они боятся не так авиационных катастроф, как биржевых. Октав улыбается, печатая эту фразу на своем ноутбуке. Он VIP, он богат, он боится — всё сходится. Он пьет водку-тоник в салоне "Espace-127". ("В нашем 'Espace-127' вы с удовольствием сядете в наши удобные эргономические кресла. Они откидываются на 127 градусов — это именно тот угол, который тело естественно принимает в состоянии невесомости. Оборудованные телефонами, индивидуальными видеоплейерами и противошумными шлемами, кресла 'Espace-127' обеспечат вам идеальный комфорт для работы и отдыха", — сообщает реклама "Air France Madame").

В салоне бизнес-класса работники отдела стратегического планирования клеятся к артбайершам; директорские замы любезничают с телевизионщицами, координатор-международник лапает директрису по развитию. (На любом предприятии нетрудно выявить девиц, которые спят с коллегами по работе: они единственные, кто одевается sexy.) Вся эта групповуха под названием "семинар" имеет целью "укрепление связей между членами коллектива агентства", или, выражаясь научно, "оптимизацию внутренней коммуникации человеческих резервов". Октава давно уже научили подчиняться этому порядку вещей; кроме того, жизнь — это такой краткий миг, дарованный нам на круглом камешке, летящем в пространстве, что глупо тратить сей миг на обсуждение целесообразности подобной ОРГАНИЗАЦИИ. Лучше сразу принять правила игры.

— Нас выдрессировали так, чтобы мы их принимали не раздумывая. Я серфингую над бездной. Ну, есть тут кто-нибудь, кто согласится без всяких разговоров трахнуться со мной?

Прежде такие фортели вызывали улыбки, нынче они производят тягостное впечатление.

— В конце концов, после всего, что люди сделали для Бога, он мог бы все-таки дать себе труд существовать, разве не так?

Одиночество в толпе. Он непрерывно вопрошает автоответчик своего телефона, но тот упрямо твердит:

1. Отис Реддинг — музыкант-джазмен. Марсель Дади — известный гитарист.

— Новых сообщений не поступало.

Октав засыпает в середине фильма с Томом Хэнксом (это не актер, а настоящее снотворное!). Ему снится сексуальная оргия на Багамах: он исследует тактильным методом выбритые влажные "киски" Ванессы Лоренцо и Хайди Клам. Он больше не скрежещет зубами. Ему чудится, что он выбрался из всего этого. Отступил от всего этого на шаг, на два шага, на приличное расстояние. И он с неслышным вздохом облегчения орошает свои "Lewi-Strauss" (501-я модель из коллекции "Грустные тропики" осенне-зимнего сезона 2001 года).

Но вот Агентство приземлилось. Агентство получило свой багаж. Агентство расселось по автобусам. Агентство затянуло хором песенку Фюгена[1], не вникая в ее мрачный смысл: "Прославим жизнь, прославим жизнь, как будто завтра мы умрем. Поем до завтрашнего дня, до самой смерти пропоем!" Октав вдруг понимает, отчего космический корабль в сериале "Star Trek" зовется "Enterprise"[2]: "Rosserys and Witchcraft" очень похоже на этот аппарат, запущенный в межзвездное пространство в поисках внеземных цивилизаций. Кстати, и сами его коллеги тоже хороши: у многих такие странные остроконечные ушки...

Едва прибыв в отель, Агентство разбегается кто куда: несколько сотрудниц спешат в бассейн, другие — в магазины, третьи — в постель, отсыпаться. Те, у кого сна ни в одном глазу, идут на танцы в "Роллс" вместе с Одиль и ее обильными грудями. Октав увязывается за ними, берет бутылку "Gordon's" и за компанию выкуривает сигарету с травкой.

На пляже ситуация ясна с первого взгляда. Чернокожие девицы тут как тут. Одна из них спрашивает:

— Хочешь ко мне, котик?

Но, поскольку она говорит с местным акцентом, Октав слышит:

— Хочешь ко мне в ротик?

Вот потеха-то! И то и другое — обман, все нормально. Он прикрывает ладонью лицо, прежде чем прошептать:

— Милая, я девушек не люблю, я их гублю.

Туристский комплекс "Сали", находящийся под строгой охраной сенегальской армии, состоит из пятнадцати отелей; Агентство остановило свой выбор на "Саване", где имеются спальни с кондиционерами, пара бассейнов с ночной подсветкой, теннисные корты, мини-гольф, торговый центр, казино и дискотека; все это на берегу Атлантического океана. Со времен хемингуэевских сафари Африка сильно изменилась. Теперь основная часть континента брошена западным миром на произвол судьбы, на вымирание (в 1998 г. СПИД унес два миллиона человек, главным образом из-за того, что фармацевтические лаборатории, выпускающие лекарства — например, американская фирма "Bristol-Myers-Squibb", — отказываются снижать цены на свою продукцию). Это идеальное местечко для мотивации кадров среднего звена: в здешних краях, истерзанных СПИДом и коррупцией, бессмысленными войнами и непрерывным геноцидом, мелкие служащие из капиталистических держав вновь обретают полное доверие к системе, которая их кормит.

1. Французский эстрадный певец.
2. Предприятие (*англ.*).

Они покупают негритянские маски из черного дерева и прочие местные сувениры, обсуждают (или думают, что обсуждают) с туземцами виды на будущее, шлют на родину открытки с солнечными пейзажами, чтобы их семьи, закоченевшие от парижской зимы, позавидовали их счастью. Рекламистам демонстрируют Африку как отрицательный пример жизненного устройства: пусть насмотрятся и поспешат вернуться домой, утешаясь мыслью, что другим людям живется еще хуже, чем им. И тогда конец года покажется вполне приемлемым: Африка служит противовесом и оправданием их собственному благополучию. Раз бедняки умирают, значит, богатые имеют право на жизнь.

Мы бороздим морские просторы на скутерах, мы щелкаем "поляроидами", никто никем не интересуется, все щеголяют в местной одежде — тонга. В Африке, когда белый обращается к негру, в его голосе уже не звучит презрительное расистско-колонизаторское снисхождение былых времен; нынче все обстоит гораздо хуже. Теперь он смотрит на черных жалостливым взглядом священника, дающего последнее причастие приговоренному к смерти.

4

Обрывки разговоров на краю бассейна "Саваны".

Секретарша дирекции (отряхиваясь): "Ну до чего же хороша водичка!"

Октав: "И ты тоже!"

Агентша из отдела размещения рекламы (впиваясь зубами в манго): "Обожаю эту мякоть!"

Октав: "А я обожаю твою".

Помощница артдиректрисы (направляясь в кафетерий): "Пошли закусим?"

Октав: "Удила?"

Мотивация идет полным ходом. Утренние часы заняты групповыми сеансами самовосхваления, где итоги работы Агентства превозносятся до небес. Однако термины "самофинансирование" и "ежегодные выплаты по кредитам" звучат каждую минуту — с целью оправдать невыплату рождественских премий. (Ибо все денежки, заработанные нашим филиалом, в конечном счете утекают в карманы нескольких лысых старперов с Уолл-стрит, которые никогда не бывали в Париже, курят сигары и даже спасибо нам не говорят. Шефы "R & W", подобно средневековым вассалам или жертвам Пунических войн, складывают к ногам акционеров всю годовую выручку, трепеща от страха, что не смогут погасить очередной взнос за купленные в кредит виллы.)

Послеобеденные часы отданы конструктивной самокритике, призванной оптимизировать производительность труда. Октав переложил льда в свой джин-тоник и теперь мается туристской болезнью — поносом. Президент Филипп и Марк Марронье время от времени отводят его в сторонку и шепчут что-нибудь вроде: "Мы так рады, что ты выкарабкался; не будем говорить на эту тему, сам видишь, мы нормально относимся к твоим выходкам; мы ведь современные шефы, мы все понимаем, но ты же не уволишься, верно?" Что, впрочем, не мешает Филиппу

напомнить Октаву, сколь важны удачные съемки “Мегрелет” для добрых отношений агентства с группой “Мадонна”.

— Мы только что провели вместе с ними совещание по выработке рекламной стратегии, и нас там взгрели как следует.

— Не волнуйся, президент, я больше не собираюсь заблевывать сортир клиента. И потом, ты же знаешь, именно я нашел для фильма идеальную девочку.

— Да-да, как же, ту марокканочку... Но после съемок ее придется слегка подправить.

— Ничего страшного, это же заложено в бюджет. Ты только представь, какие у нас сегодня богатые возможности: берем девчонку с аппетитной попой, приделываем ей лицо от другой, ноги от третьей, руки от четвертой и сиськи от пятой. В общем, делаем сборную солянку — и дело в шляпе!

— Может, вам лучше нанять специалиста по пластической хирургии вместо режиссера?

Октаву не хочется отвергать все чохом, но и унижаться тоже противно; скорее всего, он просто дозрел. И внезапно взрывается:

— А почему нельзя брать на роль марокканку? Может, хватит фашиствовать, как наши клиенты? Мать твою, меня уже тошнит от этого расистского дерьма! “Nike” вернул петеновский дух на плакаты “Nikepark”, “Nestlé” отказалась снимать негров в клипе про баскетбол, но это еще не повод, чтобы мы тоже вели себя как последние ублюдки! Нет, вы скажите мне, до чего мы докатились, если никто не смеет сказать слова поперек? Реклама ставит всё с ног на голову: Ганди продает компьютеры “Apple”! Ты только вдумайся — святой, который не признавал никакой техники, одевался по-монашески и ходил босиком, превращен нашими стараниями в торговца информатикой! Пикассо красуется на “ситроенах”, Стив Маккуин водит “форд”, Одри Хепбёрн носит мокасины “Tod’s”! Да они небось в гробу переворачиваются, все эти бедняги, которых после смерти сделали коммивояжерами. Это же настоящий шабаш! Холокост мертвецов! Мы питаемся трупами! Наш товар продают зомби! Где же предел этому разгулу? Государственная лотерейная компания недавно осчастливила нас новым тиражом с портретами Мао, Кастро и Сталина — решили подзаработать на тиранах! Так кто же остановит эту вакханалию, если даже ты, Филипп Большой Босс, поджал хвост и не борешься с расизмом и национализмом мировых коммуникаций?!

— О-ла-ла, до чего же он стал занудлив с тех пор, как бросил нюхать! Ты полагаешь, я никогда не размышлял на эту тему? Разумеется, мне тоже отвратительно все, что мы вытворяем, но я, видишь ли, обязан думать о своей жене, о детях и, кроме того, не страдаю манией величия до такой степени, чтобы устраивать революции; черт подери, Октав, ну прояви же хоть капельку смирения! Тебе достаточно не включать телик и не ходить больше в Макдоналдс; ведь не я виноват во всем этом дерьме, оно ваше — это дерьмо, это вы покупаете “найки” и прочие шмотки, сделанные индонезийскими рабами! Легко проклинать систему, которую вы же сами и раскручиваете! И вообще, хватит делать из меня маньяка под тем предлогом, что я гонюсь за бабками! Да, от некоторых вещей и меня с души воротит. Но мне противен не отбор белых девиц для съемок, потому что тут мы бессильны: настоящие расисты — потребители, а не рекламодатели. И не манипуляции с покойниками: образ вели-

кого художника никогда не принадлежал ему одному, все гении переворачивались в гробу еще при жизни. Нет, мой юный Гуччи, меня приводит в ярость другое — всякие новомодные праздники, придуманные рекламистами, чтобы заставить людей покупать еще и еще; мне осточертело смотреть, как моя семья клюет на все эти мерзкие уловки: ну Рождество — ладно, куда ни шло, но ведь теперь нам навязали еще и Праздник Матерей (спасибо маршалу Петену!), Праздник Отцов, Праздник Бабушек имени одноименного кофе, Хеллоуин, Праздник святого Патрика, День святого Валентина, русский Новый год, китайский Новый год, Дни "Nutrasweet" и "Tupperware"[1] и еще черт знает что! Скоро в календаре пустых дней не останется, всех святых заменят на 365 логотипов!

— Ну вот, сам видишь, шеф, что я кругом прав, когда толкаю тебя на протест. Я тоже ненавижу Хеллоуин: раньше у нас был День всех святых, и вдруг зачем-то понадобилось обезьянничать и вводить заморские праздники.

— Да это совершенно разные вещи: на День всех святых мы ходим к мертвым на кладбище, а на Хеллоуин они сами приходят к нам. Вообще, так гораздо удобнее — не надо никуда двигаться. Праздник с доставкой на дом: СМЕРТЬ ЗВОНИТ К ТЕБЕ В ДВЕРЬ! Они обожают такие фокусы. Смерть уподобляется почтальону, разносящему календари на Рождество.

— А мне кажется, людям просто легче вырядиться в чудищ и водрузить на башку тыкву с горящей свечой, чем вспомнить о близких, которых они лишились. Но вернемся к твоему списку: ты забыл самый грандиозный торговый праздник — свадьбу; вот он — главный объект оголтелых рекламных кампаний и ежегодных торжеств, начиная с января месяца: плакаты свадебного отдела "Прентан", "Галери Лафайет" и "Бон Марше", обложки всех дамских журналов, сладкая отрава по телику и радио... Молодые парочки с запудренными мозгами воображают, будто женятся по любви или ради семейного счастья, — как бы не так! Они женятся, чтобы мы смогли им всучить побольше посуды, банных полотенец, кофейников, диванов и микроволновок.

— Ах, кстати, мне пришла в голову одна мыслишка... Октав, помнишь историю с "Barilla"[2], когда ты предложил титр со словом "счастье"?

— Да, но... юристы же нам разъяснили, что это невозможно.

— Верно. Потому что слово "счастье", видите ли, уже содержится в марке "Nestlé"! "СЧАСТЬЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 'NESTLE'!"

— Погоди-ка... Это меня не удивляет, но знаешь ли ты, что "Pepsi" хочет застолбить синий цвет?

— Как?

— Именно так, — они решили закупить синий в эксклюзивную собственность, но и это еще не все: они финансируют образовательные программы на компакт-дисках, которые бесплатно распространяются в школах. Таким образом детишкам дают уроки на компьютерах пепси, и они привыкают читать слово "пить" на синем фоне пепси.

— А когда они глядят в небо цвета пепси, у них блестят глаза цвета пепси, и когда они падают с велосипеда, их коленки украшаются синяками пепси...

1. "Nutrasweet" — искусственный заменитель сахара. "Tupperware" — марка пластмассовых изделий.
2. Марка итальянских макаронных изделий.

— То же самое, что с "Colgate": фирма дарит видеокассеты учителям, чтобы те вдалбливали ребятишкам, что нужно чистить зубы только их пастой.

— Да, я об этом слышал. "L'Oreal" устраивает такие же трюки с шампунем "Petit Dop". Мало им промывать нам волосы, так они еще и промывают мозги!

Филипп разражается натужным смехом, который, впрочем, не мешает Октаву вставить:

— Мне приятно видеть, что тебе это небезразлично.

— Я просто ясно отдаю себе отчет: за неимением другого, пустоту заполняет реклама. Она стала нашим единственным идеалом. Это не природа, это надежда не терпит пустоты.

— Вот ужас! Постой, не уходи, раз уж мы завелись на эту тему, расскажу тебе классную историю. Когда рекламодатели не могут сбыть товар или просто-напросто хотят оправдать свои колоссальные зарплаты, они заказывают СМЕНУ УПАКОВКИ. И платят бешеные бабки агентствам, чтобы поменять стилистику. И устраивают по этому поводу бесконечные совещания. Однажды я пришел в "Kraft Jacobs Suchard", в кабинет того парня со стрижкой ежиком... как его... Антуан Пуассар... или Поншар... или Подар... ну, что-то в этом роде.

— Пудар.

— Точно, Пудар, сногсшибательное имечко. Он стал мне показывать разные логотипы, которые им предлагали. Хотел узнать мое мнение. А сам был прямо-таки на грани оргазма — служебного оргазма! — вот, мол, какой он нужный и полезный работник. Он раскладывал на полу свои проекты, и мы с ним сидели лицом к лицу в этом огромном здании в Велизи[1]: он — чистенько выбритый, в галстуке от "Tintin et Milou", и я — с виду типичный хмырь занюханный — и пили остывший кофе, что таскала нам старая одышливая секретарша, которую уже лет тридцать как никто не трахал. Я посмотрел ему прямо в глаза и вдруг почувствовал, что парня грызут сомнения, что он первый раз в жизни спросил себя, какого черта он тут делает, и тогда я сказал: "Да выбирай любой!", и он не глядя вытащил из кучи первый попавшийся логотип, бормоча себе под нос: "Синий, красный, голубой, выбирай себе любой!"; сегодня этот вариант красуется на всех прилавках всех европейских супермаркетов. Ничего сюжетец — скажешь, нет? Отличная формула: МЫ ВЫБИРАЕМ СВОЙ ИМИДЖ НАУГАД!

Однако Филипп давно уже сбежал. Он не любит, когда его заставляют кусать руку, которая его кормит, и ловко уклоняется от принципиальных споров. Он прячет свой протест в дальний ящик с табличкой "Месячный сеанс самобичевания на обедах "У Фуке". Вот почему он теперь и ходит осоловелый с самого утра.

Октав вдыхает и выдыхает теплый воздух. По заливу бесшумно скользят парусники. Все девицы из агентства щеголяют косичками, подражая Иман Боуи[2], и в результате уподобляются старушке Бо Дерек[3]. В миг Страшного суда, когда призовут к ответу всех рекламистов, Октава сочтут виновным лишь частично. Он будет судим всего лишь как "аппарат-

1. Парижское предместье, где размещаются офисы многих крупных фирм.
2. Жена знаменитого рок-музыканта Дэвида Боуи.
3. Американская киноактриса (р. 1956), снимавшаяся в ряде эротических фильмов.

чик", скромный служащий, коего даже в один прекрасный день посетили сомнения в разумности мироздания, — высокое жюри наверняка сочтет его пребывание в Медоне смягчающим обстоятельством, заслуживающим всяческого снисхождения. Кроме того, в отличие от Филиппа, он никогда не получал "Львов" в Канне.

Октав звонит своей платонической возлюбленной Тамаре, думая при этом о Софи, матери ребенка, которого он никогда не увидит. Не слишком ли много потерь для одной жизни?

— Я тебя разбудил?

— Вчера вечером я сняла клиента в "Плазе", — щебечет она, — ты представляешь, у него был член с руку толщиной, мне пришлось бы наизнанку вывернуться, чтоб его всунуть... ОБОРУДУЙТЕ ВАШУ КУХНЮ НАШИМИ КОМБАЙНАМИ... бум-бум... ВЫБИРАЙТЕ ХОРОШЕНЬКО, ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ...

— Это еще что за хреновина?

— Это? А, ничего особенного, это чтобы не платить за телефон: они время от времени запускают свою рекламу, а взамен — все разговоры на халяву.

— И ты согласилась на этот кошмар?

— У "CASTO" ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО! ПОКУПАЕМ ВРАЗ И ДРУЖНО! CASTO-CASTO-CASTORAMA!.. Ну и что, ко всему привыкаешь; попробуй сам и увидишь, я и то уже привыкла. Ну ладно, так вот о вчерашнем клиенте — на мое счастье, он совсем скапутился, у него никак не получалось, хотя торчало, как у жеребца, ей-богу, не вру; ну, я ему устроила небольшой стриптизец на кровати, он спросил, можно ли нюхнуть "дорожку" у меня с ноги, а потом мы смотрели телик; в общем, я легко отделалась... "INTERMARCHÉ" — ЧЕМПИОН СЕЙЛОВ!.. А сколько сейчас времени-то?

— Три часа дня.

— О-о-ох, умираю, спать хочу! Я была в "Банане" и к семи утра так набралась, что прилепила накладные ресницы к зубам, представляешь? Ну, а ты как? Ты вообще где?

— Вообще я в Сенегале. Мне тебя не хватает. Я сейчас как раз читаю "Расширение пространства гульбы"[1].

— Ой, не надо про гульбу, меня и так наизнанку выворачивает. "CAILLAUX"..."CAILLAUX"..."CAILLAUX"... ЛУЧШИЕ В МИРЕ ТОРШЕРЫ — ОТВЕТИЛО ЭХО. Слушай, ты не мог бы перезвонить попозже?

— А ты держишь мобильник у самого уха? Смотри, будь осторожна. Сотовые телефоны разрушают ДНК. Ученые делали опыты на мышах: мобильники увеличивают их смертность на семьдесят пять процентов. Я купил себе специальную ушную прокладку, чтобы избежать прямых контактов с трубкой; советую тебе сделать то же самое, не хватало нам еще опухоли мозга.

— Октав, лапочка, у тебя нет мозга!.. "КОНТИНЕНТ", "КОНТИНЕНТ" — НАИЛУЧШИЙ ПРЕЗЕНТ!..

— Извини, но у меня башка раскалывается от этой рекламной требухи. Пока, спи дальше, моя газель, моя берберочка, моя "Спасательница Марракеша"[2]!

1. "Расширение пространства борьбы". Отсылка к роману современного французского писателя Мишеля Уэльбека.
2. Намек на американский телесериал "Спасатели Малибу".

Проблема современного человека не в том, что он зол. Напротив, в большинстве случаев он по чисто практическим соображениям старается быть добрым и любезным. Просто ему не нравится скучать. Скука приводит его в ужас, тогда как на самом деле нет ничего более полезного и благотворного, чем хорошая ежедневная доза ничем не заполненного времени, долгих минут безделья, пустоты, тупого оцепенения в одиночестве или в кругу себе подобных. Октав понял это: истинный гедонизм — вот что такое скука. Только она позволяет услаждаться настоящим, однако люди поступают с точностью до наоборот: они бегут от скуки, ищут от нее спасения у телевизора и телефона, в кино и в Интернете, в видеоиграх и модных журналах. Они перестали участвовать в том, что делают, и живут как бы в другом измерении, словно стыдятся просто дышать — здесь и сейчас. Человек, который смотрит на телеэкран, или участвует в интерактивных опросах, или звонит по сотовому, или играет на своей "PlayStation", — не живет. Его здесь нет, он ушел в иной мир. Он вроде бы и не умер, но и не жив. Интересно было бы подсчитать, сколько часов в день мы отсутствуем в реальной действительности и сколько времени пребываем в зазеркалье. Ручаюсь, что все измерительные приборы зафиксируют наше отсутствие ("Абонент недоступен в данный момент!"), и нам трудненько будет разубедить их. Люди, критикующие индустрию развлечений, имеют дома телевизоры. Люди, осуждающие общество потребления, имеют карточки "Visa". Ситуация необратима. Она не меняется со времен Паскаля: человек продолжает спасаться от страха смерти в развлечениях. Просто оно — развлечение — стало таким всемогущим, что заменило самого Бога. Так как же избежать развлечений? Бороться со страхом смерти.

Мир ирреален — за исключением тех моментов, когда он скучен.

Итак, Октав упивается скукой, лежа под кокосовой пальмой; какое счастье — просто лежать, наблюдая за парой цикад, предающихся любви рядом с ним, на песке. Он бормочет:

— В тот день, когда все люди на земле согласятся скучать, мир будет спасен.

Но, увы, его изысканная скука нарушена брюзгливым Марком Марронье:

— Так ты, значит, всерьез порвал с Софи?

— Ну, не знаю... не уверен. А ты почему спрашиваешь?

— Да так просто. Я могу с тобой поговорить пару минут?

— Марк, даже если я отвечу "нет", ты все равно будешь говорить, а мне придется тебя слушать из почтения к начальству.

— Вот это верно. Тогда заткнись и слушай. Я видел тот сценарий для "Мегрелет", который вы продали "Мадонне", это сущий кошмар. Как вы могли измыслить такое дерьмо?!

Октав прочищает уши, чтобы убедиться, что он не ослышался.

— Постой, Марк, разве не ТЫ мне велел наложить эту кучу дерьма?

— Я??? Никогда в жизни не говорил ничего подобного.

— У тебя что, совсем память отшибло? Они зарубили нам дюжину проектов, и ты еще сказал, что пора приводить в действие план ORSEC, наш последний говенный шанс, а я...

— Извини, что прерываю, но это не у меня отшибло, а у тебя, психа недолеченного, так что давай-ка не вали с больной головы на здоровую,

о'кей? Я прекрасно помню все, что говорю своим креаторам. Я никогда в жизни не разрешил бы тебе демонстрировать такую труху "Мадонне" – гордости нашего агентства. И мне уже осточертело краснеть всякий раз, как я обедаю в обществе. "'МЕГРЕЛЕТ' – ЧТОБ СТРОЙНЫМ СТАТЬ, НО ПРИТОМ СООБРАЖАТЬ"! Нет, ты просто плюешь на всех нас!

– Погоди, Марк. Мы уже привыкли к твоим выбрыкам, когда доходит до подписания контракта. Но тут дело сделано: сценарий для "Мегрелет" продан, тестирование сошло успешно, оба PPM тоже; теперь уже поздно что-то менять. Я долго обдумывал...

– А я нанимал тебя не для того, чтобы ты обдумывал. И улучшить проект никогда не поздно. Фильм еще не снят и не вышел на экран, все можно переделать. В общем, слушай меня хорошенько: выпутывайся как хочешь, но вы с Чарли должны написать новый сценарий. Вы поставили под угрозу репутацию "Росса", мать вашу!

Октав молча кивает. Возражать бесполезно: он прекрасно знает, что Марка волнует не репутация "Росса", а собственное кресло, которое грозит превратиться в катапультируемое. Если уж сам Филипп решил поговорить с ним тогда, в первый день, значит, на него здорово надавили в "Мадонне", и он решил отыграться на них с Чарли. Иными словами, сегодня вечером в сенегальском воздухе запахло увольнением, и, к несчастью, Октав подозревает, что речь идет даже не о нем.

5

На второй день аниматор гостиницы организовал "экспедицию в буш". Цель мероприятия: внушить служащим агентства, что они увидали настоящую Африку и ради этого стоило временно покинуть свою золотую клетку. Естественно, ничего хорошего из этого не вышло: прибыв на джипах к берегу Розового озера, они полюбовались африканскими плясками и вкусили мешуи[1], то есть получили чисто туристский аттракцион. Турфирма спланировала эту поездку исключительно для того, чтобы показать, насколько сенегальский пейзаж похож на ее рекламные проспекты. Туризм превращает путешественника в контролера, его открытия – в инспекцию, удивление – в констатацию, странника – в Фому неверующего. Но все же Октав подвергся атаке ненасытных москитов, а значит, хоть какие-то приключения еще были возможны, коль скоро он ухитрился забыть в отеле свой спрей с лимонным ароматом.

После ужина состоялся сеанс национальной сенегальской борьбы, где сошлись туристы-семинаристы (в нарядах с лейблами "Lacoste") и воины несуществующего племени (в нарядах туземцев из фильмов про Тарзана). До чего же приятно было, сидя на теплой траве у берега Казаманса[2], глядеть, как Марронье, в его цветастых "багамах", повергли в грязь под грохот тамтама, под гигантским баобабом, под луной и звездами, под дрянное вино с запахом бензина и наперченный кус-кус, под раскатистый белозубый хохот агентши по внешним связям, под голодными взглядами местной ребятни, – так приятно, что Октаву хотелось заклю-

1. Африканское блюдо из жареной баранины или антилопы.
2. Река на юге Сенегала, впадающая в Атлантический океан.

чить в объятия небосвод и возблагодарить вселенную за то, что он попал сюда, пусть и ненадолго.

Ему нравится эта постоянная тропическая влажность, при которой руки так легко скользят по телам. Она придает поцелуям пряный вкус ожога. Каждая мелочь обретает ценность, когда главное утрачивает смысл. Соскочить – пусть ненадолго – с карусели повседневности иногда бывает жизненно важно даже для трудоголиков. Октав ехал в этот обязательный вояж нехотя, обратившись мыслями в прошлое, но теперь он приобщался возвышенного, касался вечного, смаковал жизнь, воспарял над никчемной суетой, постигал простоту бытия. И когда дилер по кличке Золотая Жила принес ему ежедневный пакетик травки, он повалился в песок на пляже, бормоча "Софи" – имя, от которого у него пресекалось дыхание.

– Любовь не имеет ничего общего с сердцем – этим мерзким органом, насосом, качающим кровь. Любовь первым делом сдавливает легкие. Глупо говорить: "У меня разбито сердце", нужно выражаться точнее: "У меня сдавило легкие". Легкие – самый романтичный из человеческих органов: все влюбленные заболевают туберкулезом, недаром же от него умерли Чехов, Кафка, Д. Г. Лоуренс, Фредерик Шопен, Джордж Оруэлл и святая Тереза из Лизьё; что касается Камю, Моравиа, Будара[1], Марии Башкирцевой и Кэтрин Мэнсфилд, то разве смогли бы они написать именно такие книги без этой хвори?! И наконец, вспомните: Дама с камелиями умерла отнюдь не от инфаркта миокарда – эту кару Бог насылает на загнанных честолюбцев, а не на печальных влюбленных.

Паря над самим собой, Октав с самим собой беседует:

– Каждый человек таит в душе любовную печаль, дремлющую до поры до времени. Сердце, не разбитое любовью, еще не сердце. Легкие ждут туберкулеза, дабы почувствовать, что они существуют. Я – ваш учитель по фтизическому воспитанию[2]. Любому из вас следует завести водяную лилию в грудной клетке, как у Хлои в "Пене дней" или у госпожи Шоша в "Волшебной горе"[3]. Я любил смотреть, как ты спишь, даже если ты только прикидывалась спящей, когда я возвращался за полночь, пьяный в дым; я пересчитывал твои ресницы; иной раз мне чудилось, что ты улыбаешься. Влюбленный мужчина – это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею. Софи, слышишь ли ты меня через тысячи километров, разделяющих нас, как в рекламах SFR[4]? Почему мы понимаем, что любим человека, только после того, как он ушел? Разве ты не видела, что я ждал от тебя лишь одного: чтобы ты заставила меня помучиться, как в самом начале, от боли в легких?!

Но вот на пляж высыпают *оголодалые* машинистки во главе с грудастой стажеркой Одиль; они пускают по кругу сигарету с травкой, и это вызывает у них массу скабрёзных шуточек:

– Пососем вшестером!

– Я сосу, я сосу, но никак не заглотну.

– А ты уверена, что любишь глотать?

1. Альфонс Будар – французский писатель, умерший от туберкулеза в 2000 г.
2. Имеющий отношение к туберкулёзу легких (от греч. "phtisis" – разрушение).
3. Хлоя и госпожа Шоша, героини романов Б. Виана и Т. Манна, страдали туберкулезом. Водяная лилия (в романе Виана) – символ этой болезни.
4. Марка мобильных телефонов.

— Хорошо бы повторить, только сперва не мешало бы промыть сосалку.

Все это звучит довольно вульгарно, но в контексте нынешней ситуации, в общем-то, все равно смешно.

Сотрудники мужского пола, все как один, расхаживают в накинутых на плечи пуловерах: некоторые связывают рукава узлом, другие просто небрежно прикрывают ими свои розовые рубашки-поло от Ральфа Лорана. Октав считает эту моду отвратительной и возмущается втихую:

— ГОСПОДИ, РЕХНУЛИСЬ ОНИ, ЧТО ЛИ, НУ КТО ЭТО НАМАТЫВАЕТ ПУЛОВЕР НА ШЕЮ?! Одно из двух: либо ты мерзнешь и надеваешь его как положено, либо тебе жарко — тогда оставь его дома. Пуловер на плечах свидетельствует о трусости, о неспособности принять решение, боязни сквозняков, непредусмотрительности, слабохарактерности и, наконец, эксгибиционизме: эти господа выставляют напоказ шотландскую шерсть, жалея тратиться на кашемир. Они таскают на себе вялых шерстяных осьминогов, потому что даже не способны одеться по погоде. Всякий, кто накидывает пуловер на плечи, труслив, неэлегантен, жалок и слаб. Девушки, поклянитесь, что будете остерегаться этих типов как чумы! ДОЛОЙ ДИКТАТУРУ ПУЛОВЕРА НА ПЛЕЧАХ!

Потом была ночь, а за нею день, и с ним — барбекю из лангустов. Кто тут говорил о деколонизации? Ничто не колонизирует больше, чем мировая реклама: в самом грязном углу самой нищей хижины на самом краю света “Nike”, “Coca-Cola”, “Gap” и “Calvin Klein” заменили собой Францию, Англию, Испанию и Бельгию. Правда, нашим братьям меньшим, неграм, достаются лишь жалкие крохи цивилизации: пиратские кассеты, поддельные “ролексы” и рубашки “Lacoste”, от которых при первой же стирке отваливается неумело скопированный крокодил. Розовое вино слегка туманит мозги, но ведь для того оно и существует, верно? За ночь осушается семнадцать бутылок. Чарли пустился в загул, как ненормальный, ввязывается во все гостиничные развлечения подряд — ручеек, караоке, конкурс мокрых маек и раздачу игрушек от Макдоналдса местным ребятишкам, которые вопят:

— Подарки! Подарки!

Октав знает, что уже с понедельника всей этой лжи придет конец. Но конец лжи еще не означает начала правды. Будьте бдительны: одна ложь может скрывать за собой другую.

Господи, до чего же все сложно: едва избежишь одной ловушки, как рискуешь угодить в две следующие!

Чарли хлопает по спине Октава, который протягивает ему сигарету с травкой.

— Скажи откровенно, ты знал, что “Pepsi” собирается купить синий цвет?

— Ну конечно знал, Чарли, как знаю и то, что “счастье принадлежит ‘Nestlé’”. Уж будь уверен, я всегда в курсе событий.

— Верно. А теперь глянь-ка сюда! (Он размахивает последним номером “Монд”.) Вот тебе еще одна фишка для твоего романчика: Институт медиаметрии ввел новую систему исследования зрительской аудитории. Это такое устройство с камерой инфракрасного излучения, чтобы фиксировать движения глаза, и датчиком с микрофоном, процессором и па-

мятью, чтобы фиксировать работу уха. Наконец-то они выяснят, что́ потребители смотрят и слушают, причем не только дома, перед телевизором, но и в машине, и в супермаркете, словом, везде и всюду! БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ВАМИ!

Чарли затягивается сигареткой и начинает судорожно кашлять. Октав умирает со смеху:

— Давай-давай кашляй, мистер Столп, это лучшее, что с тобой может случиться в этом мире. В общем-то, Оруэлл правильно сделал, что кончился от чахотки. Благодаря ей он не успел увидеть, до какой степени оказался прав.

Мотивационный семинар начался с коллективистской утопии: неожиданно все мы стали равны, рабы обращаются на "ты" к господам — эдакая оргия равноправия. По крайней мере, в первый вечер. Ибо на следующее утро все приходит в норму, касты возрождаются и уже больше не смешиваются, разве только по ночам, в коридорах, где все суют друг другу ключи от комнат; вчерашняя утопия превратилась в водевиль. Пьяная в дым юристка писает в саду на клумбу; одна из секретарш обедает в одиночестве, ибо никто не желает с ней общаться; артдиректриса, сидящая на транквилизаторах, рвется бить морду всем подряд, стоит ей выпить лишнего (причем бьет всерьез — оплеухи и зуботычины сыплются градом, Октаву она в клочья разодрала рубашку), словом, в этой поездке все как будто рехнулись. Жизнь в агентстве напоминает жестокость школьной жизни, с той лишь разницей, что тут никто вас не защитит. Непристойные реплики, несправедливые нападки, сексуальные домогательства и борьба, борьба, борьба за власть: здесь все дозволено, как в самых страшных воспоминаниях о схватках в школьном дворе после уроков. Показная непринужденность рекламного агентства уподобляется кошмару школьной распущенности, только в тысячекратном увеличении. Все позволяют себе хамить всем, как будто вновь стали восьмилетними, и нужно принимать это хамство с улыбкой, а не то тебя сочтут старомодным. Самые безумные — это, разумеется, те, кто считает себя самыми нормальными: ГАДы[1], убежденные в том, что имеют полное право занимать свое место; экаунт-менеджеры, убежденные в том, что имеют полное право на место ГАДов; ответственные за поставки в ожидании отставки; начальники в подпитии и замы на дожитии. Но где же Джеф? Октав не нашел его среди приехавших. А жаль, этот крутой мальчик мог бы просветить его насчет страха, явно гложущего души руководителей "Росса". Не иначе как Дюлер-Дерьмо-Собачье еще разок вонзил им нож в спину.

На пляже Октав рыдает от умиления при виде песка, налипшего на потные девичьи тела, синяков на их бедрах и царапин на коленках; еще одна затяжка, и он по уши втюрится в чей-нибудь спинной позвонок. Каждый день ему требуется хоть крошечная, с родинку, толика красоты. Он целует Одиль в плечико — за то, что оно пахнет духами "Наваждение". Он часами нахваливает ее локти:

— Я обожаю твой острый локоток, нацеленный в будущее. О, позволь мне любоваться твоим локтем, раз уж ты сама не осознаешь его власти! Я предпочитаю твой локоть тебе самой. Закури сигарету, вот так, и поднеси огонек к своему лицу. Соблазняй меня как хочешь, ты все равно не помешаешь мне лобызать твой локоть. Твой локоть — мой спасатель-

1. ГАД — генеральный артдиректор.

ный круг. Твой локоть сохранил мне жизнь. Твой локоть существует, я встретился с ним. Я завещаю свое тело твоему хрупкому локтю, который вызывает у меня слезы восторга. Твой локоть — это сустав, покрытый кожей, правда, слегка подпорченной, — видно, в детстве ты расцарапала ее до крови. В детстве всегда бывают болячки на том месте, которое я сейчас целую. Что такое локоть? — вроде бы пустяк! — и тем не менее я тщетно ищу и не нахожу другого стимула для жизни в данный, конкретный миг.

— Ах ты, моя лапочка!

— Лизнуть твой локоть — и умереть! Больше мне ничего не надо.

И он декламирует:

Одиль, твой локоть блещет красотой.
Он стал моею ахиллесовой пятой!

Затем, используя спину Одиль как пюпитр, наш загорелый Вальмон[1] пишет на ней открыточку Софи:

Дорогое Наваждение,
найдешь ли ты в своем сердце достаточно сострадания, чтобы спасти меня от себя самого? В противном случае я залезу в ванну с водой и суну пальцы в розетку. Есть нечто худшее, чем жизнь с тобой, — это жизнь без тебя. Вернись! Если ты вернешься, я подарю тебе "New Beetle"[2]. Конечно, это идиотское предложение, но тут есть и твоя вина: с тех пор как ты ушла, я стал серьезен до безобразия. И вообще, я вдруг понял, что другой такой девушки на свете нет. Откуда вывод: я тебя люблю.

Подписываться необязательно, Софи и так узнает его "оригинальный" стиль. Едва отослав открытку, Октав начинает жалеть об этом: ему следовало не открыточки писать, а на коленях умолять Софи вернуться к нему: "На помощь мне плохо я не могу жить без тебя Софи мы не должны расставаться если я тебя потеряю значит потеряю все"; дьявольщина, нужно было целовать ей ноги, вот что нужно было делать, неужто он не способен даже на это?!

До Софи он кадрил девушек, упрекая их в том, что они носят накладные ресницы. Они начинали возражать. Тогда он просил девушку закрыть глаза, якобы желая убедиться, правда ли это, и пользовался моментом, чтобы чмокнуть ее в накрашенные губки. Второй прием назывался "грузовик":

— Скажи: "Я грузовик".

— Я грузовик.

— Би-и-ип! Би-и-ип! (произносится с одновременным нажатием на обе груди).

Есть и третий способ — пари.

— Спорим, что я дотронусь до твоей попки, не дотронувшись до одежды?

— О'кей.

— Проиграла! (запуская руку под юбку).

1. Герой романа Шодерло де Лакло "Опасные связи", писавший письмо одной женщине на обнаженной спине другой.
2. Новая модель автомобиля фирмы "Фольксваген".

Еще можно было сыграть в "текила-бум-бум": велишь девушке зажать в зубах ломтик зеленого лимона, насыпаешь ей в ладонь щепотку соли, слизываешь соль, запиваешь глотком текилы с газировкой и закусываешь лимончиком из уст красотки. После трех таких сеансов лимон обыкновенно заменяется языком.

Как ни странно, эти приемчики действовали безотказно. Но с Софи все было по-другому. Он сделал вид, будто всерьез увлечен ею. Она сделала вид, будто верит этому. В конце концов они оба уверовали в то, чего не говорили. И однажды она спросила его:

— Почему ты ничего не говоришь?

— Когда я ничего не говорю, это хороший признак: значит, я оробел. А когда я робею, это очень хороший признак: значит, я смущен. А когда я смущаюсь, это совсем хороший признак: значит, я влюблен. Но когда я влюбляюсь, это очень плохой признак.

Он полюбил ее потому, что она была замужем. Он влюбился потому, что она была несвободна. Он работал вместе с ней в "TBWA de Plas"[1], но никак не мог добиться ее. Он полюбил ее еще и потому, что сам был тогда женат, и эта любовь была запретным плодом, тайной, мерзкой изменой. Он полюбил ее, как любят женщин, которых нельзя домогаться — мать, сестру, подруг своего отца, свою первую девушку, к которой питаешь чистое, безответное чувство. В любви действует принцип домино: первая влюбленность влечет за собой и все остальные. Он желал ее так же, как хорошеньких девчонок в детстве, то есть скрытно, втайне от нее самой. Позже он ей сказал: "Когда я влюбляюсь, это очень плохой признак", и она не удивилась этому. Он назначил ей свидание в полночь на мосту Искусств, на третьей скамье, считая от Академии, и сидел там в ожидании, лицом к Новому мосту, глядя, как Сена разделяется на два рукава, словно открывает объятия будущему. Потом все это стало даже слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Она пришла на свидание, и все остальное тут же померкло.

— Извините, мадемуазель, не дадите ли вы мне свои координаты, чтобы я мог отыскать вас впоследствии?

— Ну разумеется, месье...?

— Октав. Зовите меня просто Октав. Знаете, мне кажется, я влюблен в вас. Что, если я потискаю ваши грудки, мадам? Вы не против?

— О, не стесняйтесь, пожалуйста. Только перед тем, как продолжить беседу, не сочтите за труд, поработайте как следует языком у меня во рту.

— А у вас случайно нет подходящего помещеньица для этого занятия?

Жаль, что его страсть не нашла должного отпора — это всегда вызывает сумасшедший взрыв чувственности, в высшей степени опасный для окольцованных любовников. Наслаждение — дамоклов меч, легко рассекающий брачные узы. Софи повела его на подземную стоянку агентства у Нового моста; там было темно и безлюдно, там она и отдалась ему стоя, прислонясь к бетонной стене, между двумя служебными машинами. Это был самый долгий оргазм в его и ее жизни. Потом она взяла его мобильник и занесла в "память" свой номер:

— Теперь ты не сможешь соврать, что потерял мой телефон.

1. Парижское рекламное агентство. Ныне называется "BDDP and TWA".

Октав был настолько влюблен, что даже тело его бунтовало против разлук с Софи: фурункулы, аллергии, болячки на шее, боли в желудке, жестокие бессонницы сыпались на него градом. И тщетно мозг претендует на контроль за всем остальным: сердце восстает против пустоты, легким не хватает воздуха. Каждый, кто подавляет в себе любовь, превращается в ничтожество и заболевает. Жизнь без Софи обезображивала Октава. И это продолжается до сих пор: ему нужны теперь не только наркотики.

— МОЯ БИТА НЕ ЕСТ ДОСЫТА!

Октав выкрикивает это в микрофон. Одиль нежна, как жонкиль, и благоуханна, как ваниль. Они сидят в ночном ресторане отеля, и Октав ставит пластинки. На войне, как на войне: здесь имеется лишь несколько старых макси-синглов с дискомузыкой, сборники французской эстрады и три исцарапанные сорокопятки. Делать нечего, он ухитряется кое-как составить музыкальную программу из того, что есть; например, вот самая прекрасная песня в мире — "C'est si bon" в исполнении Эрты Китт[1]. Затем, уступая тяге к легкому жанру, заводит "YMCA"[2].

— "Village People" похожи на вино, — объявляет Октав, — чем старее, тем лучше.

Пусть будет все что угодно, только не "Марсия Баила"[3]! Время от времени Одиль льнет к нему на глазах у сослуживиц. Но стоит им отойти, как она тут же отстраняется. Сам он ей не по вкусу, *просто хочется, чтобы подружки завидовали.* А он чувствует себя старым и некрасивым в этой стайке юных хорошеньких девчушек. Схватив Одиль за руку, он сердито говорит:

— Ну и поганки же вы, юные динамистки!

-- Да уж не поганее тридцатитрехлетних разведенных жеребцов.

— Верно. Единственное, чего я не могу для тебя сделать, это стать моложе.

Он ухлестывает за всеми красотками подряд, лишь бы не думать, ПОЧЕМУ он ухлестывает за всеми красотками подряд. Ибо ответ слишком хорошо известен: чтобы не завязнуть накрепко возле одной из них.

После этого ровно ничего не произошло. Октав довел Одиль до номера; ее шатало. Войдя, он улегся на кровать. Одиль забежала в ванную, и он услышал, как ее вырвало. Она поспешно спустила воду в унитазе и почистила зубы, надеясь, что он ничего не заметит. Когда она стала раздеваться, Октав притворился спящим, а потом и впрямь заснул. В комнате пахло блевотиной вперемешку с "Флюокарилом".

В самолете на обратном пути женщины причитали по поводу испорченных причесок и нескольких лопнувших баллончиков с дезодорантами. Октав декламировал вслух "Слова́, слова́..." Алена Делона из песни Далиды:

Как странно
Я не знаю что со мной
И нынче под мерцающей луной

1. "Как хорошо!" (*франц.*) — шлягер 50-х годов, который впервые исполнил французский певец-шансонье Ив Монтан. Эрта Китт — французская эстрадная певица.
2. Название песни в стиле диско в исполнении американской группы "Village People".
3. Песня в исполнении французской эстрадной группы "Les Rita Mitsouko".

Я на тебя смотрю как в первый раз
Не знаю право что тебе сказать
Но ты волшебная история любви
Которую хочу всю жизнь читать
Вчера и завтра
Нынче и всегда
Ты истина моя
моя звезда.

Интересно: как верно порой красивые слова выражают искренние чувства!

Ты словно ветер
что заставил скрипки петь
и вдаль уносит ароматы роз.

Никто из его поколения больше не смеет выражаться так изысканно.

Ты для меня мелодия любви
танцуют звезды под нее меж дюн.

Как часто он и его бухие дружки помирали со смеху над этими словами. Почему же они казались им такими нелепыми? Почему нам становится не по себе от романтики? Мы стыдимся своих чувств. Шарахаемся от высоких слов как от чумы. Не воспевать же собственную неспособность любить!

Ты для меня запретная мечта
Единственная боль
Последняя надежда.

Секретарши прыскают, слушая его, а ведь первый же парень, осмелившийся сказать им то же самое, глядя прямо в глаза, заставил бы их разрыдаться от полноты чувств. Может, это нервное хихиканье — от зависти? Как бы то ни было, они быстренько меняют тему и переходят к обсуждению скидок, предоставляемых агентством на проявку и печатание фотографий. Своих шефов они зовут только по инициалам:

— Не знаешь, ФАП и ПИТ уже поговорили?..
— Надо будет обсудить это с ЖФД...
— Пи-Пи-Эм с АПТ и РЖП прошло вполне удачно...
— Да, но ЛЖ и АД ничего не утвердили...

Остаток времени проходит в недовольном брюзжании по поводу урезанных обеденных талонов. Октав старается хохотать громче других, и временами это ему удается.

6

Если мужчина неуловим, то женщина — непобедима. Сидя в самолете, который несколько дней спустя летел в обратном направлении, Софи читала открытку Октава — без всякого интереса. Она была беременна от него, но больше его не любила. Вот уже месяц, как она изменяла ему с

Марком Марронье. И теперь лётела в Сенегал к Марку, который решил продолжить там свой отпуск.

Вначале она переживала муки ада. Расстаться с любимым, да еще и нося его ребенка, — это требует сверхчеловеческого — или нет, выразимся точнее, — *нечеловеческого* мужества, мужества животного. Как будто отпиливаешь себе ногу без анестезии, ржавым ножом, растягивая пытку до бесконечности. Потом ей захотелось отомстить ему. Ее любовь выродилась в ненависть, и она позвонила шефу Октава, у которого работала несколько лет назад. Он пригласил ее на обед, и вот тут-то она и "раскололась" — заревела и выложила ему все как есть прямо в ресторане "Ке Уэст". Марронье только что расстался со своей последней пассией-манекенщицей, и эта ситуация весьма удачно совпала с его временной сердечной незанятостью. Они сидели и ели какое-то семиэтажное, в высшей степени затейливое блюдо. Октав позвонил Софи на мобильник в тот самый момент, когда Марк уже начал оглаживать ее коленки.

— Алло, Софи! Почему ты не отвечаешь на мои звонки?

— У меня нет твоего номера.

— Как это — нет моего номера?!

— Я его стерла.

— Но почему?

— Он занимал лишнее место в памяти.

Софи отключила мобильник и позволила Марку целовать себя над вазочкой с шоколадным десертом. На следующий день она сменила номер телефона.

Так Софи стирала все, что было лишним в ее памяти.

Октав не знал о ее романе с Марронье, а жаль — это могло бы его обрадовать; стать рогоносцем по вине собственного шефа означало косвенное увольнение. Самолет Софи тоже не разбился. Марк встречал ее в аэропорту Дакара. В течение недели они занимались любовью по разу в день. Они уже вступали в тот возраст, когда и этого многовато. Ни он, ни она в большем и не нуждались — им просто нравилось быть вместе. Все вдруг стало казаться таким простым, таким понятным. Старея, люди не бывают счастливее — просто они опускают планку ниже, чем прежде. Проявляют ясность духа и терпимость, откровенно сознаются в неудачах. Ценят каждый миг отсрочки. Марк и Софи не подходили друг другу, но им было *хорошо* друг с другом, а такое встречается гораздо реже. Единственное, что их раздражало, это совпадение их имен с названием дурацкого телесериала "Марк и Софи".

Но не из-за этого же они решили умереть! Или...

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНА — ПОСЛЕ РЕКЛАМНОЙ ПАУЗЫ!

МОЛОДОЙ ДИЛЕР С БОРОДКОЙ СТОИТ, ШИРОКО РАСКИНУВ РУКИ, НА САМОМ ВЕРХУ МУСОРНОЙ СВАЛКИ. ВОКРУГ НЕГО СОБРАЛАСЬ ДЮЖИНА КЛИЕНТОВ. НА НИХ СВИТЕРА С КАПЮШОНАМИ, КУРТКИ "K-WAY", БЕЙСБОЛКИ И МЕШКОВАТЫЕ ШОРТЫ. ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ ЕМУ СРЕДИ КУЧ ОТБРОСОВ.

ВНЕЗАПНО ДИЛЕР ВОПРОШАЕТ:

— ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ, КТО ИЗ ВАС ПЕРВЫМ БРОСИТ В МЕНЯ КАМЕНЬ?

ТОГДА ОДИН ИЗ АПОСТОЛОВ ПРОТЯГИВАЕТ ЕМУ ЗАТВЕРДЕВШИЙ, ПОХОЖИЙ НА КАМЕНЬ, КОМОК КОКАИНА:

– ВОЗЗРИ, ГОСПОДИ, НА ЭТОТ ДОЗНЯК!

ТУТ РАЗДАЕТСЯ НЕБЕСНАЯ МУЗЫКА, СВЕРХУ ПАДАЕТ ЯРКИЙ ЛУЧ, ОН ОСВЕЩАЕТ БЕЛЫЙ КОМОЧЕК КОКАИНА В РУКЕ НАШЕГО СВЯТОГО ДИЛЕРА, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАШАЕТ:

– ТЫ – КАМЕНЬ, И НА СЕМ КАМНЕ Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ[1].

ЗАТЕМ НАША БОРОДАТАЯ СУПЕРЗВЕЗДА ДРОБИТ КОМОК ПАЛЬЦАМИ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В БЕЛЫЙ ПОРОШОК. КОГДА ОН РАЗЖИМАЕТ РУКУ, НА ЕГО ЛАДОНИ ЛЕЖАТ ДВЕНАДЦАТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНЫХ "ДОРОЖЕК" КОКАИНА.

– ПРИИМИТЕ ВСЕ И ЗАНЮХАЙТЕ, СИЕ ЕСТЬ ДУША МОЯ, ВАМ ОТДАННАЯ.

ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ ПАДАЮТ НА КОЛЕНИ ПРЯМО В МУСОР, С КРИКАМИ:

– АЛЛИЛУЙЯ! ОН УМНОЖИЛ "ДОРОЖКИ"!

PACKSHOT: КУЧКА БЕЛОГО ПОРОШКА В ФОРМЕ КРЕСТА С ВОТКНУТЫМИ В НЕЕ СОЛОМИНКАМИ.

ФИНАЛЬНЫЙ СЛОГАН (ГОЛОС ЗА КАДРОМ): "КОКАИН: ПОПРОБОВАТЬ ЕДИНОЖДЫ – ЗНАЧИТ ПОПРОБОВАТЬ МНОГАЖДЫ!"

IV
Мы

Для того чтобы наше воззвание произвело на публику неизгладимое впечатление, нам пришлось убивать людей.

Теодор Кашински по прозвищу "Унабомбер".
Манифест, опубликованный в "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс"
19 сентября 1995 г.

1

Всех нас потрясло самоубийство Марка. Но сказать, что оно нас удивило, было бы ложью. Согласно официальной версии, он утонул в море у побережья Сали, унесенный подводным течением. Однако мы-то прекрасно знали, что он просто капитулировал, решив избавиться от жизненных тягот. Нам было известно, что его доконал стресс; мы чувствовали, что он борется с ним, подпитывались его наигранным энтузиазмом и спешно меняли тему, стоило ему заговорить о самоубийстве. Мы отмахивались от очевидного: Марк медленно убивал себя, а мы и не собирались его спасать. Мы готовились к его похоронам еще до его смерти. "Король почти умер, да здравствует король!" Во время погребальной церемонии на кладбище Баньё триста рекламщиков старательно пускали слезу; особенно усердствовали те, кто ненавидел Марка и давно желал ему погибели: они стыдились того, что их мечта сбылась, и

1. Евангелие от Матфея, 16, 18.

одновременно прикидывали, кого же им теперь ненавидеть. Для того чтобы сделать карьеру в рекламе, обязательно нужен враг, которого хочется раздавить, и, когда вдруг лишаешься столь необходимого стимула, чувствуешь себя дураком неприкаянным.

Мы предпочли бы, чтобы эта церемония оказалась сном. Мы присутствовали на похоронах большого шутника и глядели на гроб, опускаемый в могилу, с надеждой, что это очередной его розыгрыш. Вот было бы здорово, если бы камера вдруг отъехала в сторону и все увидали бы, что это просто спектакль: кюре оказался бы престарелым актером, плачущие друзья разразились бы смехом, бригада техников у нас за спиной начала бы сматывать кабели, а режиссер крикнул бы: "Снято!" Увы, никто не кричал "снято!"

Нам очень часто хочется, чтобы жизнь обернулась сном; чтобы мы, точно в плохом фильме, внезапно проснулись и обнаружили, что все наши проблемы чудесным образом решены. Сколько раз мы видели на экране: вот человека преследует мерзкое кровожадное чудовище, вот оно загоняет его в тупик, спасенья нет, но в тот самый момент, когда жуткая зверюга уже разинула пасть — хлоп! — и бедная жертва вскакивает, вся в поту, на собственной постели. Отчего такое никогда не происходит в жизни? А?

Как сделать, чтобы проснуться, если не спишь?!

А тут перед нами стоял гроб с самым настоящим прахом внутри (Чарли даже ухитрился сунуть горсточку себе в карман). Мы-то плакали вполне искренне. Мы — это весь европейский "Росс": Джеф, Филипп, Чарли, Одиль, стажеры, шефы, бездельники, ну и, конечно, я, Октав, со своим клинексом в руке, Октав, все еще не уволенный и не уволившийся и лишь уязвленный тем, что на похороны не пришла Софи. Мы — это банда паразитов, живущих на деньги "Росса": владельцы телеканалов, акционеры крупных радиостанций, певцы, актеры, фотографы, дизайнеры, политики, редакторы модных журналов, директора престижных магазинов, в общем, мы — те, кто решает все за всех, кто манипулирует общественным мнением, кто продался, кого прославили или прокляли, — и все плакали. Мы оплакивали свою горестную судьбу: когда умирает рекламщик, вы не найдете ни статей в газстах, ни некрологов в траурных рамках, и телевидение не прервет свою программу ради этой печальной вести; словом, от покойного остаются лишь непроданные проекты да неиспользованный счет под секретным шифром в швейцарском банке. Когда умирает рекламщик, не случается ровно ничего: просто мертвого рекламщика заменяет живой.

2

Вот уже несколько дней, как мы ошиваемся на Саут-Бич, в Майами. Вокруг кишмя кишат памелыандерсон всех калибров, жанклодвандаммы всех мастей — выбирай кого хочешь. И все тут всем друзья. Нам пришлось посидеть под ультрафиолетовой лампой до того, как подставить лица жаркому американскому солнышку: чтобы вписаться в эту тусовку, женщинам нужно косить под "бимбо"[1], а мужчинам под жеребцов из

1. Сексуальная блондинка с пышным бюстом, легкомысленная и глуповатая (*англ. жарг.*)

порнух. Мы накачиваемся "дурью": нам уже мало алкоголя и музыки, чтобы разговаривать друг с другом. Мы живем в мире, где единственное приключение состоит в траханье без резинки. Почему мы все гонимся за красотой? Потому что мир уродлив до тошноты. Нам хочется быть красивыми, ибо хочется стать лучше. Пластическая хирургия — вот последнее, что нам осталось. У всех обитателей здешнего рая одинаковые губы. Мир ужасается перспективе человеческого клонирования, а оно давным-давно существует и называется "plastic surgery". Во всех барах, куда ни зайди, Шер поет: "Веришь ли ты в жизнь после любви?" Невредно бы спросить себя, верим ли мы в жизнь после общения с человеком. Верим ли в существование изысканных постчеловеческих существ, избавленных от горечи некрасивости, в этот волшебный мир с центром в Майами. Там у всех будут одинаково невинные выпуклые лобики, атласная кожа, миндалевидные глаза и длинные пальцы с темным лаком на ногтях; там всем поровну раздадут пухлые губки, высокие скулы, нежные уши, задорные носы, душистые струящиеся волосы, грациозные шеи, а главное, острые локти. Каждому — по паре локтей! Вперед, друзья, вперед — к демократизации локтя! Как скромно высказалась в своем интервью Полина Поризкова: "Я рада, что люди находят меня красивой, но в общем-то это всего лишь вопрос математики, то есть количества миллиметров между моими глазами и подбородком".

Мы с Чарли звоним по сотовому, стоя прямо в море. Разъезжаем по пляжам на гигантских джипах. Смерть Марронье не отменила съемок "Мегрелет" — слишком много средств было вбухано в производство. В какой-то момент Чарли вынул из кармана коробочку с несколькими граммами праха Марка и высыпал его в море. Марку бы это понравилось — раствориться в волнах Майами. У Чарли осталась на ладони крошечная щепотка пепла, и мне пришла в голову удачная мысль: я попросил его вытянуть руку, нагнулся и втянул носом то, что было некогда моим другом и учителем Марком Марронье. "I've got Марронье runnin'around my brain!"[1]

Если вы найдете в этом городе хоть одну нестандартную девчонку, срочно сообщите нам. Те, что в других местах считаются статистически ненормальными (то есть здоровыми и красивыми), здесь представляют собой банальную норму и от этого наводят смертельную скуку (хотя, напоминаю, я горячий приверженец скуки). Только-только приглядишь себе молодую и хорошенькую, как рядом возникает еще более молодая и хорошенькая. О, сладкая мука! Однако не забудьте, что похоть — один из семи смертных грехов. Майами — город-побратим Содома, Гоморры и Вавилона!

На Коконат-гроув какой-то тип выгуливает шестерых чау-чау в ошейниках и подбирает их какашки рукой в резиновой перчатке. Навстречу ему идут торговцы травкой, несутся спортсмены на роликовых лыжах. Стайки загорелых созданий что-то мурлычут в мобильники возле знаменитого отеля "Колони". Нам становится ясно, что весь Майами — одна сплошная гигантская реклама. Здесь не реклама копирует жизнь, здесь жизнь копирует рекламу. Розовые "кадиллаки" с неоновой подсветкой на полу вибрируют в ритме рэпа "чиканос". Среди всей этой вакханалии красот голова идет кругом. Сидя в "Ньюс-кафе", мы разглядываем манекенщиц, испытывая сильное желание подпортить им гладкие физиономии.

1. Теперь Марронье будет крутиться у меня в мозгах! (*англ.*) Перифраз песни шведской группы "Roxette".

Район Арт Деко расположен на юге Майами, у самого моря. Его выстроили в тридцатые годы для пенсионеров. К началу сороковых в Майами было мобилизовано много военных — правительство США опасалось японских налетов на Флориду. Затем, в 1959 году, падение режима Батисты вызвало массовую кубинскую иммиграцию в этот район. В результате Майами стал городом пенсионеров (владельцев пенсионных фондов, для коих трудящиеся всего западного мира вкалывают всю жизнь, до гроба), военных (которые их охраняют) и кубинцев (которые снабжают их наркотиками) — чудный коктейль, настоящая гремучая смесь! В 70-е годы нефтяной кризис ударил и по Майами. Казалось, ему пришел конец, он отжил свое — has been, — но десять лет спустя, в 1985-м, реклама вновь вознесла его на гребень моды.

В тот год Брюс Вебер сделал серию фотографий на Оушн-драйв для Келвина Кляйна. Появление этих снимков в журналах всего света мгновенно превратило Майами в мировую столицу моды. Майами — город, где бал правят фотографы. Если бы нацисты воспользовались убойной рекламной силой такого городишка, они прикончили бы раз в десять больше народу. Кристи Тарлингтон была обнаружена неким талантливым фотографом на пляже Майами. Джанни Версаче проводил тут съемки для всех своих каталогов, пока его не укокошили 15 июля 1997 года Бронзовокожие существа на роликах — молодые кубинки и геи в шортиках — стремительно носятся взад-вперед по тротуарам, прикрыв глаза солнечными очками "Oakly" последней модели. И никаких противоречий тут нет. В конечном счете нацисты все-таки победили: тут даже негры красятся под блондинов. Мы из кожи вон лезем, чтобы уподобиться жизнерадостным накачанным дебилам из гитлерюгенд. Антисемиты добились своего: девчонки смеются хохмам Вуди Аллена, но спать предпочитают с белокурой бестией Рокко Сиффреди.

Укрывшись в жиденькой тени облысевшей пальмы, мы смотрим "Volleypalooza" — двухдневный турнир по пляжному волейболу между командами манекенщиц разных агентств. Матч судят Стивен Майзель и Питер Линдберг (они же заодно судят все, что творится на нашей планете в остальные 363 дня). Безупречные фигурки в красных и черных бикини мечутся по горячему песку. Капли пота и морской воды летят с их белокурых волос на нежные пупки других красоток, и те визжат от щекочущих прикосновений. Время от времени легкий бриз, налетающий с океана, покрывает их тела пупырышками озноба; даже издали нам видно, как изящно передергивают они своими хрупкими плечиками. Прилипшие песчинки золотыми блестками переливаются на их разгоряченной коже. Это зрелище нам "сердце мучит негой монотонной"[1]. Больше всего нас убивает вид их сверкающих белых зубов. Если бы только мне удалось записать диск, который мгновенно разошелся бы в десяти миллионах экземпляров, мы бы сейчас тут не сидели. Ага! Кажется, красные бикини выиграли. Капитанше победительниц лет пятнадцать на вид; рядом с ней Кэмерон Диас, Ума Турман, Жизель Бандхен и Хитер Грэхем выглядят четверкой старых кляч. И не думайте, пожалуйста, что мы только и мечтаем, как бы потрахаться с этими юными наядами. Плевать мы хотели на их пиписьки. Нет, все, чего мы жаждем, это легко касаться губами их трепещущих век, гла-

1. Строка из стихотворения П. Верлена "Осенняя песня".

дить кончиком пальца их гладкий лоб, лежать рядом, нежно приникнув к их телу и слушая рассказ о детстве в Аризоне или Южной Каролине; предел наших мечтаний — сидеть вместе с ними у телевизора и смотреть какой-нибудь сериал, грызя орешки и время от времени бережно отводя с любимого лица прядку волос; вы усекли, что я имею в виду, да или нет? О, как мы умели бы заботиться о них, заказывать суши в номер, танцевать слоу под "Angie" ("Rolling Stones"), смеяться, вспоминая школьные проказы (первая пьянка с пивом, дурацкая стрижка, первая — она же вечная и последняя — любовь, джинсовые куртки, вечеринки, хард-рок, "Звездные войны" и все такое), но, увы, звезды предпочитают нам графоманов-педиков и водителей "феррари" — вот оттого-то и дела на нашей планете идут из рук вон паршиво. Вы только не считайте меня сексуальным маньяком — просто в нашем словаре нет названия для тех, у кого от любви сдавило легкие. Или уж назовем меня так: "Легочный маньяк". Устраивает?

Вечером мы ужинаем с несколькими второсортными модельками в кают-компании взятой напрокат яхты. После десерта Энрике Курдюкул заключает с одной из девиц пари на тысячу баксов, заявив, что она постесняется снять трусики и подбросить их к потолку, дабы проверить, прилипнут они там или нет. Но девица смело исполняет сей номер, и мы все ржем, как идиоты, даром что радоваться нечему: с потолка трусики упали прямо в блюдо спагетти. Весь мир продажен. Платить или брать плату — вот в чем вопрос. Грубо говоря, до твоего сороковника платят тебе, после нее ты платишь другим — увы, это факт: Трибунал Физической Красоты апелляций не принимает. Плейбои с трехдневной щетиной смотрят, смотрят ли на них, а мы смотрим, как они смотрят, смотрят ли на них, и эта нескончаемая круговерть напоминает "Зеркальную комнату" — старинный ярмарочный аттракцион, зеркальный лабиринт, где то и дело натыкаешься на собственное отражение. Я вспоминаю, как в детстве всегда выходил оттуда с шишками на лбу.

3

Неоновые огни Оушн-драйв опаляют мерцающих прохожих. Теплый ветерок уносит вдаль клочья канувших в Лету вечеринок. Накануне, в "Ливинг рум", девицы плясали как коровы на льду. (Если ты прошел в "Ливинг рум", значит, ты VIP. А если ты, пройдя внутрь, получил столик, значит, ты VVIP. А если на твоем столике ждет бутылка шампанского, значит, ты VVVIP. Ну а если уж хозяйка заведения чмокнет тебя в губы, значит, ты и вовсе VVVVIP — или Мадонна.) Майами-Бич — это гигантская кондитерская: здешние здания похожи на сливочные торты, а девушки — вылитые конфетки, их так и хочется сосать до полного растворения.

Подъем в шесть утра, чтобы успеть захватить освещение. Мы арендовали на Ки-Бискейн виллу каких-то миллиардеров, завешанную копиями картин Тамары Лемпицкой. Тамара (не та, а наша) быстро привыкает к жизни рекламной дивы. Ее причесывают, гримируют, накачивают кофе в режиссерском фургоне. Декораторам поручено перекрасить газон (недостаточно зеленый для нашей story-board[1]). Главный оператор отдает

1. Проект сценария в картинках (*англ.*).

непонятные приказы понятливым техникам. Они весь день маются с наладкой освещения, обмениваясь при этом каббалистическими цифрами:

— Попробуй перейти в 12 на 4.

— Нет, надо сменить резкость, поставь-ка мне 8 на 14.

Мы с Чарли сжираем все, что подносит официант: жевательную резинку — простую и надувную, мороженое с сыром, гамбургеры с лососиной, резинку-на-сырном-мороженом-в-гамбургерах-с-лососиной-из-курятины-под-соусом-сасими. Вдруг, как-то незаметно, наступает половина девятого, и Энрике перестает улыбаться.

— Нэбо весь бэлий, я не могу снимать при такой погода!

Наш клиент особо напирал на то, чтобы небо выглядело ярко-синим, а тени — контрастными.

— Сто делать?! — утешает себя Энрике. — Эсто есть свет Господен!

В ответ Чарли величественно изрекает:

— Значит, Господь — паршивый оператор.

Белую дымку в небе почти невозможно будет изменить при перегоне. Если снимать как есть, потом придется подкрашивать ее, кадр за кадром, на "Флейме", а это удовольствие стоит 40 штук в день. Но делать нечего, мы завтракаем еще, и еще, и еще раз, ожидая, пока рассеется туман. TV-продюсерша рвет на себе волосы и названивает парижскому страховщику, чтобы выбить из него "Weather Day"[1]. Мне же, наоборот, вся эта суматоха только на руку: распрощавшись с коксом, я жру с утра до вечера.

Тамара, Чарли и я ходим всюду вместе неразлучной троицей. Здешние американки без конца пристают к нам с вопросом:

— Are you playing a "Любовь втроем"[2]?

Целое утро мы дуем пиво "Corona" и хохочем без передышки. Окружающие, все поголовно, влюблены в Тамару: еще бы, девчонка огребает 10 000 евро в день именно за то, чтобы вызывать у самцов такую химическую реакцию. Бородатые техники носят каскетки и кабели, переговорники верещат в пустоту, осветители горестно взирают в небо, мы намазываемся солнцезащитным кремом — может, хоть он привлечет к нам солнышко. От окружающей действительности нас заслоняют черные шторы — или шоры? — существенно урезав нам обзор. И на хрена сдался нам этот Майами, если тут нет солнца!

— Нужно следить, чтобы в кадр не попали пальмы: не забудьте, что действие якобы происходит во Франции. Иначе придется потом доснимать тополя и буки.

— Браво, Октав, спасибо тебе, благодетель, вот и ты хоть на что-то сгодился. Одна эта подсказка с лихвой окупила твой билет в оба конца!

Чарли балагурит, но вид у него озабоченный. С самого утра он ходит вокруг да около, явно не решаясь заговорить со мной. Ага, наконец-то:

— Слушай, Октав, мне нужно кое-что тебе сообщить. Видишь ли, у нас в агентстве грядут серьезные перемены.

— Спасибо, мне это известно. После кончины КД может случиться все что угодно.

— КД уже означает "кончина директора", это тавтология.

— Ты еще смеешь острить по поводу самоубийства любимого начальника?

1. Учет в смете простоя на съемках из-за плохой погоды.
2. Вы играете "Любовь втроем"? (*англ.*)

Тамара заливается смехом, но Чарли уже взял разбег, и теперь его не остановишь.

— Ты заметил, что нашего Джефа не было в Сенегале?

— Да, и когда я констатировал сей прискорбный факт, мне тут же захотелось бросить все и мчаться к нему в Париж. Прямо и не знаю, как это мы выжили без него целых четыре дня.

— Кончай зубоскалить! Мне-то известно, где он был, этот Джеф, пока мы резвились на солнышке. Представь себе, наш дорогой коллега успел за это время смотаться в Нью-Йорк и выпросить себе место Президента Филиппа у главных шишек "Росса".

— Что ты несешь?

— И притом этот пройдоха все разыграл как по нотам: заручился поддержкой Дюлера из "Мадонны" и пригрозил, что, если во французском филиале не сменить руководящие кадры, этому заказу хана. И знаешь, что они ему ответили, эти шишкари?

— Go fuck yourself, Jef[1]?

— Как же, держи карман! Американки обожают таких вот молодых, зубастых и ушлых, которые вышибают кресла из-под стариков; они сами обучают этому будущих акул бизнеса в своих Гарвардах и вестернах с Джоном Уэйном.

— Нет, постой, может, ты меня разыгрываешь? Ну признайся, ты все это выдумал?

Однако Чарли хмуро грызет ноготь; что-то он не похож на шутника.

— Друг мой Октавио, ты по уши зарылся в свой дурацкий роман и уже не видишь, что творится вокруг.

— Ах, скажите пожалуйста! Уж чья бы корова мычала! А кто с утра до вечера гуляет в Интернете, откапывая похабные картинки?

— Ты глубоко не прав — я просто исследую свою эпоху. Да, кстати, напомни мне показать тебе фильм про девяностолетнюю каргу, которая лакомится собственными какашками. Но шутки в сторону: ты видел, как они все бесились на семинаре? Так вот, очнись и слушай: Джефа должны назначить ПГД "Росса" вместо Филиппа, а Филипп возьмет на себя общее руководство европейским сектором, то есть будет сидеть и надувать щеки. Его назначат почетным председателем или еще каким-нибудь почетным дерьмом в этом роде.

— ДЖЕФ — НАЧАЛЬНИК АГЕНТСТВА??? Но ему даже тридцати нет, это же малолеток, дитя несмышленое!

— Может, и дитя, но очень даже смышленое, когда речь идет о карьере. В общем, добро пожаловать в двухтысячные годы, уважаемый коллега: грядет эра тридцатилетних ПГД. Они такие же сволочи, как и пятидесятилетние, только выглядят свежее и получают меньше. Недаром же американские акционеры ставят на Джефа: он прикрылся самым жирным заказом агентства и попал в яблочко. Но сам он скинуть Марронье не мог, ты следишь за моей мыслью?

— Мать твою... значит, Марк покончил самоубийством, потому что знал, что этот юный ублюдок собирается его выпереть?

— Конечно. И главное, он боялся, что мы все в сговоре против него.

Небо было по-прежнему затянуто дымкой, но это еще не причина, чтобы оно рухнуло нам на голову.

1. Пошел ты на хрен, Джеф! (*англ.*)

— Постой, я, наверное, недослышал... уж не хочешь ли ты сказать, что Джеф назначает нас креативными директорами?

— Угадал. Джеф звонил сегодня утром и предложил нам с тобой эту должность. Тридцать тысяч евро на рыло плюс орграсходы, оплаченное жилье и служебный "порше".

Тамара усмехается:

— Октав, лапочка, для парня, который спал и видел, чтобы его выгнали, это более чем шикарная приманка, разве нет?

— А ты, жалкое существо, заткнись, сделай милость!

— Ты прав, дорогой, это ведь вы креаторы, а я всего-навсего ваша креатура.

— Очень остроумно, — прерывает ее Чарли, — а теперь помолчи-ка, цыпочка. Отныне ты имеешь дело с двумя КД. Усекла разницу?

— Эй, не гони картину! Я пока еще не согласился!

— От такой прэдложений не отказиваются, — бросает Энрике, ибо вся съемочная группа явно в курсе того, о чем не знал не ведал один я.

И вот именно этот момент солнце выбрало, чтобы прорвать облака и засиять внаглую.

4

Можно подумать, Тамара всю жизнь разыгрывала комедию; впрочем, если подумать, так оно и есть. Ремесло call-girl обучает актерской профессии куда лучше, чем школы театрального искусства. Она удивительно свободно держится перед камерой. Она обольщает объектив и заглатывает йогурт так жадно, словно от этого зависит вся ее жизнь. Никогда еще она не была так ослепительна, как в этом фальшивом средиземноморском саду, перенесенном во Флориду.

— She's THE girl of the new century[1]! — торжественно объявляет местный технический директор девице, снимающей "making of"[2].

Я сильно подозреваю, что он хочет, во-первых, представить Тамару Джону Касабланке из "Элит"[3] и, во-вторых, затащить ее к себе в постель. Или, что не исключено, в обратном порядке.

Мы завоевываем чужую землю перед тем, как завоевать ее информационное пространство. Кампания по раскрутке "Мегрелет" продлится до 2004 года, реклама будет повсюду: на щитах, на автобусных остановках, на страницах женской прессы, в местах продажи и дегустации, на стенах домов, на пляжных конкурсах, в местных новостях и раздаваемых на улицах листовках, на интернетовских сайтах и "гондолах", в предложениях возврата денег за покупку данного продукта (по предъявлении кассового чека). Тамара, ты станешь вездесущей, мы сделаем из тебя эмблему лидера обезжиренных йогуртов на всем шенгенском пространстве!

Мы попиваем "Кейп Код", беседуя с гримершей об Эспине[4]. Мы встречаем нескольких драных кошек (этой кличкой мы награждаем тощих потаскушек, рыскающих по Вашингтон-авеню в поисках героина). Мы изоб-

1. Вот она — девушка нового столетия! (*англ.*)
2. Фильм, фиксирующий съемки фильма (*англ.*).
3. Агентство топ-моделей.
4. Фешенебельный лыжный курорт в штате Колорадо.

ражаем умирающих перед домом Джанни Версаче: падаем наземь, корчимся, а довольные туристы взапуски щелкают фотоаппаратами. Мы срываем и наматываем на себя белые шторы "Делано-отеля": Тамара становится Шехерезадой, а я добрым привидением Каспером. Все окружающие настолько заражены нарциссизмом, что занимаются любовью исключительно с самими собой. Какой день в Майами можно назвать удачным? Тот, где треть времени уходит на скейтборд, треть — на экстази и треть — на мастурбацию.

Съемочная площадка: газон снова пожух на солнце. Чтобы вернуть ему прежнюю изумрудную свежесть, декораторы уже в который раз обрызгивают его питательным красящим раствором. Сегодня вечером на Линкольн-роуд проводится матч борьбы drag-queens[1]: на ринге для кетча[2] трансвеститы будут рвать друг на друге парики. "Нет ничего, что и вправду нам было бы дорого", — поет Мадонна (у которой здесь имеется весьма не дешевый домик). Впрочем, она верно излагает проблему. Я люблю Тамару и люблю Софи; зарплаты креативного директора с лихвой хватит на содержание их обеих. Но не стану же я принимать предложение, которое полностью перечеркивает начало романа, где моею собственной рукой начертано: "Я пишу эту книгу, чтобы заставить моих шефов уволить меня". Или уж тогда нужно исправить эту фразу так: "Я пишу эту книгу, чтобы добиться прибавки жалованья". Тамара прерывает мои философские раздумья:

— Что ты хочешь — чай, кофе или меня?

— И то, и другое, и третье — но все в рот. Скажи-ка, Тамара, какая реклама тебе нравится больше всего?

— "LESS FLOWER, MORE POWER"[3]. Это слоган "New Beetle" фирмы "Фольксваген".

— Нужно говорить не "слоган", а "титр". Запомни это хорошенько, если хочешь работать у меня.

Мы проводим середину дня в трудах праведных, сидя перед видеомонитором "Sony", который выдает отснятый материал кадр за кадром: Тамара на террасе, Тамара на лестнице, Тамара в саду, Тамара крупным планом, Тамара общим планом, Тамара естественно-ненатуральная, Тамара ненатурально-естественная, Тамара, дегустирующая продукт (открывание баночки, погружение ложечки, смакование йогурта во рту), Тамара и ее волнующий локоть, Тамара и ее груди — узнайте, люди, об этом чуде! Но самая лучшая Тамара принадлежит мне одному: это абсолютно голая Тамара на балконе моего номера, в шлепанцах, с колечком на пальце левой ноги и розой, вытатуированной над соском правой груди. Тамара, которой я осмеливаюсь сказать:

— Мне не хочется заниматься с тобой любовью, но ты меня околдовала. Кажется, я люблю тебя, Тамара.. У тебя большие ступни, но я тебя люблю. На экране ты смотришься лучше, чем в жизни, но я тебя люблю.

— Я знаю много злых мужчин, которые притворяются добренькими, но ты — редкая птица: добрый, а изображаешь злого. Поцелуй меня, сегодня это бесплатно.

1. Гомосексуалисты, одевающиеся как женщины (*англ.*).
2. Кетч — борьба без правил на ринге, залитом жидкой грязью (*англ.*).
3. "Меньше цветов, больше власти" (*англ.*). Модифицированный лозунг хиппи "Flower Power".

— Ты для меня запретная мечта, единственная боль, последняя надежда. Ты для меня мелодия любви, танцуют звезды под нее меж дюн.

— Опять слова, вечно одни слова!

Сцена дегустации — самый тяжелый момент съемок: в разгар дня, под палящим солнцем нашей несчастной берберочке приходится раз двадцать изображать экстаз, засовывая в рот полные ложки "Мегрелет". После нескольких проб ее уже тошнит от одного вида йогурта. Реквизитор приносит тазик, куда Тамара сплевывает йогурт, как только Энрике командует "стоп!". Вот, кстати, еще одно мелкое разоблачение, которым мы с вами поделимся, только не кричите о нем на всех углах: когда вы видите актера, смакующего некий продукт в рекламном ролике, знайте, что он никогда не заглатывает его, а выплевывает в тазик, едва съемка прекращается.

Мы с Чарли восседаем на пластмассовых стульчиках перед штабелями сандвичей. Эта жратва — наша единственная компания; все рекламные съемки одинаковы: креаторов засовывают в самый дальний угол и ублажают чем могут, словно капризных детишек, лишь бы они не встревали в творческий процесс под тем предлогом, что являются авторами проекта (который раскручивают другие). Мы чувствуем себя обиженными и обойденными, нас мутит от сладостей — в общем, нам тошно как никогда. Но мы делаем вид, будто все нормально; ничего, дайте только срок, вот вступим в должность креативных директоров французского "Росса" и изыщем тысячи способов отомстить за себя — безжалостно и неумолимо.

Мы станем богатыми и несправедливыми.

Мы уволим всех старых друзей.

Мы будем изрыгать пламя и обдавать холодом подчиненных.

Мы начнем присваивать их идеи.

Мы созовем молодых специалистов, выжмем из них свежие замыслы, наобещаем с три короба, а потом воплотим в жизнь их проекты за их спиной.

Мы откажемся предоставлять отпуска нашим служащим, пока сами не отдохнем на Маврикии.

Мы будем величественны и непристойны.

Мы заграбастаем себе самые жирные заказы; все перспективные кампании поручим нештатным работникам, а штатным хрен что дадим, пусть знают свое место.

Мы добьемся, чтобы наши фотографии красовались на экономических страницах "Фигаро", а если сопроводительная статья журналистки окажется недостаточно хвалебной, потребуем ее увольнения, пригрозив редактору, что иначе не будем покупать у него рекламные площади.

Мы будем олицетворять собой новое поколение французских рекламистов.

Мы подкупим пресс-атташе журнала "Стратежи", чтобы высказаться в разделе коммуникаций следующим образом: "Нужно уметь отличать концептуальный образ от перцептивного".

Мы также будем часто использовать слова "право конвенционного приоритета".

Мы будем сверхзаняты и совершенно недоступны: для встречи с нами просителям придется ждать минимум три месяца (каковую встречу наша строгая секретарша отменит в последний момент, утром назначенного дня).

Мы станем застегивать рубашки до самого кадыка.

Мы повергнем окружающих в депрессию и обрушим на них свой неправедный гнев. Другие рекламщики будут осуждать нас, но только не в лицо, ибо мы застращаем и их тоже.

Мы будем предаваться безделью, но наши близкие все равно не смогут видеться с нами.

Мы станем опасными и сверхмстительными.

Мы будем кукловодами современного общества.

Мы останемся в тени "даже при ярком свете".

Мы будем гордиться тяжкой, возложенной на нас безответственностью.

— Ви есть довольни гримом?

Наши сладкие грезы прерывает гримерша, которой требуется просвещенное мнение — мое и Чарли. Наступит день, и мы предоставим ей должность начальника гримерной группы "R & W", ибо она учуяла нашу значимость еще до утверждения на директорском посту.

— Достаточно, если актриса будет выглядеть естественно, — важно изрекает Чарли. — Естественно здоровой, естественно уравновешенной и динамично-аутентичной.

— Yes, тогда я ей делать губи немного glossy, но не трогать лицо — она иметь великолепни кожа.

— О нет, только не glossy! — протестует Чарли с апломбом будущего большого босса (каковым он уже и является), — я предпочитаю shiny[1].

— Ну конечно, shiny были бы лучше, — торопливо подхватываю я. — Иначе мы рискуем нарушить общий колорит.

Гримерша прямо трепещет перед столь великими знатоками губного грима — вот это "спецы", таких на мякине не проведешь! Нам осталось только запугать стилистку по кулинарии, и все будет о'кей.

Тамара зажигает всю съемочную группу. Мы все обожаем ее, обмениваемся заговорщицкими взглядами при виде ее божественной красоты. Мы с ней вполне могли бы быть счастливы, если бы я постоянно не думал о другой. Ну почему я так по-дурацки устроен, что мне нужны именно те люди, которых со мной нет?! Время от времени Тамара прикладывала ладони к моему лицу — это ее успокаивало. А я жаждал хотя бы крошечной дозы легкости. Кстати, вот прекрасный дополнительный титр для нашего продукта: "'МЕГРЕЛЕТ' — НАМ ВСЕМ НУЖНА ХОТЯ БЫ КРОШЕЧНАЯ ДОЗА ЛЕГКОСТИ!" Запишу-ка я это, вдруг пригодится!

— Значит, ты согласен взять все эти деньги, которые тебе предлагают?

— Счастье не в деньгах, Тамара, уж ты-то знаешь.

— Да, знаю — благодаря тебе. А раньше не знала. Для того чтобы понять, что счастье не в деньгах, нужно сперва узнать и то и другое — счастье и деньги.

— Хочешь выйти за меня замуж?

— Нет... или да... но при одном условии: пускай на нашей свадьбе будет вертолет и пускай он сбросит на гостей целый дождь розовых камелий.

Почему она прячет глаза? Нам обоим не по себе. Я беру ее за руку, покрытую узорами из хны.

1. Разновидности губного грима. В английском языке слова "glossy" и "shiny" являются синонимами и обозначают "блестящий".

— Ну что? Что с тобой?

— Нехорошо, что ты сегодня такой хороший. Мне больше нравится, когда ты притворяешься злым.

— Но...

— Молчи! Ты прекрасно знаешь, что не любишь меня. Я хотела бы порхать по жизни, как ты, но мне уже надоели эти игры; знаешь, я тут подумала и решила бросить все к черту: куплю на деньги от "Мегрелет" домик в Марокко и буду растить дочку — я ее оставила у матери и ужасно скучаю по ней... Послушай меня, Октав, вернись и ты к своей подруге и растите вместе вашего ребенка. Она тебе сделала самый прекрасный подарок — ребенка, прими же его.

— Мать честная, да вы все просто помешались на детях! Чуть только вас приголубишь, как вы заводите болтовню о младенцах! Вместо того чтобы размышлять о смысле жизни, вы умножаете ее проблемы!

— Кончай ты со своей дешевой философией. Не шути такими вещами. Вот у моей дочки нет отца...

— Ну и что такого? Я тоже вырос без отца и не считаю это такой уж трагедией!

— Не считаешь? Да ты только взгляни на себя! Бросаешь девушку, которая от тебя забеременела, и проводишь ночи со шлюхами!

— Да, провожу... но, по крайней мере, я свободен.

— Свободен? Ой, держите меня! Он свободен! Ну нет, Октав, только не ты. Черт тебя подери! Ты для этого слишком старомоден! Ну-ка, смотри мне в глаза, я сказала: в глаза! Ребенок, который должен родиться, МОЖЕТ иметь папу. Первый раз в твоей жизни ты МОЖЕШЬ сгодиться на что-то НУЖНОЕ. Так сколько же еще времени ты собираешься таскаться по грязным борделям, слушать одни и те же сальности от одних и тех же импотентов и дебилов? Надолго ли тебя еще хватит? И это ты называешь свободой, дурак хренов?!

Есть психоаналитики, чья такса — 1000 франков за сеанс; Тамара-моралистка берет с клиента 3000 в час.

— Да отцепись ты со своими нравоучениями! Она еще будет мне мораль читать, нашлась тоже!

— Кончай на меня орать, а то у меня аневризма лопнет. Мораль — она, может, и занудная штука, но пока что это лучший способ отличить добро от зла.

— И что дальше? Я предпочитаю быть мерзавцем, но свободным мерзавцем, слыхала? Свободным! А не честным-благородным рабом! "Свободный человек, всегда ты к горю льнешь!"[1] Я прекрасно понимаю все твои доводы, но пойми и ты, что семейное счастье может обернуться таким же кошмаром, как любая говенная история, рассказанная в шесть утра любым хмельным кретином в любом грязном кабаке, уразумела? И потом, каким это образом я буду воспитывать ребенка, если способен влюбиться в первую попавшуюся шлюху?.. Ох, черт!

Сгоряча я нарушил неписаное правило общения с Тамарой: лишь она сама имеет право произносить слово "шлюха", из уст же собеседника она воспринимает его как оскорбление. Тамара начинает рыдать. Я пытаюсь исправить свой дурацкий промах.

— Ну, не плачь, извини меня, ты же святая, я тебе сто раз это говорил и готов повторить еще двести. Мало того что я, как последний урод, плачу

1. Перифраз первой строки из стихотворения французского поэта Шарля Бодлера "Человек и море": "Свободный человек, всегда ты к морю льнешь!" (Перев. В. Шора.)

шлюхам, чтобы не спать с ними, так теперь я еще и заставил плакать лучшую из них. Разве это не подвиг? Ну-ка, дай мне свой мобильник, я сейчас же позвоню в "Книгу рекордов" Гиннесса... Алло, алло! Будьте добры, соедините меня с редактором рубрики "Самый бестактный мужчина в мире".

Ну, слава богу, улыбнулась; гримерше придется лишь чуточку освежить ей тушь на ресницах. Я продолжаю свой сеанс самоанализа, пока не угас пыл:

— Любовь моя, прекрасная моя берберочка, объясни ты мне, Христа ради, эту загадку: почему, когда любишь женщину и все у вас с ней чудесно, она непременно хочет превратить тебя и себя в воспитателей целой кучи сопливых младенцев, которые орут с утра до ночи и путаются у вас под ногами, мешая наслаждаться уединением? Господи спаси, неужели это так страшно — быть только вдвоем? Мне так нравилось, что нас всего ДВОЕ (аббревиатура: Два Влюбленных Одиноких Единомышленника), так нет, ей понадобилась СЕМЬЯ (расшифровка: Семь Я, мал мала меньше)! Разве тебе не противно глядеть на этих многодетных родителей, которых интересуют только пеленки? Ах, скажите, как романтично! Или, может, ты находишь сексуально привлекательными братцев Галлахеров[1], когда они подтирают попки своим отпрыскам? Для этого нужно быть говнофилом, я же — ярко выраженный говнофоб. И вообще, моя "BMW Z3" слишком тесна для детского креслица!

— Вот уж на кого противно глядеть, так это на тебя! Если бы твоя мать не захотела ребенка, ты бы сейчас не стоял здесь и не порол всю эту чушь.

— Ну и прекрасно, невелика потеря!

— Заткнись, дурак!

— Сама заткнись!

— ХВАТИТ НА МЕНЯ ОРАТЬ, МНЕ НАДОЕЛИ ТВОИ ВОПЛИ! — вопит она, успевая одновременно всхлипывать.

И начинает сморкаться. Боже мой, до чего она хороша, когда плачет и сморкается! Если мужчины причиняют столько горя женщинам, то именно по этой причине: слезы их необыкновенно красят.

Наконец Тамара поднимает голову и находит, как ей кажется, самый убедительный довод, чтобы заставить меня жениться на Софи:

— Мы ведь сможем встречаться тайком.

Да здравствует женская мораль! Ведь это Блезу Паскалю принадлежит изречение: "Истинная мораль насмехается над моралью". И пока я втягиваю ее слезы с помощью соломинки, вынутой из своего "Seven Up", мы оба думаем об одном и том же.

— Знаешь, почему у нас с тобой никогда ничего не получится?

— Знаю, — говорю я. — Потому что я не свободен, а ты — слишком свободна.

5

Ну вот и конец съемкам: в три дня мы потратили три миллиона франков (500 тысяч евро). Перед тем как убрать камеры, мы попросили Энрике снять еще версию "трэш". Мы все уже были в истерике, Тамара тоже, но Чарли вскричал:

1. Певец Лайэм Галлахер и гитарист Ноэл Галлахер из рок-группы "Оазис".

— Слушайте! СЛУШАЙТЕ МЕНЯ ВСЕ! Listen to me, please! Последний раз, когда я видел Марка Марронье в живых, он приложил Октава, здесь присутствующего, заявив, что сценарий, по которому мы с вами отсняли этот фильм, никуда не годится и нужно писать другой.

— Это верно, — подтвердил я. — Он еще произнес фразу, которая навеки запечатлелась в моей памяти: "Улучшить проект никогда не поздно".

— Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, неужто мы не выполним последнюю волю покойного?!

Техники явно не горели энтузиазмом. После долгих переговоров с Энрике и телепродюсершей группа все же приняла решение быстренько отснять "домашнюю" версию, короткими эпизодами, ручной камерой, à la "Догма" (этой зимой все прикольные клипы снимались в духе сего интеллектуального датского кинонаправления).

Итак, вариант "Мегрелет-Догма" представлял собой следующее: Тамара на веранде из тикового дерева; она грациозно сбрасывает майку, потом, оставшись полуголой, смотрит в камеру и начинает размазывать йогурт по щекам и груди. Кружится, сбегает по ступенькам в сад и прыгает босиком по траве, во все горло грозя своему обезжиренному йогурту: "'Мегрелет', I'm gonna eat you!"[1], затем катается по свежевыкрашенной траве; теперь ее груди вымазаны и зеленой краской и йогуртом; она слизывает "Мегрелет" с верхней губы, постанывая от удовольствия (а камера фиксирует крупным планом ее лицо в белых разводах): "М-м-м, 'Мегрелет'! It's so good when it comes in your mouth!"[2]

Какой талант! Мы решаем отослать эту версию на Международный фестиваль рекламы в Канн, утаив его от "Мадонны". Если огребем "Льва", Дюлер волей-неволей будет нам аплодировать — победителей не судят.

Марронье наверняка оценил бы подобное усердие. Теперь можно со спокойной совестью возвращаться в Париж, чтобы занять еще не остывшее кресло своего начальника. Но Чарли — моему оплоту, нынче еще более несокрушимому, чем прежде, — этого показалось мало. В тот же вечер, после выпивки в честь окончания съемок, устроенной в "Ликвид", он вовлек нас в весьма прискорбную эскападу, о которой я, к сожалению, не могу не рассказать.

6

Яркие лучи софитов рассекали темный аквариум зала. На танцплощадке гарцевала пожилая садомазохистка в корсете, ужавшем ее талию чуть ли не до десяти сантиметров в окружности. Вылитые песочные часы в черном кожаном футляре.

— Знаешь, о чем мне напомнило это чучело? В Европе предприятия увольняют тысячи служащих, дабы увеличить доходы богатеньких пенсионеров в Майами, верно?

— Гм... ну, в общем, верно. Флоридские божьи одуванчики все как один владеют акциями пенсионных фондов, которые, в свой черед, владеют международными фирмами, значит, ты где-то прав.

1. Я тебя съем! (*англ.*) — перифраз строки из песни группы "Led Zeppelin" "Baby, I'm gonna leave you".
2. Здесь: язык блаженствует! (*англ.*)

— Так вот, слушай: уж коли мы тут оказались, почему бы нам не нанести визит одному из этих зажившихся хозяев планеты? Глупо было бы упустить такой случай и не объясниться с кем-нибудь из них; может, мы его убедим, что нельзя выбрасывать людей на улицу, как ты считаешь?

— Я считаю, что ты надрался до нуля, но все равно, о'кей, вперед!

И вот мы шагаем — Тамара, Чарли и я, ваш покорный слуга, — по бульварам "Пороков Майями"[1] в поисках представителя мирового акционерного сообщества держателей акций.

— Динг! Донг-Динг! Донг — Динг — Донг — Динг — Донг — Динг!

В Майами выпендриваются даже дверные звонки: этот, например, вместо простого звяканья выдает "Маленькую ночную серенаду" Моцарта. Вот уже час как мы бродим по кварталу Корал-Гейблс, разыскивая акционера, достойного нашей отповеди. Наконец Чарли звонит в дверь роскошной виллы в марокканском стиле.

— Yes?

— Good evening, Madame, do you speak French[2]?

— О да, конечно... о, совсем немношко... но почему ты звоните так поздно?

— Тут такое дело, миссис Уорд: вот стоит Тамара (Тамара посылает улыбку в камеру наблюдения), и она говорит, что приходится вам внучкой.

Бз-з-з...

Дверь отворяется, и мы видим перед собой мумию. Наверное, когда-то и она была женщиной, но очень-очень давно, может где-нибудь в ином мире. Нос, рот, глаза, лоб, щеки — все это сплошной коллаген; тело же напоминает сморщенную картофелину, — наверное, из-за мятого халатика, облекающего этот скелет.

— У нее только морда с подтяжкой, — констатирует Чарли заплетающимся языком.

— Так что ви говорить? Какой внучка? Я...

Слишком поздно. Старушка пикнуть не успела, как Тамара одним махом укладывает ее на пол (недаром у нашей звезды коричневый пояс дзюдо!). Мы врываемся в дом, раззолоченный сверху донизу. Там, где нет золота, сияет белый мрамор. Тамара и Чарли укладывают миссис Уорд на диванчик в психоделическом стиле, который, верно, был в моде одновременно со своей хозяйкой — иными словами, где-то в начале XX века.

— Итак, мадам Уордам, раз уж вы сечете по-французски, будьте любезны внимательно выслушать нас. Вы живете здесь одна?

— Да... I mean... No, совсем нет, полиций будет приходить ошень-ошень бистро... AU SECOURS! HEEEEELP![3]

— Нужно заткнуть ей пасть. Тамара, косынку!

— Вот она.

Тамара пихает старухе в рот свой шелковый шарф, Чарли садится на нее верхом, а я могу заверить вас, что наш друг так же тяжеловесен, как и его шуточки. Теперь пенсионерка спокойно выслушает все, что он намерен ей сообщить.

1. "Пороки Майами" — телесериал 80-х гг. о борьбе полиции с преступностью в Майами; в нашем прокате назывался "Полиция Майами, отдел нравов".
2. Добрый вечер, мадам, вы говорите по-французски? (*англ.*)
3. То есть... Нет... На помощь! (*франц.* и *англ.*)

— Видите ли, уважаемая леди, выбор пал на вас, хотя мог пасть на любого из тех, кто повинен в современных несчастьях общества. Вы должны знать, что, начиная с сегодняшнего дня, подобные визиты войдут в норму. Акционерам американского пенсионного фонда давно пора уразуметь, что они не могут безнаказанно губить жизни миллионов невинных людей и что однажды им придется ответить за свои преступные деяния. Я доходчиво выражаюсь?

Нашего Чарли, как говорится, понесло. С молчунами всегда так: стоит им открыть рот, и их уже не остановишь.

— Вы, вероятно, слышали о книге Луи-Фердинанда Селина "Путешествие на край ночи"?

— М-м-м-м-пф-м-м-м...

— Нет-нет, мадам, Селин — это вовсе не марка обуви. Это французский писатель. Герой его самого известного романа, по имени Бардамю, совершает кругосветное путешествие в поисках виновного. Он переживает войну, нищету, болезни, он едет в Африку и Америку, но нигде не находит того, кто несет ответственность за все наши беды. Книга вышла в 1932 году, а пять лет спустя Селин отыскал-таки козла отпущения — евреев.

Тем временем Тамара обследует старушкину хату и обнаруживает холодильник, а в нем пиво, которым потчует себя и нас. Я же протоколирую пылкую речь Чарли: он все еще разглагольствует, оседлав мумию, простертую на своем уродском канапе.

— Все мы знаем, что Селин, в силу тяжкого заблуждения, стал мерзким антисемитом (прошу прощения за сей плеоназм!). И, однако, мы тоже, как Бардамю, ищем виновного. Молодая женщина, которую вы здесь видите, зовется Тамарою, и вот она никак не может понять, отчего ей приходится торговать своим телом, чтобы содержать дочь. Вон тот кретин рядом с ней, по имени Октав, также непрерывно задается подобными вопросами, что ясно написано на лике этого чахоточного сфинкса. Так кто же растлевает и губит сей мир? Кто эти злодеи? Сербы? Русская мафия? Исламские фундаменталисты? Колумбийские картели? Нечего сказать, прекрасные козлы отпущения! Точь-в-точь пресловутый "жидомасонский заговор" 30-х годов! Вы поняли, куда я клоню, уважаемая мадам Каквастам? Наш козел — вернее, коза — это вы. Каждый из нас должен ясно сознавать последствия своих действий на этой земле, сие чрезвычайно важно. Не угодно ли пример: если я покупаю продукты фирмы "Monsanto", я тем самым поддерживаю трансгенную инженерию. Вы доверили свои сбережения некой финансовой группе, и это приносит вам баснословные проценты, позволяющие оплачивать эту кошмарную хоромину в живописном квартале Майами. Возможно, вы и не предвидели всех последствий такого решения — вполне безобидного для вас лично, но круто меняющего судьбы других людей; вам ясно, о чем я толкую? Ибо решение это сделало вас ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕЙ МИРА.

И Чарли треплет старушенцию по щеке, заставляя открыть полные слез глаза. Жертва испускает жалобные всхлипы, приглушенные шарфом.

— Знаете, — продолжает он, — в детстве я обожал фильмы про Джеймса Бонда: там всегда действовал злодей, желавший стать Повелителем Мира; он содержал в подземной крепости тайную армию и вечно угрожал взорвать планету ядерными ракетами, похищенными в Узбекистане. Вы ведь помните эти фильмы, мадам Уордревность? Так

вот, совсем недавно я сделал открытие: Джеймс Бонд, как и Луи-Фердинанд Селин, попал пальцем в небо. Повелитель Мира совсем не похож на злодея или на жидомасонов, нет, совсем не похож. Как ни смешно, Повелитель Мира носит мятый халатик и голубой парик, владеет безвкусной виллой, лежит тут с шарфом в глотке и при этом знать не знает, что он-то и есть тот самый Повелитель Мира. Да-да, это именно вы, мадам Уордоллар! А известно ли вам, кто мы? Мы — агенты 007! Тра-та-там! Па-па-пам!

И Чарли принимается насвистывать мелодийку Джона Берри. Свистит он чисто, но это не мешает Повелительнице Мира патетически стонать, мотая головой на подушке крикливых тонов в стиле Версаче (который, стало быть, не умер, коль дело его живет).

— И не пытайтесь разжалобить меня, мадам Уордерьмо. Разве вы сами кого-нибудь жалели, когда целые регионы страдали в результате массовых увольнений, интенсивной реструктуризации и жестокой социальной ломки, проводимых исключительно ради ваших прекрасных глаз?! Нет? Ну так и не хнычьте, сделайте милость. Побольше достоинства, и все сойдет хорошо. My name is Bond[1], Джеймс Бонд. И мы явились сюда лишь для того, чтобы просить вас передать вашему пенсионному фонду "Темплтон" с активами в 1300 миллиардов франков, что отныне он не сможет требовать увольнения служащих на своих предприятиях, иначе к таким людям, как вы, будут все чаще и чаще наведываться такие люди, как мы. Понятно?

Тут в дело вмешалась Тамара:

— Погоди, Чарли, мне кажется, она хочет что-то сказать.

И верно, старушенция тыкала скрюченным пальцем в фотографию, стоявшую на журнальном столике. Черно-белый снимок в рамке представлял красивого улыбающегося солдатика в американской военной форме и каске.

— Мммпфмммпф! — пыхтела она, указывая на портрет.

Я вытащил шарфик у нее изо рта, желая все-таки разобраться, что означает это ее мычание. Она тотчас заверещала на весь дом:

— WE SAVED YOUR ASS IN'44! MY HUSBAND DIED IN NORFUCKINGMANDY!! Regarde, CONNARD, le photo de MON MARI morte CHEZ VOUS à la D DAY!!![2]

Лично я счел, что это очко в ее пользу. Но Чарли старушкин довод привел в бешеную ярость. Я был совершенно не в курсе его семейных дел, и, уверяю вас, они стали для меня полным сюрпризом.

— Слушай, ты, миссука! Мы пришли сюда не за тем, чтобы считаться нашими мертвецами. Вы играли в эту войну только ради экспорта своей вонючей кока-колы. IT'S COCA-COLA WHO KILLED YOUR HUSBAND![3] А вот мой отец покончил самоубийством, когда его выбросили с работы во имя увеличения прибылей. И я нашел его в петле, ясно тебе, старая сволочь? YOU KILLED MY FATHER![4]

И он начал хлестать ее по лицу — на мой взгляд, слишком жестоко. У старухи брызнула кровь из носа. Клянусь вам, я пытался его удержать, но хмель удесятерил его силы.

1. Меня зовут Бонд (*англ.*).
2. Мы спасли ваши задницы в сорок четвертом году! Мой муж погиб в вашей гребаной Нормандии! (*англ.*) Смотри, поганец, это фото моей мужа, которая умерла у вас в день высадка! (*искаж. франц.*)
3. Это кока-кола убила твоего супруга! (*англ.*)
4. Ты убийца моего отца! (*англ.*)

— ТЫ ПРИКОНЧИЛА МОЕГО ОТЦА, СТАРАЯ СВИНЬЯ, И ТЫ МНЕ ЗА ЭТО ОТВЕТИШЬ!

Он осыпáл ее ударами, метя кулаками в глаза, разбил об ее нос пивную бутылку, вырвал изо рта искусственную челюсть и засунул ей между ног; в общем, можно сказать, он решил сократить старушкин век, полный страданий и в любом случае подходивший к концу, хотя, с другой стороны, это можно было расценить и как состояние аффекта. Короче, пять минут спустя (что немало — например, один раунд в боксе длится куда меньше) миссис Уорд уже испустила дух, наполнив комнату запахом дерьма. Подушки Версаче просились в чистку.

Тамара, явно знакомая с такими взрывами бешенства, и глазом не моргнула. Пощупав старушкин пульс, иными словами, установив ее кончину, она принялась методично и споро наводить порядок в комнате. Труп она велела нам перенести в вестибюль, к подножию греко-римской лестницы. Затем мы на цыпочках вышли из этой мрачной хоромины, предварительно разбив камеру наблюдения камнями из сада.

— Как думаешь, видеозапись осталась?

— Да нет, это же обычный домофон.

— А если и осталась, все равно тут нас никто не знает.

Эта последняя фраза сильно развеселила охранников, просматривающих все записи местных камер наблюдения (один из них, гаитянин, бегло говорил по-французски); но им стало не до смеха, когда они выяснили, что миссис Уорд стала жертвой нападения и им придется составлять рапорт по факту убийства для полицейского управления города Майами.

Именно с того момента я и вырубился окончательно. Квартал был безлюден. Чарли наконец пришел в себя. И согласился с Тамарой:

— Уж больно он был тошнотворный, этот ее диванчик.

Мы закончили вечер в "Клубе Мадонны", где стриптизерки в чисто символических трусиках, красивые, как куклы, и такие же ненатуральные, потрясающе ловко вытаскивали у мужчин зубами десятидолларовые купюры из ширинок, куда те их засовывали. Мы бурно аплодировали и громко хвалили их сногсшибательные (хоть и насиликоненные) груди.

— Вот с бабами всегда так, — констатировал Чарли. — Либо они нас запугивают, либо нас от них тошнит.

Уязвленная в своей профессиональной гордости, Тамара продемонстрировала нам отвязный номер: вскочив на стойку, она исполнила зажигательный танец, вызывающе посасывая горлышко бутылки из-под пива "Corona" и растирая себе соски льдинками из моей водки, и отплясывала до тех пор, пока нас не выставили за дверь ее разъяренные конкурентки. Потом мы, все трое, заснули в отеле перед телевизором, который показывал крутейшую порнуху на гостиничном "Pay per view"[1] (в частности, двойной fist anal, — я и не знал, что это вообще технически возможно), и, должен сознаться, стоны актрисы довели меня до того, что я извергся прямо в штаны.

На следующий день, когда мы сели в парижский самолет (все тот же бизнес-класс по 35 000 франков за место, с обеденным меню "кордон-блю-из-ласточкиных-гнезд-с-осетровой-икрой-под-томатным-соусом), Чарли объявил мне, что принимает назначение на пост КД. Я взмолился, что-

1. Платный телеканал. Букв.: "Плати и смотри" (*англ.*).

бы Господь поразил молнией наш самолет, но Бог, как всегда, проигнорировал мою просьбу. Вот таким-то образом я и стал в один прекрасный день хозяином агентства и сообщником убийцы.

7

По возвращении в Париж мы нашли у себя в компьютерах отымейленный циркуляр в адрес служащих всех филиалов "Rosserys and Witchcraft" (скорее всего, состряпанный с помощью программы машинного перевода):

Дорогие друзья из "Rosserys and Witchcraft"!

Одной из моих обязанностей в отношении наших клиентов, наших акционеров и каждого из вас является прогнозирование будущего для агентства "Rosserys and Witchcraft". В течение последних лет все мы имели счастье наблюдать исключительно высокое качество работы наших менеджеров. Эта группа талантливых людей, специалистов глобального и интегрированного маркетинга, способствовала достижению поставленных целей, превратив наше агентство в мирового лидера в области коммуникаций.

Сегодня я признаю и отмечаю их важнейшую роль в достигнутых успехах и готовлю почву для прочного будущего "Rosserys and Witchcraft" в третьем тысячелетии.

Вот почему я с большим удовольствием и особой гордостью объявляю вам о назначении Жана Франсуа Парко на пост президента – генерального директора парижского отделения фирмы. Филипп Анжевен займет должность почетного председателя европейского филиала.

Вышеуказанные назначения вступают в силу немедленно. В качестве почетного председателя у Филиппа будет гораздо больше времени, чтобы заниматься делом, которое он любит и знает, а именно: активно работать с целью обеспечения высокоэффективных маркетинговых коммуникаций, направленных на достижение глобальных результатов.

В свою очередь, новая должность Жана Франсуа позволит ему сконцентрироваться на той области, где он сможет проявить себя наилучшим образом, работая вместе с нами над повышением качества и обновлением стратегии, которой мы руководствуемся в деле нашего развития в международных масштабах. Благодаря своей энергии и трудоспособности, Жан Франсуа с 1992 г. постоянно содействовал плодотворному сотрудничеству с "Мадонной".

Я хотел бы поблагодарить персонально Филиппа за его огромные достижения в работе на посту главы нашего французского филиала.

Мы не сомневаемся, что он, в силу своего глубокого знания рекламы и финансовых возможностей нашей клиентуры, будет способствовать новым успехам европейской сети.

Жан Франсуа выразил намерение обновить состав руководства креаторским отделом, назначив Октава Паранго и Чарли Нагу на место Марка Марронье, чья трагическая кончина глубоко поразила всех его друзей и коллег.

Жан Франсуа проинформирует вас и о других изменениях в оргпрограмме. Я же хочу сказать здесь родным Марка, насколько его исключительно глубокое понимание концептуальной интуиции и креативных возможностей обогатило историю агентства, а также эволюцию всеобщих коммуникаций.

Нет нужды говорить о том, что я буду оказывать Жану Франсуа, Октаву и Чарли всемерную помощь, и уверен, что вы поступите точно так же.

Я смотрю в будущее "Rosserys and Witchcraft" с гордостью, оптимизмом и безграничной верой в то, что корабль под названием "Rosserys and Witchcraft" в XXI веке будет неизменно находиться на гребне волны бизнеса.

С наилучшими пожеланиями
Эдвард С. Феррингер-младший.

Этот извращенец Чарли дал согласие от нас обоих еще за неделю до съемок! Мне всего-то и осталось, что подмахнуть несколько бумажонок. И я сказал себе: может, приняв эту должность, ты хоть что-нибудь изменишь в нашем поганом мире. Но я глубоко заблуждался: власть никогда не отдают тем, кто способен ею воспользоваться. Да и что это за власть? Устаревшая игрушка былых времен. Нынешние власти настолько разрослись и разветвились, что обескровили и развалили саму систему. А мы все сидим и талдычим наш грамшистский лозунг: "Чтобы захватить самолет, нужно сначала войти внутрь". Какая дьявольская ирония судьбы! Мы ворвались в кабину с гранатами в руках и только было собрались отдавать приказы пилоту под дулами наших автоматов, как обнаружили, что пилота нет как нет. Мы хотели угнать самолет, которым никто не умеет управлять.

КТО-ТО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВСЕ ЭТО.
ВСТРЕТИМСЯ ПОСЛЕ РЕКЛАМНОЙ ПАУЗЫ.

СЦЕНА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВОЗЛЕ АРКИ НА ПЛОЩАДИ КАРРУЗЕЛЬ, ПЕРЕД ЛУВРОМ. ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ГРАНДИОЗНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ МОД. ТОЛПА ЛЮБОПЫТНЫХ ТЕСНИТСЯ У ВХОДА, ОХРАНЯЕМОГО ХОРОШЕНЬКИМИ МАЛЬЧИКАМИ В КРАСНЫХ ГАЛСТУЧКАХ ЛИЦЕЯ ЖАНСОНА ДЕ САЙИ. МЫ ПРОБИРАЕМСЯ В ЗАЛ, БИТКОМ НАБИТЫЙ VIP'ами СО ВСЕГО МИРА.

СВЕТ ГАСНЕТ. ТОЛПА ПРИГЛАШЕННЫХ ДРУЖНО ИСПУСКАЕТ РАДОСТНЫЙ ВЗДОХ. НА ПОДИУМЕ ПОД МУЗЫКУ ТЕХНО-МЭТАЛ-ХАРД-ЭЙСИД-ХАУС ДЕФИЛИРУЮТ СОВЕРШЕННО ОБНАЖЕННЫЕ ТОП-МОДЕЛИ.

ГОСТИ ВОСХИЩЕННО ЛЮБУЮТСЯ БЕЗУПРЕЧНЫМИ ФИГУРАМИ ГОЛЫХ МАНЕКЕНЩИЦ, ИХ ПЫШНЫМИ ГРУДЯМИ, УПРУГИМИ ЯГОДИЦАМИ, НЕСКОНЧАЕМО ДЛИННЫМИ НОГАМИ, ТЕМНЫМ РУНОМ НА ЛОБКАХ, ПОДБРИТЫМ ПО МОДЕ, КВАДРАТИКОМ. ВНЕЗАПНО ДЕВУШКИ ЗАМИРАЮТ В САМОМ ЦЕНТРЕ ПОДИУМА, СУЮТ РУКИ С НАМАНИКЮРЕННЫМИ НОГТЯМИ ПОДМЫШКИ И НАЩУПЫВАЮТ ТАМ... МОЛНИИ! ОНИ РАССТЕГИВАЮТ СВОЮ АТЛАСНУЮ КОЖУ И СБРАСЫВАЮТ ЕЕ, КАК ПЛОВЧИХИ – СВОИ ГИДРОКОСТЮМЫ. НЕКАЯ СТАРУХА-ГЕРЦОГИНЯ В ПАРТЕРЕ ХЛОПАЕТСЯ В ОБМОРОК. КАКОЙ-ТО БОРОДАЧ В ТЕМНЫХ ОЧКАХ ЭЯКУЛИРУЕТ ПРЯМО НА ПИДЖАК ВПЕРЕДИ СИДЯЩЕГО ЗРИТЕЛЯ. ДЕВЧОНКА ЛЕТ ДВЕНАДЦАТИ ЯРОСТНО ОБСАСЫВАЕТ ЭСКИМО В ФОРМЕ ФАЛЛОСА, ОДНОВРЕМЕННО ШУРУЯ РУКОЙ У СЕБЯ В ПРОМЕЖНОСТИ.

МОДЕЛИ, СБРОСИВШИЕ ОБОЛОЧКУ, СДЕЛАНЫ ИЗ МЕТАЛЛА; ЭТО КИБОРГИ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ, СВЕРКАЮЩИЕ АНДРОИДЫ. ПЕРВАЯ КУКЛА СПЛОШЬ ОБКЛЕЕНА СТОЕВРОВЫМИ КУПЮРАМИ, ВТОРАЯ ВЫПЛЕВЫВАЕТ ИЗО РТА МОНЕТЫ, ТРЕТЬЯ РАЗБРАСЫВАЕТ ВОКРУГ СЕБЯ ПРИГОРШНЯМИ, ТОЧНО КОНФЕТТИ, КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ – В ОБЩЕМ, ЭТО НАСТОЯЩИЕ РОБОТЫ-КОПИЛКИ (ОДНА КРАСОТКА ДАЖЕ ВЫТАСКИВАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ ИЗ СВОЕГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВЛАГАЛИЩА, СЛОВНО ИЗ БАНКОМАТА).

БУРНАЯ ОВАЦИЯ ПУБЛИКИ. ЗРИТЕЛИ РЫЧАТ ОТ ВОСТОРГА. АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА ДО ПРЕДЕЛА. МУЗЫКА УСКОРЯЕТСЯ, ДОСТИГАЯ НЕВЫНОСИМОГО, БЕШЕНОГО ТЕМПА. В ЗАЛЕ ПРОИСХОДИТ НЕСКОЛЬКО ИНСУЛЬТОВ, ДЮЖИНА ИНФАРКТОВ И МНОЖЕСТВО ГРУППОВЫХ ИЗНАСИЛОВАНИЙ В ЗАДНИХ РЯДАХ.

PACKSHOT С МОНЕТАМИ, КОТОРЫЕ ДОЖДЕМ СЫПЛЮТСЯ НА ТЕЛО ЮНОЙ ДЕВУШКИ-ТАИЛАНДКИ.

ПОВЕРХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ СЛОГАН:

"ОРГАЗМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК – ОТ НАШИХ СЛАВНЫХ ПРОСТИТУТОК". И СЛЕДОМ: "ЭТО БЫЛО ПОСЛАНИЕ ФФЛПД (ФРАНЦУЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ ДОМОВ)".

V
Вы

В замкнутом обществе, где виновны все,
единственное преступление —
это попасться на преступлении.
В воровском мире
самый тяжкий грех — глупость.

Хантер С. Томпсон.
Страх и отвращение в Лас-Вегасе, 1971.

1

Странное ощущение — вернуться в "Росс", да еще и победителями. Во-первых, агентство за это время переехало: старый пакетбот дал течь, вы его забросили, и теперь площадь Марселя Самба в Булонь-Бийянкуре напоминает разоренную верфь с унылыми докерами в "рэперских" шмотках, прочно засевшими у дверей Макдоналдса. Ради того чтобы соорудить новый офис тремя сотнями метров дальше, вы разрушили до основания старинную фабрику, а потом отстроили ее заново абсолютно в том же виде — скажите зачем? Из-за вредности асбеста, чтобы его убрать? Из-за убогой фантазии архитектора? А может, из-за того и другого вместе? Здание увенчано двадцатиметровой трубой, жутко напоминающей вздыбленный фаллос из багрового кирпича. Труба никогда не дымит: там ничего не сжигают — пока еще не сжигают.

Вы вовсю наслаждаетесь взлетом своей карьеры. Испуганные взгляды трехсот новых подчиненных. Зовущие губы прежде безразличных женщин. Льстивый тон вышестоящих, ставших нижестоящими. Дружба — сколь пылкая, столь и внезапная — тех, кто вдруг вспомнил, что всегда был вашим другом, товарищем и братом. Почтительность проигравших. Однако вы с Чарли — скромные триумфаторы. Собрав персонал агентства, вы держите перед ним такую речь:

Дорогие друзья, идея Жана Франсуа назначить нас креативными директорами была столь неожиданной, что мы не смогли не принять это предложение. Нам потребовалось большое мужество, чтобы согласиться: легче было сказать "нет", чем "да". Итак, мы готовы встретить предстоящий нам трудный пери-

од — а труден он, во-первых, потому, что нелегко работать после такого истинного гения рекламы, как Марк (тут вы держите растроганную паузу длительностью в четыре и пять десятых секунды), и, во-вторых, потому, что мы сами — рекламисты-рекламофобы и нуждаемся в вашей помощи, чтобы изжить этот прискорбный парадокс. Реклама — источник загрязнения нашей жизни, и мы считаем своим долгом изобрести новую экологию мировой коммуникационной среды. Мы (а следовательно, и вы) должны научиться вести себя интеллигентно в отношении нашего потребителя. Хватит изводить пленку и донимать его надоевшими, бесполезными клипами! Мы решили распахнуть двери агентства перед креаторами новой формации — непризнанными писателями, про́клятыми поэтами, авторами отвергнутых сайтов, художниками андерграунда, режиссерами порнографических фильмов. Давно пора нашей рекламе объединиться с художественным авангардом современности. "Росс" должен вновь стать той экспериментальной лабораторией, какой он был в начале своего существования; мы же приложим все силы, чтобы остаться на высоте креативных задач, которые всегда были гордостью нашего агентства.

Итак, мы начнем с нескольких чисто символических мер и надеемся, что они незамедлительно дадут хорошие результаты. Первое: динамики будут постоянно транслировать песенку "Ты OK, ты крутой, ты — что надо!" группы "Ottawan"; эта же мелодия послужит "музыкальным фоном ожидания" для нашей телефонной сети. Телефонистки и девушки из группы приема посетителей должны сидеть в холле голые по пояс. Для всех презентаций рекламных кампаний, которые будут проходить у наших клиентов, мы задействуем профессиональных актеров-комиков, набранных в ночных кабаре, и русский оркестр для создания уютной атмосферы. Всем служащим "Росса" отныне вменяется в обязанность целоваться в губы при встрече. Всем креаторам будут вручены камеры "Sony PC1", дабы они могли незамедлительно фиксировать все, что сочтут нужным для воплощения своих даже самых мимолетных идей.

Мы должны вернуться в состояние первозданной непорочности, в колыбель искусства. Мы должны без конца ВОСХИЩАТЬСЯ, как дети. Необходимо разрушить нынешнюю косную замкнутую на себе систему, необходимо УДИВЛЯТЬ людей, постоянно меняя правила игры, иначе мы не сможем затронуть всерьез сердца потребителей, а значит, впустую растратим деньги своих клиентов. Никогда не забывайте главного (и это наш основополагающий принцип): вы здесь для того, чтобы развлекаться САМИМ, ибо, только развлекаясь САМИ, вы сможете развлечь и заинтересовать наших покупателей. Новый девиз "Росс-Франс" сформулирован еще сэром Теренсом Конраном[1]: "Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не предложат". С завтрашнего утра это изречение будет украшать вход в агентство. Спасибо за внимание, и пусть праздник продолжается!

Раздались бурные, хотя и нестройные, аплодисменты. Вы пригласили три сотни своих новых подчиненных на коктейль в конференц-зале патио. Персонал был почти убежден — а с виду прямо пи́сался от восторга, — что вы говорили чистую правду и ситуация в корне изменится. Теперь вам останется только потихоньку сводить на нет все свои посулы, перед тем как окончательно убраться со сцены, подобно вашему предшественнику (который оставил в бюджете агентства дыру в 20 миллионов евро).

1. Известный английский предприниматель.

В своих органайзерах, какие полагаются всем современным новоиспеченным и важным начальникам, вы записываете разные способы достижения популярности в массах:

11.00 — проявить вежливость к кому-то совершенно ненужному;

13.30 — подумать о том, как бы подумать;

15.15 — назвать кого-нибудь из технического персонала по имени (предварительно навести справки в кадровой службе);

17.10 — поинтересоваться состоянием больной дочки одного из подчиненных (в присутствии свидетелей);

19.00 — покидая офис, всем улыбнуться.

К концу выпивки по случаю "восшествия на престол" Чарли организовал сюрприз для наших креаторов-ветеранов: "обезьяний" ужин в ресторане "Лаперуз". Для этого вы все обрядились в костюмы гигантских орангутанов и засели в отдельном кабинете, где двенадцать голых девок, снятых на весь вечер, ходили по столу на руках, раскорячившись так, чтобы вы могли смаковать свежие устрицы у них между ног. Да, у нашего Чарли несомненно есть глубокое понимание внутренней мотивации.

2

Тем не менее ваш первый показ работы клиенту окончился полным провалом. В "Мадонне" Альфред Дюлер и его "шестерки" устроили показ ролика "Мегрелет" (выхолощенной версии) потребительской фокус-группе, и результаты тестирования не дали ничего хорошего: во время бурного обсуждения вам пришлось отбиваться от наскоков возбужденных "домохозяек моложе пятидесяти". "Слишком возвышенно", "over-promising"[1], "анксиогенно", "низкий GRP[2], "не убеждает","очень уж отдает Магрибом", "некачественно на уровне интонации", "packshot должен быть еще крупнее"... в общем, полная катастрофа. Во время обсуждения вы стояли насмерть, доказывая "возможность модификаций в звукоряде", "акцентирования packshot'а в конце ролика", "необходимость еще одного перегона ASAP (AS SOON AS POSSIBLE[3])", "значение формальной инновации в этой нише", "влечение на уровне потребительского инстинкта и эффекта присутствия", — в общем, к концу дебатов клиент все-таки дал "добро" — "с условием учета замечаний по перемонтированию, внесенных в описание бренда ASAP".

И тут вы обнаруживаете, что быть начальником вовсе не так уж и сладко. Креативный директор подобен краснодеревщику, которому заказчик велит изготовить колченогий стол, потому что платит он (хозяин — барин). Кроме того, рекламодатели осторожны до идиотизма: сами того не понимая, они тратят бешеные бабки, чтобы заставить вас сделать их рекламу по возможности незаметной. Они так страшатся вызвать неудовольствие потребителей (у них это называется "нанести ущерб имиджу"), что прямо-таки растворяются в этом самом "имидже" до полной прозрачности. Нет, они, конечно, присутствуют на ваших экранах, но ужасно боятся, что их там засекут. И вы, в качестве креатив-

1. Здесь: неоправданно многообещающий (*англ.*).
2. Один из показателей эффективности рекламы в СМИ.
3. Как можно скорее (*англ.*).

ных директоров, именно для того и существуете, чтобы утверждать их в этом шизофреническом стремлении.

Вот так-то и завязывается длинная цепь рекламного презрения: креатор презирает агентство, агентство презирает рекламодателя, рекламодатель презирает потребителя, потребитель презирает себе подобных.

От 30-секундного ролика, снятого в Майами, остались рожки да ножки: это уже не перемонтирование, это ампутация из ампутаций, от безногого костыли.

"Тамара крупным планом садится в кресло на террасе красивого загородного дома (**не снижать число вводных планов до появления продукта; изменить пропорции ног актрисы, чтобы обострить восприятие потребителя; высветить лицо**). Она смотрит в объектив и восклицает: "Я красива? Да, так говорят. Но сама я не задаюсь этим вопросом. Я — это я, вот и все". (**Убрать слова "так говорят" — эта фраза пробуждает сомнение, равно как и следующая: "Но сама я не задаюсь этим вопросом...", она лишняя: если героиня "не задается этим вопросом", то нечего об этом и говорить. Короче, в фильме оставлены только две фразы: "Я красива? Я — это я, вот и все".**) Затем актриса берет со стола баночку "Мегрелет", бережно открывает ее и пробует йогурт. (**Здесь укрупнить все кадры с изображением продукта.**) Закрыв глаза от удовольствия, она смакует продукт. (**Продержать этот кадр как можно дольше. Не забывать, что речь идет о ключевом кадре (результат тестирования). Жизненно важно обыграть желанность продукта, дабы подчеркнуть концепцию пользы наслаждения вкусом, лишенного комплекса вины.**) Затем актриса произносит дальнейший текст, глядя прямо в глаза телезрителям: "Мой секрет — ...'Мегрелет'". Восхитительный йогурт без капли жира. С кальцием, витаминами и протеинами. "'МЕГРЕЛЕТ' — ЧТОБ СТАТЬ СТРОЙНЕЕ И ПРИТОМ ВДВОЙНЕ УМНЕЕ". (**Придумать, как добавить сюда трехмерное изображение продукта, который струей льется из кувшина, и слова "кальций", "витамины", "протеины", "ноль процентов жирности", создающие у потребительниц ощущение реальной пользы продукта.**) Тамара встает и заключает с заговорщицкой улыбкой: "Вот мой секрет. Но теперь это уже не секрет, раз я поделилась им с вами, ха-ха-ха!" (**Убрать эту ненужную шутку, которая отнимает целых три секунды у packshot'а. Вполне можно завершить показ словами: "Вот мой секрет" — они более убедительны и эффективны в конкурентном плане.**) Packshot и заключительный слоган: "'МЕГРЕЛЕТ' — ЧТОБ СТАТЬ СТРОЙНЕЕ И ПРИТОМ ВДВОЙНЕ УМНЕЕ". (**Возможно ли рассмотреть другие слоганы? Нужно адресовать рекламу самым различным группам и категориям потребителей — детям, старикам, молодым и людям постарше, мужчинам и женщинам. И все это в русле новейших рекламных технологий.**) Далее следует джингл: "М-м-м, 'Мадонна'!" Что касается титра, то вам на него плевать, поскольку у вас в запасе имеется другой: "'МЕГРЕЛЕТ' — НАМ ВСЕМ НУЖНА ХОТЯ БЫ КРОШЕЧНАЯ ДОЗА ЛЕГКОСТИ!" (см. акт IV, сцену 4).

3

А потом был Канн, фестиваль – нет, не кинематографический, а другой, настоящий, тот, что проходит втихую, как съезды Всемирной организации торговли или встречи в Давосе, каждый год в июне, через месяц после того, спонсированного маскарада; этот фестиваль зовется Всемирной неделей рекламы (по-английски 48-th International Advertising Festival) или "Каннские Львы-2001". В нем участвуют неизвестные широкой публике, но всемогущие магнаты – те, что финансируют полнометражные фильмы со "скрытой" рекламой товаров (например, мотоциклов "BMW" со всякими джеймсами бондами за рулем или "пежо" в "Такси-1" и "Такси-2"), те, что покупают на свои карманные деньги целые киностудии ("Seagram" – Universal, "Sony" – Columbia-triStar, AOL – Warner Bros) и делают фильмы исключительно как поддержку для будущего мерчандайзинга (например, "Дисней" или "Лукас-фильм"), в общем, те, кто владеет всей нашей планетой (во всех смыслах глагола "владеть"). Рекламный 30-секундный ролик затрагивает куда больше народа, чем полуторачасовой художественный фильм, – взять хотя бы ту же раскрутку "Мегрелет", задуманную и спланированную для завоевания 75 % населения стран-участниц.

А вот и рекламные расходы главных французских рекламодателей (данные на 1998 г.):

"Vivendi" – 2 миллиарда франков,
"L'Oreal" – 1,8 миллиарда франков,
"Peugeot-Citroën" – 1,8 миллиарда франков,
"France-Telecom" – 1,5 миллиарда франков,
"Nestlé" – 1,5 миллиарда франков,
"Madone" – 1,3 миллиарда франков.

Все эти торговые марки абсолютно неуязвимы. Они имеют право говорить с вами, но вы не имеете права отвечать. В прессе вы можете рассказывать любые гадости о любых людях, но попробуйте хоть намеком затронуть какого-нибудь рекламодателя, и вы рискуете мгновенно лишить свою газету миллионов франков, получаемых за рекламные площади. На телевидении дело обстоит еще строже: закон воспрещает упоминать в эфире торговые марки, "во избежание скрытой рекламы", а на самом деле, чтобы помешать вам критиковать их. Рекламодатели вольны самовыражаться сколько душе угодно (и очень дорого платят за эту привилегию), но *не терпят никаких возражений.* Что же касается книг... Вполне возможно, что данный роман подвергнется жесточайшей цензуре за "дискредитацию торговой марки", "фальсификацию", "паразитирование", "диффамацию", "присвоение чужой интеллектуальной собственности" или недобросовестную конкуренцию.

По-английски реклама зовется "advertising" – оповещение: изобретатели этой профессии явно пытались предупредить нас.

В аэропорту стюардесса спрашивает вас:

– Багаж имеется?

Вы отвечаете: "Да, и еще какой – культурный: у меня – диплом по маркетингу, а у него – Школы изобразительных искусств".

Вы оба – Чарли и ты – прямо-таки олицетворяете собой вершину каннского успеха: молодые, загорелые, богатые, грозные, вы шествуете по набережной Круазет в фирменных майках "Росса" (на груди слоган "'РОСС' ГАРАНТИРУЕТ СПРОС!", на спине – "ТРУДЯТСЯ ВСЕ У 'РОССА' – ОТ ВАХТЕРА ДО БОССА". Оба лозунга придуманы каким-то занюханным стажером, получающим жалкие гроши), в шикарных солнечных очках "Helmut Lang Opticals" и стильных "New Balance" на ногах – словом, крутые миллионеры. По идее, вам сейчас следовало бы раздавать интервью ушлым журналисточкам с ноутбуками под мышкой, налетевшим сюда за своей долей пирога; они обосновались в "Джейнс'с-клубе", снятом фирмой "Premiére Heure" (эта крупная продюсерская компания, явившаяся в Канн ублажать нашего брата-креатора). Но в настоящий момент вы собираетесь отобедать на халяву в "Карлтон-отеле" за столом Алена Бернара и Арама Кеворкяна – боссов из фирмы PAC ("Premiére Heure" – их злейшие враги), приехавших сюда ради поддержания добрых коммерческих связей с друзьями детства. Иногда вас охватывают краткие и необъяснимые приступы радости, даже счастья, – вы зовете их "Near Life Experience"[1].

У стойки вы с первого взгляда узнаёте новых асов вашей профессии; они выглядят настоящими бродягами: волосатые (или бритые наголо), заросшие щетиной, в рваных майках, выцветших джинсах и сношенных кроссовках – в таком прикиде щеголяют нынешние богачи. Их имена можно прочесть на бэджах:

Кристоф Ламбер, глава CLM-BBDO (411 миллионов франков дохода; заказчики: "Total" – "Вы больше не зайдете к нам... случайно!"; "France-Telecom" – "С нами вы полюбите 2000 год!"; "Pepsi-Cola" – "The choice of a new generation"[2]).

Паскаль Грегуар, президент и КД "Leagas Delanay" (маленькое агентство, родившее великий слоган, выпущенный к Чемпионату мира по футболу 98-го года: "Adidas" – победа в нас!").

Габриель Готье, президент Клуба артдиректоров – ассоциации, объединяющей всех французских креаторов, – и КД "Young and Rubicam" (481 миллион франков дохода; заказчики: "Оранжина", слоган: "Встряхни "Оранжину" смело, чтоб пульпа внизу не осела!"; "Stimorol" – "Жуйте по-датски!", "Ricard" – "Уважим воду!").

Кристиан Блашá, патрон СВ "News" (который воскресными вечерами представляет на шестом канале "Culture Pub" в паре с Тома Эрве).

Эрик Тон Куонг; как легко догадаться, президент "Euro RSCG Babinet Erra Tong Cuong" (сумма доходов неизвестна; заказчики: "Эвиан" – "Эта вода – источник молодости вашего тела"; "Пежо" – "Пусть автомобиль всегда будет для вас наслаждением!"; "Canal +" – "Пока вы смотрите "Canal +", вы забываете, что сидите перед телевизором!").

Бенуа Деварье, основатель агентства "Деварьевилларе" (126 миллионов франков дохода; заказчики: "Креди Лионнэ" – "Ваш банк обязан вам отчетом"; "Volvic" – "Вода 'Volvic' – ваш шанс!").

Бернар Бюро, вице-президент "Ogilvy and Mather" (472 миллиона франков общего дохода; заказчики: "Perrier" – "Вода, воздух, жизнь!"; "Ford Ka" – "Подумай-КА о 'форде'!").

Здесь же болтаются уже слегка обрюзгшие людишки, что выдали лет двадцать назад две-три удачные идейки и с тех пор мирно стригут с них

1. Околожизненный опыт (*англ.*).
2. Новое поколение выбирает пепси (*англ.*).

купоны. Вот этот, к примеру, нажил целое состояние, сбывая один и тот же вариант слогана разным клиентам: "Носки – это 'Kindy'!", "Сыр – это 'Kelton'!", "Обувь – это 'Bata'!"... И все вы из кожи вон лезете, чтобы показать, до чего вам весело. Ох уж это веселье – оно подобно самоубийству, с той лишь разницей, что веселиться можно каждый день. Однако стоит кому-нибудь произнести рядом с Чарли или со мной имя Марронье, как мы начинаем сокрушенно причитать: "Да-да-да-да-да, и не говори, нам так его не хватает; знаешь, мы до сих пор получаем его почту, на его имя приходят каталоги "ImageBank"... черт возьми, неужели они не могут обновить свою картотеку... И вообще, дела идут хреново, реклама в полном упадке, Канну, похоже – хана... Слушай, давай встретимся вечерком в баре "Мартинес" после того, как зачтут шорт-лист!"

Шорт-лист – это 100 лучших рекламных фильмов мира, отобранных из 5 000 представленных на конкурс. И вы в нем фигурируете с вашим "'Мегрелет'! It's so good when it comes in your mouth!".

Жюри, состоящее из ваших собратьев по профессии – японцев, англичан, немцев, американцев, бразильцев и французов, – сочло ваш ролик таким дерзким, что внесло его в список, невзирая на несколько свистков, раздавшихся в огромном просмотровом зале. Вы подали на конкурс вариант à la Догма в самый последний момент, после того как прогнали его один-единственный раз в три часа ночи на "Canal Jimmy". Так что юридически это теперь можно считать настоящей рекламной кампанией, хотя клиент напрочь отверг ролик, а публика его в глаза не видела (зато другой, безжалостно урезанный вариант непрерывно и ежевечерне гоняют по TF1 с новым титром: "'МЕГРЕЛЕТ' – НАМ ВСЕМ НУЖНА ХОТЯ БЫ КРОШЕЧНАЯ ДОЗА ЛЕГКОСТИ!"; излишне говорить, что эта версия не прошла здесь даже во второй тур!). Тамара должна приехать к вам уже завтра; и вообще, классно будет, если вы отхватите премию всего через месяц после назначения на директорский пост "Rosserys and Witchcraft" (французский филиал). Вы бы взошли на сцену, говорили бы с умным видом по телевидению и в прессе: "Франция, всегда отставшая от других западных стран в рекламном искусстве, все-таки смогла добиться нескольких наград, в частности "Золотого льва" для "Мегрелет" компании "Мадонна", благодаря нашему клипу – остроумной пародии на порнографический фильм, – созданному в агентстве "Rosserys and Witchcraft", где только что назначено новое, двуглавое руководство отделом креатива". В "Стратежи" появится ваше фото со следующей подписью: "Октав Паранго и Чарли Нагу заявили нам: "*Главное – сплотить энтузиастов в дружную армию креаторов на перекрестках будущего*!"

А ночью вы все танцуете в "Nibarland", не вставая с кресел, как паралитики. Эта мода залетела к нам из Нью-Йорка: тамошний мэр так прижал ночные кабаки, что тусовщикам осталось собираться только в барах, где танцы запрещены. Поэтому теперь во всех барах – "Spy", "Volvet", "Jet", "Chaos", "Liquid", "Life" – посетители слушают записи на пределе громкости, не вставая с табуретов и размахивая руками в такт музыке. Ныне это поветрие перебралось через Атлантику к нам, и теперь вихлять задом на танцплощадке считается в высшей степени вульгарным. Сейчас во всем мире положено сидеть среди оглушительной какофонии, иначе тебя сочтут старой калошей. На каннской дискотеке сразу видно "туземцев" – они отплясывают в центре зала с местными красотками, ве-

селясь, как деревенские дурачки; зато мы, рекламисты, гордо восседаем на банкетках, посасывая из бутылок и демонстрируя собратьям по искусству, что мы только-только из славного города Нью-Йорка. Кроме того, мы с Чарли раз десять за вечер нарочито шумно встаем из-за стола, уходим в сортир, выжидаем там минут с пяток, возвращаемся растрепанные, сопящие и дуем воду стакан за стаканом, почесывая носы, — пускай наши соседи-япошки знают, что у нас есть кокс, а у них нет.

Однако на сей раз у вас возникает ощущение, будто вы угодили в один из фильмов Дэвида Линча[1]: за благопристойной, приветливой видимостью скрывается какая-то темная угроза, тайная злоба, разрушительное безумие, и это понуждает вас улыбаться еще шире.

А теперь влезьте-ка в шкуру комиссара каннской полиции Санчеса Ферлозьо, 53 года, сидящего в своем тесном кабинетике. День клонится к вечеру, вы безмятежно слушаете стрекот цикад, предвкушая мирный уикэнд и рюмочку белого у стойки "Бюффе де ла Гар", как вдруг — бац! — гром среди ясного неба: вам приходит e-mail с международным ордером на арест и приложенной к нему видеозаписью. Кликнув пару раз, вы вызываете картинку и видите троицу французов в черно-белом варианте, которые выходят из какой-то виллы; один из них орет: "Как думаешь, видеозапись осталась?" — "Нет, это же обычный домофон". — "Да если и осталась, все равно тут нас никто не знает". Вслед за чем на объектив надвигается рука, сжимающая увесистый булыжник.

Вы с трудом разбираете послание на английском, озаглавленное "First Degree Murder Prosecution"[2] (ну и ну!); вы плохо знаете английский, но в общих чертах все ясно: в феврале текущего года полиция штата Флорида запросила муниципалитет Майами относительно лиц, получавших разрешение на натурные съемки в указанном городе. Компьютер выдает вам имена и профессии трех подозреваемых французов, и теперь до вас наконец доходит, зачем вас побеспокоили в самый разгар Каннского рекламного фестиваля. Вы с грустью вспоминаете былые времена, когда ваша работенка была такой неспешной, хотя и трудной, и снимаете трубку, чтобы получить список участников торжественной церемонии награждения во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Вы с Тамарой просыпаетесь только под вечер: плотные оконные портьеры "Карлтона" не пропускают света; кроме того, достаточно нацепить на дверь табличку "Do not disturb"[3], и гостиничная служба навеки оставит вас в покое. Вы пили всю ночь, но до кокса ты не дотронулся: вы предпочли грибочки, доставленные из Амстердама. Спасибо этой отраве, к четырем утра ты придумал обалденную рекламу для "Humex Fournier" (капсулы от насморка):

БЛОНДИНКА С КОРОТКОЙ СТРИЖКОЙ СИДИТ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ РОСКОШНОГО "МЕРСЕДЕСА" РЯДОМ С БОГАТЫМ АРАБОМ. ШОФЕР СТРАДАЕТ СИЛЬНЫМ НАСМОРКОМ. ВНЕЗАПНО ОН НАЧИНАЕТ ЧИХАТЬ: А-А-АПЧХИ!.. А-А-АПЧХИ! ЭТО ПРОИСХОДИТ В ТОТ МИГ, КОГДА МАШИНА ВЪЕЗЖАЕТ В ТУН-

1. Американский кинорежиссер (р. 1945), снимавший сюрреалистические фильмы с элементами фантастики. Автор знаменитого телесериала "Твин Пикс".
2. Судебное преследование по делу об убийстве с отягчающими обстоятельствами (*англ.*).
3. Не беспокоить (*англ.*).

НЕЛЬ АЛЬМА[1]. ЗАТЕМНЕНИЕ. СЛЫШИТСЯ СКРЕЖЕТ КОЛЕС И ГРОХОТ СТОЛКНОВЕНИЯ. НА ЭКРАНЕ ВОЗНИКАЕТ ЛОГОТИП "HUMEX FOURNIER" И ФИНАЛЬНЫЙ СЛОГАН: "'HUMEX' – РАЗДЕЛАЙТЕСЬ СО СВОИМ НАСМОРКОМ, ПОКА ОН НЕ РАЗДЕЛАЛСЯ С ВАМИ!"

А ничего! – хвалишь ты себя, перечитывая текст, нацарапанный на уголке скатерти и сулящий тебе не меньше миллиона евро. Но есть вариант и покруче.

ДЖОН КЕННЕДИ-МЛАДШИЙ ВЕДЕТ СПОРТИВНЫЙ САМОЛЕТИК НАД ЛОНГ-АЙЛЕНДОМ. ОН МАЕТСЯ СИЛЬНЫМ НАСМОРКОМ, БЕЗ КОНЦА ЧИХАЕТ И КАШЛЯЕТ. ЕГО ЖЕНА КЭРОЛАЙН СЛЕГКА ОБЕСПОКОЕНА; КРОМЕ ТОГО, ЭТО ЧИХАНИЕ БЕСИТ ЕЕ, ЧТО ВПОЛНЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ЕЕ ДЕВИЧЬЕЙ ФАМИЛИЕЙ – БЕССЕТ. ОНА ПРЕДЛАГАЕТ МУЖУ КАПСУЛУ "HUMEX FOURNIER", НО ДЖОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ: ОНИ И ТАК УЖЕ ОПАЗДЫВАЮТ НА СВАДЬБУ ЕГО КУЗИНЫ. ВНЕЗАПНО ОН НАЧИНАЕТ ЧИХАТЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ, И САМОЛЕТ ОТ СОТРЯСЕНИЯ РЕЗКО КЛЮЕТ НОСОМ. ЛОГОТИП "HUMEX FOURNIER" И ФИНАЛЬНЫЙ ТИТР: " 'HUMEX FOURNIER' – ЕСЛИ ТЫ НЕ ЛЕЧИШЬ НОС, САМОЛЕТ ПОЙДЕТ ВРАЗНОС".

Вчера ночью вы с Тамарой впервые по-настоящему занимались любовью, и это было чудо из чудес – сладкое, как персик, и естественное, как сама природа. Октав, ты вполне заслуживаешь свою репутацию чемпиона по внедрению. Группа "REM" пела по MTV "Это конец света, и мне так приятно это". Тамара подошла к тебе, когда ты искал салфетку, чтобы вытереть пальцы, липкие от персикового джема (ты съел пончик с персиковым джемом), и начала облизывать твою руку – а потом и все остальное. Ты ответил тем же, и вы сплелись в цепком, неразъемном объятии. У нее были сладкие губы (все тот же персиковый джем). Она щекотала тебе лицо своими лениво-тяжелыми волосами. У Тамары такая гладкая, блестящая кожа, что в ней видишь собственное отражение. Едва достигнув оргазма, ты тут же воспрянул вновь. Такого с тобой давно не случалось. Когда постоянно живешь с кем-то, вторая эрекция – редкая гостья. А ведь как это приятно: миг назад вы слились в экстазе, затем перевели дух, отхлебнули водички, выкурили по сигаретке, поболтали о том о сем, и вдруг – хлоп! – между вами словно искра проскочила, глаза опять горят, желание поднимается мощной волной, у нее мокро между ног, ваш таран затвердел и напрягся до боли. Слоган: "Прелестная Тамара, жди второго удара!"

Во время сна у нее на лбу и на плечах выступили капельки пота, прозрачные, будто роса. Как сказал Поль-Жан Туле[2] в романе "Моя подружка Нан", ей свойственна "ленивая грация креолок, чрезмерно утомленных бездельем". Теперь ты даже не понимаешь, почему раньше не стащил с нее эту беленькую маечку. Ах, знать бы, как это сладко!.. Она красит волосы, но они не просто золотистые, они струистые. Вчера вечером Тамара ела тараму[3] возле бассейна в "Мажестике". И вдруг она сказала: "Хочешь, потрахаемся"? – "Ого! Я гляжу, у тебя уже и грудки на меня нацелились!" – "Да уж, если я на кого нацелилась, то стреляю без промаха". Когда она поворачивает голову, все мужские головы поворачиваются за нею следом, как подсолнухи. У нее точеный профиль – точеный, но смягченный, глаза золотистые, но лучистые; все удлиняется

1. Туннель в центре Парижа, где погибла в автокатастрофе принцесса Диана.
2. Поль-Жан Туле (1867–1920) – французский писатель и поэт.
3. Греческое блюдо из копченой тресковой икры.

при взгляде на нее, даже хвалебные речи в ее адрес. Тяжелые струистые волосы не поспевают за ней, они текут вниз по спине и при каждом движении Тамары распространяют хорошо знакомый тебе аромат — "Наваждение"... Запах Софи, в самом начале, когда она испытывала свою власть над тобой, чуть приоткрывая губы, как на рекламе с Каролиной Эррерой. Это напоминает тебе, что вы трахались без резинки.

— Берегись, Тамара, я чертовски плодовит.

— Нашел чем пугать! Я уже лет десять, как принимаю пилюли. Ты хоть не болен?

Вы оба притворяетесь спящими, сидя перед телевизором. Вас будит Чарли, который орет в трубку как ненормальный:

— У нас СПИД! Мы заполучили СПИД!

— Что-о-о?

— Да слушай же: министерство здравоохранения предоставило нам бюджет на противоспидную рекламу, правда здорово? Десять миллионов евро, не слабо?!

Тамара оборачивается к тебе:

— Что случилось?

— О, ничего особенного... Это Чарли звонил... Мы заполучили СПИД.

Море танцевало в узком темном проливе. Сегодня оно не играло изменчивыми переливами, нет. Лишь на следующий день Тамара объявила тебе, что уходит навсегда.

— С кем?

— С Альфредом Дюлером, твоим клиентом из "Мадонны". Он просто с ума по мне сходит. По двадцать раз на день признается в любви моему автоответчику. Мы с ним переспали на прошлой неделе; он повез меня в "Трианон-палас" и чуть не рехнулся от счастья, хотя при этом умирал со страху, ну такая лапочка! Знаешь, он и вправду вел себя очень мило и наобещал мне с три короба: говорил даже, что бросит ради меня жену, — мол, она ему жизнь заела.

— Тоже мне новость! Да он сам заел жизнь миллионам людей. Но что ж ты будешь делать со своей дочкой — оставишь в Марокко?

— А вот и нет. Альфред хочет, чтобы я привезла ее во Францию и чтобы мы жили все вместе; он собирается развестись и жениться на мне — в общем, готов на что угодно. Знаешь, прямо не верится, до какого идиотства можно довести пятидесятилетнего мужика, имея тонкую талию и умея работать языком.

— И будучи на двадцать лет моложе его жены.

— Слушай, не дуйся, ты же прекрасно знаешь, что такой случай выпадает раз в жизни. Это мой единственный шанс, я не могу его упустить! Я устрою свою судьбу, стану солидной дамой. Впервые в жизни у меня будет собственный дом. Я смогу его обставить как захочу, я буду зваться мадам Дюлер, а моя дочка — мадемуазель Дюлер; мы заведем машину и поедем на ней летом отдыхать в Прованс. Главное, я почувствую себя в безопасности и смогу наконец есть вволю и не бояться потолстеть! Но тебя я не забуду, ты ведь придешь ко мне на свадьбу, да? Я даже хотела позвать тебя в свидетели, но Альфред против — он ужасно ревнует к моему прошлому.

— А ты что, все ему рассказала? С ума сошла, это же мой главный клиент!

— Ну... Не все, конечно, в подробности я не входила, да он и не стремился их узнать, он и так чует, что мы с тобой отрывались вовсю.

— Что было неправдой — до вчерашнего вечера.

— Верно. Я потому тебя и изнасиловала — меня заедало, что мы с тобой ни разу не трахались. Кстати, ты был вполне на высоте; скажи, тебе понравилось, ты доволен? Я не хотела расставаться с тобой, не показав товар лицом. Ведь все это мне привалило благодаря тебе... (с этими словами она указывает на обложку "Elle", фото Жан-Мари Перье, где ее улыбка сияет над титром "Тамара: 'Мегрелет' по-берберски").

— И ты даже не придешь на вручение "Львов"?

— Слушай, Альфред против этого, он такой собственник, я не хочу лишний раз ему перечить. Тем более, он где-то прав: говорит, что если я хочу сниматься в кино, то лучше мне не мелькать лишний раз в рекламе.

— Вот, значит, как у нас с тобой кончилось. А я только-только начал тебя любить!

— Молчи! Когда ты сказал мне это в прошлый раз, было слишком рано, а теперь слишком поздно.

И вот она целует тебя — напоследок, — и ты выпускаешь ее хрупкое запястье. Ты даешь ей уйти, потому что ты всегда и всем даешь уйти. Ты даешь ей уйти по дороге, ведущей в кинозвезды, к карьере, о которой вам обоим все слишком хорошо известно. Ты чувствуешь себя все более и более чахоточным. И в тот миг, когда она затворяет дверь, ты уже остро тоскуешь по каждой проведенной с нею минуте.

Небо растворяется в морских далях: это зовется горизонтом. "На заре третьего тысячелетия..." Нам так долго ее обещали, эту зарю, что даже как-то странно видеть наконец ее приход. И ничего такого ужасного не случилось. Танкеры по-прежнему бороздят бухту, оставляя за кормой радужные (то есть нефтяные!) хвосты. Ты смотришь на эхограмму, которую прислала тебе Софи; изображение расплывается, но ты не щуришься, не мигаешь, ты держишь глаза широко открытыми до тех пор, пока твои щеки не становятся мокрыми от слез.

Вы встречаете людей, которые преображают вашу жизнь, сами того не зная, а потом спокойненько предают вас, и вы видите, как они объединяются с вашими врагами, а потом смотрите, как они удаляются, точно армия победителей, разграбившая город, на фоне развалин и закатного солнца.

5

Вы — продукт нашей эпохи. Или нет. Это слишком легко — все валить на эпоху. Вы — просто ПРОДУКТ. Поскольку глобализация больше не учитывает отдельных людей, вам пришлось стать продуктом, чтобы общество интересовалось вами. Капитализм превращает людей в йогурты — скоропортящиеся (то есть смертные), зомбированные Зрелищем, — иными словами, нацеленные на уничтожение себе подобных. Для того чтобы уволить вас, достаточно всего лишь вызвать ваше имя на экране, сбросить его в "корзину" и "очистить корзину" в контекстном меню; компьютер спросит: "Хотите ли вы стереть запись без возможности восстановления?" Нажмите клавишу ОК, и дело сделано. Вот так-то: щелкнуть океем — и ваших нет! Прежде в рекламе говорилось: "Легкий щелчок лучше, чем тяжкий шок"; сегодня "легкий щелчок" сам вызывает тяжкий

шок. Но коль скоро вы стали товаром, вам хотелось бы носить длинное, сложно произносимое, трудно запоминаемое имя, имя тяжелого наркотика, имя цвета хаки, едкое, как кислота, способная за какой-нибудь час бесследно растворить зуб, приторно-сладкое и странное на вкус, как экзотический напиток, но при том, невзирая на все эти причудливые свойства, являющее собой самую известную марку в мире. Короче: вам хотелось бы стать банкой отравы типа кока-колы.

Ну-с, а пока, если вы еще зоветесь Чарли Нагу, вы сидите в своем гостиничном номере, скачете по разным порнографическим сайтам, и вам очень хочется посмотреть "развлекательную" видеокассету, где юная азиатка трахается с конем, но тут вы вспоминаете, что пора уже наряжаться для церемонии вручения каннских "Львов". Только вот незадача: Одиль, которая теперь уже не стажерка, а старший артдиректор (получившая это назначение буквально вчера), будет толочься в ванной еще минут сорок, не меньше.

А если бы вы звались Октавом Паранго, вы бы сейчас стояли перед главным залом Дворца фестивалей — ну вы знаете этот гигантский бункер в неонацистском стиле на набережной Круазет, где кинозвезды поднимаются по знаменитой каннской лестнице под непрерывное щелканье фотоаппаратов. Вы бы торчали там, изнывая от нетерпения, в толпе рекламистов со всего света, обряженных во взятые напрокат смокинги и жаждущих полюбоваться, как одни триумфаторы будут вручать призы другим. Вы бы слушали гомон вокруг, вдыхали одуряющие запахи духов и острую вонь вспотевших от страха претендентов. Вы созерцали бы пляж с его мелким песком и белокрылыми яхтами. И напрасно вы оглядывáлись бы назад — у себя за спиной вы видели бы не две тысячи прошедших лет, а всего лишь какого-то идиота-голландца. И тогда вы снова взглянули бы на песок, которому уже пятьдесят тысяч лет, так что ему глубоко плевать на вас. Что значит жалкая пара тысячелетий перед этим древним песком?! Если вы родились за несколько лет до смены календаря, это еще не повод, чтобы корчить из себя важную персону.

Вам известно, что вы в любом случае выйдете в победители. Для этого хватит одной удачной идейки. Вы всегда отыщете способ нажиться на людской глупости: начнете продавать клиентам порнушки, где они занимаются виртуальной любовью с собственными родителями; будете завозить обезжиренный "Мегрелет" в голодающие страны "третьего мира"; раскручивать наркоту в виде медицинских свечей или те же свечи в качестве фаллоимитаторов; предложите фирме кока-колы подкрашивать их отраву красным, чтобы сэкономить на этикетках; посоветуете президенту США бомбить Ирак всякий раз, как у него возникнут проблемы внутри страны; подкинете Келвину Кляйну идею выпускать трансгенные продукты, "Мадонне" — моделировать биоодежду, Биллу Гейтсу — скупить все слаборазвитые страны, "Нутелле" — производить мыло с начинкой "пралине", фирме "Lacoste" — торговать крокодильим мясом в вакуумной упаковке, компании "Pepsi-Cola" — создать собственный телеканал в сине-голубых тонах, группе "Total-Fina-Elf" — открыть бары со шлюхами на всех своих автозаправках, "Gilette" — выпускать бритвы с восемью лезвиями... В общем, вы что-нибудь да придумаете, верно?

Тогда вперед, танцы начинаются. Музыка, играй!

6

Зал набит до отказа. У вас возбужденно колотится сердце. Вы приглаживаете волосы и прыскаете в рот "Деомынтом". День вашей славы настает[1]. Вы слегка сердиты на Тамару за то, что она дезертировала, но в общем это неважно; Одиль взасос целуется с Чарли, в зале сидят 6 ооо приглашенных, и кто знает, может, вы скоро подниметесь на сцену — если заработаете награду... Все хорошо. Все очень хорошо... но тогда отчего ваша улыбка все больше походит на испуганную гримасу?

Вы заговариваете с соседкой слева:

— Hi! My name is Charlie[2], а его — Октав.

— Я знаю; вы оба — новые боссы в "Rosserys and Witchcraft".

— О, как мне повезло, вы француженка! А вы где работаете?

— В "Россе", в производственном отделе. Я Аделина.

— О, ну конечно, Аделина... теперь я тебя узнал. Извини, мы три дня почти не спали.

— Нет проблем. Как вы думаете, у "Мегрелет" есть шанс?

— Трудно сказать. Возможно. Ролик такой идиотский, что, глядишь, и проскочит.

— Ой, чуть не забыла: "Леди Ди" и "Джон-младший" отправлены на тестирование.

— Знаю, знаю. И еще мы заполучили СПИД.

— Да, я в курсе. Похоже, наши дела идут в гору.

Свет гаснет. Публика дружно бьет в ладоши. Вы садитесь поудобнее, нога на ногу, поглядываете на часы, приглаживаете волосы и ждете объявления своей категории (молочные и кисломолочные продукты). Перед вами сплошной чередой проходят самые креативные ролики планеты: сумасшедшее, безудержное восхваление кукурузных хлопьев, диет для похудания, духов, джинсов, шампуней, водки, шоколадных батончиков, вермишели, пицц, компьютеров, бесплатных Интернет-сайтов, собачьего корма, внедорожников — плоды вдохновенной и безумной фантазии креаторов, счастливо проскочившие бдительную цензуру рекламодателей; сверхсовременные шрифты, размытый зеленоватый фон, 16-миллиметровки с крупнозернистой пленкой, дизайн будущего, "цепляющие" фразы, объемные ярко-красные логотипы, анимация в индийском стиле, пародийная музыка, бешеные деньги, истраченные на ручную доводку пленки, людские толпы в замедленной съемке, разнузданные эмоции и, главное, красивые девушки — почти вся реклама зиждется на красивых девушках, ничто другое никого не интересует. Вы пытаетесь держаться непринужденно, сидя рядом с Аделиной, которая нервно ерзает в кресле и мурлычет что-то себе под нос, чтобы скрыть волнение. Если бы Альбер Коэн увидел эту сцену до 1968 года (хотя до 1968-го она была совершенно невозможна, ибо как раз и стала следствием его книг), он наверняка вдохновился бы на еще более соблазнительные описания в "Прекрасной даме"[3].

— And the winner is... "Мегрелет-Nymphomaniac" by "Rosserys and Witchcraft-France"[4].

1. Намек на строку из "Марсельезы".
2. Меня зовут Чарли (*англ.*).
3. Альбер Коэн (1895—1981) — французский писатель. Роман "Прекрасная дама" вышел в 1968 г.
4. Победитель — "Мегрелет-нимфоманка" агентства "Rosserys and Witchcraft", Франция (*англ.*).

— Слава Тебе, Золотой Лев! Осанна Тебе, Владыка Небесный! Ибо это Тебе принадлежит Царствие, Могущество и Слава Во Веки Веков, Амин!

Вы чуть не лопаетесь от счастья.

— Yyyesss!

Вы спускаетесь по ступеням амфитеатра, взбегаете на сцену и готовитесь благодарить режиссера Энрике, "без которого мы бы здесь не стояли", и красавицу Тамару, "которая обеспечила нам победу", и объявить, что "главным нашим желанием было пропеть гимн жизни и уважению к человеческому труду", и так далее, и тому подобное, как вдруг на вас набрасываются.

Трое полицейских хватают вас на глазах всей рекламной братии, а комиссар Санчес Ферлозьо самолично надевает вам наручники и предъявляет обвинение в убийстве миссис Уорд, проживавшей в Корал-Гейблс, Майами, штат Флорида.

Да, в каком-то смысле вы, можно сказать, оказались вне конкурса.

7

Жизнь проходит вот как: ты рождаешься, ты умираешь, а в промежутке маешься животом. Жить — значит маяться животом, все время, без остановки: в 15 лет у тебя болит живот потому, что влюблена; в 25 — оттого, что тебя пугает будущее; в 35 — от неумеренной выпивки; в 45 — от чрезмерно тяжелой работы; в 55 — потому, что ты больше не влюбляешься; в 65 — от грустных воспоминаний о прошлом; в 75 — от рака с метастазами. А в интервалах тебе остается только слушаться — сперва родителей, затем учителей, затем боссов, затем мужа, затем врачей. Иногда у тебя закрадывается подозрение, что им глубоко наплевать на твою персону, но уже слишком поздно что-либо исправлять, и вот приходит день, когда один из них объявляет, что ты скоро умрешь, а малое время спустя тебя засовывают в деревянный ящик и упрятывают под дождем в землю на кладбище Баньё. Вы наверняка думаете, что вас минет чаша сия? Ну что ж, тем лучше для вас. Когда вы прочтете это письмо, меня уже не будет в живых. Вы-то еще поживете, а я нет. Потрясающе, не правда ли? Вы по-прежнему будете гулять, пить, есть, заниматься любовью, выбирать что-то или кого-то, а я уже ничего этого делать не буду, я ушла в иной мир, мир, который знала не лучше вашего, но узнаю в тот миг, когда вы прочтете эти строки. Смерть разлучила нас. Это не грустно, это нормально, что мы — я, мертвая, и вы, читающие мое письмо, — оказались по разные стороны непроницаемой стены, и все-таки можем общаться. Жить и при этом слушать покойника, который обращается к вам, — до чего же удобная штука Интернет!

Ваш любимый призрак
Софи

Вы остолбенело уставились друг на друга — родители Софи и ты, как будто надеялись, что вам удастся поговорить в тюремной комнате для свиданий (если бы комнаты свиданий служили именно для разговоров, это уж давно стало бы всем известно) теперь, когда Софи больше нет, — тогда как вам это не удавалось еще при ее жизни. Они соблаговолили посетить тебя в тюрьме Тараскона — тебя, Октава, никчемного отца, которого они всегда третировали на семейных сборищах. У них распухшие веки и черные круги под глазами. Две пары скорбных багровых шаров.

— Она прислала это письмо по Интернету из какого-то сенегальского отеля. Вы ничего не получали от нее с тех пор, как...

— Как мы расстались? Нет. Хотя я много раз пытался...

И тут до тебя наконец доходит. Она была в Сенегале, когда Марк покончил с собой! А может, они покончили с собой вместе? И вообще, какого черта она делала с ним в Сенегале? Мать твою... паршиво чувствовать себя рогатым, а уж узнать об этом задним числом, да еще в тюряге — совсем хреново...

— Это невозможно, это неправда, это неправда, это невозможно (ты твердишь эти две фразы битый час, так что бесполезно приводить здесь твои ламентации в полном объеме).

Ты глядишь на чету стариков с дрожащими подбородками. Едва выйдя из комнаты свиданий, ты начинаешь рыдать над рекламой "Air Liberté". Ты уже не впервые льешь слезы с тех пор, как угодил за решетку. Честно говоря, для таких крутых парней, как ты и Чарли, вы оба хнычете слишком часто. Настолько часто, что он даже пытался повеситься на второй день после ареста. Ты плачешь и причитаешь сквозь слезы:

— Я ее больше не любил, но всегда буду любить, хотя любил недостаточно сильно, притом что всегда любил, не любя так, как нужно было любить.

Даже сейчас, когда ты пишешь эти строки, ты все еще плачешь.

Бергсон определил смех как "наложение механического на живое". Значит, слезы — обратное явление: живое, наложенное на механическое. Это сломавшийся робот, это денди, побежденный естественностью, это грубое вторжение правды в самое средоточие лицемерия. Вдруг какой-нибудь незнакомец осчастливливает вас ударом вилки в живот. Вдруг другой незнакомец осчастливливает вас грязным предложением в душевой. Вдруг какая-то незнакомка осчастливливает вас прощанием в виде эхограммы. Когда беременная женщина кончает с собой, это двойная смерть по цене одной — совсем как в рекламе моющих средств. А эта шалая Милен Фармер все распевает по радио: "Если я упаду с высоты, / пусть падение длится вечно".

ПОСЛЕДНЯЯ РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА И... ДО СКОРОГО!

ЧЕЛОВЕК СИДИТ, СОВЕРШЕННО ОДИН, НА ПОЛУ В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ.

МОНТАЖНАЯ ПЕРЕБИВКА (РЕТРОСПЕКЦИЯ, ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА, ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ): СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИШЕДШИЕ ОПИСЫВАТЬ ЕГО ИМУЩЕСТВО, СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ, ПОСЛЕ КОТОРОГО ЖЕНА УХОДИТ, ХЛОПНУВ ДВЕРЬЮ, И ЗРИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО У ГЕРОЯ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО.

ВНЕЗАПНО КАМЕРА БЕРЕТ ЕГО КРУПНЫМ ПЛАНОМ; ОН УСТРЕМЛЯЕТ В ОБЪЕКТИВ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: "ВАС БРОСИЛА ЖЕНА? У ВАС НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО ЕВРО? ВЫ НЕВЗРАЧНЫ? ВАМ НЕ ВЕЗЕТ? НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ, ВСЕ МОЖЕТ УЛАДИТЬСЯ В ОДИН МИГ!"

ЧЕЛОВЕК С ИНТЕРЕСОМ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К ГОЛОСУ, ПОТОМ ГРУСТНО КАЧАЕТ ГОЛОВОЙ. ВНЕЗАПНО ОН ВЫХВАТЫВАЕТ ИЗ КАРМАНА РЕВОЛЬВЕР И ПРИСТАВЛЯЕТ ЕГО К ВИСКУ.

ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ПРОДОЛЖАЕТ: "УМЕРЕТЬ – ЗНАЧИТ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ СВОБОДНЫМ, КАК ДО РОЖДЕНИЯ".

ЧЕЛОВЕК ПУСКАЕТ ПУЛЮ В ГОЛОВУ, ЕГО ЧЕРЕП РАЗЛЕТАЕТСЯ ВДРЕБЕЗГИ, МОЗГИ ПРИЛИПАЮТ К ГОЛЫМ СТЕНАМ. НО ОН ЕЩЕ НЕ УМЕР ОКОНЧАТЕЛЬНО. ЛЕЖА НА ПОЛУ, ОН КОНВУЛЬСИВНО ДЕРГАЕТСЯ, ЕГО ЛИЦО ЗАЛИТО КРОВЬЮ. КАМЕРА ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВПЛОТНУЮ К ЕГО ГУБАМ, ОН ШЕПЧЕТ:

– СПАСИБО ТЕБЕ, СМЕРТЬ!

И НЕДВИЖНО ЗАСТЫВАЕТ, УСТРЕМИВ ШИРОКО ОТКРЫТЫЕ ГЛАЗА В ПОТОЛОК.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ СОЧУВСТВЕННО ПОДВОДИТ ИТОГ: "БУДЬТЕ СО СМЕРТЬЮ НА ТЫ, ВЕДЬ СМЕРТЬ – ПРЕДЕЛ МЕЧТЫ. САМОУБИЙСТВО ПОЗВОЛИТ ВАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИЗНИ И ЕЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ТЯГОТ".

Финальный слоган с логотипом ФФДС:

"КОНЕЦ СУЕТЕ: СМЕРТЬ – ИТОГ ЖИЗНИ".

Следуют титры:

"ПО ЗАКАЗУ ФРАНЦУЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМОУБИЙЦ (ФФДС)".

Другие варианты финальных слоганов:

"СМЕРТЬ НЫНЧЕ В МОДЕ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ".

"ЖИЗНЬ НЕ НУЖНА, СМЕРТЬ – ВАЖНА".

"ЖИЗНЬ? ОСТАВЬ ЕЕ ДРУЗЬЯМ!"

VI
Они

Я говорю – нет, никуда мы не поедем, ни в какие "чудесные места", когда я кончу университет и все такое. Ты слушай ушами! Все будет по-другому. Нам придется спускаться в лифте с чемоданами и кучей вещей, нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться, а потом посылать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег, и ездить на работу на машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки, и рекламу боевиков, и кинохронику. Кинохронику. Ох, мать честная! Сначала какие-то ска́чки, потом дама разбивает бутылку над кораблем, потом шимпанзе в штанах едет на велосипеде. Нет, это все не то! Да ты все равно ни черта не понимаешь!

Дж. Д. Сэлинджер
Над пропастью во ржи, 1951 г.
(Перев. Р. Райт-Ковалевой)

1

Нет, они не умерли, они просто живут на острове. Марк Марронье и Софи дышат, наслаждаются жизнью. Они смешны, но им на это на-

плевать. Осуждения достойны не они, а радость жизни, это она виновата. Они живут в воде. В конечном счете они влюбляются друг в друга, ибо когда долго занимаешься любовью, к этому занятию рано или поздно примешиваются чувства. Они покинули Сенегал ради маленькой хижины в краю, где нет ни телевидения, ни радио, ни дискотеки, ни кондиционера, ни банок с пивом — в общем, ничего, кроме них самих. Они жарят рыбу, выловленную местными рыбаками, едят рис и кокосы, напиваются допьяна ромовым пуншем под белыми облаками. В Сенегале они не встретили на пляже никого, кроме одного очень милого американца. Да, у них все хорошо, они сбежали, они выиграли. И теперь втихомолку смеются над всеми нами. Этот американец убил их.

Молодежь, сжигающая чужие автомобили, все поняла про наше общество. Они сжигают их не потому, что не могут купить себе такие же: они их сжигают именно для того, чтобы не хотеть покупать автомобили.

Какие же они оба милашки – Марк и Софи! Они вполне соответствуют своим тезкам – героям того дурацкого сериала.

Остров Призраков в Кайманновом архипелаге. Как же они там очутились? Американец назвался Майком, но это не имеет значения — скорее всего, это вымышленное имя. Острые, резкие черты лица придавали ему сходство с фотографом Питером Бердом. Он представился им агентом ФБР в отставке. Они подружились с ним на пляже отеля "Савана" в Сали. Рассказали — с некоторыми купюрами — свою историю: похищение Марком казенных денег, грозившее ему увольнение, беременность Софи, их намерение все бросить и сбежать подальше. Майк предложил им сделку: исчезнуть навсегда. Притвориться мертвыми и "залечь на дно". Он прекрасно знал эту процедуру: в ФБР он занимался как раз тем, что прятал раскаявшихся мафиози, давших показания на своих боссов. Он был большим спецом по укрыванию бывших преступников: организовывал пластические операции, менял имена и документы, находил укромные места для дальнейшей жизни. И теперь он воспользовался случаем, чтобы подзаработать, а заодно помочь своим богатым опытом частным клиентам. Он поставил им лишь одно условие: никогда не возвращаться на родину. Для "убийства" Марка и Софи ему понадобились: два поляроидных фото, подлинные американские паспорта и целая куча официальных печатей; так Марк и Софи стали Патриком и Кэролайн Бернхем.

Что такое счастье? Это белый песок, это лазурные небеса и соленое море. "Вода, Воздух, Жизнь" — как говорится в рекламе воды "Perrier". Счастье — это войти в плакат "Perrier" или "Pacific"[1] с его знаменитым следом мокрой ноги, быстро сохнущим на раскаленном понтоне. Марк и Софи сочиняли рекламу; сегодняшние Патрик и Кэролайн сами стали рекламой. Они сделали свой выбор: прожить жизнь в одном из собственных творений, уподобиться загорелым стереотипам, обложке журнала "Вуаси", ролику "Мегрелет" с его верандой из тикового дерева на фоне экзотической природы, афише Средиземноморского клуба, с ее

1. Анисовый безалкогольный напиток.

глянцевой печатью и белоснежной каемкой.

2

Они безупречно прекрасны. Они любят друг друга на маленьком частном островке Кайманова архипелага. Остров Призраков не значится ни на одной географической карте. Они проводят дни, любуясь небом, морем и ребенком, который с улыбкой смотрит на солнце и на свою мать. На пальмах нет логотипа "Coco", на кокосовых орехах нет этикеток. Кэролайн и Патрик нашли идеальный образ жизни — слушать тишину, преимущественно лежа в гамаке.

– Это не я занимаюсь дочерью, – говорит Кэролайн, – это она занимается мною.

Они полны доверия к этому миру, ибо считают, что ушли из него. Все перипетии этого мира ничего не значат перед жизнью этого мира. Наконец-то они узнали, что такое любовь. Они глядят на свою дочь, глядят друг на друга, и снова на ребенка, и так без конца. А младенец смотрит на пеликанов. Ничем другим они не занимаются, так проходят часы, дни, недели. Конечно, лежа в гамаке, рискуешь заполучить ломоту в пояснице, но те, кто не испробовал такой жизни, достойны лишь жалости.

– Я ушел потому, что сделал все, что хотел.
– Что ты говоришь?
– Я ушел потому, что задыхался.

Где-то далеко, в Карибском море, между Кубой и Гондурасом, Господь Бог бросил в океан щепотку земли — Каймановы острова. Туда можно добраться только местным самолетиком. Взлетная полоса аэропорта Малого Каймана пересекает единственную проезжую дорогу острова. Деревня насчитывает 110 обитателей, не считая игуан. На Большом же Каймане имеется 600 финансовых учреждений с номерными счетами. Каймановы острова являются британской колонией, но с автономным управлением; на архипелаге зарегистрировано 35 000 офшорных фирм. Чтобы переправиться на остров Призраков, Майк нанял для Марка и Софи "левое" такси-пирогу.

Им будет хорошо на этом островке. Впрочем, им уже хорошо здесь: кокосовые орехи, ванильный ром, мед, пряности, соленый морской воздух, "Наваждение" Келвина Кляйна, гашиш и дожди по вечерам. Аромат бергамота и горячего пота...

Я впиваю влагу твоих уст, я лижу твои зубы, я сосу твой язык. Я вдыхаю твои вздохи, я глотаю твои крики.

За миллион евро наличными Майк все устроил: пересылку в Париж фальшивого праха, прощальный e-mail Софи, перевод денег из Швейцарии... Обычно он поселяет своих клиентов в отеле "Escape Complex Castaneda", где круглый год стоит прекрасная погода. Этот комплекс

включает в себя множество бунгало из палисандрового и тикового дерева, затерянных в густых зарослях ибискуса и плюмерий.

Они поселились в маленькой тростниковой хижине, почти шалаше, на сваях, над синей лагуной. Каждый вечер они встречают других мнимых покойников, живущих на острове: певцов Клода Франсуа (62 года) и Элвиса Пресли (66 лет), слушают юного Курта Кобейна (34 года), сочиняющего песни вместе с Джимми Хендриксом (59 лет); бывший премьер-министр Пьер Береговуа (76 лет) беседует с Франсуа де Гроссувром (81 год); писатель Ромен Гари (87 лет) прогуливается рука об руку со своей супругой Джин Сиберг (63 года); публицист Филипп Мишель (61 год) играет в теннис с Мишелем Берже (54 года); Арно де Росне (55 лет) обучает виндсерфингу Алена Колá (58 лет); Джон Кеннеди-младший (41 год) прохаживается под ручку с отцом, Джоном Фицджеральдом Кеннеди (84 года) и актрисой Мэрилин Монро (75 лет).

Под легким бризом, превращающим пальмы в гигантские веера, Патрик и Кэролайн пьют оранжад в компании Сержа Гейнсбура (73 года) и Антуана Блондена (79 лет), которые живут на другом конце острова в бамбуковой хижине, под крышей из пальмовых листьев, вместе с Клаусом Кински (75 лет) и Чарльзом Буковски (81 год). Писатель-психоделист Карлос Кастанеда (около 61 года), соучредитель (наряду с ныне покойным Пабло Эскобаром) отеля "Escape Complex", носящего его имя, вкушает свой пейотль[1] в обществе Жана Эсташа (63 года), одновременно изучая биржевые сводки, имеющие отношение к капиталам острова Призраков. Ибо потаенный остров в действительности является самофинансируемым предприятием, существующим на проценты с денег его обитателей ("входной билет" на остров стоит 3 миллиона американских долларов). Бригада врачей, специалистов по генной инженерии, и хирургов, специалистов по бионике, делает все возможное, чтобы продлить жизнь островитян хотя бы до 120 лет. Все обитатели острова Призраков официально мертвы (исключения: Пол Маккартни (настоящий) и Ги Бедо (большой чудак) — они живут на острове уже десять лет, заменив себя на "большой земле" двойниками; третье исключение — английский романист Сальман Рушди), но это не причина, чтобы распускаться: пластические операции, пересадки кожи, подтяжки, имплантации и впрыскивания силикона делаются бесплатно, как, впрочем, и все остальное. Вот почему Роми Шнайдер никак не выглядит на свои 63 года, когда обсуждает проблемы кино со своим партнером по "Бассейну" Морисом Роне, которому уже стукнуло 74, или когда болтает с Колюшем (57 лет).

Здесь же находятся Диана Спенсер и Доди аль-Файед (соответственно 40 и 46 лет).

Они мирно проводят свои дни в этом приюте отдохновения для миллиардеров, где строжайше запрещены телевидение, телефон, Интернет и все прочие средства связи с внешним миром. Дозволены только книги и компакт-диски; каждый месяц на плазменные дисплеи, установленные во всех бунгало, автоматически загружается информация о десяти тысячах главных мировых новинок литературы, музыки и кинематографа.

1. Мексиканское растение семейства кактусовых, содержит галлюциногенное вещество мескамин.

Дети-проститутки обоих полов (нанимаемые сроком на год) всегда готовы удовлетворить любую эротическую причуду каждого и каждой из обитателей острова.

Скоро государства сменятся фирмами. И мы перестанем быть гражданами той или иной страны, мы будем жить в торговых марках – Майкрософтии или Макдоналдии – и зваться кельвинкляйнитянами или сенлорапцами.

Они носят одежду из небеленого льна. Они освобождены от смерти, а значит, и от времени. В прежнем, навсегда покинутом мире никто больше не ставит на них. И они учатся быть свободными, совсем как Иисус Христос, когда он воскрес через три дня после распятия и ему пришлось смириться с очевидным фактом: даже смерть эфемерна, один лишь рай вечен. Они любуются дочуркой, весело болтающей со своей няней. Она не сводит глаз с обезьян и презирает павлинов. Кэролайн красива, и потому Патрик счастлив. Патрик счастлив, и потому Кэролайн красива. Перед ними вечность в ритмах прибоя. Они едят сочную жареную рыбу и лангустов под ванильным соусом, сидя среди лодок – красных с золотом. Их единственный наряд – расстегнутые рубашки да легкие шорты. Их единственная забота – как бы не обжечь ноги на раскаленном песке. Их единственное желание в данный момент – принять душ, чтобы смыть соль с кожи. Их единственная боязнь – не заплыть слишком далеко, попав в течение, которое может увлечь их в открытое море и погубить – на самом деле.

3

Когда они вошли в бокс для подсудимых, председатель велел присутствующим сесть, а Чарли и Октаву встать, но они только опустили головы. Конвойные сняли с них наручники. Атмосфера суда напоминала церковную: торжественное оглашение текстов, ритуальные жесты, длинные одеяния; между Дворцом правосудия и мессой в соборе Парижской Богоматери нет большой разницы. Разве только вот в чем: здесь их не простят. Октаву и Чарли гордиться нечем, но они радуются хотя бы тому, что Тамара избежала всего этого. Процесс был открытым, и в зале сидело множество представителей их профессии, те же, что и на похоронах Марронье. Подсудимые могли рассмотреть их сквозь мутные стекла бокса и убедиться, что отныне все пойдет без их участия. Им дали по десять лет, и они еще легко отделались: к счастью, французское правосудие отказалось от экстрадиции, иначе в Америке их поджарили бы на электрическом стуле, как сосиски на гриле (смотрите рекламный ролик "Эрта"[1]!).

"...'Microsoft' – КАК ДАЛЕКО ВЫ ЗАЙДЕТЕ?" Я улыбаюсь при виде этого слогана на экране телевизора, подвешенного к потолку моей камеры. До чего же все это теперь далеко от меня! А они продолжают жить по-старому. И долго еще будут жить по-старому. Они поют, смеются, танцуют до упаду. Без меня. А я непрерывно кашляю. Подцепил туберкулез. (Эта хворь вновь подняла голову, особенно среди заключенных.)

1. Марка сосисок.

Все проходит и все продается — кроме Октава. Ибо я сполна искупил свою вину в этой вонючей тюрьме. Они разрешили мне (за скромную плату) смотреть телик в камере. Люди, которые едят. Люди, которые потребляют. Люди, которые водят машины. Люди, которые любят друг друга. Люди, которые фотографируют друг друга. Люди, которые путешествуют. Люди, которые считают, что все еще возможно. Люди, которые счастливы, но не пользуются этим. Люди, которые несчастны, но ничего не делают для того, чтобы помочь себе. Миллионы вещей, которые люди изобретают, чтобы не чувствовать себя одинокими. "От одного вида счастливых людей меня тошнит", — говаривал Толстый Мерзавец у Райзера[1]. У меня же счастливые люди (взять хоть вон того очкарика, которого я вижу из окна тюряги: стоит на автобусной остановке, под мелким дождиком, влюбленно согревая в ладонях руку кроткой рыжеватой блондинки) и вообще все "happy few"[2] вызывают не тошноту, а бессильную ярость, смешанную с завистью и восхищением.

Я мысленно вижу Софи под луной; вечерняя роса окропила ей грудь, Марк нежно гладит ее руку на сгибе локтя, там, где кожа особенно нежна и прозрачна, несмотря на загар. В ее мокрых плечах отражаются звезды. Однажды, когда я сдохну, я отправлюсь к ним туда, на остров, в заоблачные дали, чтобы встретиться с матерью моего ребенка. И когда солнце коснется линии горизонта, я увижу свою дочь. Я уже и сейчас вижу ее на репродукции картины Гогена в глубине моей камеры, пропахшей мочой. Сам не знаю, зачем я ее вырезал, эту "Пирогу", из журнала, зачем прилепил над своей койкой. Она не дает мне покоя, эта картинка. Я-то думал, что боюсь смерти, а на самом деле я боялся жизни.

Они хотят разлучить меня с дочерью. Все сделали для того, чтобы я не смог заглянуть в твои широко раскрытые глазки. Между двумя приступами кашля я успеваю представить себе эти детские глаза — два огромных черных зрачка, открывающих для себя жизнь. Проклятые садисты — они все время гонят по телику ролик "Эвиана" с младенцами, изображающими из себя Эстер Вильямс![3] Детишки синхронно плавают в такт "Bye-Bye Baby". Они доконают мои и без того гнилые легкие. Пара блестящих детских глаз на розовой мордашке. Они мешают мне свободно дышать. Пухлый ротик между розовыми щеками. Крошечные ручки цепляются за мой дрожащий подбородок. Вдохнуть молочный запах ее шейки. Уткнуться носом в ее ушко. Они не допустили, чтобы я подтирал тебе попку и осушал твои слезы. Не дали поздравить тебя с благополучным появлением на свет. Убив себя, она прикончила и тебя — заодно.

Они лишили меня дочери, что мирно спит в кроватке, свернувшись комочком и расцарапывая себе щеки во сне, что прерывисто дышит, потом легонько зевает и теперь уже дышит ровнее, — мое дитя с длинными, загнутыми, как у кинодивы, ресницами, с пунцовыми губками и бледным личиком, Лолита с нежной прозрачной кожей, сквозь которую видны голубые прожилки на веках и висках; они помешали мне услышать твой смех — такой звонкий и заливистый, если пощекотать тебе носик, не дали полюбоваться твоими перламутровыми ушками, скрыли,

1. Автор анимационного фильма, где герой — Толстый Мерзавец — разгуливает в трусах, не скрывающих его "мужские прелести".
2. Немногие счастливчики (*англ.*).
3. Американская кинозвезда 40-х гг., любительница плаванья и организатор водного балета.

что Хлоя ждет меня на другом конце света. Наверное, это именно ее искал я, бегая за женщинами. Этот нежный затылок, эти пристальные черные глаза, эти ровные, словно нарисованные, бровки, эти точеные черты — не зря же я любил их в других юных девушках, ибо они обещали мне мою дочь. И если мне нравился кашемир, то лишь потому, что он заранее приучал меня к твоей бархатистой коже. И если я вечно уходил из дома по вечерам, то лишь потому, что готовился к бессонным ночам у твоей кровати.

Ах, если бы это не я сидел за решеткой, а мой двойник-клошар из нашего подъезда; если бы он гнил в этой сраной камере, а я мог бы уехать — вы слышите? — УЕХАТЬ! С каким восторгом я поменялся бы с ним местами — ведь он был бы здесь вполне счастлив: жратва, жилье — все дармовое, а я тем временем обрел бы свободу на краю света. От такого обмена выиграли бы все. Но нет, я просто спятил, куда мне — с моими дырявыми легкими!

Итак, я закончил мою книгу, цена ей — 99 франков. Вот идиотство: только что мне пришел на ум потрясный титр для "Мегрелет": "Красавец, но дурак — тут что-нибудь не так!" Теперь перекупить бы права на песенку Жака Бреля и выдрать из нее тот самый кусочек, где он тянет: "КРАСАВЕЦ, НО ДУРА-А-АК..." Если сунуть это после закадрового голоса, получится: "'МЕГРЕЛЕТ' — КРАСАВЕЦ, НО ДУРАК — ТУТ ЧТО-НИБУДЬ НЕ ТАК!" Шикарный вариант! Жаль, что всему этому хана.

Решетка на единственном оконце моей камеры напоминает товарный штрихкод.

По телику передают в записи концерт "Les Enfoirés"[1]: Жан-Жак Гольдман, Франсис Кабрель, Зази и все остальные дружно распевают: "Увези меня на край земли, / Увези в чудесную страну, / Там, под солнцем южным, станет все ненужным, / Там судьбу я злую обману".

А все эти душегубы, что с утра до ночи орут, стонут и причитают за стеной, совсем доконали меня. Не мешало бы им хорошенько раскинуть мозгами, прежде чем мочить невинных людей. Моего Чарли вчера нашли в луже крови, он вскрыл себе вены острым краем банки из-под сардин "Saupiquet". Этот чертов идиот еще ухитрился отснять свой подвиг раздобытой где-то Web-камерой и передать сцену самоубийства в Интернет, так сказать "с места событий". Но главное, они так и не нашли Тамару; я рад, что хоть она спаслась; им все удалось загубить, только не ее.

А я — вот он, сижу в одиночке для VIP-преступников, с теликом и книжками, и ничего, терплю, все не так уж скверно (хотя здесь и воняет мочой, а я выплевываю по кусочку свои легкие); я даже приклеил над койкой репродукцию "Пироги" Гогена, которую он написал в 1896 году. Сама картина входит в коллекцию Сергея Щукина и выставлена в ленинградском Эрмитаже. Весь день напролет я кашляю перед этим изображением: мужчина, его жена и дочь в ленивых позах лежат вокруг своей лодки на полинезийском пляже.

1. Музыкальная группа, организованная ныне умершим Мишелем Колюччи (сценическое имя — Колюш) и дающая благотворительные концерты в пользу детей-инвалидов.

В одном из последних писем Гоген сказал: “Я — дикарь”.

Мне просто нужно убедить себя в том, что я не посажен в тюрьму, а добровольно ушел от мира. В конце концов, монахи ведь тоже живут уединенно, каждый в своей келье.

Я разглядываю “Пирогу”, эту идиллическую сцену, супружескую пару и их маленького ребенка, а на заднем плане Гоген написал ярко-багровое закатное солнце, похожее на атомный гриб, и я плыву к ним — прыгаю в пирогу и спешу отыскать их на затерянном островке; они полюбят меня, обязательно полюбят, и я изо всех сил плыву к берегу, задевая по пути то рыбу-луну, то ската, щекочущего мне пальцы своими крыльями; я непременно отыщу их, и мы будем заниматься любовью, все вместе, Тамара и Софи, Дюлер и Марронье, они бежали от общества, но я все преодолею, и мы создадим новую семью, где спят вчетвером, и я осыплю поцелуями ножки Хлои, такой крошечной, что она вся целиком уместится на моей ладони; вы увидите, я приплыву к ним на призрачный остров, вы ведь мне верите, правда? Конечно, я знаю, что у меня крыша поехала, но все равно я плыву по морю, я пью из чаши, я чувствую себя превосходно, и закат Гогена впрямь напоминает ослепительный ядерный взрыв. <...>

Сальвадор Эсприу

Стихи из цикла "Книга Синеры"

Перевод с каталанского и вступление Натальи Ванханен

"...Терпеть не могу литературные премии, скупость, неряшливость, поздравления к именинам и Рождеству... чествования, ветер, беспорядок, шум, а также вечеринки и застолья вне дома, всё, что называется общественной жизнью, концерты, разговоры по душам, дружеские советы, всяческий разгул суетности и тщеславия".

Это из интервью каталонского поэта Сальвадора Эсприу, которого на родине неизменно именуют великим. Что за брюзга, бука и нелюдим стоит, должно быть, за подобными словами, какая малоартистическая натура! Добавим к этому ординарную внешность государственного чиновника, корректный галстук, темный пиджак и белую рубашку, настойчиво фигурирующие на всех фотографиях, — и портрет безнадежно небогемной личности будет завершен. А за кадром, за не слишком выразительными фото, подчеркнуто официальными, даже чопорными, словно звучит спокойный голос, без всякой аффектации произносящий: "Не люблю я говорить о себе и своем творчестве — особенно о поэзии. Да и, признаться, понятия не имею, что собственно такое поэзия — ну разве что некая опора, помогающая прожить, а может, и умереть достойно".

Сальвадор Эсприу родился в небольшом городке в окрестностях старинной Жероны в 1913 году. Умер в Барселоне в 1985-м. Его жизнь и судьба нераздельно связаны с Каталонией — вечной любовью и болью поэта, — перед которой по особому, совестливому складу характера он всегда ощущал себя в долгу. В юности из чувства долга перед семьей он не стал историком, как хотелось, а заменил в адвокатской конторе заболевшего отца и занялся ненавистной юриспруденцией. Позже, в годы франкизма, из того же чувства сыновнего долга — на этот раз

© Н. Ванханен. Перевод, 2002
Иллюстрации к стихам С. Эсприу – работы каталонского скульптора Мануэля Кузакса.

перед родиной — Эсприу, будучи убежденным республиканцем, тем не менее, как многие сограждане, не эмигрирует, а останется в Каталонии. О своей позиции он мог бы сказать словами Ахматовой: "Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был".

Диктатура нуждалась в неделимой державе. В стране насильственно насаждали единый государственный язык — испанский, — игнорируя существование каталанского, баскского, галисийского, не говоря уж о диалектах. Стоящие у власти люди в военной форме во всем предпочитали единообразие. Закрывались школы на национальных языках, переставали выходить журналы, а Сальвадор Эсприу, не боясь потерять читателя, продолжал писать на родном каталанском.

Творческий путь Эсприу довольно необычен в том смысле, что большинство литераторов начинает со стихов и лишь с годами приходит к прозе. Сальвадор Эсприу, которого Каталония чтит прежде всего как поэта, напротив, начинал с прозы. Первыми увидели свет романы — "Доктор Рип" (1931) , "Лайа" (1932) — и рассказы. Только в 1946 году, в эпоху глухого безвременья, появляется первая книга стихов "Кладбище Синеры" — видно, настала пора призвать на помощь поэзию, чтобы "прожить достойно".

За первым сборником последуют поэтические книги "Часы", "Mrs. Death"[1] и имевшая большой успех "Бычья шкура" — само название говорит, что это об Испании, ведь очертания Иберийского полуострова напоминают распластанную шкуру быка.

Загадочный топоним Синера вновь возникает в поэзии Эсприу в 1963 году, когда в том избранных стихотворений поэт включает большой цикл "Книга Синеры". Что же такое Синера?

Этого места на карте нет. Синера — прочитанное наоборот "Аренис", название городка, где прошло детство поэта. Эсприу создает миф о Синере, прекрасном и печальном царстве прошлого, об островке детства, озаренном прощальным закатным светом. Там нет ничего незначительного и полна смысла любая малость, будь то визит к неведомым старым дамам или шум ночного дождя.

Поэт создает миф, но ничего не выдумывает. Он скрупулезно точен в деталях, его "опись мгновений" даже отдает педантизмом: если в саду было пять деревьев, их и в стихах будет пять, и ни одним больше. Да и как может быть иначе? Ведь там, в волшебной Синере, происходит самое важное — сотворение души.

После первой же поэтической книги за Эсприу надолго за-

1. "Миссис Смерть" (*англ.*). (*Прим. перев.*)

крепилась слава "поэта смерти". О смерти он действительно говорит много, однако едва ли размышляет о ней настойчивее, чем столь любимый им Унамуно или, скажем, Луис Сернуда, или Дамасо Алонсо. Вряд ли эта тема притягивает его сильнее, чем любого другого серьезного поэта в той или иной части света. Он лишь пристально и непредвзято вглядывается в мир, и конец человеческого существования не может не занимать его наравне с другими явлениями — ну может быть, он занимает его чуть-чуть больше.

Угроза существованию родного языка, возможность его гибели — вот что вызывает серьезную тревогу Сальвадора Эсприу, вот откуда и впрямь веет на него холодком небытия. Не раздувать ура-патриотизм, а хранить родной очаг — родную речь, свое сокровенное слово — такова, по его мнению, миссия поэта.

Уже во времена франкизма популярность стихов Эсприу была огромна. Даже те их них, которые на первый взгляд не имели ничего общего с политикой, исполнялись как песни протеста, по ним делались театральные постановки; нашелся даже скульптор, проиллюстрировавший его книгу... своими статуями.

Сальвадор Эсприу. Стихи из цикла "Книга Синеры"

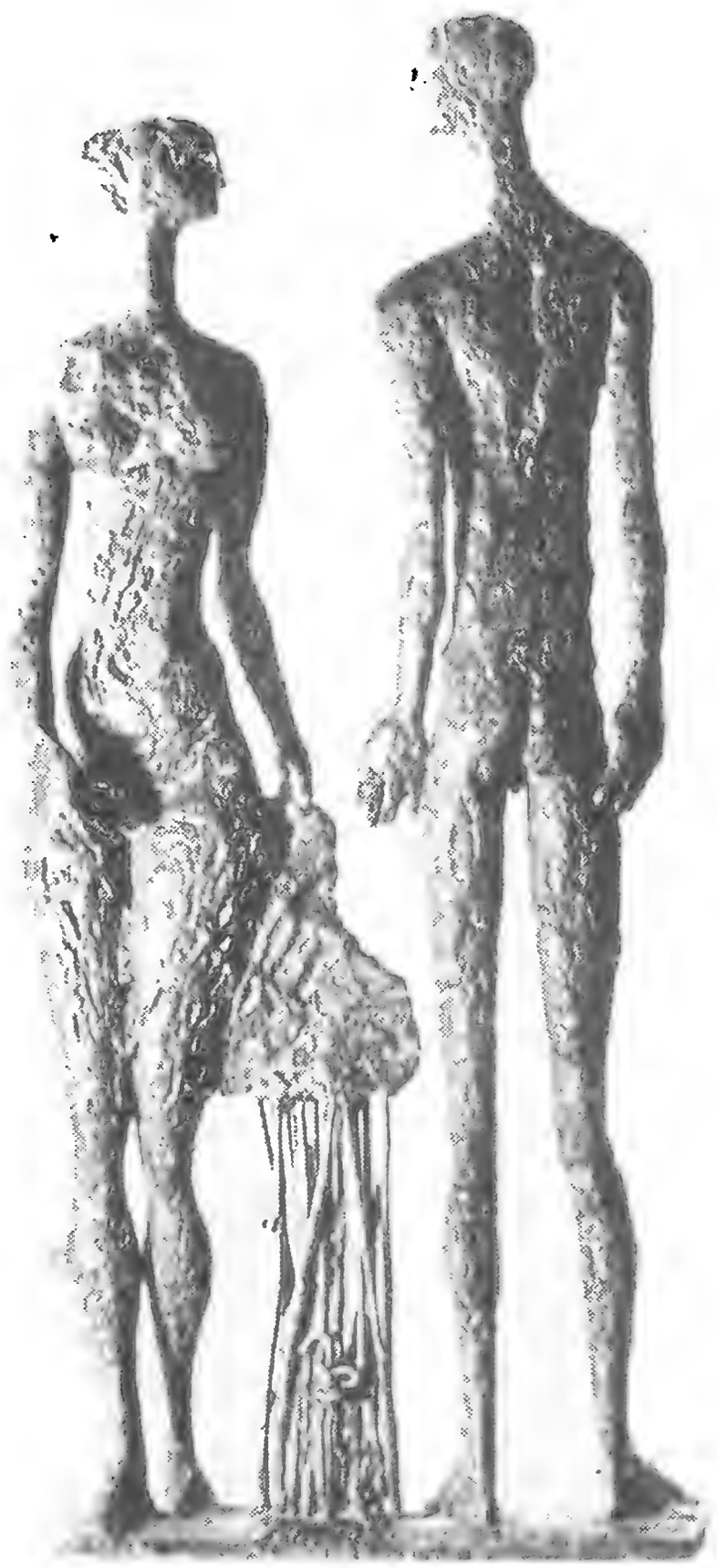
При остром ощущении трагичности жизни Эсприу менее всего был склонен к драматизации. "Не сомневаюсь, что человечество вовлечено в весьма серьезный катаклизм, но раз уж дело зашло так далеко, я попросил бы средства массовой информации несколько умерить пыл и не напоминать нам об этом ежеминутно с такой идиотской готовностью", — говорил он.

Человек аскетического склада, Эсприу искренне полагал, что для "прибавления ума" достаточно пяти-шести книг (в их числе "Божественная комедия" и "Дон Кихот"), а для счастья — хоть время от времени видеть природу и картины Вермера.

В зрелые годы Эсприу увлекся театром, написал несколько пьес. Однако главным делом его жизни всегда оставалась поэзия, а центром мироздания — горькая и прекрасная Синера, не существующая на карте, но парящая где-то в духовных просторах каталонского мира.

***

Присели у решетчатой калитки
тишайшим летним вечером. Смеркалось.
Фонарь светил растерянно и тускло,
и медленно катился по оврагам
далекий лай собак с окраин ночи.
А ночь была во всем — в холмах и в звуке
шагов, когда впотьмах случайный путник,
приблизясь, обдавал неясным страхом.
Один сказал: — Я видел, как сегодня
кружили низко ласточки над полем.
— К дождю, должно быть, — отозвался кто-то.
А я прикрыл глаза и вдруг увидел
всю вереницу милых мне умерших
и понял, как пуста без них дорога,
а дни идут и канут друг за другом
в сыпучие, зыбучие пески.



***

Как ты сегодня, так же, как и ты,
мы возводили на сыром песке
тот замок, что давно слизнуло море
своим собачьим влажным языком.
Мы всё еще на кромке побережья,
а вдоль воды проносится со свистом
лохматый дым шальных товарняков,
и кто-то вслед глядит прощальным взглядом.
На башне Очарованных Блаженных
тень часового чутко охраняет
незыблемый покой своих господ.
Как нищие слепцы, мы тычем палкой
в сухой колодец обмелевших снов
и ждем напрасно, что случится чудо.
Ночные горы в клобуках тумана
под своды тьмы уходят друг за другом.
Вдали звонят — по нашим временам.

***

Как чутко и пытливо палки нищих
ощупывали прутья на оградах
вдоль наших улиц. Нищие входили
со стороны Мал Темпса (Лихогорья).
Из-за пригорка, где росли агавы,
тянулась вереница попрошаек
так долго, будто шествие застыло.
И хриплый голос древней кантилены
нас зазывал настырно и глумливо
на торжище нарывов, язв и гноя.
Унылая процессия спускалась
по площади, чтоб после затеряться
под пыльной тенью сумрачных платанов
вдали, за чернотою кипарисов.
Все чудилось потом, что чем-то липким
запятнаны ворота городские,
дворы, прибой и самый воздух лета!
Я помню, как на улице остался
один старик, отбившийся от прочих.
И два его бельма, налитых кровью,
глядели в запредельные пустоты.
И роем налетала мошкара.

***

Незрячего пытала маета:
— Нам уповать на счастье бесполезно?
И с хохотом в ответ разверзлась бездна
ввалившегося старческого рта.

И факел лица серые зажег.
И площадь громыхнула наковальней.
И гневного прибоя голос дальний
нахлынул и разбился о порог.

Слепые бельма глянули в тоске,
бросая маете и страху вызов,
но гул уже растаял вдалеке,
в безветрии бессонных кипарисов.

Нам сон придется яви предпочесть:
не скотский сон, о нет, иного рода —
пусть снятся нам достоинство и честь,
и все добро, какое в сердце есть,
и наша с вами трудная свобода.

***

Спасибо и за то, что подают
нам милостыню радостных минут!

А все же вечный праздник был бы сладок —
ряд кипарисов, стройный их порядок,
и виноградник на холме, и сад,
бессмертный наш язык и долгий взгляд
на всё, чего не возвратить назад.

Среди вражды мы сберегали Слово.
Плевал в лицо нам гаер площадной,
а Слово было кровью, и родной
язык взывал из времени былого.

В воде не видно шрамов. Ни следа
людей и лодок не хранит вода.
Чудной старьевщик прочь уходит взгорьем.
В мешке лоскутья — память прежних лет,
а дождь и ветер заметают след,
и путь его вдали смывает морем.

***

Когда по влаге каменных оград
стелился плющ закатно-золотой,
заботливые руки через сад
нас приводили в гости к старым дамам,
все знавшим обо всех —
живых и мертвых.
Нам разговор их представлялся странным —
казалось, говорили звука ради.
И лишь одна, с сиянием во взгляде,
молчала так,
что тишь была живой
и вдаль плыла над нашей головой,
как аист в час кастильского заката.
Мы, помню, трепетали перед ней,
Бог весть с чего, и ждали, как подарка,
ее улыбки.
Сколько долгих дней
прошло с тех пор, и сколько на фарфоре
осталось трещин! Сколько черепков!
Под сколькими дождями мокло море,
и сколько раз дремал на дне зрачков
у ящерицы лучик предпоследний,
и сколько давних слов
— старинных бредней —
меня уводит в глубь далеких лет
по той тропе, которой больше нет.

***

С песчаной и глухой овечьей тропки
угадывался дальний блеск вершины,
неразличимой из-за частокола
густого тростника. Пел вечный голос
морского ветра. Густо пахло паром
полей и терпким дымом листопада.
Вдали собаки лаяли знакомо.
Шагну — и вот я под опекой тени,
лежащей у отеческого дома.

***

Резная тень большого эвкалипта.
А в стороне от дома, за часовней,
акаций чахлых заросли и долгий,
далекий звон источника. Не глядя,
я различу излучины дороги
в моем краю, заученном на память.
Крестьянский окрик, тяжкий стук мотыги,
лягушек перекличка да телега,
груженая соленым шумом моря.

***

Идет, бубня под шумок —
в речах ни капли рассудка, —
оврагами вдоль дорог.

Идет этот дождь во тьме,
идет которые сутки,
идет, повредясь в уме.

Идет, застилая твердь,
идет, перестать не в силах,
идет, похожий на смерть.

Зажгли две добрых руки
над сетью улиц унылых
далекие огоньки:

пусть капли летят стремглав,
но все же не сгинут сразу
во тьме высоких агав —

да будет каждой дано
помешкать в зеркале глаза,
ложась на морское дно.

***

Полночь одинока.
Точки звезд неярки
над безлюдьем суши.
На море далёко
очертанье барки.
В сторону от дома
мчит ее сирокко —
парусу шальному
вверенные души.

***

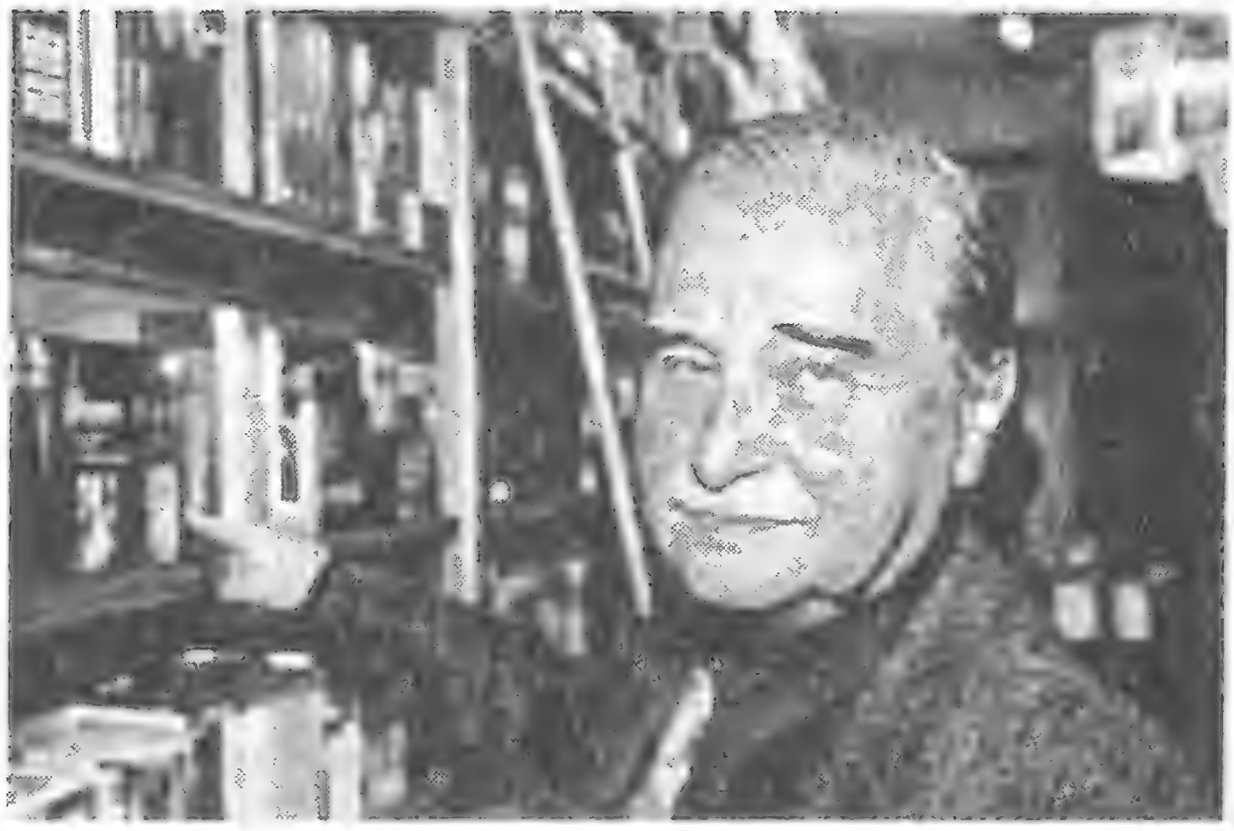
Здесь странствию конец. Ладью покинув,
я узнаю́ вслепую эти склоны
с их козами, лавандой, молочаем,
где скат то фиолетов, то малинов,
где вновь прикосновенье замечаем
прозрачных пальцев вышины бессонной.
Предел моей земли очерчен строго:
спускается заката колесница
за кромку кипарисов вдоль отрога,
а ближний ряд холмов на горизонте
уже последним светом золотится.

Вся жизнь моя — всего лишь сбор украдкой
обломков слов, растерянных когда-то,
а быть бы ей несокрушимой кладкой —
стеной высокой в тишине заката!

***

Но даже там, где сухо и угрюмо
глядит земля, подобная пустыне,
гудит сосна над выжженою сушей.
Я ей на равных говорю: — Послушай,
как древний ствол я встану на вершине,
над древним морем разветвится дума —
да вырастет из сумрачного шума
суровой песни голая твердыня!

Милорад Павич



Тунисская белая клетка в форме пагоды

(происшествие в доме Луки Человича, ул. Кралевича Марка, дом 1)

Рассказ

Перевод с сербского Ларисы Савельевой

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ мысли как комнаты. Бывают роскошные дворцы, а бывают и чердаки под крышей. Есть солнечные, а есть и темные. Одни смотрят на реку и небо, а другие на вентиляционный люк или подвал. А слова как вещи, они могут перемещаться из одной комнаты в другую. Наши мысли, то есть наши комнаты, составляют анфилады дворцов или казарм, а могут быть и чужим жилищем, в котором мы только снимаем угол. Иногда, особенно ночью, мы оказываемся перед закрытыми на замок дверями и не можем выйти наружу. Мы заточены в темнице, до тех пор пока сны не избавят нас и не выпустят на свободу. Но снов, как и сватов, надо еще дождаться. А пока их нет, владычествует бессонница. Говорят, есть две бессонницы, они словно две сестры. Одна приходит, когда ты не можешь заснуть, а другая, когда просыпаешься среди ночи. Первая — мать лжи, вторая — мать правды.

С тех пор как я живу один, меня все чаще мучают приступы бессонницы, и я борюсь с ними с помощью тщательно разработанного метода. Все совершается мысленно, когда я лежу в кровати. И все это имеет отношение к моей профессии дизайнера по интерьерам. Сначала я выбираю в городе дом, который мне больше всего подходит. Например, такой, кото-

© Л. Савельева. Перевод, 2002

рый поставили на овсяную солому, чтобы злая энергия не могла подняться из-под земли в комнаты. Когда я нахожу что-нибудь подобное, я начинаю каждый вечер мысленно перестраивать и обставлять этот дом. Населять его мебелью, которую сам придумал. Но я занимаюсь домом не просто для того, чтобы он лучше выглядел. Я предназначаю его определенному лицу. Исключительно определенному лицу. Это дом для Я. М.

Началось это так...

Как-то во время вечерней прогулки я остановил свое внимание на одном особняке и постарался узнать о его истории все, что было возможно. Дом находится в самом начале улицы Кралевича Марка, которая поднимается от Савской пристани к улице Зелени Венац и отклоняется в сторону, для того чтобы по ней не гулял ветер. Фасад здания украшают окна в форме креста, такие, каких больше не делают. Дом поставлен на "живой девятке", которая, в отличие от других девяток, не является нулем. Здание известно как "дом Луки Человича". Оно построено, как утверждают справочники (Г. Гордич, Б. Вуйович), в 1903 году по чертежам инженера Милоша Савчича в стиле Нового Возрождения с элементами необарокко. Это "угловой объект делового и жилищного назначения с подвалом, тремя этажами и чердачным помещением. Главный фасад оживляют большие проемы первого этажа, где сейчас расположены магазины, и массивные тимпаны над окнами второго этажа. Здание венчает профилированный карниз с консолями и аттик с классическими чердачными окнами..." Над входом видны герб с переплетающимися буквами Л. Ч. Т. и плита, на которой написано, что здание принесено в дар Белградскому университету. Владелец этого дома, известный белградский коммерсант Лука Челович (1854–1920), был долгие годы председателем Белградской торговой палаты, что располагалась в красивейшем соседнем здании, которое выходило на площадь, называвшуюся Малый Рынок. Недалеко отсюда на углу многоэтажного дома на улице Караджорджева стоит бронзовый бюст Человича. Он смотрит на юго-запад, в сторону города Требинье, откуда Лука в 1872 году приехал в Белград, купил себе землю и построил несколько самых красивых домов на пристани. Он был одним из основателей повстанческо-четнического движения Сербии, занимался операциями на белградской бирже и делал пожертвования научным учреждениям. О нем говорили, что он отгадывает по скрипу пера, что пишут его счетоводы.

Вместо того чтобы подсчитывать количество той обуви, которую я себе когда-то купил и которая мне так и не подошла, я решил во время бессонницы переделывать и обставлять дом Луки Человича. Я знал, что он нравился Я. М., а это имело для меня решающее значение. Я. М. особенно тонко чувствовала "зоны" позитивной или любой другой энергии. Часть города между Соборной церковью и Савой она считала несомненно благоприятной зоной. Здесь, на низком берегу реки, где зима пахнет осенью, а весна – зимой, Я. М. начинала носить свое настоящее имя. А как только уходила из этой зоны, она звалась по-другому и становилась кем-то другим. Короче говоря, выбор пал на фамильный особняк Луки Человича.

Мысленно войдя в это здание, я прежде всего шепотом, как заклинание, произнес в каждой из семнадцати комнат по одному из семнадцати звуков имени Я. М.

Могу признаться, что к этому времени я проделал большие подготовительные работы особого рода. Когда я мог ежедневно наблюдать за Я. М., я видел, как движутся ее руки, ее узкие ладони, я видел, как она ходит, причесывается, держит голову, как двигает красивыми плечами и бедрами, как колышется ее грудь, когда она садится, как при этом изгибается ее тело, что делают ноги, когда она, свернувшись клубочком, сидит в кресле или когда бежит, я видел, как застывает в повороте ее голова, когда она раньше всех остальных слышит гул самолета, несущего бомбы... Потом я составил маленький "словарь движений" Я. М. За каждым движением я закрепил свой знак. Особенно трудно было придумывать знаки для неповторимых движений ее танца. Она танцевала всегда только одна, не делая исключения даже для меня, и в танце становилась еще прекрасней. В моем словаре появились знаки, подобные тем, которыми, делая пометки на своих партитурах, пользовались русские мастера балета, такие как Нижинский. Из знаков я составил словарь, чтобы любое движение было легко отыскать. Получился своего рода каталог жестов, некая тайная азбука. Это напоминало клавиатуру компьютера, которая управляет прыжками, бегом, плаваньем или жестами действующих лиц в компьютерных играх для взрослых, которые мы с Я. М. когда-то называли "романами без слов". Чтобы вызвать эти движения, я выдумывал разные виды мебели, потому что для каждого предмета обстановки было предусмотрено одно движение Я. М. — открывание дверей, выдвигание ящика, опускание доски секретера. Имея за плечами такую подготовку, я взялся за устройство дома, который должен был в полной мере отвечать привычкам и манере двигаться Я. М. Я хотел, хотя бы мысленно, выманить у нее все разнообразие движений, поворотов, жестов, которые она совершает и когда открывает дверь, и когда поднимается по лестнице, и когда выходит из дома...

Раздумывая по ночам над моим проектом, я решил не менять фасад дома. Я только немного умыл его с помощью красок. Такой, как белый бермет, и такой, как одно шипучее итальянское вино с синеватым оттенком. Во время предыдущей бессонницы я уже изучил интерьер дома Луки Человича и теперь принял решение перестроить лестницу. Я вспоминал лестницу в стиле барокко, которую видел однажды в Вене, во дворце Ауэрсперг, на верхней площадке лестница разделялась и шла вниз двумя изящными маршами. Вспоминал, как Я. М. спускалась по ней, как протянула руку, намереваясь коснуться роскошных металлических перил, но потом вдруг отдернула руку, повернулась и сошла с закругленного края последней ступеньки. В том здании, где находилась Белградская торговая палата, была подобная лестница, и я подумал, что хорошо было бы воспроизвести ее и в доме Луки Человича. Однажды вечером я мысленно разрушил два магазинчика на первом этаже по обе стороны от входа и получил место для строительства расходящейся надвое лестницы, которую сначала подвел прямо к центральному окну второго этажа, а потом опустил вниз, что было уже гораздо легче. Новая лестница была каменной, с кованой чугунной оградой и перилами из орехового дерева, для того чтобы холод металла не спугнул ее руку, как это случилось в Вене. Я лежал в кровати и во время вдоха ясно видел расходящуюся надвое лестницу, а во время выдоха она исчезала.

В витринах разрушенных мной магазинов я установил витражи с двумя сновидениями Я. М., о которых она мне рассказала. На том, что слева от входа, изображался сон про облака.

"Облака, неподвижные и густые как мох, закрывают все небо. Зеленые, как плесень! — говорит кто-то поблизости. Люди за городом, лежа навзничь на траве или откинувшись назад в своих кабриолетах, смотрят, как облака прилипают к самым высоким деревьям. В больших городах мох прирастает к верхушкам небоскребов, словно панцирем охватывая всю планету. Иногда эти массивные и мертвые ковры из небесного болота прогибаются вниз, и весь покрытый мхом свод Земли в этом месте колеблется и опускается, так что людей охватывает головокружение. Самолеты больше не летают..."

Во время очередных своих бдений я устроил в задней части дома Луки Человича бытовые помещения: две кухни, летнюю и зимнюю, и две ванные комнаты, большую и маленькую. Чердак с тремя окнами я превратил в ботанический сад. Здесь Я. М. могла завтракать и курить свои разноцветные сигареты.

Закончив грубую работу, я начал приводить в порядок внутренние помещения. Не следует думать, что если работа велась мысленно, по ночам, лежа в кровати, то я не делал обычных и необходимых в моей профессии дел. В мастерской Лунича, рядом с Калемегданом, я заказал ручки и замки для дверей. Я всегда именно там покупаю скобяные изделия, когда занимаюсь дизайном объектов. Но в тот раз я заказывал нечто особенное. Не должно было быть даже двух одинаковых ручек. По очень простой причине. Каждая ручка предлагала длинным пальцам Я. М. какое-то свое движение. Готовые ручки я рассматривал с наслаждением. Одна была в форме птицы, и Я. М. должна была браться за нее, открывая двери зала для танцев в верхнем этаже дома, другая была в облике смычка, третья в виде китайского веера. Тут были и стеклянные яблоки, и мраморные мячи, и ручка из рогов козерога, а для дверей спальни я приготовил ручку из елового дерева, которая всегда будет пахнуть заснеженным лесом. Ручка входной двери представляла собой дамский револьверчик XVIII века. Дверь открывалась, если спускали курок. Все движения руки, необходимые, чтобы открыть все двери, составляли вместе около пятидесяти тактов танца на любимую мелодию Я. М. "Ausencia"...

Конечно, иногда я и днем ходил посмотреть на дом Луки Человича. Он был в плохом состоянии и выглядел много хуже, чем в моих фантазиях. Витрины магазинчиков на первом этаже были покрыты пылью, а в углу на ступенях главного входа сидел какой-то тип в заплатанной шляпе и курил трубку. От мундштука воняло мокрыми козьими рогами, а уши курильщика украшала засохшая пена для бритья. Все это и впрямь разочаровывало.

Но когда спускалась ночь, я с еще большим усердием обставлял каждый уголок этого дома. В скобяной мастерской Лунича я заказал пятьдесят пар отлитых из бронзы губ, мужских усатых и женских накрашенных помадой, чтобы эти металлические губы, разбросанные по стенам всех комнат и присоединенные к вентиляции, заменяли пепельницы и жадно засасывали пепел и окурки, которые Я. М. разбрасывала по всему дому. На третьем этаже я разломал все стены, и получилась просторная "музыкальная комната", вернее, танцевальный зал с тремя окнами, выходившими на бывший Малый Рынок. Здесь Я. М. могла высвобождать свою необузданную танцевальную энергию в бешеном темпе музыки "Лунный свет". Для танцев был положен новый паркет в виде лабиринта из Шартра, о котором Я. М. с удовольствием вспоминала.

Большую ванную комнату я устроил на третьем этаже со стороны двора. Дверная ручка в виде трубки для курения гашиша впускает вас в большое прямоугольное и почти пустое помещение. Потолок освещен так, будто над вами небо, наполовину затянутое облаками. Ступив на фиолетовые и бледно-черные плиты, вы замечаете в самой глубине стеклянную кровать, покрытую красным водоупорным одеялом. Нажатием кнопки, с помощью которой можно регулировать частоту и наклон струй, в ванной включается дождь. Таким образом, Я. М. может спать под теплым дождем в своей стеклянной кровати или, а это ей особенно понравится, включить музыку и под звуки "Хазарской дороги" танцевать под ливнем. Я все еще помню движения ее плеч, будто сошедших с рисунков, найденных в гробницах фараонов, на которых египтянки обязательно изображены сбоку, в профиль. Окно ванной комнаты — это хрустальная полусфера высотой в человеческий рост, в которую заходишь так, как зашли бы в уличную тумбу для афиш. В его матовом стекле видна сильно увеличенная фотография маленького сына Я. М. Он стоит и тянет через соломинку кока-колу.

В кабинете Я. М. на втором этаже я подвесил к потолку на цепях плетеное кресло, у которого вместо сиденья настоящее лошадиное седло со стременами и передней лукой, за нее Я. М. может держаться, когда, сидя на этой качалке, дает отдохнуть своей шее и спине после работы за компьютером. Одна стена целиком представляет собой монитор компьютера. Свою любимую героиню, свое alter ego, Лару Крофт, Я. М. может увидеть в полный рост. В боковые сумки седла я положил в качестве подарка ноутбук, в который загрузил все опубликованные произведения Я. М. и небольшую библиотеку ее любимых книг. На стене за стеклом покоится на бархате школьная ручка Я. М.

Большая кухня устроена таким образом, что летом через нее пролетают тени птиц, а зимой падают на пол тени снежинок. Свет поступает и из фальшивых окон, представляющих собой карты Корнуолла и Египта, которые так любит Я. М. На стене висит грубое полотенце, на нем вышита печь с горшком, а рядом две деревенские красотки. Надпись на полотенце, вышитая красной нитью, передает их слова:

— Ешь, кума, пока капуста горяча!

— Когда пошла, сыру поела, вот и не голодна!

Тунисскую белую клетку в форме пагоды я поставил в углу рядом с креслом. В клетке спит полосатая кошка, такая, например, как Константина, которую Я. М. нашла в Греции, полюбила ее и часто говорила, что *Константина видит вместо своих снов мои сны.* Я. М. никогда не готовила блюд, которые требовали больше времени, чем нужно для того, чтобы прослушать два раза песню "Девяностые". Но принимая во внимание стремительность Я. М., это можно приравнять к часу или полуторам часам в исполнении другой особы. Я. М., смеясь, говорила, что живет так быстро, что через пару лет станет старше меня, хотя я и гожусь ей в отцы. У нее было своеобразное правило: время, потраченное на приготовление обеда, не должно быть больше, чем время, нужное для того, чтобы его съесть.

Маленькая ванная комната имела треугольную ванну-джакузи и стеклянный шкафчик с хрустальным стаканом и бутылкой "Рамазотти". Я. М. могла бы брать их, не вставая из ванны и используя тот жест, с по-

Милорад Павич. Тунисская белая клетка в форме пагоды

мощью которого она, лежа в кровати, всегда могла дотянуться до чего угодно. В центре маленькой ванной стоят средневековые женские носилки. Если поднять подушку, на кресле можно увидеть сиденье из слоновой кости, в котором есть закрытое сверху овальное отверстие. Под ним находится пустой короб из мрамора, который ведет под землю. Там, на дне короба, текут канализационные воды...

Спальня Я. М. была устроена на третьем этаже рядом с большой ванной комнатой. К ней должна была примыкать небольшая гардеробная. На Я. М. прекрасно смотрелись как женские, так и мужские костюмы и шляпы. Она с одинаковым удовольствием носила и свои и мои вещи. Ее туфли оставались новыми в течение десятилетий. Я повесил в шкаф и ее и свою одежду. Но тут моя работа остановилась...

Если не считать голубого диванчика, который я сразу поставил между двумя окнами, и странного зеркала с дырочкой в углу, я никак не мог во время своих бдений взяться за обстановку спальни. И неудивительно. Ведь это был ключевой момент. Все работы по внутреннему оформлению дома я предпринял не только ради того, чтобы усмирить свою бессонницу. У меня была и другая, более важная причина: я страстно желал вернуть Я. М. в мою жизнь. Пусть даже таким дурацким и безнадежным способом, как мысленное повторение всего набора ее движений, начиная от прихода домой и кончая отходом ко сну. Предметы, расположенные в доме, вызывали в моем воображении фильм о движениях Я. М. Она была такой быстрой, самой быстрой из всех, кого я знал. Она умела первая увидеть, первая протянуть руку и ответить так, как будто выстрелила из рогатки. Может быть, она, такая быстрая, думал я, сумеет ощутить сконцентрированную материю своих движений в моих мечтах и ответить на них, пока еще не поздно. Может быть, она на самом деле придет посмотреть дом у Малого Рынка, населенный во время моей бессонницы ее шагами и ее танцами.

*

Разумеется, каждое утро серые будни разрушали такие надежды. Достаточно было взглянуть на грязных птиц на небе и тающие облака. В одно такое утро на работе меня ждало сообщение о том, что какой-то клиент просит ответить на его звонок. Я не смог сделать этого сразу, и через пару дней мне снова позвонили по телефону. Мужской голос, представившись, предложил мне заняться одним жилым помещением. Я согласился, потому что оказалось, что он уже знаком с несколькими интерьерами, созданными по моим проектам в Белграде. Он назвал мне адрес, и я чуть не потерял сознание. Объект, в котором предстояло работать, был тот самый дом на улице Кралевича Марка.

— Вы, может быть, помните это здание, — добавил голос, — оно известно как "фамильный дом Луки Человича". Там не закончены кое-какие работы, в связи с этим я приглашаю вас от имени заказчика...

Не дожидаясь назначенного дня встречи с заказчиком, я в тот же миг сорвался с места и полетел на улицу Кралевича Марка. Уже издали я увидел изменения, произошедшие с домом Луки Человича. Фасад был покрашен красками цвета бермета и шипучего итальянского вина с синеватым оттенком. В витрины магазинов по обе стороны от входа были вставлены витражи. Слева был изображен пейзаж и странные облака. Это была картина на стекле. Облака, густые как мох, зеленые и неподвижные, закрывали небо. На этой стеклянной картине люди во время

загородной прогулки, лежа на траве или откинувшись назад в своих кабриолетах, наблюдали, как облака оседают на самые высокие деревья...

В полной растерянности я взялся за ручку в виде дамского револьвера XVIII века и спустил курок. Замок щелкнул, и дверь передо мной открылась. Я увидел раздваивающуюся лестницу в стиле барокко и почувствовал запах мокрых козьих рогов. Меня встречал, выказывая свое удивление, курильщик трубки в заплатанной шляпе, вероятно работающий здесь привратником. Не обращая внимания на его крики, я схватился за перила из орехового дерева и со всех ног бросился наверх. Я пробежал мимо кабинета, где покачивалась качалка с седлом, и мимо кухни, напугав там кошку Константину. Меня трясло, и я бормотал себе под нос:

— Этого не может быть. Этого не может быть... — и тут меня с ног до головы облил дождь. Торопясь как можно скорее попасть в спальню, я, чтобы сократить себе дорогу, пробежал через большую ванную комнату, где еще не кончился дождь, потому что кто-то только что закончил купание. Совершенно мокрый, я остановился в дверях той комнаты, которую не успел обставить во время своей бессонницы. В дверях спальни. Здесь почти не было мебели. Только в глубине между двумя окнами стоял голубой диванчик.

Я. М. сидела на нем, поджав под себя ноги. Со своими черными прядками, с коротко подстриженным затылком, с сережками в виде золотых сигареток. С этой своей улыбкой, которая старше, чем она сама. Как всегда и бывало, я почувствовал под черным платьем и блестящими чулками сгусток ее тела. И быстроту в неподвижном теле самки. Я встал как громом пораженный и сказал:

— Скажи мне, что это неправда!

— Почему же неправда, если ты мокрый как мышь?

— Но тогда что же это? — спросил я глупо.

Я. М. рассмеялась.

— Ты бы хотел получить какое-нибудь объяснение всему этому, да? Но к чему объяснения, если мы снова вместе? Разве любви нужны объяснения? Однако, если тебе так хочется все узнать, я скажу. Здесь все неправда. Начиная с дверной ручки на входной двери и кончая стеклянным потолком, ничего в действительности не существует. Все здесь поддельная бесконечность и сиюминутная вечность.

— А ты? — спросил я срывающимся голосом.

— И я тоже, конечно, не существую.

— Я тебе не верю, — сказал я и сделал шаг в ее сторону. Вдохнуть аромат женщины все равно что услышать ее мысли. Я почувствовал, как пахнут ее волосы, но она не шевельнулась. И сказала:

— Это не важно, веришь ты или нет, потому что ты тоже не существуешь.

— Я тоже?

— Ты тоже. Все это компьютерная игра, и нас сюда загрузила настоящая Я. М.

Ясмина Михайлович

Завтрак у "Цитураса"

Рассказ

Перевод с сербского Ларисы Савельевой

НЕ помню точно, когда я почувствовала непреодолимое желание попасть на греческий остров Санторин, но было это, по-видимому, давно. Однако по самым разным обстоятельствам у меня ничего из этого не получалось. Не знаю я и того, отчего в моем воображаемом, интуитивно составленном каталоге мест, по каким-то причинам, казавшимся мне важными, именно поездка туда возглавляла список и представлялась для моей жизни решающей.

Многие из моих друзей и знакомых хвалили Санторин, особо подчеркивая его необычность, своеобразие, красоту, правда, все как-то в общих выражениях и довольно неопределенно. Единственное, что было известно мне наверняка, так это лишь то, что с Санторином принято связывать легенду Платона об Атлантиде, согласно которой в далеком прошлом этот остров был сильно разрушен мощным извержением вулкана, и что это стихийное бедствие захватило довольно большое пространство вокруг него, так что, в частности, пелена пепла распространилась до самого Египта. Таким образом, я знала, что остров имеет вулканическое происхождение, что его пляжи покрыты черной галькой, а дома и церкви нереально белые и с синими куполами. По непонятным мне причинам, с этими же местами я связывала и один из рассказов Кортасара, хотя при всем при этом я даже ни разу не посмотрела на карте, где именно остров находится, не видела ни одного проспекта с его достопримечательностями, разве что только какую-нибудь открытку. Моя невероятная тяга к Санторину основывалась, в сущности, не на

© by Jasmina Mihajlović, 2000
© Л. Савельева. Перевод, 2002

чем-то визуальном, а на том околдовывающем, словно исходящем от сирен призыве, который был обращен к моему сознанию и подсознанию, на чем-то, что связано с Тайной.

Тут я должна упомянуть об одном своем "тайном" хобби. С течением времени я развила в себе способность, подобную той, которой обладают люди, умеющие определять места для колодца, другими словами, чувствовать зоны с достаточно высоким уровнем энергии, которая оказывает на меня положительное или отрицательное воздействие. Поэтому я начала, преимущественно во время путешествий, составлять частную коллекцию избранных мест пространства. В нее могли входить части города, архитектурные ансамбли, замкнутые пространства внутри домов, пассажи, галереи, сакральные и светские сооружения, энергетические узлы в природе, узкие и широкие пояса целостных или разорванных зон, мультицентрические и моноцентрические области, промежуточные пространства... Позже мое собрание углубилось и расширилось благодаря идентифицированным мною "виртуальным зонам" во времени, в литературе, в изобразительных искусствах, в обманчивой компьютерной бесконечности... А Санторин постоянно был рядом, в моих мыслях, словно какое-то отсутствующее присутствие, оставаясь самым главным местом, в котором я еще не была.

В конце марта 1996 года мы снова оказались в Афинах. Поводом была презентация вышедшего на греческом языке романа "Пейзаж, нарисованный чаем". В этой стране о переводах книг М. заботились две дамы — переводчица Гага Росич и Эфросиния Зозо Лидорики, которая возглавляет организацию "International Relations for Culture". Ей-то мы и сказали, что хотели бы побывать на Санторине. Реакция была восторженной:

— Ни о чем не беспокойтесь, более необыкновенное место просто трудно найти, и дело не только в самом месте, но и в том, где я могу вас там устроить. Вы будете гостями одного очень известного лица. Но пока пусть останется тайной, кого именно. Пусть это будет для вас сюрпризом. Итак, увидимся в мае на Санторине. В это время там красивее всего.

Вернувшись домой, мы принялись перерывать справочники и энциклопедии в поисках информации об острове. Но Санторин не объявлялся нигде! Неужели это возможно — чтобы столь известное место не было нигде описано? Тут я сообразила, что в компьютерных словарях, которые позволяют вести поиск по ключевым словам, можно попытаться найти его через понятие Атлантида. И остров возник. Правда, в переодетом виде, потому что проходил под другим, более старым именем и назывался то Тера, то Тира.

На основе собранных воедино скудных сведений из разных энциклопедий искомое понятие выглядело примерно так: "Вулканический остров в Эгейском море, один из островов архипелага Киклады. В бронзовую эру Тира попала в сферу влияния Крита и минойской цивилизации, но в 1625 году до н. э. разрушительное извержение вулкана погребло все населенные пункты острова и привело к выбросу в атмосферу огромного количества пыли, вызвавшего ухудшение климата во всем мире. Некоторые неподтвержденные теории связывали древнюю Тиру с Атлантидой". Это были все сведения, с которыми я отправилась в недельное путешествие.

Вопреки моему с М. общему желанию, наша совместная жизнь постоянно несется на слишком быстрой для нас пятой скорости. Так и на

этот раз: незапланированные события и неожиданно возникшие обязательства, которые свалились на нас перед самой поездкой, разрушили то радостное и возбуждающее чувство, с которым я готовилась к встрече с долгожданной Тирой. Более того, незадолго до поездки у меня необъяснимо низко упала температура, возникли всевозможные фантомные телесные боли, наступил страшный упадок сил. Это состояние достигло кульминации в день накануне отъезда, и мне уже не хотелось никуда ехать, я мечтала как угодно спастись от путешествия. Разумеется, я всеми силами гнала от себя эти настроения, связывая их с классической дорожной лихорадкой, которая, как я отметила, с возрастом стала у меня усиливаться.

Однако в день отъезда, 27 мая, я проснулась спокойной и готовой пуститься в путь.

Те, кто много путешествуют, знают, что на самом деле все поездки состоят из сплошных проблем. Промежутки между отдельными проблемами, которые наша память со временем будет отмечать как приятные моменты и дорожные впечатления, это всего лишь небольшие оазисы в длинной череде абсолютно неожиданных ловушек, приготовленных нам, по-видимому, каким-то Антигермесом (напомню, что Гермес — это бог и покровитель путников, паломников и плутов). Наше путешествие на Санторин уже в самом начале осложнилось из-за необходимости пересаживаться с самолета на самолет (до Афин мы летели на одном, а оттуда до Санторина уже на другом). Но это еще полбеды. Нам пришлось перебираться из аэропорта в аэропорт. Дело в том, что в Афинах аэропорт напоминает сиамских близнецов. Один терминал для международных рейсов, а другой — для внутренних. И несмотря на то, что они объединены общим летным полем, для того, чтобы попасть из одного в другой, приходится сделать большой круг, словно речь идет о каком-то паломничестве. А с учетом свойственных Афинам невероятных автомобильных пробок, приключение, в которое выливается пересадка с одного самолета на другой, может продлиться не меньше, чем полет средней продолжительности. Так что нам нужно было преодолеть целых три этапа пути.

Еще одним неприятным обстоятельством было то, что самолет из Белграда в Афины летит всегда только рано утром, а вот из Афин на Санторин, как назло, только поздно вечером — так сказали нам в туристическом агентстве, через которое были заказаны наши билеты. Как и где провести время в жарких и душных Афинах перед прибытием в рай? В Глифаде? В аэропорту? А я как нетерпеливый ребенок, который беспрерывно спрашивает: "Ну, когда мы приедем?" — хотела только одного. Хотела как можно скорее оказаться на "моем" острове.

Неожиданно возникла госпожа Лидорики и выступила в роли "спасителя времени", в роли того, кто может произвести его компрессию. Она утверждала, что есть еще один рейс на Санторин, непосредственно после приземления нашего самолета из Белграда (точнее, через сорок минут), и предлагала забронировать билеты для нас троих (она полетит вместе с нами, чтобы разместить нас, сделать кое-какие дела, и на следующий день вернется обратно) — ну а не успеем, значит не успеем. И тут нам повезло: наш белградский рейс приземлился без опоздания, пас-

портный контроль мы благополучно проскочили без очереди (а она была бесконечной), ссылаясь на улетающий на Санторин самолет, на который, кстати сказать, у нас еще не было билетов, при получении багажа безотказно сработали наклейки "priority" на наших чемоданах, Зозо Лидорики уже ждала нас со своим шофером, который, несмотря на невероятную давку на дороге, домчал нас со скоростью автогонщика до другого аэропорта, мы успешно обменяли имевшиеся у нас билеты на забронированные и оставшиеся четверть часа безмятежно провели в VIP-зале. Неутомимая Зозо Лидорики, вдова известного греческого журналиста, которая живет так стремительно, будто у нее внутри турбодвигатель, и относится к мировой лиге преуспевающих деловых женщин, но при этом обладает не только невероятной энергией, но и душой страны, в которой она родилась, достала из сумки роскошно оформленный каталог Санторина. На нем было написано "Tsitouras". Так наконец-то начала раскрываться тайна того, где мы будем жить и кто наш хозяин.

— Господин Димитрис Цитурас — видный греческий адвокат, — рассказала она нам, — но гораздо больше он известен как коллекционер произведений искусства и меценат дизайнеров. Вместе с женой, а она сама с Санторина, они участвовали в оформлении апартаментов на острове, предоставив некоторые предметы старины из своей коллекции — картины, мебель, вещи. Да в сущности, это даже не апартаменты. Впрочем, вы сами увидите! Это перестроенные и особым образом соединенные между собой дома восемнадцатого века. Главная идея состояла в том, что гости апартаментов, находясь в непосредственном контакте с предметами старины, живя в таком окружении, смогут по-новому воспринять коллекцию, совсем не так, как если бы она была выставлена в музее традиционным образом.

— Да-да, это своего рода отель-музей, — продолжала она. — Его собрание вас изумит! Но и это еще не все. Все помещения облагорожены не только антиквариатом, но и самыми разными предметами, принадлежащими собранию современного искусства "Цитурас". Дело в том, что господин Цитурас заказал самым известным греческим дизайнерам художественные произведения и предметы повседневного пользования в духе его коллекции и в соответствии с его личным вкусом. Понимаете, это что-то вроде "Tsitouras style"... Эти вещи можно посмотреть и купить в Афинах, на улице Солонос, там находится центральный выставочный салон его коллекции. А на Санторине сконцентрировано антикварное собрание. Он коллекционирует и старое, и новое. Его фирменный знак — венец.

Каталог выглядел просто фантастически. Сменяли друг друга потрясающие фотографии интерьеров и экстерьеров домов-апартаментов Цитураса: "Дом моря", "Дом ветров", "Дом портретов", "Дом фарфора", "Дом Нуриева"... Это было совершенно непохоже на то, что мне доводилось видеть раньше. Ни на роскошные отели, ни на нетрадиционные музейные инсталляции, ни на богатые частные дома.

— Для вас приготовлен "Дом ветров"! — с лукавой улыбкой сообщила Зозо, наслаждаясь как произведенным эффектом в целом, так и нашим изумлением от того, где мы будем жить. Охваченная сильнейшим предчувствием новых впечатлений, я, словно в полусне, листала страницы, которые относились к "Дому ветров". Эти апартаменты были устроены безусловно под впечатлением от "Башни ветров" IX века до Рождества Христова, которая находится в глубине Акрополя.

Афинская "Башня ветров" представляет собой многоугольное здание, а по сути это каменная карта тех ветров, которые чаще всего дуют на Средиземноморье. И то, что на Санторине нам достались именно эти апартаменты, показалось мне странным и удивительным совпадением. Дело в том, что "Башня ветров" является одним из действующих лиц рассказа М. "Атлас ветров", и это обстоятельство стало причиной упорных попыток запечатлеть персонажа и автора на фотографии. Однако все, что связано с прозой моего мужа, в жизни почти всегда оказывает нам какое-то мистическое сопротивление, мы называем эти явления "помехами" и стараемся их умилостивить. Вот уже несколько лет с тех пор, как по делам нам приходится довольно часто бывать в Афинах, мой муж упрямо стремится сфотографироваться на фоне этой башни. И вплоть до нашего последнего приезда в Грецию у него ничего из этого не получалось: по необъяснимым причинам все фотоаппараты именно возле башни отказывали. В конце концов мы взяли с собой две фотокамеры, чтобы попытаться таким образом перехитрить "помехи". Фотографии получились.

"Дом ветров" Цитураса, как было написано в каталоге, получил свое имя благодаря коллекции рисунков из путевых заметкок Джеймса Стюарта и Николаса Ревета, публиковавшихся под заголовком "Наследие античных Афин" (Лондон, 1762—1816), в которых, в частности, описана и древняя "Башня ветров".

— Господин Цитурас с нетерпением ждет встречи с вами, — сказала Зозо Лидорики. — Вероятно, в конце вашего пребывания, на выходные, он приедет на Санторин. Это просто прелестный человек. Он уверен, что вы сможете насладиться островом, особенно в таких прекрасных условиях. А что уж говорить о завтраках у "Цитураса"!.. Жалко, правда, что мы летим, а не добираемся морем. Только с борта судна можно по-настоящему оценить величие встречи с Тирой.

В разговоре с нами Зозо тоже называла остров разными именами.

— Подход к острову с моря возможен у его более высокого берега, почти отвесного, представляющего собой гладкую вулканическую породу черного цвета, — продолжала она. — И вся эта сторона острова усыпана типичными для Санторина молочно-белыми домиками... Аэропорт расположен в другой, почти ровной части острова, среди довольно однообразного пейзажа.

Я закрыла каталог Цитураса. Нас пригласили пройти на посадку. На летном поле стоял маленький двухмоторный самолет с пропеллерами. Мне стало страшно. До сих пор я на таких не летала. Мой страх высоты достиг крайнего предела.

Самолет издавал оглушающий шум, так что звуки голосов расслаивались и дрожали. Я молила Бога, чтобы мы как можно скорее снова оказались на твердой земле, избавились от этого ужаса, от неестественного состояния, в котором находится человек, когда он передвигается по воздуху. На протяжении полета до меня доносились отрывки того, о чем разговаривали Зозо и М. Госпожа Лидорики то на карте, то через левые и правые окна показывала острова архипелага Киклады, над которыми мы пролетали. Она говорила о том, что эти острова, лежащие на юго-востоке от Афин, совершенно непохожи на другие и в географическом, и в геологическом смысле:

— Все эти острова... — она не могла вспомнить нужное слово по-английски, — они, как та пьеса Ионеско про певицу...

— Лысые, — подсказал М.

— Да, лысые. Все они словно части одного и того же очень большого острова. А вот видите здесь, — и она показала на карту Киклад, — это Тира, Санторин.

Остров был похож на зеркально отраженную букву "С", на слишком загнутый серп, на прорванный круг, в самом центре которого виднелась дрожащая точка — крохотный осколок суши. Островок в острове.

Наконец-то мы пошли на посадку. Вид за окном действительно не вдохновлял. Какая-то желтоватая пустошь. Самолет коснулся посадочной полосы, и я облегченно вздохнула. Спустившись на землю, я сделала нечто мне совершенно не свойственное, чего никогда не делаю. Это был весьма патетический жест. Я наклонилась и рукой дотронулась до земли. Мне-то это показалось совершенно естественным, ведь я так страстно жаждала попасть сюда. Но М. подумал, что я споткнулась, что я могу упасть, и заботливо подхватил меня под руку. Таким образом, мы вместе прикоснулись к земле — к Тире. Он сделал это через мое прикосновение.

Перед зданием аэропорта нас ждал молодой человек, который должен был везти нас на машине. Мы поздоровались с ним по-гречески, а он ответил на сербском. Оказалось, что зовут его Зоран, что в настоящее время он работает на Санторине, хотя вообще-то уже два года живет в Афинах, где изучает старинную греческую музыку и пишет работу по сравнительному анализу этой музыки с древней сербской и византийской. Он тут же засыпал нас информацией об острове. На наш вопрос о происхождении нового, итальянского имени — Санторин, он объяснил, что Киклады почти два века были под властью Венеции.

— Имя Санторин происходит от святой Ирины. На острове и сейчас живет много католиков и есть их церкви...

Преодолевая подъем к Фире, главному городу острова, — на машине, пока еще было возможно, потому что дальше нам предстояло взбираться по ступенькам и тропинкам или пользоваться канатной дорогой и ослами, — Зоран сказал:

— Город прекрасный, но только в нем почти все новое. Знаете, последнее извержение вулкана здесь было сорок лет назад, тогда же произошло и землетрясение, которое почти все разрушило.

Так мы узнали самую главную информацию об острове — на нем находится живой, действующий вулкан.

На перевале горной гряды, которая отделяет "вулканическую" часть острова, куда мы направлялись, от безличной равнины, с которой мы поднимались наверх, нас ждал еще один молодой человек. Одет он был небрежно, но костюм на нем был дорогим, а темные очки "Ray Ban" отражали нас и скрывали его. Зозо Лидорики представила нам директора комплекса "Цитурас", а он на ломаном сербском языке сказал, что одно время изучал в Белграде теологию, но потом бросил, а теперь вот будет заботиться о нас здесь и зовут его Наганаил.

— Прекрасно, — сказал М., и как раз тут перед нами открылся совсем другой пейзаж, другая сторона острова с морем и совершенно иным небом. — У меня с собой греческое издание "Пейзажа, нарисованного чаем", я его подпишу и подарю вам. Там есть один герой, ваш тезка, его то-

же зовут Натанаил, хотя у него есть еще и другое имя. Не знаю, правда, как вам это понравится, но что же делать...

Услышав шутку М., я похолодела, потому что это другое имя было Сатанаил.

Тут наконец мы прибыли. На место. Высота, с которой простирался вид на открытое море, была почти горной. На одной из церквей часы били полдень. Перед нами лежала какая-то непрозрачная, опасная красота странного, почти черного моря и широкого, необычно наклоненного неба. Запах и вкус воздуха, повисшая в нем тишина были удивительными и почти неестественными.

В центре открывшегося перед нами полукруга воды находилось еще два островка — большой и маленький. Нам сказали, что больший — это вулкан, а точнее, оба они — дочери вулкана. Больший островок, называвшийся Неа-Камени, с той высоты, откуда мы на него смотрели, выглядел довольно безобидно — почти плоский кусочек земли. Мне он показался заросшим какой-то черной низкой влажной растительностью, похожей на темный плющ. Я всегда представляла себе вулкан как демонически огромную крутую гору с большим кратером. Отвечая на мой вопрос, где же кратер, Натанаил неопределенно указал на черное пятно в центре. Выглядело это довольно неубедительно, и мне здесь почудилось какое-то несоответствие. Словно показывают на север и говорят, что там юг.

Мы вошли во двор "Цитурас коллекции", как официально называется этот на первый взгляд миниатюрный отель, состоящий из расположенных на разных уровнях домов с удивительным образом разворачивающимися лестницами, напоминающими лестницы Гауди, с разбросанными в самых неожиданных местах террасами и полудворик ами, с куполами, возвышающимися над верандами, с закругленными каменными оградами, защищающими от падения в пропасть, с огромной, в человеческий рост, мраморной вазой и солнечными часами над входом в "Дом ветров" и "Дом портретов". Все было нереально белым, с нереально синим небом наверху и нереально черными мощными скалами вокруг и в глубине под нами. В этом "Цитурас пространстве" было нарушено общее равновесие, так же, как оно было нарушено и на всем острове. На самой большой и самой высокой террасе за низким ограждением на белом мраморном постаменте, повернутый профилем к морю, стоял бронзовый бюст Марии Каллас. Он казался удачным изображением самой вечности.

Перед входом в наши апартаменты, на центральной террасе, под огромным солнечным зонтом стояла выкрашенная в белый цвет плетеная мебель, и здесь нам в знак гостеприимства был подан кофе, соки и крошечные пирожные. Здесь гостям "Дома ветров" обычно подают завтрак с видом на вулкан. Все предметы были из "Цитурас коллекции" — мягко блестевшие серебряные кувшины и блюда с выгравированными на них венками, большие фарфоровые белые чашки и молочного цвета пепельницы тоже с изображением венков, только зеленого цвета... Дул на удивление прохладный, даже немного неприятный ветер. Из "Дома портретов" доносилась какая-то странная музыка, создававшая соответствующий всему этому странному острову фон. Музыка была выбрана Натанаилом. На горизонте над правой изогнутой оконечностью суши неподвижно висел клочок облака или тумана. Висел неестественно низко над местом, где отвесный берег снижается и спускается в воду. Что-то было не так в этом облаке. И мне никак не удавалось за-

дать вопрос, откуда оно там взялось, потому что Натанаил безостановочно расхваливал окрестности:

— На Санторине величественные закаты. Солнце опускается в воду точно за центром вулкана. Вот увидите, это незабываемо... Вы обязательно должны прокатиться на катере вдоль внешней и внутренней стороны серпообразного острова. Но имейте в виду, что в районе вулкана вода такая горячая, что в ней можно сварить яйцо. Не вздумайте там купаться... ха-ха-ха... Но вообще, такая морская прогулка это нечто замечательное... Я не буду говорить о завтраке, который мы завтра утром подадим вам здесь, это тоже незабываемо, сами убедитесь... Вы себе не представляете, с каким нетерпением я жду момента, когда смогу прочитать, что в вашей книге написано о Натанаиле... Ах да, с левой стороны от вас та самая белая церковь с огромным синим куполом, которую чаще всего изображают на открытках. Это фирменный знак нашего острова. А то, что видно с правой стороны, это "Скарос".

Неподалеку от нас угрожающе поднималась огромная вулканическая громада с плоской каменной шапкой наверху. Она походила на какой-то храм из мегалитов. По-сербски это название звучало комично, потому что слово "скара" обозначает жаровню с вертелом для мяса, какими обычно оснащены все придорожные ресторанчики. Мы с М. рассмеялись и одновременно произнесли то, что пишут на вывесках таких ресторанов: "Скара работает". Однако шутка приобрела совершенно другой смысл и прозвучала довольно зловеще.

— Ну а теперь, теперь я покажу вам ваш "Дом ветров", — театральным тоном заявил Натанаил.

Вход в дом представлял собой массивную деревянную дверь, обрамленную темным мрамором, с каждой стороны двери было по окну и еще одно над ней. Первое, что я почувствовала войдя, был запах. По всему дому стояли старинные серебряные и фарфоровые миски, в которых лежали засушенные цветы, растения и плоды, потемневшие и издававшие запах... Мне показалось, что это был дурманящий и тяжелый запах чего-то потустороннего, если, конечно, потустороннее может пахнуть. Внутреннее пространство оказалось неожиданно большим по сравнению с тем, что можно было предположить по впечатлению извне. Гостиная была с необыкновенно высоким потолком, уходящим вверх четырьмя сводами, из центра его свисала огромная серебряная венецианская лампада, окруженная херувимами, по сторонам от главного входа в гостиную на каменных постаментах стояли резные деревянные фонари на высоких ножках.

Но самым удивительным было то, что стена с внутренней стороны фасада, на которой располагались входная дверь и три окна, зеркально отражалась на противоположной стене, за ней находилась другая комната. Там тоже была дверь и три окна. Дом в доме.

Казалось, я попала в пространство сцены, в какую-то иллюзию, в другую реальность...

Натанаил скороговоркой давал пояснения:

— Этот комод с острова Корфу, стулья рядом с ним в стиле бидермайер, пианино не антикварное, на нем можно играть... на этот стол девятнадцатого века мы, по желанию гостей, подаем завтрак, если они не хотят завтракать во дворе, белый диван местный, с самого Санторина, и, как видите, на стенах рисунки и гравюры "Башни ветров" и карты ветров.

Две противоположные стены гостиной были увешаны картинами и рисунками, на одной стене все рамы у них были медового цвета, а на другой темно-коричневые. В каждом из застекленных внутренних окон стояли античные амфоры. Мы прошли в следующую комнату, она была маленькой, но с таким же сводчатым потолком, как и первая, правда, он был в два раза ниже. В центре комнаты стояло огромное брачное ложе под черным покрывалом. По обе стороны от него на столиках по тяжелому подсвечнику, а высоко в головах, в застекленной полукруглой нише — доисторические керамические куклы из Танагры. Светом лампы, вмонтированной в эту музейную витрину, можно было пользоваться для чтения.

Дверь, расположенная напротив черной кровати, вела в просторную, отделанную мрамором под шахматную доску ванную с двойным умывальником и белыми полотенцами, перевязанными черными лентами. Повсюду лежали предупреждения: "Запрещено использовать воду для питья!"

Из спальни можно было пройти и в помещения, где не было дневного света, — небольшую современно оборудованную кухню, гардеробную и в еще одну роскошную ванную. В углу находилась причудливо извивавшаяся винтовая лестница без перил, освещенная небольшими лампами, вмонтированными в стену.

— Интересно, куда она ведет? — спросила я себя.

Лестница вела в еще одну спальню, расположенную над первой, с такой же кроватью, стоящей на том же самом месте, но с окном на уровне пола, которое смотрело в гостиную. Это было то самое третье окно, повторенное внутри.

Двойной фасад, двойняшки спальни, удвоенная ванная! Я была околдована и утомлена сильными впечатлениями. При этом с того самого момента, как мы приземлились, что-то грызло меня в самой глубине души. Что-то такое, на чем я от усталости не могла должным образом сконцентрироваться, углубиться в него и расшифровать смысл. Но я чувствовала, что в этом доме было что-то зловещее, но не в смысле зловещности его красоты, а что-то другое...

Зозо Лидорики предложила пойти пообедать. Мы прогулялись по лабиринту улочек Фиры, посмотрели на канатную дорогу и осликов, которые спускают людей к порту, а потом уселись на висящей над пропастью террасе одного ресторанчика. Сейчас мы находились точно в центре внутреннего серпообразного берега острова, как бы в его центре тяжести, откуда одинаково хорошо были видны оба его конца. Разумеется, такое положение не подразумевало равновесия поверхности. Правый край Санторина постепенно спускался все ниже и ниже и потом нырял в море, а левый, наоборот, поднимался все выше и выше до уровня солидной горы. Тот клочок облака, который я заметила еще раньше над низкой оконечностью острова, не стронулся с места. Над высоким краем тоже неподвижно стояло облако, но это было облако желтоватого дыма. Оно напоминало пыль над каменоломней. Во всяком случае, я про себя решила, что, разумеется, это каменоломня. И успокоилась. Вулкан на островке, лежащем перед нами, плескался в черной воде. Те влажные черные растения на нем, которые в первый момент показались мне по-

хожими на водоросли или плющ, на самом деле были темной и маслянистой поверхностью камня. Ничто живое там не росло.

Все было неподвижным и притихшим. Просто окаменевший пейзаж. Начиналось время послеобеденного отдыха. Мы заканчивали обедать, мой взгляд покоился на необыкновенном пейзаже, который вдруг напомнил мне обруч Дельфов.

В этот момент Тиру встряхнуло. Кратко, но мощно.

Зозо смущенно улыбнулась, а я спросила, входят ли землетрясения в традиционный набор достопримечательностей и бывают ли они каждый день или же включаются только в пакет туристических услуг. Короче говоря, мы обратили все в шутку, хотя и поинтересовались у Зозо, правда ли то, что Зоран рассказал нам о разрушительных последствиях прошлого землетрясения. Она отрицательно покачала головой.

Мы отправились домой отдохнуть. Наконец-то мы остались одни, в стихии своего родного языка и под грузом впечатлений. Мы шли по внешней границе города и во время этой прогулки впервые, по сути дела, рассматривали то место, куда приехали. Выглядело оно дико. Черный амфитеатр, который представлял собой остров, весь состоял из окаменевшей лавы. Ее чернота была на самом деле чернотой Солнца в сердце Земли, его подземным эквивалентом. Мы говорили о том, что весь город Фира словно стоит на острие серпа. Дома напоминают сахарный песок, посыпанный вдоль черного острия. Все здания на острове, как нам успели рассказать, построены из камня, отняты у камня и после этого покрашены в белый цвет. Они состоят из самой материи острова. А с этой материей, мы словно прочли мысли друг друга, где-то в ее глубине далеко не все было в порядке. М. сказал:

— Все это похоже на остатки какого-то прошлого мира.

Действительно, все здесь напоминало не только геологические, но и биологические остатки прошлого мира. Неожиданно я почувствовала беспокойство, какое-то страшное, пока еще непонятное предчувствие начало подниматься во мне, но ему никак не удавалось пробиться наружу. Эмоциональное напряжение вызывало сильнейшее, почти органическое отвращение к этому месту, попасть в которое я так страстно желала годами. Это чувство ошеломило и напугало меня.

— Здесь можно увидеть красоту катаклизма, — сказал М.

В этом черном каменном и на первый взгляд мертвом пространстве было что-то канцерогенное, что-то болезненное и устрашающе живое. И от присутствия этого живого нельзя было просто так отмахнуться. Оно было опасным и всеобъемлющим в пространстве и времени. Эта была патогенная в пространстве и времени зона. В ней находились геологически патогенные клетки. И каждый из нас двоих чувствовал это всем своим существом.

Вся окружавшая нас природа вдруг явственно вызвала в памяти картину Ивана "Пейзаж, нарисованный чаем", которая и дала имя роману М. Она висит над моим письменным столом. Я наблюдаю за ней уже много лет. На рисовой бумаге, окрашенной разными чаями, несколько темно-зеленых островков плавают в голубоватой жидкости. В глубине картины угадывается какой-то большой кусок суши. Меня не покидает непреодолимое чувство, что это не пейзаж, а клетки, может быть, даже клетки метастазы. Время от времени они словно бы движутся и растут, очень осторожно и почти незаметно, словно боятся спугнуть того, кто смотрит на картину.

Мы добрались до нашего "Дома ветров" в одуряющей тишине раннего послеполудня. Мне было немного грустно, немного тревожно... Было такое чувство, что меня обманули, причем обманули в чем-то сущностном... Майское греческое солнце жарило вовсю, хотя сквозь эту жару время от времени прорывался резкий холодный ветер. Где же я нахожусь — в горах или на море?

Мы вошли в дом, спустили жалюзи, чтобы спастись от ослепительной белизны за окном, и улеглись в постель. Я возле "внутреннего окна" с амфорами, М. с другой стороны. Я посмотрела на потолок, пытаясь представить себе ту, другую кровать точно над нами, и тут меня пронзила молниеносная догадка, она же разгадка этого помещения.

Мы лежим в бывшей церкви! Причем как раз в ее алтарной части! Потолки, расположение стен и окон, да и самих помещений, даже предметы — все подтверждало предположение, что это перестроенная церковь. Я сказала М.:

— Да это же церковь!

Он осмотрелся, пытаясь расшифровать окружающее пространство, стремительно преобразовать его в своем воображении и абстрагироваться от реальности, и ответил:

— Да, действительно церковь. Но ты посмотри перед собой!

На стене напротив нас, над пышными барочными деревянными консолями висели две иконы. Напротив меня икона с ликом Христа, напротив моего мужа икона Богородицы с младенцем на руках. Они находились в застекленных ящичках, оснащенных сигнализацией, и по стилю очень сильно отличались от всего интерьера.

— Это восемнадцатый век, — шепнул М.

— Я не буду спать в церкви. Пошли наверх, там тоже есть кровать, — шепнула я.

— Там тоже церковь, — ответил М.

Мы оказались в ловушке.

— Неужели ты не видишь, что все вокруг совершенно больное, — быстро зашептала я. — Ты что, не понял, что вся эта "коллекция" помечена знаком тернового венца?

— Да нет же, это лавровый венец, — убеждал меня он.

— Нет, абсолютно точно терновый, я уверена.

— Сейчас лучше поспать, мы очень устали. Потом подумаем. Это же дневной сон, а не ночной. Обдумаем все позже...

Действительно, усталость и напряжение добили меня, и я заснула мертвым сном. Даже сейчас я не могу сказать, сколько времени прошло до того момента, когда мы оба, моментально проснувшись, перепуганные вскочили с кровати. Земля, уходя из-под ног, с глухими звуками ударов где-то в глубине, сотрясалась так сильно, что две амфоры в своих стеклянных клетках подскакивали на металлических ободках. Трясло сильнее, гораздо сильнее, чем в первый раз. Потом наступила тишина. Ноги у меня отнялись, сердце бешено колотилось. Мы молча смотрели друг на друга. Я достала успокоительную таблетку и запила ее водой, которую запрещено было использовать для питья.

Я начала лихорадочно обдумывать ситуацию. Мы оказались в двойной ловушке и в двойной изоляции — и в доме, и на острове. Я огляделась вокруг. М. тоже. Мы подумали об одном и том же и попытались оценить положение. Вся мебель и находившиеся в доме предметы приобрели новое, угрожающее значение. Если мы останемся здесь, нам может свалить-

ся на головы находящаяся над кроватью стеклянная витрина с фигурками из Танагры. Большая серебряная лампада, упав с такой высоты, могла убить на месте. И тяжелые резные фонари возле двери стали далеко не безопасными.

— Если это действительно церковь, — подал голос М., подумав то же, что и я, — то мы в относительной безопасности.

— В любом случае, если опять тряхнет, — добавила я, — надо встать в этом дверном проеме.

Кажется, я даже не успела закончить фразу, как снова все задрожало. После предыдущего толчка прошло всего несколько минут. Мы переместились в дверной проем, держась руками за его свод. На этот раз подземные толчки длились не так долго. Совершенно без сил я села в кресло и тихо сказала мужу:

— Выйди наружу, посмотри, есть ли пыль.

Почему-то я вспомнила опыт, приобретенный во время бухарестского землетрясения (оно ощущалось по всей Сербии), и поднявшуюся после него мельчайшую пыль, окутавшую все мглой. Словно эта пыль была самым главным. Однако страх перед землетрясением заставил меня прежде всего вспомнить эту пыль. М. вышел, тут же вернулся сильно побледневшим и сказал:

— Пыли нет.

— А видно вулкан? — снова спросила я, уже сконцентрировавшись и реально оценивая ситуацию.

— Его тоже не видно, — ответил он как-то смущенно.

Наш разговор выглядел совершенно абсурдным.

— Как это не видно, если нет пыли? — настойчиво переспросила я.

— Выйди и сама посмотри.

Осторожно, словно стеклянная, я встала и вышла на террасу, удивляясь собственной храбрости. Снаружи творилось такое, чего я никогда в жизни не видела и, надеюсь, больше не увижу.

Не осталось никакой линии горизонта. Одни облака, с ужасающей силой и скоростью неслись из глубины, где раньше было море, облизывали черные скалы берега и на той же скорости устремлялись дальше, выше, туда, где должно было находиться небо. Солнце, в глубине этого пространства, выглядело черным кружочком. Дул ледяной ветер. Откуда-то доносился вой собак. Слегка попахивало серой.

На центральной террасе, с которой был вход в большинство зданий, над воздушной бездной сидела молодая немка, жившая в этом отеле. Она была видна мне лишь время от времени, когда ее не заслоняли проносившиеся клочья облаков. Очень спокойно, на безукоризненном английском языке она безостановочно, как заведенная, говорила:

— Ну разве не похоже на солнечное затмение? Какая жалость, не увидим закат... А знаете ли вы, что после первого страшного извержения их было еще очень много. И в 197 году, и в 1707-м, и в 1870-м, и 1925-м, а потом то, последнее, в 1956-м...

Она знала наизусть весь путеводитель. Я потом проверила.

Я вернулась в дом и снова опустилась в свое красное кресло.

— Это я виновата. Я это вызвала. Прикоснувшись к земле после того, как спустилась с неба, — говорила я устало. — Звони Натанаилу, спроси его, что происходит. Может, нужно переехать на другую, равнинную часть острова? Спроси его, где эпицентр...

Натанаил по телефону сообщил: сейчас по радио передали, что самый сильный толчок был шесть баллов по шкале Рихтера и что эпицентр находится где-то посреди Эгейского моря.

Опять все закачалось. Я начала панически собирать вещи, хотя не представляла себе, куда нам деваться.

— Это не обычное землетрясение. Это землетрясение с отягчающими обстоятельствами. Мы на вулканическом острове, и этот вулкан однажды уже разрушил полсвета и, может быть, даже уничтожил всю минойскую цивилизацию.

— Я не собираюсь смотреть на гибель Атлантиды собственными глазами, — говорила я. — Да ты и сам прекрасно знаешь, где мы с тобой находимся. То, что происходит, просто с неизбежностью это подтверждает. Давай позвоним Зозо и решим, что делать.

— Сейчас позвоню, но сначала мне бы очень хотелось, чтобы ты меня сфотографировала снаружи, — ответил М.

Это меня потрясло. Я жду разрушения, извержения, цунами, конца света, а он хочет фотографироваться на фоне начинающегося апокалипсиса! Только теперь мне стала понятна огромная разница между нами. М. наслаждался возможным концом света настолько же, насколько я его боялась. "Ничего, ничего..." — думала я, стиснув зубы в неравной борьбе и с самой собой, и с М.

Пошатываясь, с чувством нарушенного равновесия в голове, я вышла наружу. Все было по-прежнему, только внизу среди облаков время от времени вдруг мелькало море, ярко освещенное солнцем, хотя солнца на небе не было видно. Впрочем, я плохо понимала, где верх, где низ, где лево, где право — все координаты реального мира перестали для меня существовать.

Я навела аппарат — руки у меня при этом дрожали — и щелкнула. Никакого эффекта. Попробовала еще раз. Опять ничего. Аппарат щелкал вхолостую. Он не хотел работать. Немка, которая по-прежнему сидела на том же месте, правда теперь завернувшись в плед, потому что было неправдоподобно холодно, просто по-зимнему холодно, равнодушно сказала:

— Должно быть, сели батарейки. Здесь недалеко магазин, там продают и батарейки.

Может, она вовсе и не немка, а англичанка, неожиданно подумала я среди окружавшего меня ужаса.

М. удалось дозвониться до Зозо. Ее голос звучал обеспокоенно.

— Выезжаю к вам немедленно. Сейчас сообщили, что эпицентр здесь, на самом острове. На ободе Санторина, рядом с городом Ие.

Именно там, где утром я увидела клочок тумана. Значит, поняла я, место было все время обозначено.

Тряхнуло в пятый раз. Но значительно слабее. Успокаивается или... Не важно, все равно, мне никогда не случалось оказаться в паре километров от эпицентра землетрясения, рядом с действующим вулканом.

Появился Натанаил, он со всевозможными церемониями подал нам кофе в серебряном сервизе. О землетрясении он даже не упомянул, просто сказал, что нам повезло и мы имеем редкую возможность наблюдать характерное для острова природное явление.

— Море внизу очень теплое, его испарения быстро смешиваются с холодным воздухом наверху и превращаются в облака. Как будто мы находимся на какой-нибудь высокой горе. Как жалко, — сказал он, — что сегодня вы не увидите заката!

Я по-прежнему сидела в своем красном кресле, ноги у меня совершенно отнялись, и тут на меня, как на ребенка в темной комнате, разом навалились все страхи. Они налетали на меня стаями. Стаи страхов из детства, из юности, из зрелой поры жизни. Рациональные и иррациональные. Вся моя жизнь промелькнула у меня перед глазами через призму страхов. Вот мне три года — маму увозят на операцию, я думаю, что она меня бросает; вот я уже взрослая девочка — мне снится сон, как какая-то огромная планета заслоняет от меня весь горизонт; вот я девушка — отец, больной, запирает на ключ меня, сестру и маму и хочет положить конец своим мукам; вот я только что родила — стоит страшная жара, от которой нет никакого спасения, мой ребенок отказывается от груди; вот я зрелая женщина — собираюсь покинуть дом, покинуть свою первую жизнь ради другого мужчины, перед уходом все предметы, окружавшие меня в старом жилище, кажутся мне зловещими, устрашающими...

Тут приехала Зозо. Я посмотрела на нее, как на спасителя. Она спросила:

— Завтра или сегодня вечером?

— Если можно, прямо сейчас, — ответила я, — мы уже собрались.

Деловито и вместе с тем торопливо она начала звонить по мобильным и немобильным телефонам. Назначать, отменять, заказывать, комбинировать. М. посмотрел на меня с беспокойством и проговорил:

— Не нужно так бояться. Толчков больше не будет. Все кончилось.

Я не могла дождаться, когда мы выберемся из этого ада. Никто из персонала отеля не разубеждал нас, никто не пытался накормить россказнями для туристов, никто не уговаривал остаться. Натанаил принес книгу отзывов в застекленном ящичке, похожем на те, которыми были защищены те две иконы. Книга была переплетена в желтую козью кожу. Мы быстро что-то написали, ни словом не упоминая о землетрясении. Несколько общепринятых фраз. И поняли, что внутри у каждого из нас собственная книга отзывов уже заполнена. Натанаил потихоньку спросил меня, можем ли мы записать и даты нашего рождения.

— Вы, — подчеркнул он, — год можете не указывать.

— Зачем вам это нужно, вы занимаетесь астрологией? — спросила я.

— Нет-нет, — поспешил ответить он, — это просто для внутреннего учета службы отеля.

Мы добавили и сведения о нашем рождении, включая даже годы. Не вписали только часы и минуты. Приехал Зоран, чтобы отвезти нас в аэропорт. Стало темно. Мы пробыли на Тире вместо семи дней всего семь часов.

— А вы, должно быть, ушами предчувствуете землетрясение? — сказал мой муж Зорану, намекая на его занятия музыкой и на ту первую информацию об острове, которую мы от него узнали. Он пробормотал в ответ:

— Как мне жаль, как мне жаль... — и смущенно улыбнулся.

Следующие четыре часа мы провели в аэропорту. Зозо второй раз в течение этого дня поменяла билеты и время отъезда. На первый самолет, летящий в Афины, мест не было, пришлось ждать следующего, он невыносимо опаздывал. Остров больше не трясло, все успокоилось.

— Знаете, — сказала Зозо. — Греция — это страна, подверженная землетрясениям, но пять толчков за один день...

Поздно вечером с Родоса прилетел вызванный на Тиру для остальных двадцати пассажиров огромный "боинг-747". Пилот, взбешенный

незапланированным полетом, взлетел так, словно он шофер белградского автобуса. Но я была счастлива и в воздухе почувствовала себя в полной безопасности. Первый раз в жизни. М. сказал:

— Это третий перелет за сегодня.

Мне пришло в голову, что мы возвращаемся примерно в то же время, когда должны были бы прилететь на Санторин, если бы воспользовались теми билетами, которые были куплены в самом начале. И получилось, что до приезда в "рай" нам было лучше провести день в душных Афинах. Если бы мы прилетели в соответствии с первоначальным планом, то есть вечером, мы бы разминулись с землетрясением. И утром съели бы знаменитый завтрак у "Цитураса". Не исключено.

В ушах у меня звучали слова моей сестры, которая увлекается астрологией: "Май и июнь неблагоприятны для путешествий. Фаза Урана неблагоприятна для М. А Уран контролирует небо. У вас, возможно, будут какие-то проблемы с самолетом". О Плутоне, который контролирует подземный мир, она не говорила ни слова. Но про него и так известно, что это тяжелая планета.

Уже за полночь, по дороге в Вулиагмени, туристическое местечко неподалеку от Афин, где нас разместили в качестве компенсации за неудавшуюся поездку, я торопливо перебирала впечатления и с новой точки зрения анализировала свое навязчивое желание побывать на Санторине. Вывод был такой — у человека может существовать непреодолимое стремление встретиться с очень опасными местами, причем это стремление подсознательное. Я проделала такой путь во времени и пространстве, по-видимому, для того, чтобы встретиться с огромным страхом и с местом, которое все еще излучает геологическую и биологическую энергию смерти, причем не какого-то отдельного существа, а целой цивилизации. Целой большой территории. Возможно, Санторин — это черная дыра Земли.

Однако не хватало чего-то еще. Еще одного фрагмента мозаики. Я подумала, что, может быть, это господин Цитурас, лично. Еще один, хотя и не знающий этого, участник нашего путешествия.

Оказалось, недостающим фрагментом был не только он.

Через два дня, немного отдохнув и удалившись от Тиры на достаточное расстояние, я разложила перед собой все относящиеся к Санторину карты, проспекты, брошюры, которыми нас снабдила Зозо, и тут увидела на одной из иллюстраций, изображавшей рельеф острова, надпись-рекламу: "It's not an Island, it's a Volkano" ("Это не остров, это вулкан"). И показала это М. В тот же момент нас как молнией пронзила догадка относительно того, что все время было у нас перед глазами и чего мы именно из-за этого не увидели.

Тира была не островом, на Тире мы все время находились на краю кратера вулкана! Санторин — это все, что осталось на поверхности моря от огромного кратера вулкана! Тот островок, Неа-Камени, который местные жители в шутку называли вулканом, был просто скалой посреди кратера, затопленного морем. То есть все то, что мы считали полукруглым заливом, лежащим у нас под ногами, то темное, горячее в глубине море, было эпицентром саморазрушительных сил земли. Мы побывали на краю света.

Уже в который раз все это пространство получило в моих глазах новое измерение. Какой же должна была быть суша, на которой находился такой огромный вулкан со столь большим кратером? Теперь уже с совершенно другим экзистенциальным ужасом, с ужасом в чистом виде, можно было представить себе и каким был тот древний катаклизм. Мы рассматривали карту Эгейского моря. Кусок суши в форме полумесяца с звездой посередине — Тира — располагался в центре еще большего круга, который угадывался на карте и вдоль границы которого протянулся Крит. "Первоначальное имя этого острова — Строгили, что означает "круг"... — было написано в путеводителе. — Это колоссальное геологическое событие, — читали мы дальше про извержение, — также способствовало гибели минойской цивилизации Крита, вызвав землетрясение и огромные морские волны, которые привели к исчезновению соседних островов и ужасающей катастрофе на северном побережье Крита".

Тира была центром самоубийственных энергий планеты.

— Знаешь, — сказал мне М., — все время, пока мы находились там, я был распят между завораживающей сценой бушующих сил природы снаружи и тобой, перепуганной и сидящей в доме.

— Знаю, — ответила я.

В тот день после обеда мы вместе с Зозо должны были отправиться с визитом к господину Цитурасу, о чем она уже договорилась. Меня очень интересовало, как он выглядит. Уже перед самым отъездом я еще раз посмотрела, нет ли в каталоге "Цитурас" его фотографии. И действительно, нашла один, правда групповой, снимок. Два господина в смокингах и две дамы в вечерних платьях, видимо на приеме, стоят на фоне какого-то замка. Первый слева мужчина был в очках, над которыми извивались густые черные брови. Я сразу же решила, что это и есть Димитрис Цитурас. Между тем подпись под фотографией однозначно свидетельствовала, что господином Цитурасом является второй, совершенно безликий человек. Я показала фотографию М.

— Как ты думаешь, кто из них Цитурас? — спросила я его.

— Что тут думать, ясно написано, — ответил он.

— Этого не может быть, здесь ошибка, — сказала я.

— Ну что ты, этот, с бровями, выглядит настолько демонически, что было бы слишком гротескно, если бы это действительно был он, — стоял на своем М.

Я не поверила.

Мы въехали на улицу Солонас в Афинах, где находилась выставка-продажа современной коллекции "Цитурас". Дверь открыл человек с извивающимися бровями. Мой муж был настолько ошарашен, что прямо на пороге проговорил:

— Это не можете быть вы, это какая-то ошибка!

Цитурас, нимало не смутившись, спокойно посмотрел на него. Я — тоже.

— Простите, у вас есть каталог коллекции? — взял себя в руки М. Ситуация продолжала оставаться абсурдной и непредсказуемой. — Я вам сейчас покажу. Там неправильная подпись...

Цитурас принес каталог. М. показал ему фотографию, на что он спокойно ответил:

— Понятно.

Мы принялись осматривать коллекцию: женские украшения, стилизованные под венцы, роскошный набор для письменного стола, изуми-

тельные ручки, серебряные сервизы, черное постельное белье, шелковые платки, похожие на написанные маслом картины, высокие подсвечники – и везде маленькое изображение венца. В коллекции для продажи доминировали объемные изображения венцов. Они парили в прозрачных рамах, золотые и серебряные, роскошно украшенные и простые, из самых разнообразных листьев. Иногда они даже были укреплены на стояках из стекла или металла.

– Я купила вам здесь маленький подарочек, – шепнула мне Зозо. – Медальон с выгравированным венцом. Это амулет "Цитурас". Носите его всегда с собой. На тот случай, если вас кто-то сглазит.

"Вот это подарок!" – подумала я.

Мы переместились в кабинет господина Цитураса. М. сел за его письменный стол, чтобы подписать книгу "Пейзаж, нарисованный чаем". В воздухе витал тот же запах, что и в "Доме ветров" на Санторине. Я запомнила его на всю жизнь. Запах страха...

Написав посвящение, муж протянул книгу мне, чтобы я тоже поставила свою подпись. Ведь мы вместе были гостями Цитураса. Я достала из сумки фиолетовую ручку-фломастер, которой всегда подписываюсь. Она была куплена где-то в Европе, в каком-то магазинчике, теперь уже не помню где, и, беря ее в руки, я всегда озабоченно поглядывала в ее "окошечко", чтобы узнать, сколько осталось чернил. Я добавила свою подпись. После этого Цитурас подарил нам из своей коллекции номерной экземпляр фолио-издания одного стихотворения, вдохновленного островом Санторин. М. пригласил его приехать к нам в гости. Цитурас достал из своего кармана мою ручку-фломастер – а я знала, что это моя, потому что в ней было ровно столько же чернил, – и начал что-то писать. Зозо, М. и я переглянулись. Я схватилась за сумку. Моя ручка была внутри. С недоверием я извлекла ее и ощупала. Голова закружилась. Зозо, утомленная всеми перипетиями с нами, изумленно проговорила:

– Так у вас одинаковые ручки?!

Цитурас, не поднимая головы, снова спокойно произнес:

– Понятно.

У него было столько всяких ручек. И в его коллекции, и здесь, на столе. Но дело, видимо, было не в этом. Дело было в своего рода мошенничестве, трюке. Все-таки у него была моя ручка, несмотря на то что я держала ее в руке.

Уже уходя и прощаясь, М. не выдержал и спросил:

– Моя супруга утверждает, что венец, символ вашей коллекции, это венец Христа, венец мученика, а я думаю, что это лавровый венец победителя.

Не говоря ни слова, Димитрис Цитурас закрыл створки одной из дверей, которые все это время были открыты, заслоняя часть стены. За одной из створок в пустой незастекленной раме, выпирая из нее, находился изогнутый в виде венца кусок обычной колючей проволоки. Как будто из лагеря.

– Победитель всегда и мученик, не так ли? Это знаете и вы, и я, – заключил Цитурас.

– Понятно, – ответил М.

Я не могла дождаться возвращения домой. Мне было вполне достаточно всего: землетрясений, неожиданностей, дождя, который то начинался, то переставал, холодного ветра... Купальный костюм мне не по-

надобился, я постоянно ходила в единственном свитере, который на всякий случай захватила с собой. Воистину незабываемая поездка!

Мы попросили Зозо поменять наши обратные билеты с понедельника, на который был запланирован отъезд, на субботу. Она отнеслась к этому с полным пониманием.

— Я провожу вас, — сказала она.

— Хотите быть уверенной, что мы улетели? Вы с нами намучились, — подвел итог М.

Все вместе мы рассмеялись.

В день отъезда, то есть в субботу 1 июня, мы приехали в аэропорт. За два часа до вылета, как и положено. Зал ожидания был пуст, нигде ни одного пассажира. На табло вылета мигало время отправления самолета на Белград. Он только что улетел. Тут появилась Зозо, появились и некоторые другие пассажиры, среди них был заместитель генерального директора компании "Югославские авиалинии". Начались недоуменные расспросы. Оказалось, что изменилось расписание, кому-то из пассажиров об этом сообщили, кому-то нет. Обычная безалаберность! Мы вернулись в тот же отель, только в другую комнату, снова, в который раз распаковали вещи и стали дожидаться понедельника и того рейса, на который с самого начала у нас были билеты. По воскресеньям самолета до Белграда не было.

В ушах у меня звучали слова моей сестры, которая увлекается астрологией: "Май и июнь неблагоприятны для путешествий. Фаза Урана неблагоприятна для М. А Уран контролирует небо. У вас, возможно, будут какие-то проблемы с самолетом". О заговоре неба и земли она ничего не сказала. Это непростая и тяжелая история.

Приглашение вернуться на Санторин остается в силе. Завтрак у "Цитураса" по-прежнему ждет нас.

Джейн Остин
Леди Сьюзен

Роман в письмах

Перевод с английского А. Ливерганта

© А. Ливергант. Перевод, 2002

Эта удивительная Джейн Остин

Мало кто из английских классиков может сравниться сегодня по популярности с Джейн Остин (1775—1817). Шесть романов, оставленных ею в наследство классической английской прозе и ознаменовавших начало нового, реалистического ее периода, постоянно переиздаются. Наряду с потоком академических биографий писательницы и критических работ, предметом которых становятся все мыслимые аспекты ее творчества, по ее романам создаются театральные постановки и телесериалы, один из которых, "Гордость и предубеждение", был с успехом показан в России.

В начале XX века особенно преданных поклонников ее творчества стали называть "джейнистами". "Она — страсть, кредо, возможно даже религия", — писал еще в 1900 году американский писатель У. Хоулс.

И вот прошло сто лет, а интерес к Джейн Остин не только не уменьшился, но перерос в настоящий бум. В чем же причины такого действительно незаурядного интереса к творчеству писательницы, жившей два столетия назад?

Произведениям Остин одинаково свойственны как сдержанность стилистической манеры, так и психологическая насыщенность образов; ее романы сочетают камерность изображения жизни провинциальных английских семейств — "выписывание миниатюр тонкой кистью", как определяла сама писательница свою художественную манеру, — с удивительной широтой охвата жизненных явлений. Мы узнаем из ее книг о самых разных аспектах жизни в Англии рубежа XVIII—XIX веков: об экономике, политике, социальном устройстве, церкви, институте брака в те времена, о нравах, быте, манерах, одежде.

Высокое нравственное чувство пронизывает все написанное Остин, и при этом ее сочинения лишены какого бы то ни было морализаторства; это естественное выражение позиции писательницы облечено в безупречную стилистическую форму и отмечено изысканным юмором — уникальный синтез, обеспечивший книгам Остин неслыханное долголетие.

С любовью описаны традиционный быт и нравы английской провинции начала XIX века — сейчас, по прошествии двух с половиной столетий, эти картины исполнены особой прелести, какую излучает надежная, не подвергающая себя сомнению жизнь.

Поэтому трудно не согласиться с мнением современной романистки Маргарет Дрэббл: "Неизвестный роман Джейн Остин доставил бы нам гораздо больше истинной радости, чем любое другое литературное произведение, за исключением разве что новой пьесы Шекспира".

Для русского читателя, неплохо знающего остиновский канон, таким открытием станет роман "Леди Сьюзен" (англичане прочли его еще в 1871 году, когда вместе с другими произведениями Остин он был опубликован племянником писательницы Джеймсом Эдвардом Остином-Ли)[1].

Это произведение юного пера, написанное, когда Джейн не было и двадцати, так и не увидело свет при жизни Остин: она была очень строга к себе и многократно переписывала свои книги. Между тем, как убедится читатель, это безусловно зрелый в художественном отношении роман, представляющий интерес не только как неизвестная вещь знаменитой романистки, но и сам по себе.

"Леди Сьюзен" датируется 1793—1794 годами — временем, когда создавались романы "Здравый смысл и чувствительность" (1811)[2], "Гордость и предубеждение" (1813) и "Нортенгерское аббатство" (1818).

© И. Васильева. Вступление, 2002

1. Роман в письмах "Леди Сьюзен" войдет в сборник "Неизвестная Джейн Остин", который готовится к публикации в издательстве "Текст".

2. В скобках даны даты публикаций романов, написаны же они в 1795—1799 гг.

Написанный в письмах, в традиции С. Ричардсона, роман "Леди Сьюзен" еще во многом близок духу литературы XVIII века, его моральным представлениям. Эпистолярная форма романа помогает самораскрытию персонажей, их "саморазоблачению". Впоследствии этот жанр оказался узок дарованию Остин, и она к нему больше не обращалась. Как и к типу героини, который являет собой жестокая и обольстительная 35-летняя вдова. Образ, подобный Леди Сьюзен, мы у Остин больше не встретим, хотя некоторые его черты обнаруживаются впоследствии — в сильно разбавленном виде — у разных ее героинь, особенно ощутимы они в Мэри Крофорд ("Мэнсфилд-парк", 1814). Жанр романа в письмах сужает возможности развития интриги, но молодой Джейн Остин удалось эти ограничения преодолеть: напряженное противостояние персонажей в ее произведении захватывает, нарастает интерес к исходу конфликта, в который вовлечены герои. Эта изящная миниатюра — очередное свидетельство необъяснимого дара Остин, тайна которого ставит в тупик исследователей ее творчества и с течением времени только множит число его поклонников.

И. Васильева

Письмо первое

Леди Сьюзен Вернон - мистеру Вернону

Лангфорд, декабрь

Мой дорогой брат,
не могу более противиться искушению принять Ваше любезное приглашение провести несколько недель в Черчилле, а потому, если Вам и миссис Вернон угодно будет принять меня, надеюсь в ближайшие несколько дней быть представленной своей сестре, с коей мне так давно не терпится познакомиться. Мои добрые друзья, у которых я остановилась, искренне уговаривают меня погостить у них еще, однако из-за своего гостеприимного и веселого нрава они ведут слишком светский образ жизни, не соответствующий моему нынешнему положению и умонастроению, и я с нетерпением жду того часа, когда смогу разделить с Вами Ваше восхитительное уединение. Давно мечтаю познакомиться и с Вашими прелестными детишками, с которыми, надеюсь, мы подружимся. Боюсь, вскоре мне понадобится вся моя выдержка, ведь мне предстоит разлука с дочерью. Долгая болезнь ее незабвенного отца лишила меня возможности уделить ей то внимание, какого требовали от меня в равной степени материнская любовь и долг, — гувернантка же, чьим заботам я ее вверила, со своими обязанностями, судя по всему, не справилась. Вот почему я решила определить дочь в одну из лучших лондонских частных школ, куда отвезу ее сама по пути к Вам. Как видите, в Черчилле я вознамерилась побывать невзирая ни на что. Мне и в самом деле будет очень горько, если окажется, что Вы не сможете принять меня.

Преданная и любящая сестра Ваша
Сьюзен Вернон.

Письмо второе

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Лангфорд

Вы ошиблись, моя дорогая Алисия, полагая, что я проведу здесь всю зиму. Грустно говорить, сколь сильно Вы ошиблись, ведь мне и в самом деле редко случалось проводить три месяца кряду с бóльшим удовольствием. Но теперь, увы, удовольствие это осталось позади. Вся женская половина семьи объединилась против меня. Со свойственной Вам прозорливостью вы предугадали, как будут развиваться события, да и Мэнверинг был до такой степени обходителен, что смутные предчувствия возникли и у меня. Хорошо помню, как, подъезжая к дому, я сказала себе: "Мне нравится этот человек. Молю Бога, чтобы ничем дурным это не кончилось!" Я дала себе слово держаться скромно, ни на минуту не забывать, что овдовела я всего четыре месяца назад, и вести себя тихо, как мышь. И свое слово я сдержала: если кому-то я и позволяла за собой ухаживать, то разве что Мэнверингу; на этот раз я решительно ни с кем не кокетничала, никому из гостей не отдавала предпочтения, за исключением, пожалуй, лишь сэра Джеймса Мартина, которому уделяла порой внимание, да и то с единственной целью – отвлечь его от мисс Мэнверинг. Если б только свет знал, *чем* я при этом руководствовалась, я бы вызвала всеобщее уважение. Меня называют плохой матерью, но мною двигала материнская любовь, я действовала исключительно в интересах своей дочери, и, не будь она столь простодушна, усилия мои были бы должным образом вознаграждены. Ведь сэр Джеймс просил у меня руки Фредерики, но Фредерика, это исчадие ада, столь яростно воспротивилась брачному союзу с сэром Джеймсом, что я сочла за лучшее покамест отступить. У меня не раз был повод пожалеть о том, что я не вышла за него замуж сама; не будь он столь непристойно глуп, я бы, безусловно, это сделала, но, должна признаться, существо я довольно романтическое и деньгами меня не купишь. В результате все кончилось плачевно. Сэр Джеймс уехал, Мария оскорблена до глубины души, миссис же Мэнверинг непереносимо ревнива; она так меня ревнует, я вызываю у нее такое бешенство, что не удивлюсь, если она в сердцах станет апеллировать к своему опекуну, посмеет к нему обратиться... Но тут Ваш супруг, который совершил свой самый доблестный поступок, выдав ее замуж и тем самым навсегда от нее избавившись, будет на моей стороне. Прошу Вас, постарайтесь, чтобы его к ней отношение не изменилось. Сейчас всем нам невесело, дом изменился до неузнаваемости. Вся семья пребывает в состоянии войны, и Мэнверинг едва осмеливается со мной говорить. Пора мне освободить их от своего общества. Покинув Лангфорд, что я намереваюсь сделать на этой же неделе, я проведу, надо надеяться, целый день с Вами в Лондоне, и если я по-прежнему действую мистеру Джонсону на нервы, приезжайте ко мне сами на Вигмор-стрит, 10. Надеюсь, впрочем, делать этого Вам не придется, ведь мистеру Джонсону, при всех его недостатках, как никому другому присуще одно великое достоинство – "респектабельность"; со мной же, столь близкой подругой его жены, обращаться пренебрежительно ему едва ли пристало.

В Лондон я заеду по дороге в эту глушь, ведь я говорила Вам, что собираюсь в Черчилл? Простите, моя дорогая, но это для меня последнее прибежище. Будь в Англии хотя бы один дом, готовый распахнуть передо мною свои двери, я бы, вне всяких сомнений, предпочла его. Чарльза Вернона я на дух не переношу, жены его боюсь. И тем не менее именно в Черчилле придется мне оставаться до тех пор, покуда судьба не будет ко мне более благосклонна. Моя дочь отправится со мной в Лондон, где будет учиться в пансионе мисс Саммерс на Вигмор-стрит — пусть набирается разума. Там она заведет полезные знакомства: у мисс Саммерс учатся девушки из лучших семей. Плата за обучение баснословная, таких денег у меня никогда не было и не будет.

Прощайте. Как только приеду в Лондон, пошлю Вам записку.

Всегда Ваша
Сьюзен Вернон.

Письмо третье

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Дорогая матушка,
с сожалением уведомляю Вас, что мы не сможем, как обещали, провести с вами Рождество. Обстоятельство, лишившее нас этого удовольствия, взамен не доставит нам радости. В только что пришедшем письме леди Сьюзен объявила своему деверю о намерении посетить нас в самое ближайшее время, а поскольку она, по всей вероятности, заботится лишь о собственном благополучии, представить себе, сколь долго продлится ее визит, невозможно. Признаться, событие это застало меня врасплох, и как поведет себя ее светлость, я сейчас поручиться не могу. На мой взгляд, ей куда больше подходит Лангфорд. Зная, насколько импонирует ей изысканный и расточительный образ жизни, а также ее особую привязанность к миссис Мэнверинг, я никак не могла ожидать, что нам, да еще так скоро, будет отдано предпочтение, хотя давно заметила, каким чувством преисполнилась она к нам после смерти мужа, и понимала, что рано или поздно мы будем вынуждены ее принять. Боюсь, что мистер Вернон, находясь в Стаффордшире, был к ней излишне благосклонен. Не стану здесь в подробностях описывать ее характер, но, каким бы он ни был, не могу не сказать, что со времени нашей помолвки она вела себя со своим деверем столь коварно и лживо, что только такой добродушный и мягкий человек, как он, мог этого не заметить. И хотя в том, чтобы оказать денежную помощь вдове брата, да еще находящейся в стесненных обстоятельствах, нет ровным счетом ничего противоестественного, меня не покидает мысль, что в настоятельном приглашении посетить Черчилл, которое сделал ей муж, не было никакой необходимости. Однако его склонность думать о людях лучше, чем они есть на самом деле, свойственное ему великодушие, а также постигшее леди Сьюзен несчастье, ее сетования на судьбу, ее раскаяние — все это смягчило его сердце и вынуди-

ло поверить в ее искренность. Что же до меня, то я по-прежнему пребываю в сомнении и сумею составить свое впечатление о леди Сьюзен, лишь когда пойму истинную причину ее визита. Думаю, Вы догадываетесь, матушка, с какими чувствами жду я ее приезда. Надо полагать, она пустит в ход все свое неотразимое обаяние, чтобы любой ценой завоевать мое расположение, я же сделаю все возможное, чтобы оградиться от ее чар — подождем, покуда ее светлость предъявит нечто более весомое. Она выражает горячее желание познакомиться со мной и весьма нежно отзывается о моих детях, но я не настолько наивна, чтобы полагать, будто женщина, которая отнеслась с небрежением, чтобы не сказать с черствостью, к своей собственной дочери, привяжется к моей. Мисс Вернон будет отправлена в школу в Лондоне до приезда к нам ее матери, чему я рада — и не только за себя, но и за нее. От разлуки с матерью она только выиграет, к тому же шестнадцатилетней девушке, которая получила столь скверное воспитание, здесь не место. Насколько я знаю, Реджинальд уже давно хотел познакомиться с этой пленительной леди Сьюзен, и мы надеемся вскоре его у нас увидеть. Рада, что отец пребывает в добром здравии.

Остаюсь любящая Вас
Кэтрин Вернон.

Письмо четвертое

Мистер де Курси – миссис Вернон

Парклендс

Дорогая сестра,
спешу поздравить тебя и мистера Вернона со скорым приездом самой отъявленной кокетки во всей Англии. Я всегда считал ее непревзойденной жеманницей, однако недавно до меня дошли слухи о ее поведении в Лангфорде, из которых следует, что она вовсе не ограничивается тем изящным флиртом, что доставляет удовольствие столь многим, но и предается более утонченному наслаждению приносить несчастье всем членам семьи одновременно. Своим обращением с мистером Мэнверингом она вызвала ревность и страдания его жены; благосклонностью же к молодому человеку, питавшему чувство к сестре мистера Мэнверинга, лишила славную девушку ее возлюбленного. Все это я узнал от мистера Смита — он находится сейчас в наших краях (я обедал с ним в Херсте и в Уилфорде) и только что приехал из Лангфорда, где провел две недели в обществе ее светлости, и, следовательно, прекрасно осведомлен.

Нет, какова! Мне и впрямь очень хотелось бы ее увидеть, и я, конечно же, приму твое любезное приглашение, чтобы составить собственное мнение о тех колдовских чарах, что способны — при том, что обаяния молодости уже нет, — одновременно и в одном и том же доме внушить чувства сразу двум мужчинам, ни один из которых, заметь, проявлять их не свободен. Я рад, что мисс Вернон не едет со своей матерью в Черчилл — она слишком дурно воспитана и, если верить мистеру Смиту, вдобавок скучна и высокомерна. Там, где объединяются гордыня и глупость, притворство не поможет, поэтому мисс Вернон неизбежно стала бы всеобщим посмешищем. Что же до ее матери, то леди Сьюзен,

насколько я могу судить, обладает поистине пленительным лукавством и наблюдать за ней будет столь же приятно, сколь и любопытно. До скорой встречи.

Любящий тебя брат
Реджинальд де Курси.

Письмо пятое

Леди Съюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Получила Вашу записку, моя дорогая Алисия, перед самым отъездом из города и очень рада, что мистер Джонсон пребывает в неведении о том, у кого Вы провели вчерашний вечер. Лучше говорить ему неправду, чем полуправду, – упрямцев следует водить за нос. До Черчилла я добралась без помех, нет у меня оснований жаловаться и на прием, оказанный мне мистером Верноном. Не могу, однако, сказать, что столь же тронута была я обхождением его супруги. Миссис Вернон и впрямь безупречно воспитана, она, безусловно, женщина светская, вместе с тем по ее поведению никак не скажешь, что она ко мне расположена. Мне искренне хотелось произвести на нее впечатление, я старалась как могла, но – увы, я действительно не в ее вкусе. Правда, если вспомнить, что в свое время я приложила *некоторые* усилия, чтобы помешать ее браку с моим деверем, в отсутствии сердечности с ее стороны нет ничего удивительного, и все же, согласитесь, лишь нетерпимое и мстительное существо станет хранить в памяти события шестилетней давности, которые к тому же не обернулись в мою пользу. Признаться, я порой упрекаю себя за то, что не дала Чарльзу купить замок Вернон, когда мы были вынуждены продать его, однако это было мучительное испытание, к тому же продажа замка совпала по времени с его женитьбой. Любой оценит деликатность ситуации; мне было тяжело при мысли, что от вступления во владение фамильным поместьем младшего брата страдает достоинство старшего – моего мужа. Имей мы возможность устроить дело таким образом, чтобы замок покидать не пришлось, живи мы вместе с Чарльзом и удержи мы его от женитьбы, – я никогда бы не стала уговаривать мужа отдать родовое поместье в чужие руки. Однако Чарльз собирался тогда жениться на мисс де Курси, и это вполне объясняет мое поведение. Теперь у них полно детей, и какую, спрашивается, выгоду я бы извлекла, стань он владельцем Вернона? Очевидно, что, помешав этой сделке, я произвела на его жену неблагоприятное впечатление, но ведь известно: если человека не любишь, предлог всегда найдется. Что же касается денежной помощи, то эта история вовсе не помешала ему оказывать мне поддержку. Я, право же, к нему расположена: ничего не стоит вертеть им как угодно!

Дом очень хорош, мебель модная, все говорит о достатке и прекрасном вкусе. Чарльз, бесспорно, очень богат, и деловые люди с его мнением считаются. Вместе с тем ни он, ни его жена совершенно не в состоянии распорядиться своим богатством: гостей у них почти не бывает, да и в Лондон они ездят лишь по делам. Что ж, будем строить из себя дурочку. Надеюсь отыскать путь к сердцу своей невестки, завоевав расположение

ее детей; я уже знаю, как кого зовут, и собираюсь с особой нежностью отнестись к их младшему сыну, юному Фредерику, которого я сажаю себе на колени и вздыхаю над ним, вспоминая его незабвенного дядюшку.

Бедный Мэнверинг! Нет нужды объяснять Вам, как мне его не хватает и как часто я о нем думаю. В Черчилле меня поджидало грустное письмо от него, полное жалоб на жену и сестру и сетований на жестокосердие судьбы. Вернонам я сказала, что оно от его жены, свои же письма к нему я буду выдавать за письма к Вам.

Всегда Ваша
С. В.

Письмо шестое

Миссис Вернон – мистеру де Курси

Черчилл

Итак, мой дорогой Реджинальд, наконец-то я воочию увидела эту страшную женщину и должна тебе ее описать, хотя, надеюсь, в скором времени ты сможешь составить о ней собственное мнение. Она и впрямь хороша чрезвычайно. Какие бы сомнения ни вызывали у тебя прелести немолодой уже дамы, должна со всей ответственностью заявить, что мне редко доводилось видеть женщину столь же очаровательную. У нее прекрасные пепельные волосы, огромные серые глаза и темные ресницы; по тому, как она выглядит, ей не дашь и двадцати пяти, хотя в действительности она должна быть лет на десять старше. Как ты догадываешься, я не была склонна восхищаться ею, хотя и постоянно слышала, как она хороша, – сейчас, однако же, не могу не признать, что ей присущи редко сочетающиеся совершенство линий, великолепие и грация. Со мной она была столь нежна, естественна и даже трогательна, что, не знай я, какую неприязнь она всегда питала ко мне из-за моего брака с мистером Верноном, забудь я, что вижу ее впервые, можно было бы счесть ее моей близкой подругой. Принято считать, будто кокетство сочетается с самоуверенностью и развязность в обращении – непременный признак развращенного ума, я, во всяком случае, ожидала, что леди Сьюзен поведет себя неподобающе свободно. Она же, как выяснилось, отличается приятной внешностью, у нее нежный голос и обворожительные манеры. Увы, внешность эта обманчива, ведь все мы, к сожалению, слишком хорошо ее знаем. Она находчива и обходительна, достаточно знает свет и может поддержать любой разговор, чем, однако, по моему мнению, слишком часто пользуется, чтобы выдать черное за белое. Ей почти удалось убедить меня, что она очень привязана к своей дочери, хотя я всегда была уверена в обратном. О ней она говорит с такой нежностью и тревогой, так горько сетует на то, что должным образом не занималась ее образованием, каковое считает абсолютно необходимым, что я с трудом заставляю себя вспомнить, сколько лет ее светлость неизменно проводила весенние месяцы в Лондоне, оставив дочь в Стаффордшире на попечение слуг или гувернантки, мало чем от них отличающейся.

Коль скоро ей удалось произвести впечатление на такое злопамятное существо, как я, можешь себе представить, как действуют ее неотразимые

чары на мистера Вернона, человека благородного и великодушного. Жаль, но я не так доверчива и потому отказываюсь верить, что из Ланг-форда в Черчилл она переехала по собственной воле. Не проведи она там целых три месяца, прежде чем обнаружила, что образ жизни ее друзей не соответствует ее нынешнему душевному состоянию, я еще могла бы поверить, что бурной светской жизни она предпочла уединение, переживая смерть такого мужа, как мистер Вернон (ее отношение к нему, к слову сказать, безупречным никак не назовешь). Зная, однако, сколь долгим было ее пребывание у Мэнверингов, размышляя о том, насколько отличалась жизнь, которую она вела у них, от той, на которую обрекает себя теперь, я вынуждена предположить, что отъезд из дома, где она, в сущности, была совершенно счастлива, объясняется желанием, пусть и несколько запоздалым, следовать правилам приличия, дабы восстановить свою пошатнувшуюся репутацию. Что же касается истории, рассказанной твоим приятелем мистером Смитом, то она едва ли достоверна, ибо ее светлость состоит в переписке с миссис Мэнверинг. В любом случае история эта наверняка преувеличена: даже леди Сьюзен едва ли способна на то, чтобы столь вероломно обманывать двух мужчин одновременно.

Твоя и проч. Кэтрин Вернон.

Письмо седьмое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Моя дорогая Алисия,
очень благодарна Вам за внимание, которое Вы уделяете Фредерике. Вы знаете, как высоко ценю я Вашу дружбу, но, хоть я не сомневаюсь в искренности Ваших дружеских чувств, совершенно не готова принять от Вас столь большую жертву. Фредерика – глупая девчонка, похвастаться ей решительно нечем. А потому мне очень бы не хотелось, чтобы Вы тратили свое драгоценное время, забирая ее к себе на Эдвард-стрит, тем более что каждый такой визит отвлекает ее от важнейшего дела – образования, каковое ей надлежит получить у мисс Саммерс. Я хочу, чтобы ей привили вкус к игре на фортепиано и к пению, ведь у нее *моя* рука и вполне сносный голос. *Меня* в детстве изрядно баловали, ничем заниматься не обязывали, и вот вам результат: я лишена некоторых достоинств, коими нынче обязана обладать любая хорошенькая женщина. Естественно, это вовсе не значит, что я считаю необходимым, как диктует сегодняшняя мода, в совершенстве знать разные языки, искусства и науки. По-моему, это пустая трата времени: если женщина владеет французским, итальянским, немецким, если умеет играть на фортепиано, петь, рисовать и проч., она может вызвать аплодисменты, но никак не пылкие чувства. В конечном счете все решает не образование, а обаяние и манеры. Итак, я считаю, что Фредерике не следует слишком увлекаться науками, и утешаю себя тем, что недолгое пребывание в школе мисс Саммерс не позволит ей изучить что-либо глубоко. Надеюсь, что не позже чем через год она станет женой сэра Джеймса. Вы знаете, на чем основывается моя надежда, и это, безусловно, основание вполне серьезное, поскольку для девочки возраста Фредерики

обучение в школе — крайне унизительное занятие. Вот почему я бы предпочла, чтобы Вы не приглашали ее к себе — мне хочется, чтобы ее жизнь была как можно более безотрадной. В сэре Джеймсе я нисколько не сомневаюсь: мне стоит лишь написать короткую записку, чтобы он возобновил свои ухаживания. Вас же я попросила бы постараться оградить его от новых знакомств, когда он приедет в Лондон. Зовите его время от времени к себе и беседуйте с ним о Фредерике, чтобы он ее не забывал.

В целом же я чрезвычайно довольна тем, как я все устроила, и считаю, что мне удалось наилучшим образом сочетать осмотрительность и материнские чувства. Иные матери потребовали бы, чтобы их дочь приняла столь лестное предложение с первого же раза, но разве могла я принудить Фредерику вступить в брак с человеком, ей ненавистным? И вот, вместо того чтобы прибегнуть к столь суровой мере, я даю ей возможность согласиться с моим выбором добровольно, создав ей условия, при которых она в конечном счете выйдет за сэра Джеймса. Но довольно об этой порядком надоевшей мне девчонке.

Вам, должно быть, небезынтересно узнать, как я провожу здесь время. Первая неделя тянулась мучительно долго, теперь, однако, ситуация изменилась к лучшему. К нашему обществу присоединился брат миссис Вернон, красивый молодой человек, который, очень может быть, скрасит мое существование. Есть в нем эдакая дерзость, развязность, с которой я буду бороться. Человек он живой и неглупый, и когда мне удастся внушить к себе большее уважение, чем то, каковое диктует ему любезное обращение со мной его сестры, думаю, с ним можно будет завести приятный флирт. Есть ведь особое наслаждение в том, чтобы подчинить себе дерзкого наглеца, заставить человека, против тебя настроенного, признать твое превосходство. Своей холодной сдержанностью я уже привела его в замешательство, попытаюсь смирить гордыню этих зазнавшихся де Курси и в дальнейшем, дабы убедить миссис Вернон в том, что ее сестринские предостережения были напрасны, а Реджинальда — что она оклеветала меня самым бессовестным образом. Это, по крайней мере, меня позабавит, и я не буду испытывать столь горьких чувств от разлуки с Вами и со всеми, кого люблю. Прощайте.

Всегда Ваша
С. Вернон.

Письмо *восьмое*

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Дорогая матушка,
похоже, Реджинальд у нас задержится. Он просит меня известить Вас, что установившаяся погода побуждает его принять приглашение мистера Вернона продлить свое пребывание в Сассексе, чтобы они могли вместе поохотиться. Он собирается немедленно послать за своими лошадьми, и предположить, когда он возвратится в Кент, невозможно. От Вас, дорогая матушка, я не стану скрывать своих чувств в связи с изменением

его планов, однако предпочла бы, чтобы Вы не делились этими чувствами с отцом, чье постоянное беспокойство за Реджинальда непременно перерастет в тревогу, которая может самым пагубным образом сказаться на его здоровье и душевном равновесии. За какие-нибудь две недели леди Сьюзен сумела влюбить в себя моего брата. Я убеждена, что у нас он собирается пробыть дольше, чем намеревался, не столько из-за желания поохотиться с мистером Верноном, сколько из-за сердечной привязанности, поэтому в этот раз я едва ли получу от общества брата то удовольствие, какое получаю обычно.

Коварство этой беспринципной женщины и в самом деле сводит меня с ума. Что может служить более убедительным доказательством ее происков, чем перемена, произошедшая с Реджинальдом, который по приезде настроен был против нее самым решительным образом? В своем последнем письме он привел мне некоторые подробности ее неприглядного поведения в Лангфорде, о чем ему поведал один джентльмен, прекрасно ее знавший, и к чему Реджинальд отнесся с безусловным доверием. Если только история эта соответствует действительности, поведение леди Сьюзен не может не вызывать отвращения. Уверена, собираясь к нам, он был о ней самого невысокого мнения; когда я их познакомила, было совершенно очевидно, что он полагал ее недостойной изысканного обращения и уважения и думал, что она будет счастлива вниманием любого мужчины, расположенного с ней пофлиртовать.

Надо отдать ей должное: она сделала все, чтобы развеять это мнение, в ее поведении не было решительно ничего предосудительного, ни капли самолюбия, претензии, ветрености. К тому же она так хороша собой, что восторг, в который пришел от нее Реджинальд, был бы совершенно естественным, не знай он о ней ничего до той минуты, когда состоялось их знакомство. Но вот то, что влюбился он в нее безоглядно, напрочь позабыв доводы рассудка и собственные убеждения, не может меня не удивлять. Поначалу его восхищение ею было хотя и велико, однако вполне понятно: его покорила ее мягкость и изысканность: но на днях он принялся расточать ей совершенно несообразные комплименты, вчера же заявил, что его нисколько не удивляет, что существо столь обворожительное и одаренное с легкостью покоряет сердце любого мужчины. Когда в ответ я стала сетовать на ее дурные поступки, он заметил, что какие бы просчеты в жизни она ни совершала, приписать их следует исключительно дурному воспитанию и раннему браку, вообще же она женщина совершенно удивительная.

Более всего меня раздражает его стремление во всем найти ей оправдание, забыть под воздействием страсти ее прегрешения, и хотя я понимаю, что Реджинальд в Черчилле человек свой и в приглашении продлить визит не нуждается, я, по правде сказать, пожалела, что муж вообще ему это приглашение сделал.

Верно, никаких иных целей, кроме кокетства и желания вызвать всеобщее восхищение, леди Сьюзен не преследует. Не могу представить себе, что она задумала нечто более серьезное, — и все же горько наблюдать, как у такого разумного молодого человека, как Реджинальд, голова идет от нее кругом.

Примите и проч.,
Кэтрин Вернон.

Письмо девятое

Миссис Джонсон – леди Сьюзен

Эдвард-стрит

Бесценный друг,
поздравляю Вас с приездом мистера де Курси и советую непременно его на себе женить — наследство его, говорят, значительно и почти наверняка неделимо и неотчуждаемо. Сэр Реджинальд сильно хворает и вряд ли протянет долго. У молодого человека, насколько мне известно, неплохая репутация, и хотя не родился еще мужчина, который был бы достоин Вас, дорогая моя Сьюзен, за мистера де Курси, мне кажется, побороться стоило бы. Мэнверинг, конечно же, будет негодовать, но Вы его легко усмирите. Не ждать же Вам, покуда *он* окажется свободен! Сэра Джеймса я видела: на прошлой неделе он приезжал на несколько дней в Лондон и не раз бывал на Эдвард-стрит. Я говорила с ним о Вас и о Вашей дочери — вы обе настолько живо присутствуете в его памяти, что он наверняка с удовольствием женится на любой из вас. Я внушила ему надежду, что Фредерика смягчится, и подробно рассказала об ее успехах. Я было отругала его за то, что он ухаживал за Марией Мэнверинг, однако он возразил, что делал это в шутку, и мы оба от души посмеялись над тем, какое ее постигнет разочарование. В общем, мы прекрасно провели время. Он все так же глуп.

Преданная Вам
Алисия.

Письмо десятое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Очень благодарна Вам, бесценный друг, за совет в отношении мистера де Курси, каковой, не сомневаюсь, Вы дали, будучи уверены в его целесообразности. Однако я вовсе не убеждена, что ему последую. Решиться на столь серьезное предприятие, как брак, я не могу, тем более что в настоящее время недостатка в средствах не испытываю и до смерти старшего де Курси от этого союза мало что выиграю. Между тем уже сейчас самолюбие мое удовлетворено: он в моих руках. Теперь он уверовал в силу моих чар и я могу наслаждаться плодами победы над тем, кто готов был меня невзлюбить и кого против меня настроили. Полагаю, что и сестра его убедилась, сколь невыгодно представлять одного человека другому в дурном свете, если предубеждениям этим противостоят ум и безукоризненные манеры. Мне совершенно очевидно, что перемена к лучшему в отношении ко мне ее брата действует ей на нервы, из чего следует, что она непременно нанесет мне ответный удар. Но коль скоро однажды мне уже удалось

заставить его усомниться в справедливости ее слов, думаю, я и на этот раз найду, чем ей ответить.

Мне доставляет удовольствие наблюдать, как он пытается со мной сблизиться, в особенности же — насколько он ко мне переменился после того, как на его доходящую до откровенной фамильярности дерзость я ответила сдержанно и с чувством собственного достоинства. И то сказать, с самого начала я вела себя весьма осмотрительно, я ни разу в жизни не кокетничала меньше, чем теперь, и это при том, что никогда прежде не испытывала столь сильного желания добиться успеха. Я всецело подчинила его себе остротой ума и глубокомысленными беседами, и сейчас он, беру на себя смелость утверждать это, по меньшей мере *по*лувлюблен в меня — без малейшего налета пошлого флирта. Веду я себя настолько мягко и ни на что не претендуя, что лишь миссис Вернон, которая в душе сознает, что заслужила мою месть за свои происки, может подозревать, будто такое поведение скрывает далеко идущие планы. Что ж, пусть думает и поступает, как считает нужным: я еще ни разу не видела, чтобы совет сестры помешал молодому человеку влюбиться по своему усмотрению. Сейчас у нас с ним устанавливаются отношения весьма доверительные, что-то вроде платонической любви. Что до *меня*, то дальше я не пойду ни за что: даже не будь я так сильно привязана к другому человеку, я бы никогда не полюбила того, кто смел столь дурно обо мне думать.

Реджинальд хорош собой и вполне заслуживает похвал, о чем Вы, надо полагать, слышали, — и вместе с тем он ни в какое сравнение не идет с нашим общим другом из Лангфорда. Он не столь изыскан, не столь обольстителен, как Мэнверинг, и ему не дано говорить те очаровательные пустяки, какие приятны и ему и окружающим. Впрочем, он вполне мил, без него было бы совершенно непереносимо каждодневно лицезреть поджатые губы моей невестки, а также слушать пустую болтовню ее супруга.

Ваш рассказ о сэре Джеймсе очень меня порадовал, и в скором времени я намереваюсь намекнуть Фредерике о своих планах.

Ваша и проч.
С. Вернон.

Письмо *одиннадцатое*

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Чем заметнее, дорогая матушка, становится влияние на Реджинальда леди Сьюзен, тем большее беспокойство оно у меня вызывает. В настоящее время их связывает очень тесная дружба, они часто и подолгу беседуют, и ей удалось с помощью самого искусного кокетства склонить его на свою сторону. Невозможно без тревоги наблюдать за тем, какая близость установилась между ними, да еще за такой короткий срок, хотя не думаю, чтобы брак с Реджинальдом входил в планы

леди Сьюзен. Вот почему я была бы рада, если бы Вы под любым благовидным предлогом уговорили Реджинальда вернуться домой. Что до него, то он вовсе не расположен покинуть нас, и это при том, что я много раз, насколько это позволяет мое положение хозяйки дома, намекала ему на пошатнувшееся здоровье отца. Она обладает над Реджинальдом поистине безграничной властью, ей удалось заставить его полностью изменить первоначальное мнение, и теперь он не просто забыл, как дурно она себя вела, но целиком ее поведение оправдывает. Ранее казавшийся Реджинальду вполне достоверным рассказ мистера Смита о ее лангфордских похождениях, о том, что она влюбила в себя не только мистера Мэнверинга, но и молодого человека, помолвленного с мисс Мэнверинг, теперь представляется ему гнусной клеветой. О чем он с горячностью и сообщил мне, искренне сетуя, что поверил наветам.

Вы не представляете, матушка, как я ругаю себя, что позволила ей переступить порог нашего дома! Ее приезд с самого начала вселял в меня беспокойство, однако я и помыслить не могла, какая опасность угрожает Реджинальду. Я знала, что обрекаю себя на весьма тягостное общение, но могла ли я вообразить, что брат мой попадет в любовные сети, расставленные женщиной, чьи жизненные принципы были ему столь хорошо известны и чей нрав еще совсем недавно — столь ненавистен?! Буду счастлива, если Вам удастся уговорить его уехать.

Любящая Вас
Кэтрин Вернон.

Письмо двенадцатое

Сэр Реджинальд де Курси – своему сыну

Парклендс

Я знаю, молодые люди, как правило, не посвящают никого, даже ближайших родственников, в свои сердечные дела. И тем не менее, мой дорогой Реджинальд, хочется надеяться, что ты окажешься выше тех, кому безразлична родительская тревога и кто считает себя вправе отказать отцу в доверии и пренебречь его советом. Как единственный сын и представитель древнего рода ты должен сознавать, что твое поведение не может не вызывать у родственников повышенный интерес, в особенности в таких делах, как женитьба, где на карту поставлено абсолютно все: твое собственное счастье, счастье твоих родителей, твое доброе имя. Я вовсе не утверждаю, что ты намерен принять столь ответственное решение единолично, не поставив в известность твою мать и меня или, по крайней мере, не убедившись, что мы одобряем твой выбор, но я боюсь, как бы известная особа, что так быстро расположила тебя к себе, не уговорила тебя сочетаться с ней законным браком, который непременно вызовет осуждение у всех, близких и дальних, членов твоей семьи.

Возраст леди Сьюзен — существенная помеха для такого брака, но дурная репутация — препятствие настолько серьезное, что в сравнении с

этим даже разделяющие вас двенадцать лет особого значения не имеют. Не будь ты так увлечен ею, приводить здесь примеры ее неподобающего поведения, столь хорошо всем известные, не имело бы смысла. Ее пренебрежение супружеским долгом, кокетство, сумасбродство и мотовство столь постыдны и столь печально известны, что о них в свое время знали буквально все — не забыты они и по сей день. Благодаря добросердечию мистера Чарльза Вернона семья наша всегда относилась к ее слабостям достаточно терпимо, и все же, несмотря на все его великодушные попытки найти ей оправдание, нам известно, что из самых корыстных побуждений она делала все, дабы расстроить его брак с Кэтрин.

Я уже немолод, здоровье мое пошатнулось, и мне бы очень хотелось, мой дорогой Реджинальд, чтобы ты встал на ноги как можно скорее. При моем достатке состояние твоей будущей жены большого значения для меня не имеет, но ее происхождение и репутация должны быть равно безукоризненны. В этом случае я могу обещать тебе, что дам согласие на твой брак с радостью и без промедления. Вместе с тем считаю своим долгом противостоять союзу, который может быть достигнут лишь посредством самого низкого коварства и в конечном счете сделает тебя несчастным.

Не исключено, что ее поведение объясняется лишь тщеславием, либо желанием вызвать восхищение человека, которого, как ей мнится, против нее настроили; однако куда более вероятно, что цели, которые она преследует, простираются гораздо дальше. Она бедна и, что естественно в ее положении, ищет выгодную партию. Твои права тебе хорошо известны: лишить тебя родового поместья не в моей воле. Обречь же тебя на бедность, покуда я жив, было бы мстительным поступком, до которого я едва ли когда-нибудь опущусь. Видишь, я чистосердечно делюсь с тобой своими чувствами и намерениями. Я вовсе не хочу тебя запугать, я полагаюсь на твой разум и сыновнюю любовь. Если же мне станет известно, что ты все-таки женился на леди Сьюзен Вернон, я потеряю покой, во мне умрет гордость, какую я всегда испытывал за своего сына, и я буду краснеть при виде его, при упоминании его имени, при одной мысли о нем.

Излив тебе душу, я, быть может, ничего более существенного этим письмом не добьюсь. Вместе с тем я считал своим долгом сообщить тебе, что твоя склонность к леди Сьюзен для твоих друзей секретом не является, и предупредить тебя о последствиях. Мне бы хотелось знать, по какой причине ты отказываешься теперь верить мистеру Смиту — еще месяц назад правдивость истории, которую он тебе поведал, не вызвала у тебя ни малейших сомнений.

Если ты подтвердишь, что лишь наслаждаешься беседой с умной женщиной и восхищаешься ее красотой и дарованиями, при этом вовсе не закрывая глаза на ее недостатки, — ты вернешь мне покой; если же такого подтверждения дать не сможешь, потрудись хотя бы объяснить мне, чем вызвана столь разительная перемена в твоем к ней отношении.

Остаюсь и проч.
Реджинальд де Курси.

Письмо тринадцатое

Леди де Курси – миссис Вернон

Парклендс

Дорогая Кэтрин,
к несчастью, твое последнее письмо застало меня в постели. Я простудилась, и у меня так слезились глаза, что я не сумела отказаться от помощи твоего отца, вызвавшегося прочесть мне его вслух, вследствие чего он, к моему великому сожалению, узнал о том, как ты тревожишься за своего брата. Я собиралась, как только зрение мне позволит, написать Реджинальду сама, дабы сообщить ему, чем рискует молодой человек его возраста и положения, сойдясь со столь коварной женщиной, как леди Сьюзен. Кроме того, я хотела напомнить ему, что теперь мы с отцом остались совсем одни и он бы скрасил нам долгие зимние вечера, которые мы принуждены проводить в полном одиночестве. Принесло бы такое письмо пользу или нет, теперь сказать трудно, сейчас же меня более всего заботит то, что сэр Реджинальд узнал о деле, которое мы с тобой намеревались от него скрыть. Стоило ему прочесть твое письмо, как он живо воспринял все твои опасения и, я уверена, с этой минуты непрестанно о них думает; с той же почтой он отправил Реджинальду длинное послание, в котором среди прочего требует объяснить, в результате чего так переменилось его отношение к леди Сьюзен, о поведении которой ранее он слышал столь ошеломляющие рассказы. Ответ пришел сегодня утром, и я отправляю его тебе вместе со своим письмом, ибо нахожу его весьма любопытным. Написан он с такой решимостью представить леди Сьюзен в положительном свете, что все заверения Реджинальда относительно женитьбы и проч. никоим образом меня не убеждают. Тем не менее я делаю все, чтобы успокоить твоего отца, и он, надо признать, прочитав ответ, волноваться стал немного меньше. Кто бы мог подумать, дорогая Кэтрин: твоя злополучная гостья не только помешала нам встретиться на Рождество, но и явилась причиной стольких треволнений. Поцелуй от меня милых деток.

Любящая тебя мать
К. де Курси.

Письмо четырнадцатое

Мистер де Курси – сэру Реджинальду

Черчилл

Дорогой отец,
только что получил Ваше письмо, которое, признаюсь, удивило меня несказанно. Видимо, я должен благодарить сестру за то, что, представив дело в ложном свете, она причинила вам с матушкой столько беспокойства. Мне не дано знать, отчего она сочла возможным поделиться с вами

своей тревогой из-за события, которое, могу Вас заверить, лишь ей одной представляется сколько-нибудь вероятным. Приписать леди Сьюзен подобные намерения значило бы отказать ей в блестящем уме, на что не осмеливаются даже злейшие ее враги; не вправе претендовать на обладание здравым смыслом и я, если в моем с ней обращении можно усмотреть матримониальные планы. Разница в возрасте и впрямь является непреодолимым препятствием, и я умоляю Вас, дорогой отец, успокоиться и не таить более подозрений, губительных для Вашего покоя и оскорбительных для нашего взаимопонимания.

Если я и провожу время с леди Сьюзен, то лишь затем, чтобы (как Вы сами выразились) насладиться беседой с женщиной выдающегося ума. Если бы миссис Вернон в своих письмах больше места уделяла тем нежным чувствам, какие я питаю к ней и к ее мужу, это было бы куда более справедливо по отношению к нам всем; к несчастью, у моей сестры создалось настолько превратное мнение о леди Сьюзен, что переубедить ее не представляется возможным. Из-за привязанности к своему мужу, каковая делает честь им обоим, она не может простить леди Сьюзен попытку воспрепятствовать их союзу, которая приписывается исключительно ее своекорыстию. Но в этом случае, как и во многих других, общество, предположив худшее — в то время как побуждения ее были не вполне понятны окружающими, — нанесло сей достойной даме тяжкое оскорбление.

Поверив слухам, порочащим мою сестру, леди Сьюзен сочла, что счастье мистера Вернона, к которому она всегда была очень привязана, совершенно несовместимо с этим браком. Это обстоятельство объясняет истинные мотивы поведения леди Сьюзен и снимает с нее всю вину, которую не замедлили на нее возложить. Оно также убеждает нас в том, сколь мало следует доверять досужим сплетням, ибо нападок не в состоянии избежать и самые достойные. Коль скоро даже моей сестре, живущей вдали от света и не имеющей ни склонности, ни возможности творить зло, не удалось избежать обвинений, вправе ли мы опрометчиво осуждать тех, кто вращается в обществе и подвергается постоянным соблазнам и кого обвиняют в проступках, которые эти люди предположительно могли бы совершить?

Не могу простить себе, что с такой легкостью поверил бессовестным измышлениям Чарльза Смита, выставившего леди Сьюзен в столь неблагоприятном свете, ибо сейчас я глубоко убежден: все его россказни — злостная клевета. Что же до ревности миссис Мэнверинг, то это было вымыслом от начала до конца, да и история о попытках леди Сьюзен переманить возлюбленного мисс Мэнверинг немногим правдивее. Эта юная леди стремилась обратить на себя внимание сэра Джеймса Мартина лишь потому, что человек он состоятельный и брак с ним был бы ей очень выгоден. Хорошо известно, что мисс Мэнверинг хочет поскорей выйти замуж, а потому сию особу невозможно жалеть по той лишь причине, что, потерпев поражение от женщины более привлекательной, она утратила возможность сделать весьма достойного человека глубоко несчастным. Леди Сьюзен вовсе не собиралась с ней соперничать и, обнаружив, сколь тяжело мисс Мэнверинг переживает неверность своего возлюбленного, приняла решение покинуть их дом, несмотря на все самые искренние попытки мистера и миссис Мэнверинг ее отговорить. У меня есть основания предполагать, что сэр Джеймс и в самом деле предложил леди Сьюзен руку и

сердце, однако ее в полной мере оправдывает то обстоятельство, что, узнав о его отношениях с мисс Мэнверинг, она незамедлительно покинула Лангфорд. Уверен, дорогой отец, что Вас убедит логика моих рассуждений и Вы сумеете отдать должное женщине, оскорбленной в своих лучших чувствах.

Мне хорошо известно, что, отправляясь в Черчилл, леди Сьюзен руководствовалась побуждениями самыми благородными. Ее благоразумие и осмотрительность достойны подражания, ее уважение к мистеру Вернону ничуть не уступает *даже* его великодушию, стремление же завоевать расположение моей сестры заслуживает того, чтобы к нему отнеслись более благосклонно. Леди Сьюзен — образцовая мать. Бесспорное доказательство ее материнских чувств в том, что она поместила дочь в надежное место, где ее образованием займутся должным образом; однако по той причине, что к своему чаду она не питает слепой и безоглядной любви, свойственной многим матерям, ее обвиняют в отсутствии нежности. Между тем всякий разумный человек, без сомнения, оценит ее продуманную материнскую заботу и вместе со мной пожелает Фредерике Вернон стать в будущем более достойной того трогательного чувства, какое испытывает к ней ее мать.

Итак, дорогой отец, я поделился с Вами своими мыслями о леди Сьюзен; из этого письма Вы узнаете, как восхищаюсь я ее талантами и как высоко ценю ее душевные качества. Если же Вы откажетесь верить моим заверениям, что страхи Ваши совершенно беспочвенны, то несказанно этим меня расстроите.

Остаюсь и проч.
Р. де Курси.

Письмо *пятнадцатое*

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Дорогая матушка,
возвращаю Вам письмо Реджинальда, радуясь от всей души, что отца оно успокоило. Передайте ему эти слова, однако, между нами говоря, меня это письмо убедило лишь в том, что у моего брата нет намерений жениться на леди Сьюзен в *настоящее* время, а вовсе не в том, что ему не угрожает опасность сделать это через три месяца. Ее поведение в Лангфорде описано им как весьма благонравное; как бы мне хотелось, чтобы он оказался прав, а между тем он явно находится под ее влиянием, и я склонна не столько верить тому, что он пишет, сколько сетовать на существующую между ними близость, которая угадывается в его рассуждениях на эту тему.

Мне жаль, что я вызвала его неудовольствие, но пока он так рьяно защищает леди Сьюзен, наши отношения едва ли изменятся к лучшему. Он и впрямь очень на меня сердит, и все же хочется надеяться, что в своих суждениях о ней я не была опрометчива. Бедняжка! Хоть у меня есть все

основания не любить ее, я не могу не испытывать к ней жалость, ибо в настоящее время она действительно очень расстроена, и есть отчего. От дамы, в чей пансион она поместила свою дочь, пришло сегодня утром письмо, где говорится, что мисс Вернон следует незамедлительно забрать домой, ибо она предприняла попытку бежать. По какой причине и куда она направлялась, остается загадкой, но коль скоро у пансиона безупречная репутация, леди Сьюзен есть от чего расстраиваться.

Сейчас Фредерике должно быть не меньше шестнадцати, и ей следовало бы вести себя осмотрительнее, однако девочка она, судя по тому, что о ней говорит мать, вздорная. Впрочем, произошло все оттого, что в детстве она была предоставлена самой себе, о чем ее матери не худо бы помнить.

Как только леди Сьюзен пришла к решению, что́ следует предпринять в этой ситуации, мистер Вернон отправился в Лондон в надежде уговорить мисс Саммерс оставить у себя Фредерику, а если успеха не добьется, привезти девочку в Черчилл, покуда не удастся найти ей другую школу. Тем временем ее светлость утешается тем, что подолгу бродит с Реджинальдом по аллеям парка; воспользовавшись происшедшим, она, надо полагать, всячески пытается его разжалобить. Подолгу говорит она о случившемся и со мной, причем весьма красноречиво; я бы даже сказала, если б не хотела показаться невеликодушной, *слишком* красноречиво для сердобольной матери. Но довольно о ее недостатках. Ведь она может стать женой Реджинальда. Упаси Бог! А впрочем, почему я должна быть прозорливее остальных? Мистер Вернон утверждает, что никогда еще не видел существа более опечаленного, чем ее светлость по получении письма из Лондона. Неужто он понимает в людях меньше моего?

Ей очень не хотелось, чтобы Фредерике разрешили приехать в Черчилл, и ее можно понять, ведь тем самым мы поощряем поступок, заслуживающий наказания. Впрочем, ее все равно больше некуда отправить — в любом случае, долго она здесь не пробудет.

“Была бы вам очень признательна, дорогая сестра, если б вы вели себя с ней построже, — заявила мне ее светлость. — Мне это будет нелегко, но я попытаюсь с этим смириться. Боюсь, я часто бывала к ней чересчур снисходительна, но нрав у моей бедной Фредерики таков, что она не переносит даже малейшего противодействия. Вы должны меня поддержать и воодушевить; если же вы считаете меня излишне мягкосердечной, то вам следует настоять на необходимости порицания”.

Все это звучит весьма убедительно. У Реджинальда же эта бедная глупышка вызывает негодование! Разумеется, леди Сьюзен не делает чести, что он так настроен против ее дочери, ведь судит он о ней с ее собственных слов.

Что ж, как бы ни сложилась его судьба, будем утешаться мыслью, что мы сделали все от нас зависящее, чтобы его спасти. Остается полагаться на волю небес.

Всегда Ваша и проч.
Кэтрин Вернон.

Письмо шестнадцатое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Ничто еще, дражайшая моя Алисия, не приводило меня в такое бешенство, как письмо, которое нынче утром я получила от мисс Саммерс. Моя девчонка, это исчадие ада, как выяснилось, попыталась убежать из школы. Никогда не думала, что она у меня такая чертовка, мне всегда казалось, что в ней есть верноновская покладистость, однако, получив от меня письмо, в котором я известила ее о своих планах, связанных с сэром Джеймсом, она предприняла попытку сбежать – иначе, во всяком случае, я ее поступок объяснить не могу. Вероятно, она собиралась отправиться в Стаффордшир к Кларкам – больше ей ехать было некуда. Но она будет наказана, она будет его женой. Я отправила Чарльза в Лондон попробовать, если получится, замять эту историю, ведь в Черчилле Фредерике делать нечего. Если же мисс Саммерс откажется ее у себя держать, Вы должны будете найти ей другую школу или же помочь мне немедленно выдать ее замуж. Мисс С. пишет, что не смогла добиться от юной леди объяснений ее странного поступка, что лишь убеждает меня в правильности моей догадки.

Фредерика будет молчать – она слишком робка и слишком меня боится, но даже если ее дядя, благодаря своей обходительности, что-нибудь у нее выведает, мне беспокоиться не о чем. Уверена, моя версия окажется ничуть не хуже. Если чем я и могу похвастаться, так это хорошо подвешенным языком. Хорошо подвешенный язык вызывает уважение и почет точно так же, как красота вызывает восхищение. Так вот, сейчас я имею отличную возможность продемонстрировать свой талант, ибо бóльшая часть времени уходит у меня на разговоры. Реджинальд готов вести непринужденную беседу, только когда мы с ним наедине, поэтому, если погода благоприятствует, мы часами бродим по парку. В целом Реджинальд мне очень нравится, он умен, и ему есть что сказать, вместе с тем он бывает резóк и раздражителен. Отличает его и какая-то странная мнительность: он требует подробнейших объяснений всему, что слышал про меня дурного, и вопросы будет задавать до тех пор, покуда все себе не уяснит.

Такого рода поклонник, признаться, не слишком мне по душе; куда больше мне импонирует нежный и свободный от предрассудков Мэнверинг: он настолько убежден в моих достоинствах, что считает меня правой во всем и с долей презрения относится к причудам вечно вопрошающего, сомневающегося сердца, постоянно проверяющего целесообразность своих чувств. У Мэнверинга и в самом деле есть все преимущества перед Реджинальдом, но нет возможности быть со мной. Бедный! Он наверняка извелся от ревности, о чем, впрочем, я вовсе не жалею, ведь любви без ревности не бывает. Он умолял меня позволить ему приехать в эти края и поселиться инкогнито где-нибудь поблизости, однако этó я ему настрого запретила. Непростительно поведение тех женщин, которые забывают, что пристало им делать, дабы не уронить себя в глазах света.

Всегда Ваша
С. Вернон.

Письмо семнадцатое

Миссис Вернон – леди де Курси

[170]
ИЛ 2/2002

Черчилл

Дорогая матушка,
в четверг вечером вернулся мистер Вернон со своей племянницей. Еще днем леди Сьюзен получила от него письмо, где говорилось, что мисс Саммерс наотрез отказывается оставить мисс Вернон у себя в школе. Мы, следовательно, были готовы к ее приезду и с нетерпением ожидали их весь вечер. Приехали они, когда мы пили чай, и должна сказать, что никогда прежде не приходилось мне видеть существа более запуганного, чем Фредерика.

Леди Сьюзен, которая пролила столько слез в ожидании дочери, встретила ее совершенно невозмутимо, не выдавая своих чувств. Она почти не разговаривала с ней, а когда Фредерика, стоило нам сесть за стол, разрыдалась, вывела ее из комнаты и довольно долго не возвращалась; когда же она наконец к нам присоединилась, глаза у нее были красные и выглядела она такой же взволнованной, как и до приезда дочери. Фредерика в тот вечер больше не появлялась.

Бедный Реджинальд был так опечален, видя, как расстроена его очаровательная подруга, он смотрел на нее так участливо, что я, заметив, с каким торжеством она поглядывает на него, с трудом себя сдерживала. Эта мелодрама продолжалась весь вечер, и столь нарочитое и искусственное выражение чувств окончательно убедило меня в том, что на самом деле она не чувствует ровным счетом ничего.

Леди Сьюзен стала вызывать у меня еще большую неприязнь с той минуты, как я увидела ее дочь. У бедняжки такой несчастный вид, что у меня сердце кровью обливается. Леди Сьюзен, несомненно, излишне строга с ней: у Фредерики не тот нрав, что требует строгих мер. Она робка, удручена и явно раскаивается в содеянном.

Она очень хорошенькая, хотя и не так красива, как леди Сьюзен, да и вообще мало на нее похожа. У нее тонкие черты лица, однако не столь яркие и впечатляющие, как у матери; скорее она пошла в Вернонов: овальное личико, кроткий взгляд темных глаз; когда она говорит со своим дядей или со мной, глаза излучают нежность – бесспорно, она испытывает благодарность за нашу доброту. Ее мать не раз намекала на то, что нрав у нее неуживчивый, однако мне ни разу не приходилось видеть лица, которое бы менее свидетельствовало о дурных наклонностях: и теперь, когда я имею возможность сравнивать поведение матери и дочери по отношению друг к другу – неизменную суровость леди Сьюзен и молчаливую удрученность Фредерики, – я лишь утверждаюсь в мысли, что мать никогда по-настоящему не любила свою дочь, не отдавала ей должного, не питала к ней теплых чувств.

Мне покамест не представился случай поговорить со своей племянницей: она застенчива, к тому же, если не ошибаюсь, *кому-то* не очень хочется, чтобы она проводила время со мной. Чем был вызван ее побег, пока не вполне понятно. По дороге сюда ее сердобольный дядюшка, как Вы догадываетесь, не задавал ей лишних вопросов, ибо боялся ее расстроить. Жаль, что за ней поехал он, а не я: за тридцать миль пути я бы все выяснила.

На днях, по просьбе леди Сьюзен, к ней в гостиную перенесли небольшое фортепияно, и бóльшую часть дня Фредерика проводит там. Называется это "упражнениями", однако из комнаты, когда бы я ни проходила мимо, не доносится ни единого звука. Чем она там занимается, ума не приложу, — в гостиной, правда, много книг, но ведь не всякая девочка из тех, что первые пятнадцать лет своей жизни были предоставлены сами себе, сможет или захочет их прочесть. Бедняжка! Вид, открывающийся ей из окна, не слишком-то поучителен: если помните, комната эта выходит на обсаженную кустарником лужайку, где, увлекшись беседой с Реджинальдом, часами прогуливается ее матушка. Если у девицы ее возраста такое зрелище не вызывает недоумения, она и в самом деле еще совсем ребенок. Согласитесь, подавать такой пример дочери непростительно. Между тем Реджинальд по-прежнему считает леди Сьюзен лучшей из матерей, а Фредерику никчемной девчонкой! Он убежден, что у нее не было никаких причин для побега. Быть может, так оно и есть, но коль скоро мисс Саммерс утверждает, что за все время пребывания на Вигмор-стрит мисс Вернон в своенравии или же в дурном поведении ни разу замечена не была, я не могу с легкостью поверить в то, в чем леди Сьюзен убедила брата и стремится убедить меня, а именно, что решение бежать из школы вызвано лишь нежеланием терпеть принуждение и выносить мелочную опеку наставников. О, Реджинальд, где, скажи, независимость твоих суждений?! Он не смеет даже назвать Фредерику красивой и, когда я говорю о ее красоте, отвечает лишь, что в ее глазах нет блеска.

То он говорит, что девочке не хватает ума, то во всем винит ее характер. Что ж, где обман, там непоследовательность. Леди Сьюзен, дабы оправдать свое собственное поведение, считает необходимым во всем винить Фредерику и, вероятно, иной раз полагает уместным обвинить ее в дурном нраве, а иногда — посетовать на отсутствие у нее здравого смысла. А Реджинальд лишь повторяет все это за ее светлостью.

Остаюсь и проч.
Кэтрин Вернон.

Письмо *восемнадцатое*

Та же – той же

Черчилл

Дорогая матушка,
я очень рада, что Вы с интересом прочли все, что касается Фредерики Вернон; я убеждена, что она заслуживает нашего внимания; когда же я поделюсь с Вами своими свежими впечатлениями, проявленный Вами интерес, уверена, возрастет еще больше. Я стала замечать, что девочка привязывается к моему брату, я часто вижу, как она не сводит с него глаз, в которых читается мечтательное восхищение! Он и в самом деле очень красив, к тому же есть в нем и столь располагающая к себе прямота, которую Фредерика не чувствовать не может. Стоит Реджинальду произнести что-нибудь забавное, как ее задумчивое, сосре-

доточенное личико озаряется улыбкой; если же разговор заходит на серьезную тему, она — не сочтите это преувеличением — не пропускает ни единого его слова.

Хорошо бы и *он* отдавал себе в этом отчет, ведь мы прекрасно знаем, что Реджинальд как никто другой умеет быть благодарным. Если б только чистосердечное чувство Фредерики отвлекло его от ее матери, мы бы благословили тот день, когда девушка впервые появилась в Черчилле! Думаю, дорогая матушка, Вы были бы не против такой невестки. Правда, она еще очень молода, образование у нее никуда не годится, у матери она могла научиться разве что ветрености — и вместе с тем я могу с полным основанием заявить, что она отличается добронравием и недюжинными способностями.

Хотя она и не получила подобающего воспитания, она тем не менее вовсе не так невежественна, как может показаться на первый взгляд: Фредерика любит книги и большую часть дня проводит за чтением. Сейчас ее мать занимается ею *еще* меньше, чем раньше, и я, пользуясь этим, стараюсь проводить с ней как можно больше времени, преодолеть, хоть это и нелегко, ее робость. Мы подружились, и хотя в присутствии матери Фредерика никогда не раскрывает рта, оставшись наедине со мной, она разговаривает вполне охотно, из чего следует, что, если б леди Сьюзен обращалась с ней должным образом, Фредерика бы от этого только выиграла. Живи она без принуждения — и во всем мире не было бы сердца более отзывчивого и любящего, нрава более покладистого. Ее маленькие кузены и кузины от нее без ума.

Любящая Вас
Кэтрин Вернон.

Письмо девятнадцатое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Я знаю, Вы хотите поскорей узнать, что же произошло с Фредерикой, и, вероятно, считаете, что я о Вас забыла. В прошлый четверг она приехала в Черчилл со своим дядей, и я, не мешкая, потребовала от нее объяснений; выяснилось, что я была совершенно права, связав попытку бежать из школы с моим письмом. Письмо это так ее напугало, что со свойственными девицам ее возраста своенравием и глупостью она решила выбраться из здания школы, сесть в дилижанс и отправиться к своим друзьям Кларкам; в результате она не дошла и до перекрестка, как ее, по счастью, хватились, поймали и привели обратно.

Таков был первый выдающийся поступок в жизни Фредерики Сюзанны Вернон, и если учесть, что поступок сей совершен был в нежном шестнадцатилетнем возрасте, у нас есть все основания строить самые радужные планы относительно ее великого будущего. Тем не менее я пришла в ярость от демонстрации неукоснительных правил приличия, воспрепятствовавших мисс Саммерс оставить девчонку у себя; проявленная ею щепетильность производит впечатление тем

более странное, что она не может не знать о семейных связях моей дочери, а стало быть, остается предположить только одно: эта дама боялась, что ей не заплатят. Как бы там ни было, Фредерика вновь сидит у меня на шее — что ж, коль скоро заняться ей нечем, пусть покамест помечтает о сэре Джеймсе. Да, она не на шутку влюблена в Реджинальда де Курси. Ей мало, видите ли, что, ослушавшись матери, она отказалась от весьма заманчивого предложения; она хочет вдобавок распорядиться своими чувствами по собственному усмотрению, не заручившись материнским согласием. Не было еще на свете девицы ее возраста, которая бы с бóльшим основанием претендовала на право считаться всеобщим посмешищем. В своих чувствах она столь откровенна и столь трогательно простодушна, что любой мужчина, надо полагать, ее высмеет и выкажет ей пренебрежение.

В любовных делах простодушие — недостаток, и глупа та девица, что простодушна от природы или от чувств. Я пока до конца не уверена, видит ли Реджинальд, что с ней творится, а впрочем, большого значения это не имеет: сейчас он относится к ней с безразличием, когда же поймет, что она в него влюблена, отнесется с презрением, только и всего. У Вернонов ее красота вызывает восхищение, на *него* же никакого действия не оказывает. В особой чести Фредерика у своей тетки — оттого, вероятно, что она так мало похожа на меня. Для миссис Вернон она отличная компаньонка, та ведь любит во всем быть первой, в любой беседе прослыть самой дальновидной и остроумной, а затмить ее Фредерика неспособна. Когда она приехала, я старалась помешать ее частым встречам с миссис Вернон, но потом успокоилась, понадеявшись, что Фредерика будет соблюдать те правила, которые я установила для их бесед.

Не подумайте только, что я, расслабившись, хоть на минуту забыла о своем намерении выдать ее замуж. Нет, я думаю об этом постоянно, хотя и не решила еще, как именно буду действовать. Устраивать все здесь, под пристальным оком четы Вернонов, мне бы не хотелось — в Лондон же пока я поехать не могу. А раз так, придется мисс Фредерике немного подождать.

Всегда Ваша
С. Вернон.

Письмо *двадцатое*

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Вчера, дорогая матушка, к нам пожаловал нежданный гость. Я сидела с детьми, когда они обедали, и вдруг услышала шум экипажа. Я вышла из комнаты и, спускаясь по лестнице, столкнулась с Фредерикой, которая стремглав взбежала по ступенькам и скрылась у себя. Я, не раздумывая, последовала за ней спросить, что произошло. "Боже! — вскричала она. — Он приехал! Сэр Джеймс приехал! Что мне теперь делать?!" Я ничего не поняла и попросила ее объясниться. В этот момент в дверь по-

стучали, это был Реджинальд, леди Сьюзен велела ему позвать Фредерику. "Это мистер де Курси, — сказала она, густо покраснев. — Мама послала его за мной, мне надо идти".

Мы спустились вниз, и я обратила внимание, с каким удивлением мой брат разглядывает перепуганное личико Фредерики. В столовой мы обнаружили леди Сьюзен и молодого человека благородной наружности, сэра Джеймса Мартина, того самого джентльмена, из-за которого, если помните, ее светлость соперничала с мисс Мэнверинг. Сей подвиг, впрочем, совершен был, как видно, не ради нее самой, его плодами должна была воспользоваться в дальнейшем ее дочь — сэр Джеймс по уши влюблен в Фредерику, и ее мать это увлечение всячески поощряет. Бедной же девочке он явно не нравится, и хотя внешность и поведение его безупречны, и мне, и мистеру Вернону он показался не слишком умным.

Фредерика была так смущена и испугана, что я ее искренне пожалела. Что же до леди Сьюзен, то к гостю она отнеслась со вниманием, однако особого удовольствия от встречи с ним, по-моему, не испытала. Сэр Джеймс не закрывал рта, многократно приносил мне свои извинения за то, что взял на себя смелость приехать в Черчилл, и смеялся куда больше, чем следовало; одно и то же он говорил по многу раз и трижды повторил, что видел миссис Джонсон несколько дней назад. Обращался он иногда и к Фредерике, однако куда чаще к ее матери. Бедняжка не смела раскрыть рта, сидела опустив глаза, то бледнея, то краснея, Реджинальд же наблюдал за всем, что происходило, в полном молчании.

По-видимому, в конце концов леди Сьюзен это надоело, она предложила пройтись, и мы, оставив мужчин одних, отправились за шалями.

Когда мы поднялись наверх, леди Сьюзен попросила меня уделить ей несколько минут, сказав, что хотела бы поговорить со мной без свидетелей. Мы прошли в мою комнату, и, как только дверь за нами закрылась, она произнесла следующий монолог. "Поверьте, — сказала она, — сегодняшний приезд сэра Джеймса явился для меня полнейшей неожиданностью. *Вам*, дорогая сестра, этот визит причинил неудобства, мне же как матери он весьма лестен. Сэр Джеймс так привязан к моей дочери, что он не мог более жить, не повидав ее. Молодой человек приятной наружности и безупречной репутации, он, быть может, пока излишне *многоречив*, однако через год-другой наверняка остепенится, в остальном же он настолько подходит Фредерике, что его нежные чувства доставляют мне огромную радость, и хочется верить, что и вы, и мой брат отнесетесь к этому союзу столь же благосклонно. Прежде я об этих намерениях не упоминала, полагая, что, покуда Фредерика учится в школе, лучше об этом не говорить; теперь же, придя к убеждению, что Фредерика уже не в том возрасте, чтобы помещать ее в пансион, и что брак ее с сэром Джеймсом не за горами, я собиралась в ближайшие дни сообщить вам и мистеру Вернону о своих планах. Надеюсь, дорогая сестра, вы поймете, чем было вызвано мое молчание, а также согласитесь, что подобные обстоятельства слишком волнительны, чтобы долго хранить их в секрете. Когда и вы будете выдавать вашу прелестную крошку Кэтрин замуж за человека, во всех отношениях столь же безупречного, вы поймете, что́ я сейчас чувствую, хотя, по счастью, у вас едва ли будут основания радоваться так же, как радуюсь сегодня я: Кэтрин, слава богу, хорошо обеспечена, и для нее, в отличие от моей Фредерики, не будет необходимости искать выгодного жениха".

Закончила же она тем, что потребовала от меня поздравлений, каковые, боюсь, прозвучали не слишком убедительно, ибо, находясь под впечатлением от ее неожиданных признаний, да еще на столь волнующую тему, говорила я, вероятно, излишне сбивчиво. Тем не менее она приняла горячо благодарить меня за проявленную заботу по отношению к ней и к ее дочери, а затем сказала:

"Я не сильна в душевных заверениях, моя дорогая миссис Вернон, и никогда не отличалась даром выражения чувств, мне чуждых, а потому, надеюсь, вы поверите, если я скажу вам, что, какие бы похвалы ни слышала я в ваш адрес до нашего знакомства, я и представить себе не могла, что когда-нибудь полюблю вас так, как люблю сейчас. Должна также сказать вам: я тем более дорожу вашей дружбой, что у меня есть некоторые основания полагать, будто в свое время предпринимались попытки восстановить вас против меня. Мне бы только хотелось, чтобы все те, кому я обязана столь благородными намерениями, видели, в каких отношениях мы сейчас находимся, сколь теплые чувства питаем друг к другу! Но не буду долее вас задерживать. Да благословит вас Бог за вашу доброту ко мне и моей девочке! Будьте и впредь счастливы!"

Что можно сказать о такой женщине, дорогая матушка? Казалось бы, столь неподдельные чувства, столь возвышенные слова! И тем не менее искренность всего ею сказанного вызывает у меня серьезные сомнения.

Что до Реджинальда, то он, похоже, теряется в догадках. Появление в нашем доме сэра Джеймса совершенно сбило его с толку. Глупость молодого человека, смущение Фредерики повергли его в смятение, и хотя короткая беседа с леди Сьюзен свое действие возымела, он, сдается мне, все же раздосадован тем, что она всячески поощряет интерес такого человека к ее дочери.

Сэр Джеймс довольно бесцеремонно напросился остаться у нас на несколько дней, выразив при этом надежду, что мы не сочтем это желание неуместным — он и сам сознает, сколь вызывающим может показаться его поведение: повел он себя как близкий родственник, каковым, впрочем, добавил он смеясь, он действительно может со временем стать. Даже леди Сьюзен была несколько смущена подобной развязностью — в душе она наверняка хочет, чтобы он поскорей убрался восвояси!

Если только я и ее дядя не ошибаемся в чувствах бедной крошки, мы должны ей каким-то образом помочь. Она не может быть принесена в жертву амбициям и холодному расчету, нельзя даже допустить, чтобы она испытывала по этому поводу страх. Девушка, отдавшая свое сердце Реджинальду де Курси — пусть он к ней и равнодушен, — заслуживает лучшей участи, чем стать женой сэра Джеймса Мартина. Как только мне удастся переговорить с ней с глазу на глаз, я узнаю истинное положение дел, однако, по-моему, она меня избегает. Надеюсь, здесь нет злого умысла и не окажется, что я была о ней слишком хорошего мнения. Во всяком случае, поведение Фредерики в обществе сэра Джеймса свидетельствует о ее величайшем смущении и застенчивости, но никак не о поощрении его чувств.

Прощайте, дорогая матушка.

Ваша и проч.
Кэтрин Вернон.

Письмо двадцать первое

Мисс Вернон – мистеру де Курси

Сэр,

надеюсь, Вы простите мне эту вольность: не окажись я в столь сложном положении, я бы ни за что не посмела вас тревожить. Сэр Джеймс Мартин – мое несчастье, и у меня нет иного способа облегчить свое положение, кроме как написать Вам – говорить на эту тему с дядей и тетей мне запрещено. А поскольку дело обстоит именно так, боюсь, что мое обращение к Вам Вы воспримете не более как уловку, будто я следую лишь букве, а не духу матушкиных распоряжений. Но если *Вы* не возьмете мою сторону и не уговорите ее отступиться, я сойду с ума, ибо переносить сэра Джеймса я не в состоянии. Вы единственный на свете человек, кого она может послушаться. А потому, если Вы за меня вступитесь и уговорите ее отослать сэра Джеймса прочь, я буду Вам обязана больше, чем можно выразить словами. Мне он не нравился с самого начала; уверяю Вас, сэр, с моей стороны это вовсе не внезапная причуда, я всегда считала его глупым, наглым и несносным – здесь же он ведет себя хуже, чем когда-либо. Я готова зарабатывать на жизнь тяжким трудом, лишь бы только не выходить за него замуж. Я знаю, мне нет прощения за то, что я написала это письмо, знаю, что с моей стороны это было неслыханной дерзостью, я сознаю, какой гнев оно вызовет у матушки, но иного выхода у меня не было. Остаюсь, сэр, Вашей покорной слугою,

Ф. С. В.

Письмо двадцать второе

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Нет, это непереносимо! Никогда еще, мой бесценный друг, не пребывала я в таком бешенстве и должна излить Вам душу, ибо знаю наверное, что Вы меня поймете как никто другой. Угадайте, кто приехал сюда во вторник? Сэр Джеймс Мартин собственной персоной! Можете себе представить мое изумление и раздражение – Вам-то хорошо известно, что его появление в Черчилле никогда в мои планы не входило. Как жаль, что Вы не знали о его намерениях. Мало того, что он заявился без предупреждения, – он еще вдобавок попросил разрешения остаться на несколько дней. Я готова была его убить; впрочем, воспользовавшись сложившейся ситуацией, я обо всем рассказала миссис Вернон, которая, какими бы ни были ее истинные чувства, ни словом мне не противоречила. С Фредерики я взяла слово, что она будет с сэром Джеймсом вежлива, и дала ей понять, что вопрос о ее браке с ним решен окончательно и бесповоротно. В ответ она пролепетала что-то о том, сколь безотрадной будет ее жизнь. Еще больше утвердилась я в целесообразности этого союза, наблюдая за тем, как

Фредерика увлечена Реджинальдом, и боясь, как бы подобное увлечение не сделалось взаимным. Как бы я ни презирала родившуюся из сострадания любовь, я вовсе не убеждена, что такое развитие событий невозможно. Правда, Реджинальд ничуть ко мне не переменился, однако в последнее время он часто упоминает Фредерику совершенно неожиданно и безо всякой нужды, а однажды даже высказал в ее адрес нечто весьма лестное.

Появление моего гостя было воспринято им с нескрываемым изумлением, и поначалу он наблюдал за сэром Джеймсом с вниманием, смешанным, к моему удовольствию, с ревностью, однако помучить его по-настоящему мне, увы, не пришлось, поскольку сэр Джеймс, хоть и был со мной мил до чрезвычайности, очень скоро дал всем понять, что сердце его отдано моей дочери.

Мне не составило труда убедить де Курси, оставшись с ним наедине, что меня этот союз при всех его недостатках совершенно устраивает, и таким образом все уладилось. Разумеется, они не могли не заметить, что сэр Джеймс не семи пядей во лбу, но я настрого запретила Фредерике жаловаться Чарльзу Вернону и его жене, чем лишила их возможности вмешиваться, хотя не сомневаюсь, что моя наглая невестка использовала бы для этого любой предлог.

Тем не менее все шло тихо и спокойно, и хоть я и считала часы, когда же сэр Джеймс наконец нас покинет, такое положение дел меня вполне устраивало. Вообразите же, каковы были мои чувства, когда внезапно все мои планы рухнули! И разрушил их тот, от кого я меньше всего этого ожидала. Сегодня утром ко мне в комнату входит Реджинальд и после короткого предисловия с важным видом принимается пространно убеждать меня в том, сколь ошибочно и неблагородно я поступаю, позволяя сэру Джеймсу Мартину свататься к моей дочери вопреки ее желанию. Признаться, я была потрясена. Когда же я поняла, что настроен он более чем серьезно, то потребовала от него объяснений, пожелав узнать, что побудило его завести со мной этот разговор и кто его уполномочил мне выговаривать. И тогда он сообщил, не скупясь на неуместные выражения нежных чувств, каковые я выслушала с полнейшим безразличием, что моя дочь познакомила его с некоторыми обстоятельствами, касающимися ее самой, сэра Джеймса и меня, чем крайне его встревожила.

Короче говоря, выяснилось, что она ему написала, попросив вмешаться, и что он, получив от нее письмо, побеседовал с ней, дабы вникнуть во все подробности дела и удостовериться в ее истинных намерениях.

У меня нет никаких сомнений в том, что девчонка воспользовалась этой возможностью, чтобы признаться ему в любви; в этом меня убеждает и то, *как* он о ней говорил. Что ж, он заслужил эту любовь! Мужчина, потворствующий страсти, которую сам он никогда не стремился разжечь и признания в которой никогда не добивался, ничего кроме презрения не вызывает. Мне ненавистны они оба. Он — за то, что ко мне равнодушен, в противном случае он не стал бы ее слушать; она, эта строптивая маленькая смутьянка, — за то, что ищет защиты у молодого человека, с которым едва успела перемолвиться словом. Мне одинаково претят и *ее* бесстыдство и *его* легковерие. Как посмел он поверить всему тому, что она говорила мне в осуждение?! Как мог усомниться в том, что у меня имелись самые веские причины поступить именно так,

а не иначе?! Где была его убежденность в моей мудрости и добродетели? Где было подсказанное истинным чувством негодование против существа, меня порочащего? И кого?! Ничтожества, девчонки, у которой нет ни талантов, ни образования и которую сам он всегда готов был презирать!

Некоторое время я не выдавала своего раздражения, однако даже самая большая выдержка не беспредельна и в дальнейшем я дала Реджинальду почувствовать мое неудовольствие. Он старался, старался изо всех сил заставить меня смягчиться, но глупа та женщина, что оскорблена и, однако же, поддается на комплименты. В конце концов он ушел рассерженный не меньше, а даже *больше* моего. Я была совершенно спокойна, он же преисполнен ярости и возмущения. Надо полагать, его гнев в самом скором времени уляжется и, может, исчезнет вовсе, мой же будет неукротим и впредь.

Сейчас он заперся в своих покоях, куда, выйдя от меня, тотчас же направился. Могу вообразить, в какие грустные размышления он погружен! А впрочем, человеческие чувства ведь неисповедимы. Я еще недостаточно успокоилась, чтобы повидать Фредерику. События сегодняшнего дня она забудет нескоро. Она убедится, что напрасно изливала свою израненную любовью душу, что в результате стала всеобщим посмешищем, вызвав крайнее возмущение своей оскорбленной матери.

Преданная Вам
С. Вернон.

Письмо двадцать третье

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Позвольте мне от души поздравить Вас, дорогая матушка: история, которая причинила нам столько огорчений, близится к счастливому концу. Наши надежды на успех весьма радужны, и поскольку все должно завершиться самым благополучным образом, мне искренне жаль, что я делилась с Вами своими опасениями: радость от миновавшей опасности едва ли искупает тяжкие переживания.

Я пребываю в столь возбужденном состоянии, что с трудом держу в руке перо, однако исполнена решимости послать Вам с оказией несколько строк, дабы объяснить то, что, вне всяких сомнений, несказанно Вас удивит, а именно, что Реджинальд возвращается в Парклендс.

Полчаса назад я сидела в гостиной с сэром Джеймсом, как вдруг меня вызывает мой брат. Я сразу поняла: что-то произошло — он раскраснелся, голос у него дрожал. Вы же знаете, матушка, как легко он возбуждается, если происходит что-то для него важное.

“Кэтрин, — сказал он, — я сегодня же возвращаюсь домой. Прости, что уезжаю, но мне пора — давно не видел родителей. Отправляю вперед Джеймса с моими лошадьми, можешь поэтому, если есть письма, передать с ним. Сам же я окажусь дома не раньше среды или четверга, так как должен еще заехать по делам в Лондон. Но прежде чем поки-

нуть Черчилл, — тут он понизил голос и заговорил с еще большим чувством, — я должен тебя кое о чем попросить. Воспрепятствуй тому, чтобы Фредерика Вернон была несчастна с этим Мартином. Он хочет жениться на ней, ее мать всячески этому способствует, она же об этом браке и помыслить не может. Уверяю тебя, я знаю, что говорю. Знаю, что Фредерика ждет не дождется, когда сэр Джеймс отсюда уедет. Она славная девочка и заслуживает лучшей участи. Немедленно с ним распростись. Сам-то он обыкновенный болван, но каковы планы ее матери, дано знать только небесам. Прощай, — добавил он, крепко пожимая мне руку, — не знаю, когда теперь увидимся. Но помни, что я сказал тебе про Фредерику. Ты обязана позаботиться о том, чтобы с ней поступили по справедливости. Она прелестна и очень умна, гораздо умнее, чем мы думали".

С этими словами он повернулся и побежал наверх. Остановить его я даже не пыталась, ибо понимала, какие чувства им владеют; что же до тех чувств, какие испытывала, слушая его рассказ, я, то передать их невозможно. С минуту я, ошеломленная и удивленная — радостно удивленная, — неподвижно стояла на месте; впрочем, чтобы испытать истинную радость от происшедшего, надо было успокоиться и все взвесить.

Спустя десять минут в гостиную вошла леди Сьюзен. Естественно, я полагала, что они с Реджинальдом поссорились, и взглянула на нее с тревожным любопытством, пытаясь отыскать на ее лице подтверждение своей догадки. Однако вид у этой непревзойденной обманщицы был совершенно невозмутимый. Поговорив со мной на какие-то несущественные темы, она словно невзначай обронила: "Я узнала от Уилсона, что мистер де Курси с нами расстается. Он и в самом деле сегодня покидает Черчилл?" Я ответила утвердительно. "Странно, еще вчера вечером он об этом и словом не обмолвился, — заметила она, смеясь. — Да и сегодня утром за завтраком тоже. Возможно, он и сам об этом еще ничего не знал. Молодые люди ведь часто принимают скоропалительные решения, которым, впрочем, далеко не всегда следуют. Не удивлюсь, если в последнюю минуту он передумает и никуда не поедет".

Вскоре после этого она вышла из комнаты. Хочется надеяться, дорогая матушка, что у нас нет оснований бояться, что Реджинальд и в самом деле передумает — история зашла слишком далеко. Вероятно, они действительно поссорились, и, скорее всего, из-за Фредерики. Невозмутимость леди Сьюзен меня поражает. Представляю, какую радость Вы испытаете, вновь увидев своего сына — по-прежнему достойного Вашей любви, по-прежнему способного доставлять своим родителям счастье!

Надеюсь, что в своем следующем письме я буду иметь возможность сообщить Вам, что сэр Джеймс уехал, леди Сьюзен потерпела поражение и у Фредерики спокойно на душе. Конечно, еще очень многое предстоит сделать, но все непременно устроится. Очень хочется поскорей узнать, чем все же вызван его внезапный отъезд. Кончаю тем же, с чего начала, — искренними поздравлениями.

Всегда Ваша
Кэтрин Вернон.

Письмо двадцать четвертое

Та же – той же

Черчилл

Могла ли я предположить, дорогая матушка, когда отсылала Вам свое последнее письмо, что ликование мое окажется столь скоротечным? Очень сожалею, что вообще Вам написала. Но кто мог заранее знать, что случится? Надежда, еще два часа назад меня окрылявшая, теперь исчезла. Леди Сьюзен и Реджинальд помирились, и все пошло по-старому. Правда, сэр Джеймс Мартин, по счастью, отбыл. На что же нам теперь уповать? Я и в самом деле очень разочарована. Ведь Реджинальд чуть было не уехал – лошади уже были заложены и только что не стояли у дверей! Еще мгновение – и мы были бы спасены!

В течение получаса я с минуты на минуту ждала его отъезда. Отослав Вам письмо, я пошла в кабинет к мистеру Вернону, где провела некоторое время, обсуждая случившееся. Затем я решила поискать Фредерику, которую после завтрака не видела. Я нашла ее на лестнице и обнаружила, что девочка плачет.

"Дорогая тетушка, – воскликнула она, – он уезжает, мистер де Курси уезжает, и это моя вина. Боюсь, что вы рассердитесь, но, честное слово, я даже представить себе не могла, что так получится!"

"Не стоит передо мной извиняться, душенька, – возразила я. – Я была бы благодарна каждому, кто способствовал возвращению брата домой. Дело в том, – нашлась я, – что его отец хочет поскорей с ним повидаться. Но скажи мне, какое отношение к его отъезду имеешь *ты?*"

"Я была так несчастна из-за сэра Джеймса, – сказала Фредерика, густо покраснев, – что с собой не справилась... Я знаю, я поступила очень дурно... но вы не представляете, как мне было тяжело... а мама велела ни под каким видом не говорить об этом с вами или с дядей... и ...". – "И поэтому ты обратилась к моему брату, попросив вмешаться *его*" , – перебила я, чтобы избавить ее от мучительных объяснений. "Нет, я ему написала. В самом деле. Сегодня утром я встала затемно... и два часа сочиняла письмо... когда же оно было написано, я никак не могла набраться смелости вручить его. Однако после завтрака, когда я шла к себе, мистер де Курси повстречался мне в коридоре, и, решив, что если я не передам письмо сейчас, то уже не передам никогда, я себя пересилила... Он был так добр, что сразу же его взял... я же, не посмев даже взглянуть на него, тотчас убежала. Меня охватил безумный страх. Вы не представляете, дорогая тетушка, как я была несчастна..."

"Фредерика, – сказала я, – обо всех своих несчастьях тебе следовало рассказать *мне.* Во мне ты нашла бы друга, всегда готового прийти тебе на помощь. Неужели ты думаешь, что твой дядя и я не оказали бы тебе столь же решительную поддержку, как и мой брат?"

"Разумеется, я не сомневалась в вашей доброте, – сказала она, и ее личико вновь залилось краской стыда, – но я подумала, что именно мистер де Курси сумеет уговорить маму. Однако я ошиблась, они повздорили, и вот теперь он уезжает. Мама никогда мне этого не простит, и мне будет еще хуже, чем раньше".

"Нет, — возразила я, — не будет. В подобных случаях тебе следует обращаться ко мне вопреки запретам твоей матери. Она не имеет никакого права обижать тебя, и я этого не допущу. От того же, что ты обратилась к Реджинальду, выиграли все. Все к лучшему. Даю тебе слово, больше мы тебя в обиду не дадим".

Каково же было мое изумление, когда в эту самую минуту я увидела Реджинальда, выходящего из комнаты леди Сьюзен. Меня сразу же охватило дурное предчувствие. Вид у него был явно смущенный. Фредерика мгновенно исчезла. "Ты едешь? — спросила я. — Мистер Вернон у себя".

"Нет, Кэтрин, — ответил он, — я передумал. Не уделишь ли мне несколько минут"?

Мы пошли в мою комнату. "Я осознал, — продолжал он, волнуясь с каждым словом все больше, — что действовал с присущей мне поспешностью. Я совершенно не понял леди Сьюзен и, неверно истолковав ее поведение, готов был покинуть твой дом. Произошла очень серьезная ошибка — полагаю, ошибались мы все. Фредерика не знает своей матери — леди Сьюзен желает ей добра, Фредерика же не хочет ей довериться. Вот почему леди Сьюзен не всегда может понять, что на пользу ее дочери, а что нет. К тому же *я* не имел никакого права вмешиваться — мисс Вернон не следовало ко мне обращаться. Короче говоря, Кэтрин, все сложилось крайне неудачно, однако сейчас счастливо разрешилось. Леди Сьюзен, насколько я понимаю, хотела бы, если ты не занята, переговорить с тобой о случившемся".

"Конечно", — сказала я, тяжело вздыхая; его рассказ показался мне малоубедительным. Я, однако, никаких замечаний себе не позволила, мне не хотелось тратить слова попусту. Реджинальд был рад, что может ретироваться, я же отправилась к леди Сьюзен — что-то скажет она?

"Помните, я вам говорила, — начала она с улыбкой, — что ваш брат нас не покинет?"

"Да, — сухо отвечала я, — однако я льстила себя надеждой, что вы ошибаетесь".

"Я бы не посмела высказать это предположение, — продолжала она, — если бы в ту минуту мне не пришло в голову, что его решение нас покинуть явилось следствием разговора, который состоялся у нас сегодня утром и результатом которого он был весьма недоволен, ибо между нами возникло недоразумение. Стоило мне прийти к этой мысли, как я немедленно сочла, что из-за этой размолвки, в которой, вероятно, я виновата не меньше, чем он, вы не должны лишаться общества вашего брата. Если помните, я почти сразу же вышла из комнаты с намерением немедленно исправить положение — насколько это возможно, разумеется. Вот как обстояло дело. Фредерика наотрез отказалась выходить замуж за сэра Джеймса".

"И вашу светлость это удивляет?! — с горячностью вскричала я. — Фредерика — девочка необыкновенно умная, чего про сэра Джеймса никак не скажешь".

"Меня ее отказ ничуть не смущает, — возразила она. — Напротив, радует, так как это лишь свидетельствует об уме моей дочери. Сэр Джеймс, спору нет, не Соломон (из-за своих мальчишеских манер он кажется глупей, чем есть на самом деле), и, обладай Фредерика проницательностью и способностями, которые я хотела бы видеть у своей дочери, или хотя бы имей я подозрение, что она совсем не глупа, — я бы не стремилась так к этому союзу".

"Странно, что только вы одна пребываете в неведении относительно ума вашей дочери", – сказала я.

"Фредерика никогда не умела показать товар лицом, – продолжала леди Сьюзен. – Она стеснительна и ребячлива. Кроме того, она меня боится. Пока был жив ее бедный отец, она росла избалованным ребенком, однако из-за строгости, в которой я была вынуждена в дальнейшем ее держать, ее привязанность ко мне притупилась; к тому же в ней нет той энергии, того блеска, которые сразу же бросаются в глаза".

"Скажите лучше, ей не довелось получить хорошего образования".

"Клянусь Богом, любезная миссис Вернон, что я в *полной* мере отдаю себе в этом отчет; вместе с тем мне хотелось бы забыть все то, что бросает тень на человека, память о котором для меня священна".

Тут она притворилась, что вот-вот расплачется. Я почувствовала, что начинаю терять терпение.

"А что ваша светлость имели сообщить мне о размолвке с моим братом?" – поинтересовалась я.

"Размолвка вышла из-за поступка моей дочери, в равной мере свидетельствующего о ее безрассудстве и о том страхе, который она, как я уже говорила, к несчастью, ко мне испытывает. Она написала мистеру де Курси письмо".

"Мне это известно. Вы же запретили ей говорить с мистером Верноном или со мной о причине своего горя, вот ей ничего и не оставалось, как обратиться к моему брату!"

"Боже милостивый! – вскричала она. – Как же дурно вы обо мне думаете! Неужто вы полагаете, что я подозревала, насколько она несчастна? Что я задалась целью обречь на страдания собственную дочь? И запретила ей говорить с вами на эту тему из страха, что вы воспрепятствуете моим дьявольским козням? Неужто вы думаете, что я совершенно бесчувственна? И способна принести несчастье *той*, способствовать чьему благополучию – мой первейший долг?! Как могли вы подумать такое?"

"И все же чем вы руководствовались, приказав ей молчать?"

"А какой, дорогая сестра, был прок обращаться к вам? Ведь в этом случае я вынуждала вас выслушивать мольбы, которые сама выслушивать отказывалась. Это было бы нежелательным и для вас, и для нее, да и для меня самой тоже. Ведь коль скоро я приняла решение, вмешательства со стороны, пусть и самого дружеского, я допустить не могла. Да, я ошиблась, это правда, но тогда мне казалось, что я поступаю правильно".

"В чем же состояла ошибка, на которую ваша светлость так часто ссылается? Как могло возникнуть у вас столь превратное представление о чувствах вашей дочери? Разве вы не догадывались, что сэр Джеймс Фредерике неприятен?"

"Я понимала, что это не совсем тот человек, которого бы она сама выбрала. Но мне казалось, что ее неприязнь вызвана вовсе не его скудоумием. А впрочем, дорогая сестра, лучше не расспрашивайте меня столь подробно об этом, – продолжала она, в порыве искреннего чувства стиснув мне руку. – Тут, честно вам признаюсь, есть что скрывать. Фредерика ужасно меня огорчает. Особенно тем, что обратилась к мистеру де Курси".

"Не вижу здесь ничего особенного, — возразила я. — Если ваша дочь привязана к Реджинальду, неприязнь, которую она питает к сэру Джеймсу, понятна не меньше, чем если бы источником этой неприязни была его глупость. При этом мне все равно непонятно, с какой стати было вашей светлости ссориться с моим братом из-за того, что он вмешался в это дело. Вы же понимаете, не в его натуре отказать, раз его так об этом просят".

"Человек горячий, он в запальчивости пришел упрекать меня за то, как я обошлась с несчастной девочкой, с этой страдалицей. Он целиком встал на ее сторону, и между нами возникло недоразумение. Он преувеличил мою вину, я же сочла его вмешательство менее простительным, чем нахожу сейчас. Я очень высокого о нем мнения и была крайне удручена, когда обнаружила, что он моим к нему отношением пренебрег. Мы оба погорячились и, конечно же, оба виноваты. Решение покинуть Черчилл он так же принял сгоряча; когда же я поняла, что́ у него на уме, и в то же время задумалась над тем, что мы, быть может, неправильно поняли друг друга, я решила, пока не поздно, с ним объясниться. Я питаю теплые чувства ко всем членам вашей семьи, и, должна признаться, меня бы очень огорчило, если бы мое знакомство с мистером де Курси закончилось столь печально. Смею вас уверить: теперь, когда я убедилась, что у Фредерики были основания испытывать к сэру Джеймсу неприязнь, я немедленно сообщу ему, чтобы он оставил всякую надежду на брак с нею. Я ругаю себя за то, что, сама того не сознавая, так ее этим мучила. Она будет вознаграждена за свои страдания, и если она ценит свое собственное счастье не меньше, чем ценю его я, если будет придерживаться здравых суждений и вести себя как подобает, ей не о чем беспокоиться. Простите же меня, дорогая сестра, за то, что отняла у вас столько времени, но я должна была выговориться; надеюсь, после этого объяснения я не упаду в ваших глазах".

Мне хотелось крикнуть: "Да уж больше некуда!", но, с трудом сдержавшись, я покинула ее, не сказав и двух слов. Мои нервы были напряжены до крайности. Начни я говорить, я бы не смогла остановиться. Ее самоуверенность, ее лицемерие... но не будем об этом — боюсь, Вы примете мои слова слишком близко к сердцу. У меня, во всяком случае, сердце сжимается, когда я пишу эти строки.

Немного придя в себя, я вернулась в гостиную. Экипаж сэра Джеймса уже стоял у дверей, и он, веселый и, как всегда, беззаботный, вскоре отбыл. Ее светлости ничего не стоит сначала обнадежить влюбленного, а затем прогнать его!

Несмотря на обретенную свободу, Фредерика по-прежнему печальна: возможно, она все еще страшится материнского гнева и, не желая отъезда моего брата, испытывает ревность при мысли, что он остается. Я вижу, как внимательно следит она за ним и за леди Сьюзен. Бедняжка, теперь-то ей не на что надеяться, ее чувство останется без взаимности! Правда, сейчас он относится к ней иначе, он отдает ей должное, однако его примирение с леди Сьюзен лишает ее всяких надежд на большее.

Итак, дорогая матушка, готовьтесь к худшему. Вероятность их брака несомненно возросла. Теперь он у нее в руках. Когда же это грустное событие произойдет, забота о Фредерике целиком ляжет на наши плечи.

Хорошо, что разница во времени между предыдущим письмом и этим невелика, ибо чем меньше будет длиться Ваша радость от первого письма, тем меньшее разочарование Вы испытаете от второго.

Всегда Ваша
Кэтрин Вернон.

Письмо двадцать пятое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Черчилл

Поздравьте меня, дорогая Алисия. Я вновь весела, я вновь торжествую победу. Когда я писала Вам несколько дней назад, я пребывала в большом раздражении – и не случайно. Не знаю, впрочем, имею ли я право почивать на лаврах – на восстановление мира у меня ушло куда больше сил, чем я могла предположить. У Реджинальда оказался гордый и крутой нрав: этот дерзкий мальчишка возомнил себя борцом за высшую справедливость! Я ему еще это припомню. Представьте, он чуть было не покинул Черчилл! Об этом, когда я дописывала Вам свое последнее письмо, мне сообщил Уилсон. Я поняла, что надо действовать: не могла же я допустить, чтобы мужчина, преисполненный праведного негодования, указывал мне на мои недостатки. Репутация моя пострадала бы, позволь я ему уехать настроенным против меня, – учитывая это, я была вынуждена отступить.

Я отправила к нему Уилсона сказать, что мне бы хотелось, прежде чем он уедет, с ним переговорить. Он явился незамедлительно. Вид у него был не столь рассерженный, как после нашей последней беседы. Он был, казалось, искренне удивлен, что я его вызвала, и выражение его лица было такое, словно он одновременно испытывает и желание, и страх пойти мне навстречу.

Если мое выражение лица соответствовало поставленной цели, то оно было сдержанным и достойным – и в то же время задумчивым: пусть знает, что меня что-то гнетет. "Прошу прощения, сэр, что позволила себе послать за вами, – начала я, – но, узнав о вашем намерении сегодня же покинуть этот дом, я сочла своим долгом просить вас ни в коем случае не сокращать из-за меня свое пребывание здесь. Я прекрасно понимаю: после того что между нами произошло, нам не пристало дольше оставаться под одной крышей. Столь решительная и бесповоротная перемена в наших еще совсем недавно доверительных, дружеских отношениях непременно превратит всякое дальнейшее общение в тяжкую пытку, и ваше решение покинуть Черчилл в полной мере соответствует как возникшей ситуации, так и сильным чувствам, столь вам свойственным. Вместе с тем я не могу допустить, чтобы из-за меня вы жертвовали собой и расстались с родственниками, к которым так привязаны и которыми так любимы. Мое пребывание здесь не может доставить мистеру и миссис Вернон того удовольствия, какое доставляет ваше общество, вдобавок визит мой и без того затянулся. Поэтому мой отъезд, который в любом случае не заставил бы себя долго ждать, можно с легкостью ускорить, тем более

что мне, поверьте, очень бы не хотелось способствовать разладу в столь дружной и любящей семье. Куда поеду я, безразлично всем остальным и несущественно для меня самой, *вы* же одинаково значимы для всех ваших близких". Этими словами я завершила свою речь, которая, смею надеяться, вам понравится.

Воздействие этого монолога на Реджинальда оправдало мои ожидания: оно было столь же благоприятным, сколь и незамедлительным. О, с каким восторгом наблюдала я за тем, как меняется выражение его лица, какая отчаянная борьба происходит между возвращающейся нежностью и остатками недовольства. Хорошо иметь дело с человеком, обладающим столь переменчивыми чувствами; нет, я вовсе ему не завидую, я ни за что не согласилась бы обладать ими сама, но подобная восприимчивость очень удобна, когда хочешь играть страстями другого. А ведь тот самый Реджинальд, который сразу же, стоило произнести всего несколько слов, мне полностью покорился, сделавшись еще более послушным, сговорчивым, преданным, чем прежде, мог бы, преисполненный гнева и гордыни, не пожелав даже выслушать мои объяснения, уйти, хлопнув дверью!

Хоть он и посрамлен, я не могу простить ему его гордыни; быть может, мне следовало бы наказать его, расставшись с ним сразу после нашего примирения, либо женив его на себе и терзая всю оставшуюся жизнь. Впрочем, подобные меры слишком жестоки и требуют длительных раздумий. В настоящее же время мысли мои заняты другим. Сделать мне предстоит немало. Я должна наказать Фредерику, причем наказать примерно, за ее обращение к Реджинальду; я должна наказать Реджинальда за то, что на ее просьбу он откликнулся с такой горячностью, да и за все остальное тоже. Я должна досадить своей невестке, всем своим видом и поведением торжествующей победу после отъезда сэра Джеймса — этим злополучным дурнем я вынуждена была пожертвовать, дабы вернуть себе Реджинальда, — и наконец, я должна расквитаться за все то унижение, какое испытала в эти дни. На этот счет у меня есть различные соображения. Кроме того, каковы бы ни были мои дальнейшие планы, я намереваюсь в самом скором времени оказаться в Лондоне, ведь это самое благоприятное поле деятельности, чем бы я ни занималась. В любом случае Ваше общество и столичные развлечения вознаградят меня за муки, что уже больше двух месяцев я вынуждена терпеть в Черчилле.

Не в моем характере, раз уж я задалась этой целью, отказаться от мысли выдать дочь замуж за сэра Джеймса. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу. Вы ведь знаете, уступчивость и сговорчивость, так ценимые многими, не те черты, какими я бы хотела обладать, да и причудам Фредерики, которые идут вразрез с мнением ее матери, равно как и ее праздному увлечению Реджинальдом, потворствовать не следует. Мой долг — развеять весь этот романтический вздор, а потому, принимая во внимание все вышесказанное, мне надлежит доставить ее в Лондон и незамедлительно выдать замуж за сэра Джеймса.

Когда же я настою на своем, можно будет гордиться хорошими отношениями с Реджинальдом. В настоящий же момент гордиться решительно нечем: хоть он по-прежнему в моей власти, я уступила в вопросе, из-за которого и вышла наша размолвка, а потому, даже если я и одержала победу, победа эта весьма сомнительна.

Сообщите мне Ваше мнение обо всем этом, моя дорогая Алисия, и дайте мне знать, можете ли Вы снять мне сносное жилье неподалеку от Вас.

Преданная Вам
С. Вернон.

Письмо двадцать шестое

Миссис Джонсон – леди Сьюзен

Эдвард-стрит

Я рада, что Вы ждете моего совета. Вот он: не теряя времени даром, приезжайте в Лондон, Фредерику же с собой не берите. Было бы куда разумнее упрочить собственное положение в обществе, выйдя замуж за мистера де Курси, чем вызывать раздражение у него и у всех членов семьи стремлением выдать Фредерику за сэра Джеймса. Вам следует больше думать о себе и меньше о своей дочери. Она не прибавит Вам уважения в свете, и в Черчилле, у Вернонов, мне кажется, ей самое место; *вы* же созданы для общества, и нелепо обрекать себя на жизнь вне его. А потому предоставьте Фредерике мучиться угрызениями совести за те страдания, которые она Вам причинила; пусть терзается от неразделенной любви, Вы же не мешкая отправляйтесь в Лондон.

Уговариваю Вас приехать еще по одной причине.

На прошлой неделе в Лондон прибыл Мэнверинг, которому, невзирая на мистера Джонсона, удалось найти возможность со мной увидеться. Он безумно страдает без Вас и до такой степени ревнует Вас к де Курси, что в настоящее время их встреча была бы весьма нежелательна. И все же, если Вы откажетесь от встречи с ним здесь, не поручусь, что он не совершит какой-нибудь опрометчивый поступок, к примеру, не отправится в Черчилл, что привело бы к самым ужасным последствиям. Если же Вы последуете моему совету и решитесь выйти замуж за мистера де Курси, Вам необходимо отделаться от Мэнверинга – уговорить же его вернуться к жене можете только Вы.

И еще одно соображение в пользу Вашего приезда. В следующий вторник мистер Джонсон уезжает лечиться в Бат, и, если воды будут способствовать его здоровью и моим желаниям, в обществе своей подагры он проведет не один месяц. В его отсутствие у нас будет возможность общаться с кем мы пожелаем и пожить наконец-то в свое удовольствие. Я предложила бы Вам переехать на Эдвард-стрит, не возьми он с меня слова никогда не приглашать Вас к себе домой. Поверьте, если бы не крайняя нужда в деньгах, я бы никогда не дала ему этого обещания. Могу, однако, снять Вам прелестную квартирку с гостиной на Аппер-Сеймур-стрит, и тогда мы все время будем вместе, у Вас или у меня, ведь согласно данному мною обещанию Вам возбраняется (по крайней мере, в его отсутствие) лишь ночевать у нас дома.

Чего только не рассказывает бедный Мэнверинг о ревности своей супруги! Впрочем, на верность столь обворожительного мужчины рассчитывать может лишь очень глупая женщина. К слову, она всегда была

непереносимо глупа — иначе не вышла бы за него замуж. Ведь он без гроша за душой, а она — наследница огромного состояния! Могла бы найти жениха познатней баронета! Выйдя же за него, она совершила поступок столь опрометчивый, что, хоть я, как правило, и не разделяю чувств мистера Джонсона, который был ее опекуном, простить ее я также никогда не смогу.

Прощайте,
Ваша Алисия.

Письмо двадцать седьмое

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Это письмо, дорогая матушка, Вам передаст Реджинальд. Его затянувшийся визит в Черчилл наконец подходит к концу, но, боюсь, расставание произошло слишком поздно и нам оно уже не поможет. *Она* уезжает тоже — в Лондон, повидаться со своей ближайшей подругой, миссис Джонсон. Поначалу она решила взять Фредерику с собой, для продолжения учебы, однако нам удалось ее отговорить. Фредерике ужасно не хотелось ехать, да и для меня мысль о том, что девочка будет целиком зависеть от матери, совершенно непереносима. Все столичные учителя, вместе взятые, не стоят ее душевного покоя. Опасение вызывает у меня и ее здоровье — вообще все, за исключением, пожалуй, жизненных принципов; *здесь*, как мне представляется, ей не способен повредить никто, даже ее собственная мать со своими друзьями. А ведь именно в обществе ее друзей (уверена, людей весьма сомнительных) или же в полном одиночестве она, должно быть, проводила большую часть времени — какое из двух зол худшее, сказать трудно. Если же она и впредь будет жить вместе с матерью, ей не избежать частых встреч с Реджинальдом, а этого мы допустить никак не можем.

Пока, однако, ей все это не грозит. Наши каждодневные занятия, наши книги и беседы, прогулки, дети и все прочие домашние радости, которые я могу доставить бедняжке, надеюсь, позволят ей постепенно забыть о пылком увлечении юных лет. Я бы ни на минуту в этом не усомнилась, не будь соперницей Фредерики ее собственная мать.

Сколько времени леди Сьюзен пробудет в Лондоне и вернется ли сюда вновь, мне неизвестно. Искренне просить ее вернуться я бы не смогла, но, если она все же сочтет нужным приехать, отсутствие радушия с моей стороны ее, естественно, не остановит.

Узнав, что ее светлость направляется в Лондон, я не удержалась и спросила Реджинальда, не намеревается ли он провести эту зиму в столице, и хоть он и ответил, что на сегодняшний день определенных планов на этот счет не имеет, что-то в его глазах противоречило его словам. Но довольно жалоб. Дело представляется мне решенным, и я в отчаянии покоряюсь судьбе. Если он в скором времени простится с Вами и уедет в Лондон, все будет кончено.

Преданная Вам
Кэтрин Вернон.

Письмо двадцать восьмое

Миссис Джонсон – леди Сьюзен

Эдвард-стрит

Бесценный друг,
пишу это письмо в глубокой печали – только что произошло нечто крайне неприятное. Мистер Джонсон изыскал способ досадить нам обеим. Полагаю, до него дошли слухи, что в ближайшее время Вы будете в Лондоне, и он ухитрился слечь с таким приступом подагры, из-за которого его поездка в Бат в лучшем случае откладывается, в худшем – отменяется вовсе. Я убеждена, подагрические приступы моего супруга начинаются и прекращаются по его собственному усмотрению; то же самое произошло, когда я собиралась с Гамильтонами на озера; три же года назад, когда в Бат захотелось поехать *мне*, он о подагре и думать забыл.

Я рада, что мое письмо оказало на Вас благотворное воздействие и что теперь де Курси безусловно Ваш. Дайте знать, как только приедете, главное же, сообщите, как Вы собираетесь поступить с Мэнверингом. Когда мне удастся Вас увидеть, сейчас сказать невозможно. Я повязана по рукам и ногам. Заболеть здесь, а не в Бате – уловка настолько дьявольская, что я совершенно собой не располагаю. В Бате вокруг него хлопотали бы его старые тетушки, здесь же уход за ним – целиком моя обязанность; к тому же боль он переносит с таким стоическим терпением, что я лишена возможности дать выход своему раздражению.

Всегда Ваша
Алисия.

Письмо двадцать девятое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Аппер-Сеймур-стрит

Дорогая Алисия,
мистера Джонсона я ненавидела всем сердцем и до его последнего приступа подагры, теперь же отвращение, которое я к нему питаю, поистине не имеет границ. Держать Вас взаперти! Использовать в качестве сиделки! Вы, моя дорогая Алисия, совершили непоправимую ошибку, выйдя замуж за человека его возраста. В его годы мужчины не обращают на женщин внимания, они сумасбродны и мучаются подагрой. Ваш муж слишком стар, чтобы доставлять удовольствие, и недостаточно стар, чтобы отправиться на тот свет.

Я приехала вчера к вечеру, часов около пяти, и не успела пообедать, как явился Мэнверинг. Знали бы Вы, какое удовольствие он мне доставил своим визитом, сколь велика разница между ним и Реджинальдом, причем никак не в пользу последнего. Я даже провела часа два в колебаниях, стоит ли вообще выходить замуж за Реджинальда, и хотя сомнение это слишком вздорно и нелепо, чтобы надолго задержаться в моем сознании, особого желания вступать с ним в брак я не испытываю, рав-

но как и не жду с нетерпением того дня, когда Реджинальд, согласно нашей договоренности, приедет в Лондон. Возможно даже, я под тем или иным предлогом его приезд отложу. Ему нельзя здесь появляться, покуда не уедет Мэнверинг.

Брак с Реджинальдом, повторяю, временами вызывает у меня большие сомнения. Если бы знать, что старик скоро умрет, я бы не колебалась; однако зависимость от капризов сэра Реджинальда непременно ущемит мою свободу; если же я приму решение дожидаться его смерти, то в оправдание отсрочки брака всегда смогу сказать, что овдовела совсем недавно.

Мэнверингу о своих намерениях я не сказала ни слова — мои отношения с Реджинальдом он счел не более чем заурядным флиртом и несколько успокоился. Прощайте же. От квартиры я без ума.

Всегда Ваша
С. Вернон.

Письмо тридцатое

Леди Сьюзен – мистеру де Курси

Аппер-Сеймур-стрит

Я получила Ваше письмо, и хотя, не скрою, была рада, что Вы с нетерпением ждете встречи, считаю необходимым срок нашего свидания отложить. Не сочтите подобное своеволие проявлением черствости и не обвиняйте меня в непостоянстве, не выслушав прежде мои резоны. По пути из Черчилла в Лондон у меня было довольно времени поразмыслить о нынешнем состоянии наших отношений, и я пришла к убеждению, что они требуют тактичности и осмотрительности, каковыми мы с Вами нередко пренебрегали. Наши чувства побуждают нас к поспешности, которая плохо сообразуется с требованиями наших друзей и мнением света. Мы действовали неблагоразумно, строя планы нашего скорого союза, не будем же усугублять это безрассудство: есть все основания опасаться, что друзья, чьим мнением Вы дорожите, не одобрят наших отношений.

Не нам обвинять Вашего отца за его желание подыскать Вам выгодную партию; когда состояние семьи столь велико, стремление его приумножить — в порядке вещей и не может вызывать удивления или негодования. Он имеет право настаивать, чтобы его невестка была женщиной состоятельной, и я иной раз ругаю себя за то, что позволяю Вам вести себя столь недальновидно. Впрочем, всякий, кто испытывает чувства, подобные моим, поддается доводам рассудка, увы, слишком поздно.

Овдовела я лишь несколько месяцев назад, и как бы мало ни была я обязана покойному супругу своим семейным счастьем, я не вправе забывать, что бестактность столь поспешного второго брака вызовет недовольство света и, что для меня еще более невыносимо, неудовольствие мистера Вернона. Я бы сумела перенести всеобщее порицание, однако упасть в *его* глазах мне было бы, как Вы сами хорошо понимаете, особенно тяжело; мучительным было бы и сознание того, что я поссорила Вас с Вашей семьей. От мысли, что я стала камнем преткновения в отношениях сына и отца, я как существо ранимое была бы глубоко несчастна даже с *Вами.*

А потому желательно отсрочить наш союз до тех пор, покуда события не будут нам благоприятствовать. Разлука пойдет нам на пользу. Нам не следует встречаться. Какой бы жестокой ни казалась Вам эта фраза, необходимость произнести ее, каковая только и может оправдать ее в моих устах, станет очевидной и Вам, если Вы посмотрите на наше положение в том свете, в каком я вынуждена была Вам его представить. Вы можете, нет, Вы должны быть уверены в том, что лишь долг вынудил меня, позабыв собственные чувства, настоять на длительной разлуке; в безразличии же к Вашим чувствам Вы вряд ли можете меня упрекнуть. Поэтому, повторюсь, пока нам не следует встречаться. Расставшись на несколько месяцев, мы успокоим миссис Вернон, которая, привыкнув наслаждаться всеми благами жизни, считает богатство непременным условием любого брака и которой не дано постичь наши с Вами чувства.

С нетерпением жду от Вас ответа. Напишите, что принимаете мои доводы и меня за них не упрекаете. Я не вынесу упреков. Я не столь самоуверенна, чтобы испытывать нужду в критике. Попытаюсь найти отдушину в светском обществе — по счастью, многие мои друзья сейчас в Лондоне, Мэнверинги в том числе. Вы ведь знаете, как я ценю их обоих, и жену и мужа.

Всегда преданная Вам
С. Вернон.

Письмо тридцать первое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Аппер-Сеймур-стрит

Любезный друг,
этот несносный Реджинальд здесь! Мое письмо, которое писалось затем, чтобы удержать его в Черчилле, лишь ускорило его приезд в Лондон. Как бы мне ни хотелось, чтобы его здесь не было, столь красноречивое свидетельство его сердечной привязанности не может не радовать. Он предан мне — душой и телом. Эту записку он отнесет Вам сам, она явится предлогом для знакомства, к которому он давно стремится. Позвольте ему провести этот вечер с Вами — тогда мне не будет грозить опасность, что он сюда возвратится. Я сказала ему, что не совсем здорова и должна побыть одна; если же он явится вновь, может получиться конфуз — на слуг ведь полагаться нельзя. А потому умоляю, задержите его на Эдвард-стрит. Собеседник он совсем неплохой, можете кокетничать с ним сколько вздумается. Вместе с тем не забывайте и о моем интересе: постарайтесь убедить его, что, если он останется в Лондоне, я буду глубоко несчастна. Мои доводы Вам известны: благопристойность и все прочее. Я бы уговорила его сама, но мне не терпелось поскорей от него избавиться — Мэнверинг будет у меня через полчаса. Прощайте.

С. В.

Письмо тридцать второе

Миссис Джонсон – леди Сьюзен

Эдвард-стрит

Моя дорогая,
я пребываю в ужасном смятении и не знаю, что мне делать – да и *Вам* тоже. Мистер де Курси явился в самое неудачное время. В ту же самую минуту вошла и миссис Мэнверинг и потребовала, чтобы ее немедленно проводили к ее опекуну. Впрочем, я узнала обо всем этом позже, ибо, когда она и Реджинальд приехали, меня дома не было – иначе я бы, разумеется, под любым предлогом отправила его восвояси. В результате она заперлась с мистером Джонсоном, а *он* тем временем дожидался меня в гостиной. Миссис Мэнверинг приехала еще вчера, выслеживая супруга, – возможно, впрочем, Вам уже это известно от него самого. К нам же она пришла просить мужа вмешаться, и еще до моего возвращения все, что Вы хотели скрыть, открылось. К несчастью, ей удалось выведать у слуги Мэнверинга, что его хозяин, с тех пор как Вы в городе, бывает у Вас каждый день. Она только что сама видела, как он звонил в Вашу дверь! Что мне было делать? Ведь факты – страшная вещь! Сейчас де Курси знает все, в данный момент он беседует с мистером Джонсоном. Не ругайте меня: предотвратить случившееся было не в моих силах. Мистер Джонсон уже давно подозревал, что де Курси хочет на Вас жениться, и, как только узнал, что он здесь, пожелал говорить с ним с глазу на глаз.

Эта гнусная миссис Мэнверинг, которая, хочу Вас порадовать, от ревности стала еще более тощей и уродливой, по-прежнему у нас – сейчас они шушукаются втроем. Что тут поделаешь? Если Мэнверинг еще у Вас, пусть поскорей уходит. Надеюсь, что он, по крайней мере, сумеет досадить своей жене. С тревогой и наилучшими пожеланиями,

преданная Вам
Алисия.

Письмо тридцать третье

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Аппер-Сеймур-стрит

Довольно досадное éclaircissement[1]. Как жаль, что Вас не случилось дома! Я-то полагала, что к семи Вы уж наверняка возвратитесь. Впрочем, я не падаю духом. Не терзайтесь из-за меня. Поверьте, перед Реджинальдом я оправдаться сумею. Мэнверинг ушел только что; о приезде жены он мне сообщил. Глупая женщина! Чего она хочет добиться этими интригами? И все же было б лучше, останься она в Лангфорде.

1. Éclaircissement (*франц.*) – прояснение; здесь – открытие.

Реджинальд, конечно, немного пошумит, но, как обычно, уже завтра к обеду все уладится.

Прощайте,

С. В.

Письмо тридцать четвертое

Мистер де Курси – леди Сьюзен

Гостиница

Пишу лишь затем, чтобы попрощаться. Колдовские чары развеялись. Теперь я вижу Вас такой, какая Вы есть. С тех пор как мы расстались вчера, человек, чей авторитет непререкаем, сообщил мне о Вас такое, что окончательно и бесповоротно убедило меня, в каком заблуждении я пребывал, а также в крайней необходимости порвать с Вами – незамедлительно и навсегда. Вы наверняка догадались, на что я намекаю. Да, речь идет о Лангфорде. Лангфорд – одного этого слова будет довольно. Сведения о происшедших там событиях я почерпнул в доме мистера Джонсона, от самой миссис Мэнверинг.

Вы знаете, как я любил Вас, и судить о моих нынешних чувствах можете как никто другой. Но я не настолько слаб, чтобы находить удовольствие в описании этих чувств женщине, которая торжествует оттого, что умеет разбивать сердца, оставаясь равнодушной.

Р. де Курси.

Письмо тридцать пятое

Леди Сьюзен – мистеру де Курси

Аппер-Сеймур-стрит

Не стану даже пытаться описать Вам то изумление, в какое повергла меня Ваша записка, полученная только что. Теряюсь в догадках, *что такого* могла сказать Вам миссис Мэнверинг, отчего Вы так ко мне переменились. Разве в свое время я не объяснила Вам сама все то, что в моем поведении могло показаться двусмысленным и что недоброжелательство света обратило против меня? Что на этот раз могло поколебать Ваше уважение ко мне? Разве я когда-нибудь что-то от Вас скрывала? Реджинальд, Вы пугаете меня сверх всякой меры. Я не могу себе представить, что старая история ревности миссис Мэнверинг вновь извлечена на свет. И что история эта может на кого-то *произвести впечатление.* Приезжайте немедленно и объяснитесь – я решительно отказываюсь понимать, что происходит. Поверьте, слово *Лангфорд* не столь многозначительно, чтобы заменить собой все остальные слова. Если же нам суждено расстаться, то будет, по крайней мере, прилично попрощаться

при личной встрече. Впрочем, у меня нет настроения каламбурить, я говорю серьезно: уронить себя, пусть всего лишь на час, в Ваших глазах — это унижение, которому я не могу себя подвергать. Приезжайте — я считаю минуты до нашей встречи.

С. В.

Письмо тридцать шестое

Мистер де Курси – леди Сьюзен

Гостиница

Зачем Вы мне писали? Зачем требуете объяснений? А впрочем, извольте. Вынужден заявить, что сведения о Вашем недостойном поведении при жизни и после смерти мистера Вернона, ставшие общеизвестными и дошедшие до меня, сведения, которым, прежде чем я Вас увидел, я полностью поверил, а затем под воздействием Ваших дьявольских талантов верить перестал, оказались абсолютно бесспорны. Больше того, теперь я убежден в том, о чем раньше не мог и помыслить: между Вами и человеком, чью семью в ответ на гостеприимство, Вам оказанное, Вы лишили покоя, не только существовала, но и по сей день существует недозволенная связь! Теперь я знаю доподлинно: после отъезда из Лангфорда Вы состоите с ним в переписке, именно с ним, а не с его женой! После Вашего приезда в Лондон он бывает у Вас всякий день. И вы еще можете, *смеете* это отрицать?! И все это время Вы поощряли, принимали мою любовь! Нет, я должен быть благодарен судьбе! Мне незачем жаловаться и тяжко вздыхать. Мне угрожало мое собственное безрассудство, своим же спасением я обязан доброте и великодушию другого. Но как утешить бедную миссис Мэнверинг, которая находится на грани умопомешательства?!

После этого открытия Вас едва ли удивит мое желание поскорей проститься с Вами. Я вновь пребываю в здравом уме и в равной мере питаю отвращение к хитроумным уловкам, на которые поддался, и презрение к самому себе за ту слабость, которой объясняется их успех.

Р. де Курси.

Письмо тридцать седьмое

Леди Сьюзен – мистеру де Курси

Аппер-Сеймур-стрит

Я удовлетворена и, написав эти несколько строк, не стану более Вас тревожить. Союз, к которому еще две недели назад Вы так стремились, не согласуется более с Вашими взглядами, и мне отрадно, что благоразумный совет, данный Вам Вашими родителями, не пропал даром. Не со-

мневаюсь, сей акт сыновнего послушания позволит Вам в самом скором времени обрести утраченный было душевный покой, и льщу себя надеждой, что в конечном счете обрету его и я.

С. В.

Письмо тридцать восьмое

Миссис Джонсон – леди Сьюзен

Эдвард-стрит

Ваш разрыв с мистером де Курси огорчил, но не удивил меня — о том, что отношения Ваши прекращены, он только что известил мистера Джонсона письмом, где говорится, что он сегодня же покидает Лондон. Поверьте, я всецело разделяю Ваши чувства, и не сердитесь на меня, если я скажу Вам, что и наше общение, даже письменное, придется в ближайшее время прекратить. Мне это крайне неприятно, но мистер Джонсон предупредил, что, если я буду и впредь поддерживать с Вами связь, он навсегда переедет в загородное поместье, а Вы сами понимаете, что на такую жертву, покуда остается хоть какой-то выбор, я пойти не могу.

Вы, разумеется, слышали, что Мэнверинги расстаются; боюсь, миссис М. вновь переедет к нам. Она тем не менее по-прежнему так любит своего мужа, так страдает из-за него, что, по всей вероятности, долго не проживет.

Мисс Мэнверинг только что приехала в Лондон к своей тете и, говорят, заявила, что не уедет, покуда сэр Джеймс Мартин не будет принадлежать ей. На Вашем месте я бы не раздумывая занялась им сама. Да, чуть не забыла поделиться с Вами своими впечатлениями о де Курси: я от него без ума, он, по-моему, ничуть не менее красив, чем Мэнверинг, у него такое открытое, честное лицо, что поневоле влюбишься с первого взгляда. С мистером Джонсоном они стали закадычными друзьями. Прощайте же, моя дорогая Сьюзен. Жаль, что все так неудачно сложилось. Ах, если б не этот злополучный визит в Лангфорд! А впрочем, все к лучшему — от судьбы ведь не уйдешь.

Искренне преданная Вам
Алисия.

Письмо тридцать девятое

Леди Сьюзен – миссис Джонсон

Аппер-Сеймур-стрит

Моя дорогая Алисия,
подчиняюсь необходимости расстаться с Вами. В сложившихся обстоятельствах Вы не могли поступить иначе. Наша дружба от этого не пост-

радает: в более счастливые времена, когда Вы будете так же независимы, как и я, мы соединимся вновь и будем по-прежнему близки, как раньше. Этого дня я буду ждать с нетерпением, пока же могу Вас заверить: никогда прежде не чувствовала я себя так легко и свободно, никогда не была так довольна собой, как теперь. Вашего мужа я ненавижу, Реджинальда презираю и счастлива от мысли, что никогда не увижу ни того, ни другого. Подумайте сами, разве нет у меня оснований радоваться? Мэнверинг предан мне больше чем когда-либо, и, будь он свободен, я вряд ли смогла бы ему отказать, если бы он предложил выйти за него замуж. Если его жена и в самом деле переедет к Вам, в Ваших силах будет это событие ускорить, направив ее бурные чувства, которые, надо полагать, сильно ее истощают, в нужное русло. Очень на Вас в этом отношении рассчитываю. Признаться, я чрезвычайно довольна, что избежала брака с Реджинальдом, и в равной степени намерена спасти от него Фредерику. Завтра я заберу ее из Черчилла, и тогда Марии Мэнверинг несдобровать. Фредерика покинет мой дом, только став женой сэра Джеймса. Пусть хнычет, сколько ей вздумается, пусть негодуют Верноны — я настою на своем. Мне надоело потакать чужим капризам, надоело изменять своим принципам в угоду тем, перед кем у меня нет никаких обязательств и к кому я не испытываю никакого уважения. Я слишком многим поступилась, слишком часто позволяла с собой не считаться — но с Фредерикой это не повторится.

Прощайте же, дражайшая из подруг. Желаю Вам, чтобы следующий приступ подагры был более ко времени. И чтобы Вы считали меня неизменно Вашей.

С. Вернон.

Письмо сороковое

Леди де Курси – миссис Вернон

Парклендс

Дорогая Кэтрин,
у меня для тебя чудесные новости, и не отошли я тебе письмо сегодня утром, тебя бы миновало огорчительное известие об отъезде Реджинальда в Лондон. Дело в том, что он вернулся, Реджинальд вернулся! И не просить нас дать согласие на его брак с леди Сьюзен, а сообщить, что они расстались навсегда! Приехал он всего час назад, и у меня не было возможности узнать обо всем подробнее; он так подавлен, что я боюсь задавать вопросы; надеюсь, впрочем, что скоро все выяснится. Большего счастья за всю его жизнь он нам не доставлял. Жаль только, что тебя нет сейчас с нами, мы бы очень хотели, мы были бы счастливы, если бы ты приехала как можно скорее. Ты ведь уже давно собираешься, который месяц! Надеюсь, мистер Вернон также найдет время, и, пожалуйста, возьмите всех моих внуков и, разумеется, твою прелестную племянницу — я давно мечтаю ее увидеть. Зима выдалась грустной и тягостной, Реджинальда не было, из Черчилла никто не приезжал, никогда еще это время года не казалось мне таким беспросветным — но теперь, с возвра-

щением Реджинальда, мы словно обрели вторую молодость. Я часто думаю о Фредерике, и когда Реджинальд вновь повеселеет (что, хочется верить, вскоре произойдет), мы попытаемся вновь лишить его покоя, и, надеюсь, не за горами тот день, когда их руки и сердца соединятся.

Любящая тебя мать
С. де Курси.

Письмо сорок первое

Миссис Вернон – леди де Курси

Черчилл

Дорогая матушка,
Ваше письмо меня несказанно удивило. Неужто они и в самом деле расстались — и навсегда? Я была бы на седьмом небе от счастья, если бы могла в это поверить, но после того, что я пережила, как можно быть в чем-то уверенной? Итак, Реджинальд дома! Я тем более удивлена, что в среду, в день его возвращения в Парклендс, нас совершенно неожиданно посетила леди Сьюзен, у которой был такой радостный и счастливый вид, как будто по возвращении в город ей предстояло пойти с ним под венец. Она провела у нас почти два часа, была, как всегда, обходительна и мила и ни единым намеком не выдала, что между ними произошла какая-то размолвка, какое-то охлаждение. Я поинтересовалась, не видела ли она в Лондоне моего брата; ответ, как Вы догадываетесь, я знала наперед — мне просто хотелось проследить за выражением ее лица. Однако леди Сьюзен, нисколько не смутившись, тут же ответила, что Реджинальд нанес ей визит в понедельник, однако сейчас, надо полагать, он уже вернулся домой. В ту минуту я ей, естественно, не поверила.

Мы с удовольствием принимаем Ваше любезное приглашение и в следующий четверг приедем в Парклендс вместе в детьми. Будем молить Бога, чтобы Реджинальд за это время вновь не сбежал в Лондон!

Мы бы, конечно, захватили с собой и нашу дорогую Фредерику, однако вынуждена с грустью сообщить, что леди Сьюзен приезжала специально затем, чтобы ее забрать, и, хотя девочка ужасно огорчилась, задержать ее было невозможно. Мне очень не хотелось ее отпускать, и ее дяде тоже, и мы сделали все, что было в наших силах, чтобы уговорить леди Сьюзен ее оставить. Однако, вопреки всем нашим уговорам и доводам, она заявила, что собирается пробыть в Лондоне несколько месяцев, и, сославшись на учителей и проч., хотела бы, чтобы дочь была с ней. Надо признать, вела она себя с девочкой на этот раз очень ласково, и мистер Вернон полагает, что впредь Фредерика будет окружена материнской любовью. Я на этот счет совсем другого мнения!

Разлука с нами повергла девочку в отчаяние. Я попросила ее, чтобы она писала мне как можно чаще и помнила, что, если она попадет в беду, мы всегда придем ей на помощь. Эти слова я изыскала возможность сказать ей наедине, и, мне кажется, она немного приободрилась. Я же не буду спокойна за нее до тех пор, пока не поеду в Лондон и собственными глазами не увижу, что у нее все хорошо.

Боюсь, тот союз, о котором Вы пишете в заключительной части Вашего письма, в настоящее время едва ли возможен. Будем надеяться, что в будущем вероятность его возрастет.

Ваша и проч.
Кэтрин Вернон.

Заключение

Обмен письмами, из которых читатель узнает о встречах одних и расставаниях других, не может, к величайшему огорчению чиновников почтового ведомства, продолжаться далее. Немногое можно узнать о положении дел и из переписки миссис Вернон и ее племянницы, ибо миссис Вернон вскоре поняла, что на ее письма Фредерика отвечает под пристальным надзором матери, и, отложив выяснение всех обстоятельств до собственного приезда в Лондон, перестала писать подробно и часто.

Выведав тем временем у своего прямодушного брата, что произошло между ним и леди Сьюзен, которая в результате пала в ее глазах еще ниже, она преисполнилась решимости забрать Фредерику у матери и самой заняться ее воспитанием и, хотя надеяться на успех особенно не приходилось, вознамерилась использовать все возможные средства для получения согласия своей невестки. Ей не терпелось как можно скорее выехать в Лондон, и мистер Вернон, который, как читатель уже, должно быть, догадался, жил единственно ради того, чтобы угождать жене, вскоре нашел для поездки подходящий повод. Сразу после приезда в столицу миссис Вернон нанесла леди Сьюзен визит и была принята с такой непринужденностью и искренним расположением, что едва не пришла от этого приема в ужас. Ни слова о Реджинальде, ни малейшего чувства вины, полное отсутствие смущения! Леди Сьюзен пребывала в превосходном настроении и, оказывая брату и сестре всевозможные знаки внимания, всем своим видом давала понять, как она ценит их доброту и какое удовольствие получает от их общества.

Фредерика изменилась ничуть не больше, чем леди Сьюзен — та же сдержанность, тот же робкий взгляд в присутствии матери убедили тетку, что девочке по-прежнему живется несладко и необходимо эту жизнь изменить. Вместе с тем леди Сьюзен вела себя с дочерью ласково, уговоры выйти замуж за сэра Джеймса прекратились, лишь однажды было вскользь замечено, что его в Лондоне нет; вообще весь разговор сводился к тому, что леди Сьюзен печется исключительно о ее благополучии и успехах и должна с радостью признать, что Фредерика день ото дня все больше становится такой, какой она желала бы ее видеть.

Миссис Вернон была всем этим так удивлена, что терялась в догадках, и хотя планы ее нисколько не изменились, она чувствовала, что теперь осуществить их будет гораздо сложнее. Надежда появилась, когда леди Сьюзен поинтересовалась, не кажется ли ей, что Фредерика выглядит хуже, чем в Черчилле, и поделилась своими сомнениями о благотворном влиянии на дочь лондонского климата.

Со своей стороны усомнилась в этом и миссис Вернон, которая без обиняков предложила, чтобы племянница вернулась к ним в Черчилл.

Леди Сьюзен была настолько тронута, что не сумела найти слов, дабы выразить невестке свою благодарность, однако по ряду причин не могла расстаться с дочерью и, заявив, что в самом скором времени, весьма вероятно, сама сможет увезти Фредерику из города, заключила, что, к сожалению, вынуждена от столь заманчивого и любезного предложения отказаться. Миссис Вернон тем не менее настаивала на своем, и хотя леди Сьюзен упорствовала в своем отказе, в течение последующих дней ее сопротивление несколько ослабло.

По счастью, опасность инфлуэнцы решила дело. Леди Сьюзен так испугалась за дочь, что иными соображениями более не руководствовалась. Почему-то именно инфлуэнца, по ее разумению, представляла несравненно большую опасность для здоровья дочери, чем любые другие недуги. Фредерика вернулась в Черчилл с дядей и тетей, а спустя три недели леди Сьюзен объявила о своем браке с сэром Джеймсом Мартином.

Тогда только миссис Вернон окончательно поняла то, о чем раньше лишь подозревала: она могла не тратить столько сил на уговоры, ибо решение отдать ей Фредерику леди Сьюзен приняла уже давно. Согласно первоначальной договоренности, Фредерика должна была пробыть у Вернонов полтора месяца, однако ее мать, написав, правда, дочери пару нежных писем с предложением вернуться, в конце концов сочла возможным согласиться на приглашение родственников продлить визит племянницы и в течение последующих двух месяцев перестала писать Фредерике о том, как ей ее не хватает, а спустя еще два месяца перестала писать ей вовсе.

Таким образом, Фредерику решено было оставить в семье дяди и тети до того времени, когда Реджинальд де Курси, вследствие душещипательных бесед, лести и уговоров, в нее влюбится, на что, покуда он справится с чувствами к ее матери, откажет себе во всех увлечениях и будет ненавидеть слабый пол, отводилось никак не меньше года. Обычно на это уходит три месяца, но ведь чувства Реджинальда были не только сильными, но и очень прочными.

Была ли леди Сьюзен счастлива в своем втором браке, установить очень трудно, ибо кто поручится за правдивость ее слов? Нам остается только гадать. Ясно одно — помешать ее счастью могли лишь ее муж и ее совесть.

Быть может, сэру Джеймсу и впрямь повезло меньше, чем обычно везет глупцам. Даже если это и так, пусть его жалеют те, кто преисполнен высшего милосердия. Я же, признаться, испытываю жалость лишь к мисс Мэнверинг. Ведь чтобы покорить сердце сэра Джеймса, она приехала в Лондон и выложила за наряды такую сумму, которая подорвала ее бюджет по меньшей мере на два ближайших года, — и все же была вынуждена уступить его женщине старше себя на десять лет.

Написано: 1793–1794,
год первой публикации 1871

Себастиан Хафнер

Биография одного немца

Воспоминания 1914–1933 годов.

Главы из книги

Перевод с немецкого Е. Колесова

От переводчика

Себастиан Хафнер родился в 1907 году в Берлине, по профессии он юрист с несколькими дипломами. В 1938 году ему удалось уехать в Англию — поводом была стажировка (тогда из Германии еще выпускали), но он решил покинуть Германию — если не навсегда, то, по крайней мере, надолго, пока в ней господствует нацистский режим. В Англии он работал журналистом, печатался в еженедельнике "Обсервер". В Германию вернулся в 1954 году; писал сначала для газеты "Вельт", потом для журнала "Штерн". Издал несколько исторических исследований, сразу ставших бестселлерами: "Черчилль", "Заметки о Гитлере", "От Бисмарка до Гитлера". Умер в 1999 году.

Его юношеские дневники и позднейшие комментарии к ним, положенные в основу книги "Биография одного немца" (1939), описывают реальность преднацистской и нацистской Германии. Отец Хафнера тоже был юристом, еще при кайзере, и с приходом к власти новой политической партии он вынужден был, унижаясь, заполнить анкету и с первым, и с пятым, и с семьдесят пятым пунктом, подводившим итог всем остальным: "Поддерживаете ли вы ныне существующий прогрессивный режим?"

Даже отказ заполнять эту анкету грозил Хафнеру-старшему потерей пенсии. А чем грозил отрицательный ответ на последний вопрос, было ясно и ему, и его сыну. Отец неделю боролся с собой, не желая уступать режиму озверелых сапожников. Сын же, автор будущей книги, сказал сразу: "Я уеду". И Хафнер-старший подписал все эти унизительные бумаги, чтобы дать хотя бы сыну возможность избежать грозящего кошмара.

И тот уехал, покинув родину.

Книга впервые вышла в 2000 году и сразу завоевала внимание читателей и критики. "Цайт" пишет: "Первая книга Себастиана Хафнера — по-настоящему блестящее открытие. Возможно даже, это лучшее его произведение".

© 2000 Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/München
© Е. Колесов. Перевод, 2002

Германия — ничто, однако каждый из немцев — это кто-то.

Гёте, 1808

В начале — самый главный вопрос: кто вы и что делаете в это великое время? Я отвечаю так: я тоже по-своему творю великое, ибо великими представляются мне все времена, когда человек, не имея иного выхода, кроме как встать на собственные ноги, несмотря на смертельное давление режима, хоть желая того, хоть не желая, сумел понять, что он — ЛИЧНОСТЬ! На этом можно пока и остановиться — вы меня поймете.

Петер Ган, 1935

1

ИСТОРИЯ, которую я хочу здесь рассказать, в большой мере напоминает дуэль.

Это была дуэль между двумя слишком неравными противниками: мощным, всесильным и безжалостным государством с одной стороны, и маленьким, никому не известным и ничем не выдающимся человечком — с другой. И дуэль эта происходила не на том игровом поле, которое обычно считают политикой: мой человечек не занимался политикой и уж тем более не был оппозиционером или "террористом". Просто он все время отступал в тень. Ему ничего не надо было, кроме как оставить за собой — хотя бы чуточку! — право быть собой, жить своей жизнью и радоваться своим радостям. Но именно этого то государство, в котором он жил и с которым вынужден был считаться, не желало ему позволить, всякий раз отнимая у него то одно, то другое, причем самыми жестокими, хотя и примитивными, способами.

Угрожая самыми страшными карами, такое государство требует от своего человечка, чтобы он продал своих друзей, предал любимую, расстался со своими убеждениями и принял взамен их то, что велят свыше, научился поднимать руку в таком приветствии, о котором никогда раньше не знал, чтобы он научился есть и пить не то, к чему привык, и делать то, что ненавидел с детства, а главное — чтобы он был готов в любой момент пуститься в любую затеянную государством авантюру, пусть даже его от нее воротит, забыв о своем прошлом и отказавшись от собственного "я", и к тому же принимал все это с восторгом и чувством глубокой благодарности.

Человечку же ничего этого не хочется. Это нападение, жертвой которого он оказался, застало его врасплох, он никогда не мечтал быть героем, а тем более — мучеником. Он обычный, средний человек со всеми присущими ему слабостями, к тому же дитя грозной эпохи, вот он этого и не хочет. И он отваживается на дуэль — без энтузиазма, скорее от безысходности; но тем не менее с решимостью не сдаваться. Конечно, он стократ слабее своего противника, зато намного гибче его, это очевидно. Мы увидим, как он предпринимает отвлекающие маневры, уступает

позиции и вновь внезапно отвоевывает их, как он балансирует на самой последней грани и избегает смертельных ударов в последний момент. И надо признать, что для среднего, ничем не выдающегося человечка, не способного ни на геройство, ни на мученичество, он держится очень хорошо. И все же однажды он будет вынужден прекратить борьбу — или, если хотите, перенести ее на другой уровень.

В роли государства здесь выступает Германский рейх, в роли человечка — я сам. Хроника нашего состязания увлекательна не более, хотя и не менее, чем хроника любого спортивного состязания (я, по крайней мере, на это надеюсь). Но рассказываю я об этом не ради вашего или моего развлечения. У меня есть цель, лично для меня очень важная.

Моя единоличная дуэль с третьим рейхом — не частный случай. Такие дуэли, когда маленький человек один-одинешенек пытается отстоять свое "я" и свою личную честь под давлением враждебного к нему государства, ничего не зная о своих товарищах по несчастью и не надеясь, что об этом вообще когда-нибудь станет известно человечеству, происходят в Германии каждый день в течение последних шести лет. Кое-кто из дуэлянтов — люди, более склонные к геройству или к мученичеству, нежели я, — достигли больших высот: за свои убеждения они пережили концлагерь, были сожжены в блоке смертников или как-то иначе заслужили память о себе в будущей жизни. Прочие же сдались гораздо раньше и числятся теперь в резерве СА или ходят в партпредседателях своего жилого блока, ворча потихоньку. Мой случай — самый что ни на есть средний. По нему легко понять, на что человек сегодня может рассчитывать в Германии.

И, вникнув, нетрудно убедиться, что рассчитывать ему не на что. Может быть, у нас было бы больше надежды, если бы внешний мир хоть как-то реагировал на все это. Я все еще верю, что внешнему миру не безразлично, есть ли нам еще на что надеяться. И он, наверное, мог бы — нет, не избежать войны, время для этого уже упущено, — но хотя бы сократить ее года на два, на три. Ибо те немцы доброй воли, которые пытаются отстоять свой личный мир и свою личную свободу, на самом деле, не зная того, отстаивают мир и свободу во всем мире.

Поэтому мне кажется, что моя попытка привлечь внимание мира к тому, что происходит в нашей никому толком не известной Германии, имеет смысл.

Эта книга — просто повествование, без какого бы то ни было морализаторства. Но тем не менее мораль в ней *есть*: так же как в "Вариациях на тему Энигмы" Элгара, она без слов присутствует незаметно, но неизменно. Если вы, закрыв книгу, забудете описанные в ней перипетии и сцены, я не огорчусь. Но буду рад, если вы *не забудете* ту мораль, о которой я умолчал.

2

Еще до того как тоталитарное государство взялось за меня и показало, что значит изучать историю на собственной шкуре, мне довелось пережить немало впечатляющих событий, которые принято называть "историческими". Это могут сказать о себе все европейцы ныне живущих поколений, а уж немцы тем более.

Все эти исторические события, разумеется, оставили след в наших душах, как в моей, так и у моих соотечественников; того, что произошло позже, нельзя понять, не поняв произошедшего ранее.

И все же между тем, что происходило до 1933 года, и тем, что было позже, есть разница: все прежнее прошло мимо нас, оно нас почти не задело, за вычетом немногих убитых или обнищавших; но оно не требовало от нас выбора между самосохранением и предательством. Внутренняя жизнь человека оставалась неприкосновенной. Люди учились новому, вырабатывали новые убеждения, но в принципе они оставались сами собой. Те же, кто по своей воле или по принуждению оказался втянут в шестерни третьего рейха, этого о себе честно сказать не сможет.

Судя по всему, исторические события бывают разного масштаба. Одно такое "событие" может почти никак не отразиться на реальной действительности, то есть на личной жизни отдельного человека, а другое может полностью разрушить ее, не оставив камня на камне. В учебниках истории этого не прочтешь. "1890: Вильгельм II принимает отставку Бисмарка". Дата, конечно, важная, пропечатанная в учебниках по истории Германии жирным шрифтом. Однако для любого отдельно взятого немца она не значила ровным счетом ничего, если не считать узкого круга приближенных ко двору лиц. Все продолжали жить, как жили. Ни одна семья не распалась, никто из друзей не рассорился по этому поводу, никому не пришлось срочно уезжать за границу. Не отменяли ни свиданий, ни театральных спектаклей. У кого была любовь без взаимности, тот с ней и остался. У кого была взаимная любовь — тоже. Бедные остались бедными, а богатые — богатыми... А теперь возьмите дату: "1933: Гинденбург провозглашает Гитлера канцлером". Это же целое землетрясение, разрушившее жизнь 66 миллионов человек!

Как уже было сказано, в прагматичных по-научному учебниках истории об этой разнице в значении исторических событий не говорится ничего. Тому, кто хочет узнать подробности, придется читать мемуары, причем мемуары не членов правительства, а самых что ни на есть обыкновенных людей, а такие мемуары редки. Но именно из них он узнает, что одно "историческое событие" пронеслось над жизнью отдельного человека, то есть над реальностью, как облако над морем; ничто не изменилось, лишь легкие тени отразились в воде. Другое же вызвало такую грозу и бурю, что моря и не узнать больше. А третье, возможно, заставит все моря пересохнуть.

На мой взгляд, историю нельзя понять, не учитывая этих личностных аспектов. А их-то как раз почти никто никогда не учитывает. Поэтому я, интереса ради, попробую сначала изложить двадцать лет предыдущей германской истории — так, как их понял и воспринял я, — прежде чем перейти к главной теме, к истории Германии, вошедшей в мою собственную жизнь. Излагать я их буду вкратце, чтобы только легче было понять, откуда взялось все последующее. Кроме того, так мы успеем ближе познакомиться друг с другом.

3

Моя сознательная жизнь началась с Первой мировой войны, как с удара гонга. Война для меня, как и для большинства европейцев, стала преждевременным концом летних каникул. Сразу скажу, что этот обрыв каникул был и остался для меня наибольшей травмой, которую нанесла мне та война.

С какой же милосердной внезапностью началась та война, если сравнить ее с мучительно медленным приближением войны теперешней! Первого августа 1914 года мы еще думали, что все обойдется, и нам не надо будет никуда уезжать от лета и солнца. Мы жили в деревенской усадьбе в Нижней Померании, вдали от городов, в лесах, которые я, тогда еще школьник, любил больше всего на свете. Мучительнее всего для меня была всегдашняя необходимость оставить мои леса в середине августа и ехать в город — для меня это была трагедия почти такая же, как сожжение новогодней елки после того, как праздники прошли. Но первого-то августа было еще не время, до конца каникул оставалось еще целых две бесконечные недели.

Тревожные вести приходили, конечно, еще до первого августа. В газетах появилось то, чего раньше не было: аршинные заголовки. Мой отец читал их дольше обычного, морща лоб и ругая австрияков, когда о них в газете заходила речь. Однажды в газете крупными буквами был напечатан заголовок: "Война!" Я впитывал в себя новые слова, значения которых не знал, то и дело прося взрослых объяснить, что такое "ультиматум", "мобилизация", "союзники", "Антанта". Наш сосед, майор, с обеими дочерьми которого я то дружил, то воевал, получил "повестку" — опять новое слово! — и внезапно уехал неведомо куда. Одного из сыновей хозяина нашей усадьбы тоже призвали. Когда он уезжал, все бежали вслед за повозкой, крича: "Победы тебе!", "Дай бог без ранений!" и "Мы тебя ждем!" Кто-то крикнул: "Бей сербов!" — и я, вспомнив, как отец ругался, прочтя газету, закричал: "И австрияков тоже!" И очень удивился, когда все вокруг почему-то засмеялись.

Но жальче всего мне было, когда я узнал, что из нашей усадьбы будут забирать коней, причем самых лучших — Ханса и Вахтеля, потому что они по каким-то спискам — боже, сколько у этого государства было всяких нелепых списков! — числились "в кавалерийском резерве". Я любил каждую из лошадей, живших в усадьбе, и расставание с двумя лучшими из них отозвалось в моем сердце новой болью.

И все-таки самое неприятное было то, что в семье у нас все чаще повторялось слово "уезжать": "Может быть, нам придется уезжать уже завтра". Для меня это звучало так же мрачно, как: "Может быть, нам уже завтра придется умереть". Ну почему же непременно завтра, когда до конца каникул остается еще целых две недели?!

Радио, если вы помните, тогда еще не было, а газеты добирались в наши леса с опозданием на сутки. Да в них ничего путного и не писали, если сравнить с газетами, выходящими в наши дни. Что говорить, дипломаты тогда меньше трепали языком... Короче, из всего этого выходило, что первого августа 1914 года нашей семье еще казалось, что войны не будет, а потому и переезжать в город смысла нет.

Я никогда не забуду это первое августа 1914 года — такого ощущения покоя, благоустроенности и безопасности я не испытывал потом никогда в жизни. Вот какой неожиданной стороной может обернуться личное переживание истории.

Была суббота, и в усадьбе царил мир и покой, как то бывает лишь на лоне природы. Все хозяйственные дела были уже закончены, коровы, звеня колокольчиками, возвращались в свои стойла, вся усадьба дышала покоем, наемные парни и девки разбрелись по своим каморкам, чтобы прихорошиться к очередным вечерним танцулькам. Внизу, в гостиной, украшенной оленьими рогами, с оловянными столовыми приборами и

старинными блюдами из фаянса на столе, в мягких креслах сидели отец и хозяин усадьбы, вполголоса обсуждая что-то. Забежав туда, я, конечно, не понял произносимых ими слов, а потом и вообще забыл их. Но я не забыл, как звучали их голоса: светлый, полный надежды голос отца и низкий, уверенный бас нашего хозяина, сопровождаемый приятным дымом сигары, медленно поднимавшимся к потолку, и пока они разговаривали, все было так спокойно, так хорошо и мирно. Тогда мне стало совершенно ясно: никакой войны быть *не может*, а значит, и в Боксхорн, на вокзал, нас ничто не гонит, и каникулы продолжатся, как всегда, до самой середины августа.

Когда я все это услышал, то вышел на улицу, и сердце мое так и пело от чувства облегчения, радости и благодарности; я почти молитвенно смотрел, как за лесами, вновь безраздельно принадлежавшими мне, садится солнце. С утра было пасмурно, но к вечеру распогодилось, и красно-золотое солнце парило в чистейшей голубизне, предвещая на завтра безоблачный день. Я был уверен, что бесконечные четырнадцать дней каникул, снова открывшиеся передо мной, будут такими же безоблачными.

На следующий день меня разбудили, когда сборы уже шли полным ходом. Сначала я не мог понять, что происходит: слово "мобилизация", которое мне пытались объяснить пару дней назад, для меня ничего не значило. А теперь ни у кого не было времени объяснять мне что-либо. Потому что собираться и уезжать нам надо было никак не позже полудня, иначе потом могло не быть поездов. "Ну, вот тебе и пополам", как выразилась одна наша горничная; что она имела в виду, я и теперь могу лишь догадываться, однако было понятно, что все пошло наперекосяк, и каждый теперь должен сам для себя решать, где ему быть и что делать. Поэтому мне удалось незаметно ускользнуть и направиться в свои леса, где меня и разыскали перед самым отъездом: я сидел на пеньке, обхватив голову руками, рыдая и не желая ничего слушать о том, что началась война и теперь каждому придется чем-то жертвовать. Меня кое-как погрузили в повозку, и она потащилась вслед за двумя гнедыми лошадками – не Хансом и Вахтелем, их уже забрали, – поднимая за собой тучи пыли, навсегда заслонившие все былое. С тех пор я больше никогда не видел лесов своего детства.

Это был первый и последний раз, когда я ощутил войну как реальность, испытав естественную боль человека, у которого отняли и разрушили самое дорогое. Уже в пути все стало иным – напряженным, опасным, каким-то торжественным. Путешествие в поезде продолжалось не семь часов, как обычно, а все двенадцать. Мы то и дело останавливались, пропуская составы с солдатами, и каждый раз все бросались к окнам, махали руками и кричали что-то ободряющее. Ехали мы не в отдельном купе, как всегда, а стояли в коридоре или сидели на чемоданах, в тесноте, среди множества людей, все время вздыхавших и переговаривавшихся не как чужие, а как если бы они были век знакомы. Больше всего говорилось о шпионах. За эту поездку я много узнал об опасной профессии шпиона, прежде вовсе мне не известной. Через все мосты мы переезжали очень медленно, и у меня каждый раз сладко замирало сердце: а вдруг какой-нибудь шпион подложил под мост бомбу! В Берлин мы прибыли уже за полночь. Никогда в жизни меня не укладывали спать так поздно! В квартире ничто не было готово к нашему приезду, мебель стояла в чехлах, кровати не застелены. Мне наскоро постелили на диване,

в пропахшем трубочным табаком кабинете отца. Нет, все-таки в войне есть своя прелесть!

В последующие дни я узнал очень много за очень короткое время. Я, семилетний мальчишка, совсем недавно почти ничего не знавший о войне, не говоря уж о таких вещах, как "ультиматум", "мобилизация" и "кавалерийский резерв", мог теперь с ходу, точно знал это всю жизнь, рассказать не только о том, что, как и где происходит на войне, но и ответить на вопрос "почему": мне было известно, что война началась из-за реваншизма французов, из-за торговой зависти англичан и из-за дикости русских. Я мог выговорить эти слова без запинки. В один прекрасный день я начал читать газеты и удивился, насколько легко сумел все понять. Я попросил карту Европы и с первого взгляда убедился, что "наши" без труда справятся с Францией и Англией; только огромные размеры России меня слегка ошеломили, но я быстро успокоился, узнав, что угрожающая численность русских фактически сводится на нет их невероятной тупостью, низостью и пьянством. Я усвоил — причем, как уже говорилось, так быстро, как будто знал всегда, — имена военачальников и численность армий, а также поверил в наивный энтузиазм и удивительную способность моего народа без малейшего сомнения или внутреннего конфликта поддаваться массовому психозу. (Возможно, эта способность призвана компенсировать недостаток таланта к индивидуальному счастью.) Я и подумать не мог, что кто-то откажется участвовать во всеобщем торжествующем безумии. Мне ни на миг не приходило в голову, что за этой атмосферой искреннего всеобщего праздника и веселья может таиться что-то злое или опасное.

Война тогда была для мальчишки-школьника в Берлине чем-то абсолютно нереальным: она была понарошку, как игра. Тогда еще не было ни воздушных налетов, ни бомб. Раненые встречались, но не часто, с живописными повязками. Кто-то из семьи уходил на фронт, это правда, и иногда приходили похоронки. Но на то ты и ребенок, чтобы быстро привыкнуть к чьему-то отсутствию; а то, что это отсутствие однажды становилось невосполнимым, уже ничего не меняло. Повседневные лишения и неудобства были не в счет. Хуже стали питаться — да, это чувствовалось. Потом были и голодные дни, и стучащие деревянные подошвы башмаков, и перелицованные костюмы, и сбор костей и вишневых косточек всей школой, и, что было совсем непривычно, частые заболевания. Однако на меня это все, признаться, не производило глубокого впечатления. Нет, я не чувствовал себя "маленьким героем". Я вообще никем особенным себя не чувствовал. Просто я думал о еде так же мало, как мало думает о ней болельщик на финальном матче чемпионата по футболу. Сводки с фронта меня интересовали гораздо больше, чем то, что будет сегодня на обед.

Сходства с футбольным болельщиком тут даже больше, чем кажется. Я тогда, ребенком, был таким же азартным "военным болельщиком", какими бывают любители футбола. Но я был бы несправедлив к себе, если бы сказал, что на меня подействовала та пропаганда ненависти, с помощью которой с 1915 по 1918 год власти пытались воскресить в народе энтузиазм первых месяцев войны. Французов, англичан и русских я ненавидел не больше, чем болельщик какого-нибудь "Портсмута" ненавидит поклонников "Вулвергемптона". Разумеется, я желал им поражения и всяческих неудач, но лишь потому, что такова была оборотная сторона победы и удач "наших".

Что было в счет, так это азарт военной игры — игры, в которой определяемые по каким-то загадочным правилам сотни пленных, километры завоеванных территорий, захваченные укрепления и потопленные корабли играли примерно такую же роль, как голы в футболе или "очки" в боксе. Я постоянно вел в уме "таблицу очков". Читая в газетах сообщения с фронта, я "пересчитывал" их по своим секретным, выдуманным правилам, согласно которым, например, десять пленных русских приравнивались к одному пленному французу или англичанину, а пятьдесят самолетов — к одному кораблю-броненосцу. Если бы печатали данные об убитых, то я бы наверняка включал в свою таблицу и их, не представляя себе, как воочию выглядят те, кого я себе таким образом подсчитываю. Это была бесконечная тайная игра, манившая своим греховным азартом, она заслоняла все, заменяя собой реальную жизнь, затягивая, как рулетка или курение опиума. Я и мои товарищи играли в нее всю войну, четыре года подряд, безнаказанно и без всяких помех — и именно *эта* игра, а не безобидные детские "войнушки", которые мы иногда тоже устраивали на улицах и во дворах, наложила на всех нас свой неизгладимый отпечаток.

4

Возможно, кому-то покажется, что рассказывать в таких подробностях об очевидно неадекватной реакции одного ребенка на мировую войну не стоило. Разумеется, не стоило бы приниматься за это, если бы речь шла о единичном случае. Но в том-то и дело, что этот случай далеко не единичен. Таким же или очень похожим образом войну воспринимало целое поколение немцев в свои детские или юношеские годы. И это было именно то поколение, которое сейчас готовит новую войну.

Оттого что эти люди были тогда детьми или подростками, воздействие войны на них и память о ней нисколько не ослабевают — даже наоборот! Реакции массового сознания и сознания детей очень похожи. Трудно представить себе что-то более ребяческое, чем те концепции, которыми пичкают и приводят в движение массы. Да и подлинные идеи, чтобы стать историческими силами, способными двигать массы, требуют прежде всего упрощения до форм, доступных восприятию ребенка. Поэтому взгляды, вбивавшиеся в умы детей четырех следовавших один за другим школьных выпусков, через двадцать лет вполне способны превратиться в чертовски серьезное "мировоззрение", управляющее большой политикой.

Война как большая, волнующе-увлекательная игра народов, доставляющая гораздо больше развлечений и эмоций, нежели все то, что может предложить человеку мирное время, — вот что заполняло повседневную жизнь школьных выпусков с 1914 по 1918 год и вот что стало потом психологическим "позитивом" нацизма. Вот откуда взялись его привлекательность, его простота, его безудержные фантазии и жажда деятельности — и вот откуда его нетерпимость и жестокость по отношению ко внутриполитическим противникам: кто не хочет играть в нашу игру, тот не заслуживает даже быть "врагом", он просто вонючка. И наконец, оттуда же идет его "естественное" восприятие соседнего государства как военного противника: "сосед" — это неинтересно, значит, ты будешь "врагом", иначе какая же это игра!

Потом, конечно, нацизм впитал в себя многое другое, и его сущность модифицировалась. Но корни есть корни, и кроются они не в солдатской "памяти о войне", а именно в восприятии войны как игры тогдашними немецкими школьниками. Поколение солдат почти не дало настоящих нацистов, среди них гораздо больше "ворчунов да молчунов", что вполне понятно, потому что тот, кто действительно прошел войну, вряд ли станет воспринимать ее так. (Исключения бывают, согласен: есть вечные вояки, для которых военная действительность со всеми ее ужасами — самая подходящая среда, и они ее ищут потом вновь и вновь, и есть вечные "неудачники", которых эти ужасы и разруха только радуют; так они мстят жизни, в которой не сумели ничего добиться. К первому типу, видимо, принадлежит Геринг, ко второму — определенно Гитлер.) Но в целом поколение нацистов — это те самые люди, которые родились в первом десятилетии века, с 1900 по 1910 год, и войны как таковой не видели, восприняв ее только как большую игру.

...Без всяких помех? Мне могут возразить, что люди все-таки голодали. Это правда; однако я уже говорил, что голод ничуть не мешал моей игре. Возможно, он даже способствовал ей. Сытые, хорошо питающиеся люди не склонны к фантазиям и иллюзиям... Но и нас, во всяком случае, голод от иллюзий не освободил. Мы к нему, так сказать, привыкли. После этого у нас даже остался своеобразный иммунитет к недоеданию — еще одна из характерных и, пожалуй, самых привлекательных черт этого поколения.

Мы рано приучились обходиться в еде минимумом. Большинству из ныне живущих немцев пришлось пройти школу недоедания трижды: первый раз в войну, второй раз во время сумасшедшей инфляции и третий раз сейчас, под лозунгом "пушки вместо масла". Можно сказать, что в этом смысле мы люди закаленные и небалованные.

Поэтому я позволю себе усомниться в правоте расхожего утверждения, что немцы отказались продолжать мировую войну из-за голода. В 1918 году они голодали уже три года, и 1917 год был для них более голодным, чем 1918-й. Я думаю, что немцы прервали войну не потому, что изголодались, а потому что осознали свое военное поражение и дальнейшую бессмысленность этой войны. Как бы то ни было, немцы и теперь вряд ли откажутся из-за голода от нацизма или от Второй мировой войны. Они уверены, что голодание — это добродетель и что плохого в нем уж во всяком случае ничего нет. За эти годы они стали народом, который прямо-таки стесняется своей естественной потребности в еде, и это парадоксальным образом помогло нацистам, так и не сумевшим накормить свой народ, превратить голод в средство, пусть косвенно, но все же служащее пропаганде режима.

Каждого "недовольного" они публично обвиняют в том, что он недоволен лишь из-за отсутствия сливочного масла и кофе. Недовольных сейчас в Германии и в самом деле хватает, но причины у их недовольства совсем иные и в большинстве случаев гораздо более весомые, — роптать по поводу плохого питания они бы не стали. О перебоях с продуктами в Германии вообще говорят гораздо меньше, чем можно подумать, читая нацистские листки. Недовольный немец скорее предпочтет промолчать, чем прослыть человеком, которого волнует одна жратва.

Мне, как я уже сказал, это представляется одной из самых привлекательных черт современных немцев.

5

За четыре года войны я постепенно утратил ощущение того, что такое мирное время и как оно выглядит. Мои воспоминания о временах до войны постепенно поблекли. Я не мог представить себе дня без вестей с фронта. Такой день был бы лишен для меня всей своей прелести. Ну что еще, в самом деле, в нем могло быть интересного? Школа с письмом и арифметикой, потом с историей и латынью, игры с друзьями, прогулки с родителями – разве это жизнь? Смысл жизни и прелесть дню придавали очередные военные события; когда шло большое наступление с пятизначными цифрами пленных и "многочисленными трофеями в виде оружия и снаряжения", это был праздник, открывавший бесконечный простор для фантазии, и жизнь била ключом, почти так же, как потом, когда мы влюблялись. Когда велись лишь скучные оборонительные бои или "планомерное стратегическое отступление", тогда и жизнь казалась серой, "войнушки" с товарищами не доставляли никакой радости, а школьные задания были вдвое скучнее обычного.

Каждый день я ходил к полицейскому участку в двух кварталах от нашего дома: там на черной доске вывешивали сообщения с фронта, чуть не за сутки до того, как они попадали в газеты. Это был узенький белый листок, иногда длинный, иногда короткий, разукрашенный там и сям заглавными готическими буквами, явно позаимствованными из какого-то допотопного набора. Чтобы расшифровать их, мне приходилось вставать на цыпочки и запрокидывать голову. Но у меня хватало терпения и любопытства проделывать это каждый день.

Как уже говорилось, я толком не представлял себе, что такое мир, зато хорошо представлял себе нашу "окончательную победу". Эта великая победа, в которую рано или поздно обязаны были сложиться все маленькие победы, упоминаемые в "Вестях с фронта", была для меня примерно тем же, чем для правоверного христианина – грядущее наступление Страшного суда и воскресение умерших во плоти, или приход мессии для правоверного иудея. Она виделась многократно умноженным воплощением малых побед, бесследно вычеркивавшим все цифры взятых пленных, территорий и трофеев. Я ожидал этой окончательной победы с нетерпением и некоторым замиранием сердца, ведь она, так или иначе, была неизбежна. Неясно было лишь, что интересного останется у нас в жизни после нее.

Нашей окончательной победы я продолжал ждать в июле и даже еще в октябре 1918 года, хотя был не настолько глуп, чтобы не замечать все более мрачного тона сообщений с фронта и не понять, что надежд почти не осталось. Разве мы не разбили Россию? Разве "наши" не завоевали Украину, способную снабдить нас всем необходимым для победы? Разве мы, наконец, не заняли почти всю Францию?

И я, конечно, не мог не видеть, что взгляд на войну у очень, очень многих людей, да практически у всех, теперь совершенно изменился, хотя мой взгляд на нее несколько лет назад сложился именно из того, о чем думали и говорили все – я и приобрел его только потому, что он был тогда общепринятым! Какая досада, что именно сейчас война всем разонравилась, – сейчас, когда достаточно лишь небольшого усилия, чтобы вести с фронта сменили свой мрачный тон "неудавшихся контратак" и "планомерных отступлений на заранее подготовленные позиции" на сияющие летним солнцем доклады: "Прорыв в тыл противника на трид-

цать километров", "Диспозиция войск противника полностью разрушена" и "Взято тридцать тысяч пленных!"

Стоя в очереди за искусственными медом и молоком — мать и служанка не успевали стоять во всех очередях, и мне иногда приходилось помогать им, — я слушал, как женщины ругают войну, не понимая ее высокого смысла. И слушал не всегда молча: время от времени я подавал свой еще детский голосок, чтобы объяснить им — "нам надо только продержаться еще немного". Женщины в ответ на это сначала смеялись, потом удивлялись, а потом чаще всего умолкали в неуверенности или в печали. И я уходил победителем спора, самозабвенно помахивая бидоном порошкового молока... Однако вести с фронта не становились от этого отраднее.

А потом, начиная с октября, кругом заговорили о революции. Она надвигалась, как война, поражая внезапно возникающими новыми словами и понятиями, и, как война, наступила практически неожиданно. Однако этим параллель и исчерпывается. Война, что бы о ней ни говорили, была чем-то целостным, это было дело, которое имело шансы на успех, по крайней мере вначале. О революции же этого было сказать нельзя.

Большое значение для всей последующей германской истории имело то, что начало войны, несмотря на все несчастья, которые за ним последовали, осталось и сохранилось для всех в памяти хотя бы немногими днями незабываемого подъема и ощущения полноты жизни, тогда как революция 1918 года, принесшая в конечном итоге мир и покой, оставила практически у всех немцев лишь самые печальные воспоминания. Уже одно то, что война начиналась в прекрасные солнечные дни, а революция — в дождливые ноябрьские холода, послужило в глазах людей не в пользу последней. Хоть это и примитивно звучит, но это правда. Позже республиканцы почувствовали это на себе: недаром они не любили напоминаний о девятом ноября и никогда широко его не отмечали. Нацисты, превознося август четырнадцатого и всячески затирая ноябрь восемнадцатого года, играли наверняка. В ноябре 1918 года война уже кончилась, и женщины вновь обрели своих мужей, а те внезапно получили в подарок еще целую жизнь, однако ни у тех, ни у других не было ощущения радости, которое они могли бы связать с этой датой; они видели горе, разруху, страх, а слышали лишь стрельбу по ночам, чьи-то вопли да ноябрьский дождь за окном.

Лично для меня революция тоже ничего не изменила. В субботу я прочел в газете, что кайзер отрекся от престола. Меня удивило лишь, что этому событию было отведено так мало места, — заголовки, посвященные нашим военным победам, были в свое время гораздо крупнее. На самом деле кайзер тогда еще не совсем отрекся, хотя об этом уже написали все газеты. Официальное отречение последовало позже, но тогда оно уже никому не было интересно.

Больший шок, чем заголовок "Отречение кайзера", вызвало внезапное переименование воскресного выпуска "Теглихе рундшау"[1] в газету "Роте фане"[2]. Там были какие-то революционеры-типографщики, которые этого добились. Содержание газеты от этого изменилось мало, да и новое заглавие уже через несколько дней уступило место старому. Вот небольшая, но значимая деталь революции 1918 года.

1. Ежедневное обозрение (*нем.*).
2. Красное знамя (*нем.*).

В то воскресенье я впервые услышал выстрелы. За всю войну я выстрелов не слышал ни разу. Теперь же, когда война уже кончилась, в Берлине начали стрелять. Открыв окна в одной из комнат, выходивших во двор, мы услышали далекие, но отчетливые пулеметные очереди. Мне было очень не по себе. Кто-то объяснял, чем отличается звук тяжелого и легкого пулемета. Звуки доносились со стороны дворца. Что это было — оборонялся берлинский гарнизон? Выходит, революция проходит не так уж гладко?

Если у меня в тот миг и зародились какие-либо надежды — а я тогда, что явствует из вышеизложенного, был всей душой против революции, — то уже на следующий же день мне пришлось с ними расстаться. То была всего лишь бессмысленная перестрелка между двумя революционными отрядами, каждому из которых хотелось первым занять район Марсталь. Революция, без сомнения, победила.

Ну и, с другой стороны, что она мне дала? Праздничную суету, кавардак, веселые приключения и анархию? Да ни чуточки. Более того, на следующее же утро самый вредный из наших учителей, злобный холерический тиран с вытаращенными глазками, объявил, что "здесь", то есть в школе, никакой революции нет и не будет, а будет прежний порядок, в доказательство чему и разложил на скамье двоих учеников, осмелившихся на перемене играть в революцию, чтобы демонстративно выдать им порцию розог. Все мы, кто присутствовал при этой экзекуции, восприняли ее как смутное, но однозначно недоброе предзнаменование. С этой революцией явно что-то было не так, если наутро после нее школьников за игру в нее запросто берут и секут. Нет, такая революция ни к чему хорошему не приведет. Да она и не привела.

Между тем война еще не была окончена. Мне, как и всем остальным, было ясно, что революция означала конец войны, однако это был конец без окончательной победы, потому что необходимого для нее небольшого усилия никто почему-то так и не предпринял. А жизнь после войны, не увенчавшейся окончательной победой, я представить себе не мог; мне надо было увидеть ее собственными глазами.

Поскольку вся война происходила где-то в далекой Франции, в нереальном мире, из которого до нас доходили лишь сообщения с фронта, как послания из потусторонних сфер, то и ее конец не ощущался мной как реальность. В моем непосредственном, чувственно воспринимаемом окружении не изменилось ровно ничего. Только в фантастическом мире моей игры, которой я жил четыре года, этот конец что-то означал... И, конечно, этот фантастический мир был для меня гораздо более значимым, чем реальный.

Девятого и десятого ноября еще вывешивали сообщения с фронта все в том же привычном стиле: "Отбита очередная попытка контрнаступления противника" и "После самоотверженных оборонительных боев наши войска отступили на заранее подготовленные позиции"... Одиннадцатого ноября на черной доске моего полицейского участка, куда я явился в свой урочный час, уже ничего не висело. Доска встретила меня безнадежной пустотой и чернотой, и я с ужасом представил себе, что будет, если мне всю оставшуюся жизнь придется вместо каждодневной подпитки новостями с фронта, которую я привык получать годами, день за днем видеть только пустую черную доску. Меня это не устраивало, и я решил искать дальше. Где-то же можно найти известия о том, что происходит на фронте. Если уж войну закончили (о чем вроде бы все гово-

рят), то надо хотя бы дать финальный свисток или совершить еще что-то, достойное упоминания. Через пару улиц был еще один полицейский участок. Может быть, я узнаю что-нибудь там.

Однако и там ничего не висело. Полиция тоже заразилась революцией, и старого порядка никто больше не соблюдал. Но меня не устраивало и это. Я брел по улицам под мелким, мокрым ноябрьским дождем в поисках хоть каких-нибудь новостей. И попал в район, который мне уже не был знаком.

И вот в одном месте я набрел на кучку людей, стоявших у киоска с газетами. Я потихоньку протиснулся через очередь, поднял глаза и прочел то, что молча и тоскливо читали все. Это был оттиск завтрашнего выпуска газеты, вывешенный на всеобщее обозрение, с аршинным заголовком: "Перемирие заключено". Ниже перечислялись условия перемирия, длинный список. Я прочел и их. И читая, я все больше недоумевал.

С чем сравнить мои тогдашние ощущения? Ощущения одиннадцатилетнего мальчика, у которого раз и навсегда отняли мир его фантазий? Сколько ни думаю с тех пор и ни вспоминаю, не могу найти эквивалент такому потрясению из жизни взрослых. Бывают фантастические катастрофы, но они и случаются обычно только в мире фантазий. Или, допустим, пусть кто-то всю жизнь копил деньги в банке и однажды, запросив сведения о своём счете, вдруг узнал, что вместо накопленных тысяч за ним числится неизмеримый долг, — вот такое у меня было тогда ощущение. Нет, все это было абсолютно нереально.

Условия перемирия излагались уже не эзоповым языком военных сводок. Они вещали безжалостным языком поражения, тем самым безжалостным языком, который прежде употреблялся только для перечисления потерь *противника*. Как его вдруг оказалось возможно применить к "нашим", причем не в каком-то частном случае, а в подведении окончательного итога наших многочисленных побед, — в моей голове это не укладывалось.

Я читал и перечитывал эти условия, привычно запрокинув голову, как всегда, четыре года подряд читая сообщения с фронта. Наконец я выбрался из толпы и побрел сам не зная куда. Район, куда я забрел в поисках новостей, был мне почти совсем не знаком, а теперь меня занесло в еще менее знакомые места; я шел по улицам, которых никогда не видел прежде. Моросил мелкий ноябрьский дождь.

Мир стал для меня вдруг таким же чужим и незнакомым, как эти улицы. Оказалось, что у моей большой игры были не только увлекательные, хорошо известные мне правила, но и свои тайные законы, в которые меня никто и не думал посвящать. Выходит, я не просто заблуждался, а постоянно принимал мираж за реальность. Но тогда где же искать опору, поддержку, уверенность и веру, если все происходящее в этом мире — один обман, если бесчисленные победы в конце концов оборачиваются окончательным поражением, а истинных правил игры тебе нарочно не говорят, чтобы ты понял их, только когда проиграешь, упав так, что ниже некуда? Передо мной разверзалась бездна. Я боялся жить дальше.

Не думаю, чтобы кто-либо на свете испытал от поражения немцев в той войне бóльший шок, чем маленький одиннадцатилетний мальчик, бредший по чужим улицам под мокрым осенним дождем, не зная, куда идет, и не замечая, что на нем не осталось уже ни одной сухой нитки. Но тем более я не могу поверить, что хотя бы вполовину настолько сильную боль испытал в тот же день ефрейтор Гитлер в госпитале города Пазе-

валька, услышавший по радио и от злости не дослушавший до конца перечень условий перемирия. Хотя реагировал он на это, конечно, гораздо более бурно: "Я больше не мог там оставаться, — писал он. — У меня все поплыло перед глазами, я ощупью добрался до палаты, бросился на койку и зарылся горящей головой в одеяло и подушки". После этого он окончательно решил стать политиком.

Как ни странно, у него на все это проявилась такая же детски-упрямая реакция, как у меня. И дело тут не только во внешних проявлениях. Проще сравнить, чем полнились моя душа и душа Гитлера после пережитого поражения: гнев, ненависть, желание исправить наконец эту злосчастную политику, пересмотреть правила игры и страх перед непредсказуемостью дальнейшей жизни, — тогда все это было более чем естественно. Лишь теперь я, пожалуй, могу утверждать, что одиннадцатилетний мальчик в тот момент понял и осмыслил все много лучше, чем двадцатидевятилетний ефрейтор.

Во всяком случае, с того самого дня я стал подозревать, что мой гороскоп не сойдется с гороскопом гитлеровского рейха ни по каким показателям.

6

Но до гитлеровского рейха пока было далеко: на дворе все еще была революция 1918 года и Германская республика.

Революция оказала на меня и моих школьных товарищей воздействие прямо противоположное по сравнению с войной: если война, никак не затронув нашу скучную повседневную жизнь, открывала необычайный простор для фантазии, то революция, многое изменив именно в повседневной жизни — и эти перемены были, кстати, не так уж плохи, я о них потом расскажу, — ни для какой фантазии просто не оставляла места. Революция, в отличие от войны, не могла предложить ясной и простой схемы бытия, в которую легко вписывались бы все события. То и дело происходили какие-то кризисы, забастовки, перестрелки, путчи, демонстрации, неизвестно кому и зачем нужные. Нельзя было понять, кому чего надо. Так что поддерживать при всем желании было некого. Люди просто не воспринимали друг друга.

Как теперь известно, германская революция 1918 года не была тщательно обдуманной и спланированной операцией. Она была всего лишь побочным продуктом военного поражения. Народ, — именно народ! — руководить которым было некому почти все это время, убедился в полной бездарности своих военных и политических вождей и изгнал их. Ибо все они, начиная с кайзера, при первой же угрозе предпочитали исчезнуть тихо и незаметно; точно так же тихо и незаметно, как потом, в 1932—1933 годах, исчезали вожди республики. Германские политики, причем все, от правого до левого фланга, так и не освоили искусство проигрывать.

Власть буквально валялась на улице. Среди тех, кто ее подбирал, настоящих революционеров было очень немного; да и те, если взглянуть в ретроспективе, не имели ясного представления, что и как собираются с нею делать (то, что практически всех их перестреляли самое позднее через полгода после революции, свидетельствует не столько даже об их невезучести, сколько именно о бездарности).

Большинство этих новых властителей были скромными приспособленцами, давно поседевшими и обустроившимися в уюте лояльной оппозиции, так что внезапно доставшаяся власть лишь пугала их, заставляя искать возможность сбыть ее с рук любым более или менее пристойным способом.

И наконец, среди них было немало откровенных саботажников, хотевших "подоить", а говоря проще — предать революцию. Жуткая фигура Носке[1] — известнейший тому пример.

Так возникла новая игра, в которой, с одной стороны, участвовали революционеры, плохо организованные и по-дилетантски устраивавшие мелкие путчи, а с другой — опытные саботажники, сумевшие вызвать к жизни контрреволюцию в лице "добровольческих отрядов", которые, взяв на себя функции правительственных войск, в считанные месяцы положили революции кровавый конец.

Но эта игра нас при всем нашем желании не вдохновляла. Мы были буржуазными мальчиками, которых к тому же внезапно лишили бурной военно-патриотической эйфории, длившейся четыре года, поэтому мы, естественно, были "против" любых красных революционеров — против Либкнехта, Розы Люксембург и "Союза Спартака", о которых мы слышали лишь, что "они хотят у нас все отнять", тем более что родители у многих были зажиточные, так что, возможно, красные их вообще убили бы и ввели у нас жуткие "русские" порядки. Нам, хочешь не хочешь, приходилось быть "за" Эберта[2] и Носке и их "добровольцев". Но воодушевить нас эти фигуры, увы, тоже не могли. Тот спектакль, который они разыгрывали, был очевидно низок. Запашок предательства, от них исходивший, был слишком гадок. Его ощущали даже мы, десятилетние. (Еще раз повторяю, что политическая реакция детей всегда значима, особенно в исторической ретроспективе; если что-то уже "известно каждому ребенку", то это, как правило, и есть самая окончательная и неопровержимая характеристика данного исторического процесса.) Было что-то неладное в том, как демонстративно эти воинственные и жестокие "добровольцы" — от которых мы в общем-то многого ждали и были не против, чтобы они вернули нам Гинденбурга и кайзера, — "защищали правительство". Какое же? Эберта и Носке — которые для всех давно были предателями собственного дела, да и внешне, кстати, смотрелись соответственно.

Кроме того, события придвинулись к нам так близко, что мы уже не могли уяснить себе общую картину и понять их, как понимали прежде, когда они разыгрывались в далекой Франции и ежедневно растолковывались нам в сообщениях с фронта. Стрельбу мы теперь сами слышали почти каждый день, однако у нас не было никакой возможности узнать, что она означает.

Могло вдруг выключиться электричество, могли перестать ходить трамваи, однако оставалось неясно, в честь кого мы должны теперь жечь керосин или передвигаться пешком — в честь "спартаковцев" или

1. Густав Носке (1868–1946) — правый социал-демократ, член Совета народных уполномоченных во время Ноябрьской революции 1918 г., в феврале 1919-го — марте 1920-го — военный министр. Подавил всеобщую политическую забастовку берлинских рабочих (январь 1919), один из главных организаторов белого террора в январе–марте 1919 г. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

2. Фридрих Эберт (1871–1925) — президент Германии с 1919 г., правый лидер Социал-демократической партии, во время Ноябрьской революции принял от Макса Баденского пост рейхсканцлера; заключил тайное соглашение с генштабом о введении в Берлин войск для подавления революции.

правительства? На улицах раздавали листовки и вывешивали плакаты с грозными заголовками: "Час возмездия близок!", но приходилось сначала преодолевать бесконечные абзацы, полные брани и непонятно кому адресованных обвинений, прежде чем мы узнавали, кто же такие в данном случае эти "изменники", "убийцы рабочих", "бессовестные демагоги" и т. п.: Эберт с Шейдеманом или Либкнехт с Эйхгорном. Демонстрации устраивались каждый день. Демонстранты тогда имели привычку отвечать на каждый выкрикнутый кем-то лозунг громогласным "ура" или "долой". Уже на небольшом расстоянии можно было разобрать лишь эти тысячеустые "ура" и "долой", голосов же, выкрикивавших ключевую фразу, издали расслышать нельзя было, так что все опять оставались в неведении, о чем речь.

Так продолжалось, с небольшими перерывами, добрых полгода; потом все постепенно начало затихать, ибо смысла в этом давно уже не было никакого. Судьба революции решилась окончательно — в то время я этого, конечно, еще не знал, — когда двадцать четвертого декабря рабочие и матросы, одержав победу в уличных боях перед дворцом, разошлись по домам отмечать Рождество. После праздника они, правда, вновь вернулись на тропу войны, однако правительство успело стянуть туда все добровольческие отряды, находившиеся в пределах досягаемости. Две недели подряд в Берлине не было газет, а были лишь далекие и близкие выстрелы — да еще слухи. Потом газеты опять появились, правительство победило, а днем позже нам сообщили, что Карл Либкнехт и Роза Люксембург были застрелены при попытке к бегству. Насколько я знаю, это стало началом той практики "расстрела при попытке к бегству", которая являлась обычной формой обращения с политическими противниками к востоку от Рейна. Но тогда она была еще настолько непривычной, что многие восприняли это сообщение буквально и поверили. Цивилизованные были времена!

Итак, судьба революции решилась, однако покоя так и не наступило; наоборот, самые тяжелые уличные бои начались в Берлине только в марте (в Мюнхене — в апреле), когда речь уже могла идти, так сказать, лишь о погребении трупа революции. В Берлине они начались, когда Носке со скупыми словами благодарности объявил об официальном роспуске самого первого отряда революции — "Народного военно-морского дивизиона". А тот взял и не распустился, начал протестовать, к нему присоединились рабочие северо-восточных кварталов Берлина, и эти "обманутые демагогами массы", не понимая, почему их собственное правительство натравливает на них теперь своих же врагов, целых восемь дней вели отчаянную, безнадежную и чрезвычайно ожесточенную борьбу. Исход этой борьбы был ясен с самого начала, и месть победителей была ужасна. Следует заметить, что тогда, в 1919 году, когда левая революция безуспешно пыталась обрести форму, позднейшая революция, нацистская, только без Гитлера, была уже практически подготовлена и достаточно сильна. Добровольческие отряды, которым Эберт и Носке были обязаны своим спасением, состояли из тех же самых лиц, и взгляды, привычки и способы ведения борьбы у них были совершенно те же, что у будущих штурмовых отрядов нацистов. Они уже изобрели "расстрел при попытке к бегству", уже накопили немалый опыт пыточного искусства и уже позволяли себе широким жестом просто ставить к стенке своих политических противников, всех скопом и без лишних разговоров, если только те не были из чис-

ла знаменитостей, чем, в сущности, предварили события 30 июня 1934 года[1]. Так что практика у них была, не хватало только теории. Ее-то и дал им потом Гитлер.

7

Вспоминая обо всем этом, я не могу не сказать, что и гитлерюгенд существовала тогда уже почти в готовом виде. У себя в классе, например, мы организовали спортклуб "Старая Пруссия", девизом которого было: "Долой "Союз Спартака", ура спорту и политике!" Политика заключалась в том, что, идя в школу или из школы, мы временами поколачивали одиночек, ратовавших за революцию. В остальном же нашим главным занятием был спорт: мы устраивали соревнования по бегу во дворе школы или в общественных местах, ощущая себя при этом величайшими борцами против "Спартака", считая себя доблестными патриотами и ставя рекорды во славу фатерланда. В чем тут отличие от будущей гитлерюгенд? Разве что в деталях, привнесенных потом в угоду личным склонностям Гитлера, как, например, антисемитизм. У нас еврейские мальчики были такими же антиспартаковцами и патриотами, как все, а один стал даже чемпионом по бегу. Я могу поклясться, что с их стороны не было никаких попыток подорвать наше гражданское единство.

Во время мартовских боев 1919 года деятельность спортклуба "Старая Пруссия" оказалась вынужденно прерванной, потому что наши спортплощадки временно превратились в поля битвы. Эпицентр уличных боев пришелся как раз на наш район. В нашей школе разместилась штаб-квартира правительственных войск, а в соседней "народной школе" — разве это не символично? — опорный пункт "красных", и война за обладание обоими зданиями велась каждый день. Наш директор, который предпочел остаться в своей служебной квартире, был застрелен, фасад школы, когда мы вновь увидели его, пестрел дырами от пуль и снарядов, а под моей партой еще в течение многих недель после возобновления занятий расплывалось ничем не смываемое кровавое пятно. У нас то и дело случались незапланированные каникулы, длившиеся неделями, и именно тогда мы, так сказать, получили боевое крещение: каждый божий миг, когда только было возможно, мы сбегали из дома и бежали туда, где шли бои, чтобы "увидеть хоть что-нибудь".

Увидеть нам удавалось немного — даже уличные бои уже подчинялись тогда современной тактике "безлюдного поля боя". Зато много можно было услышать. Пулеметные очереди, обычная полевая артиллерия, а тем более винтовочные выстрелы быстро стали для нас привычными, и лишь звук минометов или тяжелых орудий вызывал какое-то волнение.

Это тоже был спорт: попасть на перекрытые улицы, пробираясь дворами, чердаками и подвалами, чтобы внезапно выйти наружу за спинами солдат заграждения, далеко за щитами "Стой! Не ходи дальше, будут стрелять". В нас не стреляли. Нам ни разу никто ничего плохого не сделал.

Эти заграждения и в самом деле мало помогали, так что обычная уличная жизнь часто смешивалась с боевыми действиями, причем самым гротескным образом. Я вспоминаю, как однажды в воскресенье, в

1. Ночь длинных ножей.

одно из первых теплых воскресений года, толпы гуляющих и я вместе с ними шли по широкой аллее; все было очень мирно, даже выстрелов нигде не было слышно. Вдруг весь народ начал разбегаться вправо и влево, прячась по подъездам, и тут на улицу, гремя, выéхали танки, где-то совсем близко раздались ужасные взрывы, застрекотали пулеметы, и через пять минут кругом был ад кромешный. Но вот танки проехали и уехали, пулеметный огонь смолк. Мы, мальчишки, первыми вылезли из подъездов и увидели странную картину: вся аллея будто вымерла, зато на тротуарах повсюду валялось битое стекло, где побольше, где поменьше: окна не выдержали близкой пальбы. Потом, поскольку больше ничего не происходило, на улицу начали выбираться гуляющие, и еще через несколько минут ее опять заполнили толпы народа, наслаждавшегося весенним солнцем, как будто ничего не случилось.

Все это выглядело до странности нереальным. Я, к примеру, так никогда и не узнал, кому и зачем понадобилась эта пальба. В газетах о ней ничего не писали. Зато писали, что в то же воскресенье, когда мы ходили гулять под весенним небом, в нескольких километрах от нас, в районе Лихтенберг, взбунтовалось несколько сотен (или даже тысяч — цифры приводились разные) арестованных рабочих, которых пришлось "усмирять" винтовочными залпами. Вот это нас напугало. Потому что было гораздо ближе и реальнее всего того, что в течение нескольких лет происходило в далекой от нас Франции.

Но поскольку за этим ничего не последовало и никто из нас не знал погибших лично, да и в газетах на следующий день говорилось уже о чем-то другом, эти страхи вскоре забылись. Жизнь шла своим чередом. Год продолжался, приближаясь к самой лучшей своей поре — лету. Занятия в школе пока что опять продолжались, и спортклуб "Старая Пруссия" тоже возобновил свою благородную патриотическую деятельность.

8

Республика, как это ни странно, продолжала существовать. Странным это выглядело потому, что, как ни верти, начиная с 1919 года защита республики целиком и полностью находилась в руках ее противников; все военизированные революционные организации были к тому времени уже разгромлены, их вожди убиты, бойцы рассеяны, и оружие носили лишь "добровольческие отряды" — те самые, которые, в сущности, и были самыми настоящими нацистами, только так не назывались. Почему они не свергли своих бездарных правителей уже тогда, почему не провозгласили сразу третий рейх? Особых препятствий у них к этому не было бы.

Так почему же они этого не сделали? Почему они разочаровали столь многих, кто возлагал на них надежды, а это были далеко не только мы одни в нашем спортклубе "Старая Пруссия"?

Вероятно, по той же в высшей степени иррациональной причине, по какой рейхсвер разочаровал надежды тех, кто в первые годы третьего рейха мечтал, что регулярная армия однажды восстанет и положит конец той позорной дискредитации ее же собственных идеалов и целей, которую устроил ей Гитлер. У германских военных не нашлось для этого гражданского мужества.

Гражданское мужество, то есть готовность принимать собственные решения и нести за них ответственность, есть добродетель, для немцев

вообще редкая, как заметил еще Бисмарк в одном из своих знаменитых высказываний. А уж когда немец надевает военную форму, эта добродетель просто улетучивается как дым. Никто не сомневается в мужестве германского солдата и офицера на поле боя, в его готовности выполнить приказ командира и расстрелять своих же сограждан и земляков, однако он делается пуглив как заяц, когда ситуация вынуждает его выступить против этого командира. Одна мысль об этом тут же вызывает в его воображении жуткий образ расстрельного взвода, которая и парализует его окончательно. Нет, смерти как таковой он не боится; он боится лишь именно этого вида смерти, зато боится ужасно. Это обстоятельство делает для немецких военных любую попытку неповиновения или государственного переворота раз и навсегда невозможной — пускай правит кто хочет.

Единственный кажущийся очевидным пример обратного служит на самом деле лишь подтверждением моих слов. Я имею в виду Капповский путч 1920 года, попытку государственного переворота, предпринятую несколькими антиреспубликански настроенными политическими отщепенцами. Хотя им удалось привлечь на свою сторону офицеров-антиреспубликанцев всех целиком, а остальных — постольку-поскольку, хотя государственная администрация тут же сдала все свои позиции, не оказав ни малейшего сопротивления, хотя на стороне путчистов были такие значимые в военных кругах личности, как генерал Людендорф[1], — в итоге движущей силой путча отважилось стать лишь одно-единственное вооруженное соединение, так называемая бригада Эрхардта. Все остальные добровольцы "сохранили верность правительству" — и, естественно, приложили потом все усилия, чтобы и этот путч крайне правых приписать происках левых.

История эта печальна, и рассказать ее можно быстро. Когда бригада Эрхардта однажды в субботу утром промаршировала через Бранденбургские ворота, правительство немедленно бежало и укрылось в безопасном месте, успев призвать рабочих ко всеобщей забастовке.

Вольфганг Капп, предводитель путча, провозгласил "национальную республику" под черно-бело-красным флагом, рабочие бастовали, войска молча хранили верность, нового правительства не получилось, и пять дней спустя Капп заявил о своей отставке.

Правительство возвратилось и призвало рабочих вновь вернуться к работе. Но рабочие потребовали вознаграждения: выгнать хотя бы слишком очевидно скомпрометировавших себя министров, прежде всего этого подлеца Носке. На что правительство ответило вводом "хранивших верность" войск, которые устроили беспощадную кровавую резню в районах бунтовщиков, то есть прежде всего на западе Германии, где шла, в сущности, настоящая война.

Много лет спустя мне пришлось беседовать с бывшим "добровольцем", во всем этом участвовавшим. Он не без сочувствия говорил о многочисленных жертвах, сотнями погибавших тогда в боях или "расстрелянных при попытке к бегству". "Ведь это был цвет нашей рабочей молодежи", — повторил он несколько раз задумчиво и печально. Видимо, это был пароль, под которым он хранил воспоминания в своей памя-

1. Эрих Людендорф (1865—1937) — в Первую мировую войну являлся помощником генерала Гиндербурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте в 1914—1916 г., а в 1916—1918 гг. — всеми вооруженными силами Германии. Участник Капповского путча 1920 г. и руководитель (вместе с Гитлером) фашистского путча 1923 г. в Мюнхене.

ти. "Нет, это были славные ребята, по крайней мере, многие из них, — отдавал он должное своим жертвам. — Совсем не то что в Мюнхене, в девятнадцатом году: там были одни подонки, евреи и жулье, а их мне нисколько не жалко. Но в двадцатом, в Руре, вот это был цвет молодого рабочего класса. Некоторых из них я потом даже оплакивал, честное слово. Но они же не понимали ни черта, они не оставляли нам выбора, поэтому мы были вынуждены стрелять в них. Когда у нас появлялась возможность дать им шанс, мы подсказывали им на допросах: ну, тебя ведь обвели, обманули? Так они начинали кричать, что и сами понимают все лучше тебя, и долой убийц и предателей рабочего класса. И что было с ними делать? Приходилось расстреливать, а на расстрел водили, сами понимаете, не меньше чем десятками. Однажды в такой вечер, после всего этого, наш полковник признался, что до сих пор у него никогда не было так погано на душе. Вот я и говорю, что это был цвет нашей рабочей молодежи, и все они погибли тогда, в двадцатом году, в Руре".

В то время, когда это происходило, я, естественно, ничего не знал. Это было в Рурской области, а у нас в Берлине все было далеко не так драматично, почти бескровно и почти цивилизованно. После безумной стрельбы 1919 года март 1920-го казался тихим и необычным. Необычным было то, что ничего не происходило и жизнь замерла. Очень странная революция. А теперь послушайте рассказ.

Случилось это в очередную субботу. Где-то около полудня в булочной начались разговоры, что "кайзер возвращается". У нас в школе отменили вторую смену: не хватало угля, чтобы отапливать все школы, поэтому учеников двух школ обычно запихивали в одну, поделив на первую и вторую смены, и отменили как раз нашу, вторую, а погода стояла просто прекрасная, поэтому мы отправились на школьный двор играть в "красных и националов", причем основная трудность состояла в том, что никто не хотел быть красным. Но все равно было весело, лишь действительность то и дело казалась нереальной; все происходило слишком внезапно, и вникать в подробности было некогда.

Подробностей мы в тот раз, кстати, так и не узнали, потому что уже вечером ни одна газета не вышла, а еще потом выяснилось, что в домах у нас опять нет света. На следующее утро, в первый раз за это время, отключили еще и воду. Писем тоже больше не доставляли. Не ходил транспорт. Все магазины закрылись. То есть, попросту говоря, не работало вообще ничего.

В нашем районе на некоторых перекрестках стояли еще старинные водяные колонки, не связанные с городской водопроводной сетью. Они переживали теперь свой звездный час: очереди к ним выстраивались человек по триста, все с ведрами и кувшинами, чтобы только заполучить свою порцию воды; ручку насоса качали посменно крепкие молодые мужчины. Потом осторожно брели по улицам с полными ведрами, чтобы только не расплескать драгоценную влагу.

А больше, как я уже говорил, не происходило ничего. Я бы даже сказал, меньше, чем ничего, потому что и того, что бывало обычно каждый день, теперь больше не было. Не было стрельбы, не было демонстраций, не было стихийных уличных собраний и споров. Ничего не было.

В понедельник опять отменили школу. Мы, конечно, в очередной раз обрадовались, но и нам уже стало неловко, потому что получалось все как-то не так. Наш учитель физкультуры, ярый "национал" (все учи-

теля были "националами", но физрук больше остальных), несколько раз повторил значительно: "Вот теперь заметно, что штурвал попал в другие руки". Хотя заметно на самом деле не было решительно ничего, да и сам он повторял это, только чтобы не расстраиваться оттого, что тоже ничего не сумел заметить.

После школы мы бегали на Унтер-ден-Линден, смутно подозревая, что в эти важные для фатерланда дни гражданин должен находиться именно там, а еще потому, что надеялись увидеть или узнать что-нибудь новенькое. Но ни увидеть, ни узнать ничего не удавалось. Ну, двое солдат скучали там у своего неизвестно зачем приведенного в полную боевую готовность пулемета. Нападать на них явно никто не собирался. Все вокруг выглядело по-воскресному, тихо и спокойно. Потому что шла всеобщая забастовка.

Еще через пару дней мы тоже откровенно заскучали. Смотреть на воду, льющуюся из насоса, что поначалу казалось верхом необычности, быстро приелось нам так же, как вечно неработающие туалеты, как отсутствие новостей и писем, как постоянная нехватка продуктов, как беспросветная тьма по вечерам и как вообще это нескончаемое воскресенье. Не было и ничего, способного воодушевить народ в противовес всему этому — ни войсковых парадов, ни призывов "К моему народу", — ничего, вообще ничего (ах, если бы тогда было радио!). Лишь однажды на стене появилась надпись: "Заграница нам не поможет". Так что и на это надеяться не стоило!

А потом внезапно объявили, что Капп подал в отставку. Подробностей опять же не сообщали, но, судя по возобновившимся перестрелкам, вернулось доброе старое правительство. Через некоторое время в водопроводных трубах что-то ожило и забулькало. Вскоре после этого нас опять призвали в школу. Там тоже все выглядело несколько подмокшим. А еще вскоре опять начали выходить газеты.

После Капповского путча у нас, у школьников, пропал всякий интерес к текущей политике. Все политические течения успели так или иначе опозориться, и она утратила для нас всякую привлекательность. Наша "Старая Пруссия" самораспустилась. Многие нашли себе другие интересы: одни принялись собирать марки, другие увлеклись фортепиано или театром. Лишь некоторые остались верны политике, и тут мне впервые бросилось в глаза, что это были, как правило, самые глупые, грубые и несимпатичные. Они быстро вступили в "правильные" организации, будь то Национал-германский югендферайн или Союз имени Бисмарка (гитлерюгенд, напоминаю, еще не существовала), и вскоре уже демонстрировали нам в школе кастеты, резиновые дубинки и даже "палки-убивалки", хвастались своим участием в ночных акциях по расклейке или срыванию плакатов и начали разговаривать на своем особом жаргоне, отличавшем их от прочих. Еще они стали вести себя не по-товарищески по отношению к нашим ребятам-евреям.

С одним из них мы сидели за одной партой и как-то раз, это было вскоре после Капповского путча, на очередном скучном уроке я увидел, что он все время чертит у себя в тетради какие-то странные фигуры. Пара ломаных линий, образовывающих неожиданный и очень приятный симметричный орнамент, похожий на коробочку. Я немедленно впал в искушение начертить такой же.

— Что это? — спросил я шепотом, потому что все-таки шел урок, хоть и скучный.

— Антисемитский значок, — коротко шепнул он мне в ответ. — Его носили на касках люди из отрядов Эрхардта. Он означает: "Евреи, убирайтесь вон". Надо знать.

И продолжал бегло чертить дальше.

Так я впервые познакомился со свастикой. Это было единственное, что оставил после себя Капповский путч. Потом этот значок стал встречаться все чаще.

9

Лишь два года спустя политика вдруг вновь стала интересной, причем благодаря одному-единственному человеку: это был Вальтер Ратенау.

Ни до, ни после этого в Германской республике не было политика, который бы так воздействовал на воображение масс и молодежи. Штреземан[1] и Брюнинг[2], дольше пробывшие у власти и в некотором смысле определившие два кратких периода истории, не обладали такой личностной магией. Сравнить с ним можно разве что Гитлера, да и то с одной оговоркой: последнему так задолго начали планомерно делать паблисити, что различить, где подлинное влияние личности, а где реклама, теперь уже практически невозможно.

Во времена Ратенау крупных личностей на политической сцене еще не было, а сам он и пальцем не шевельнул для того, чтобы на эту сцену попасть. Это самый яркий из пережитых мною примеров того необъяснимого случая, когда в жизни общества появляется "великий человек": он неожиданно завоевывает любовь масс, несмотря на все препоны, люди начинают к нему прислушиваться и болеть за него, в обществе возникает возбуждение, скучное вдруг становится интересным, возникает ощущение "шанса, который никак нельзя упускать", все душой и сердцем становятся на его сторону, создаются легенды, культ личности, любовь и ненависть достигают наивысших пределов. Это происходит стихийно и неудержимо, почти бессознательно. Таково действие магнита на кучку железных опилок: они притягиваются к нему бессознательно, неудержимо, необъяснимо.

Ратенау стал сначала министром восстановления хозяйства, потом — иностранных дел, и тут все почувствовали, что политика опять началась. Когда он ездил на международные конференции, у нас вновь появлялось ощущение, что Германия представлена на политической арене. Когда он заключал какое-нибудь "Соглашение о поставках всего необходимого" с Лушером или подписывал "Договор о дружбе" с Чичериным — пускай никто, кроме редких знатоков, не понимал, что такое это "все необходимое" и что кроется за выкрутасами дипломатических формулировок договора с русскими, — и то и другое было главной темой бурных дискуссий возле продуктовых магазинов и газетных киосков, а мы, ученики средней школы, раздавали друг другу пощечины, если один называл эти договоры "гениальными", а другие считали их "еврейской изменой родине".

И дело было не только в политике. Фотографии Ратенау, как и фотографии любых политиков, печатались в газетах, но если лиц последних

1. Густав Штреземан (1878–1929) — рейхсканцлер в августе — ноябре 1923 г., министр иностранных дел (с августа 1923 г.), один из основателей (1918 г.) и лидер буржуазно-монополистической немецкой народной партии.
2. Генрих Брюнинг (1885–1970) — рейхсканцлер в 1930–1932 гг. Преследование правительством Брюнинга антифашистских организаций облегчило установление фашистской диктатуры. В 1934 г. эмигрировал в США.

невозможно было запомнить, то взгляд Ратенау навсегда запечатлевался в памяти у каждого: внимательные темные глаза, полные мудрости и печали. Читая его речи, все чувствовали, что, независимо от содержания, в них звучит глубокий подтекст обличения, требовательности и призыва – речь пророка. Многие стали искать и читать его книги (и я в том числе): в них тоже звучали сдержанные по форме, но глубокие по смыслу призывы, стремление успокоить и в то же время убедить, требовательность и надежда. *И в то же время* – именно в этом заключался их магнетизм. Они были отрезвлением и в то же время фантастикой, лишали иллюзий и в то же время звали в бой, они были полны скепсиса и в то же время веры. Самые смелые мысли выражались в них самым спокойным и нейтральным стилем.

Как ни странно, до сих пор не нашлось биографа, который написал бы о Ратенау так, как этот человек того заслуживает. Его, без сомнения, следует включить в число пяти-шести великих людей века. Он был революционером из аристократов, экономистом из идеалистов, патриотом Германии из евреев, гражданином мира из германских патриотов, а из граждан мира – самым что ни на есть хилиастом и в то же время слугой Закона (еврей, что и говорить, но только в этом отношении). Он был достаточно образован, чтобы возвыситься над своим образованием, потому что был богат; он был достаточно богат, чтобы возвыситься над своим богатством, потому что был гражданином мира; он был достаточно гражданином мира, чтобы возвыситься над суетой этого мира. Было нетрудно представить его себе не только министром иностранных дел Германии, заступившим на пост в 1922 году, но и, например, немецким философом 1800 года, главой международной финансовой империи 1850 года, да хоть мудрым раввином или отшельником. Он соединял в себе несоединимое, причем самым опасным и рискованным образом, всякий раз делая то, что именно и возможно было сделать только здесь и сейчас. И весь этот синтез культур и мировоззрений стал для него не пищей для ума и не поводом для действий, нет: он создал его личность.

И что, неужели вождь масс должен быть таким? – спросят многие. Ответить на это, как ни странно, можно только одно: да. Массы – я имею в виду не пролетариат, а то самое анонимно-коллективное сознание, к которому принадлежим мы все, хоть высоко- или низкородные, в определенные моменты истории, – так вот, массы сильнее всего реагируют на того, кто меньше всего похож на них самих. Обычный человек, снабженный всеми необходимыми добродетелями, может стать популярным; однако снискать всеобщую любовь или всеобщую ненависть может лишь необычная, абсолютно непривычная для масс личность, будь он хоть с самых верхов, хоть из низов. Если у них что-то вообще способно вызвать такие чувства, о чем я могу судить лишь по моему немецкому опыту. Ратенау и Гитлер были именно такими раздражителями, которые сумели не только взволновать массы, но и заставить их действовать; первый за счет всеобъемлющей высоты своего духа, второй за счет не менее всеобъемлющей низости. Оба, и это самое главное, вырвались внезапно из какой-то глухой провинции, и каждый из них был "человеком ниоткуда". Однако один был носителем высокой духовности, возникшей благодаря слиянию культур трех тысячелетий и двух континентов, а другой вышел из непроходимых джунглей наследственного бескультурья, с того самого мещанского "дна", где ценится всякое дерьмо вроде неприличных книжек, подглядывания за соседями, мест в приютах для

бездомных, подпольных абортов и драк за лучшие места для наблюдения за очередной смертной казнью. Оба, каждый из своего "ниоткуда", несли в себе эту волшебную силу, и содержание их политики было тут совершенно ни при чем.

Сейчас уже трудно сказать, к чему политика Ратенау могла бы привести Германию и всю Европу, если бы ему хватило времени. Но, как известно, времени ему для этого отпущено не было: через полгода после вступления в должность его убили.

Я уже говорил, что Ратенау вызывал у людей либо страстную любовь, либо страстную ненависть. Эта ненависть была дикой, иррациональной, она даже не подлежала обсуждению; такой первобытной ненависти удостоился потом опять-таки лишь один-единственный немецкий политик: Гитлер. Понятно, что Ратенау и Гитлера ненавидели разные люди, отличавшиеся друг от друга соответственно, так же как сами эти политики. "Свинью пора резать" — так выражались противники Ратенау. И все же никто не ожидал, что однажды вечерние газеты выйдут с таким простым и даже скупым заголовком: "Убит министр Ратенау". Читая это, люди испытывали чувство, как будто почва уходит у них из под ног, и это чувство еще усиливалось, когда они узнавали, насколько легко, без труда, даже как-то обыденно было совершено это убийство.

Ратенау каждое утро в определенное время выезжал в открытой автомашине из своего дома в Груневальде и ехал на Вильгельмштрассе. И вот в одно такое утро на тихой Вильгельмштрассе его поджидало другое авто, которое двинулось вслед за автомашиной министра, обогнало ее, и в момент обгона его пассажиры, трое молодых людей, с самого близкого расстояния разрядили свои револьверы в голову и в грудь жертвы. И на полном газу унеслись прочь. (Ныне на этом месте установлен памятный знак.)

Вот как все оказалось просто. Прямо-таки колумбово яйцо. И произошло это у нас, в берлинском районе Груневальд, а не где-нибудь в Каракасе или Монтевидео. Можно съездить и посмотреть: самая обычная улица в городском предместье. Убийцами, как скоро стало известно, были такие же мальчики, как мы, из них один старшеклассник. Выходит, что ими могли стать любые из тех моих одноклассников, которые еще вчера повторяли: "...пора резать"? Наглая выходка удалась так легко, что наряду с болью, гневом и возмущением она вызывала и нечто вроде нервного смеха: конечно, ведь это было настолько просто, что именно поэтому до сих пор и не приходило никому в голову. Значит, и историю можно теперь делать с такой же жуткой — именно *жуткой* — легкостью? Нет, будущее явно не за этими Ратенау, тратящими столько нервов, чтобы стать исключительными личностями, а за простыми парнями, как эти Техоу и Фишер, которым достаточно оказалось всего лишь научиться водить машину да стрелять.

Впрочем, это чувство быстро отступало под наплывом огромного, непомерного ощущения горя, смешанного с яростью. Даже расстрел тысячи рабочих в Лихтенберге в 1919 году не возмутил массы так, как это убийство одного человека, который к тому же был капиталистом. Магия его личности продолжала действовать и через несколько дней после убийства; в течение этих дней в воздухе носилось нечто такое, чего я никогда потом больше не переживал, — революционное настроение. На похороны без всякого принуждения и угроз пришло несколько сот тысяч человек. Они и после похорон не разбрелись кто куда, а в течение

нескольких часов шагали по улицам нескончаемыми колоннами — молча, горестно, грозно. Чувствовалось, что если бы в тот день их призвали покончить с теми, кого тогда еще называли "реакционерами", хотя в действительности это были уже самые настоящие нацисты, то они бы сделали это с охотой, быстро и основательно вычистив все до конца.

Но их никто к этому не призвал. Их все время призывали лишь сохранять дисциплину и порядок. Правительство в течение нескольких недель обсуждало "Закон о защите республики", предусматривавший смехотворные сроки заключения за "оскорбление министра" и вскоре бесславно забытый. Еще через пару месяцев оно уныло и беззвучно рухнуло, уступив место правительству правых.

Это последнее ощущение, которое оставила после себя краткая эпоха Ратенау, было уже знакомо нам по 1918–1919 году: за что левые ни возьмутся, все провалят.

10

Наступил новый, 1923 год. Возможно, именно этот безумный год наложил на нас тот неизгладимый отпечаток, который до сих пор воспринимается всем остальным человечеством как признак непредсказуемости и дикости немцев, хотя исконному "немецкому характеру" на самом деле были и остаются чужды как циничные фантасмагории, так и нигилистические ликования по поводу возможных катастроф. Или вошедший тогда в моду "динамизм", тут же сделавшийся для всех самоцелью. Целому поколению немецкой молодежи как будто удалили некий орган души, причем именно тот, который придает человеку уверенность, равновесие, пусть даже приземленность, однако в то же время позволяет ему ощущать, что такое совесть, разум, опыт, верность идеалам, мораль или страх божий. Целое поколение решило для себя тогда — или уверовало, — что может обойтись без прошлого. Тем более что несколько лет до этого и не могли стать для него ничем иным, кроме как хорошей школой нигилизма. В 1923 году ученики этой школы получили путевку в жизнь.

Ни один народ не испытал того, что испытали в 1923 году немцы. Мировую войну помнят все, многие помнят революцию, кризисы, забастовки, перераспределение благ, обмен денег. Однако никому не довелось пережить такого чудовищного, даже нелепого обвала, который достался тогда на долю немцев. Никто никогда не видел подобного всенародно-карнавального вертепа, когда не только деньги, но и вообще все ценности превращаются в ничто. 1923 год сделал Германию легкой добычей не только для нацизма, но и для любой, самой немыслимой авантюры. Психологические и политические корни нацизма уходят далеко в глубь истории, мы в этом сейчас уже убедились. Однако в том году сложились его самые безумные черты: холодная злоба, дикорастущий беспредел, "закон — это то, что полезно нам" и "для нас нет ничего невозможного". Меня охватывает дрожь при одной мысли, что после новой войны, может быть, всей Европе предстоит пережить такой же 1923 год, если не найдется хотя бы нескольких умных людей, чтобы вовремя договориться о мире.

Начало нового, 1923 года ознаменовалось новой волной патриотизма, почти как в 1914 году. Пуанкаре захватил Рурскую область, правительство призвало людей к пассивному сопротивлению, а немецкое население

все больше ощущало себя оскорбленным — наверное, даже сильнее, чем в 1914 году, потому что с тех пор у него накопилось еще больше лишений и разочарований. О, конечно, "народ восстал", проявил душевную стойкость и готовность; вот только к чему? К очередной жертве? К войне? Было неясно. На самом деле от народа никто ничего не ждал. Да и "Рурская война" не была настоящей войной. В армию никого не призывали. "Вестей с фронта" тоже не было. Так и не обретя конкретной цели, воинственный пыл народа угас сам по себе. Хотя на улицах каждый день собирались люди, чтобы хором декламировать "Клятву Родине" из Шиллерова "Вильгельма Телля".

Постепенно все это стало выглядеть смешным, если не сказать неприличным, потому что это был спектакль без публики. За пределами Рурской области не происходило вообще ничего. В самой Рурской области продолжалась своего рода оплачиваемая забастовка. Выплачивались не только зарплаты рабочим, но и дивиденды их хозяевам, причем очень неплохие, о чем стало известно лишь потом. Что же это было: проявление любви к Отечеству или всего лишь желание вернуть свои деньги, и к тому же с прибылью? Прошло еще несколько месяцев, и "Рурская война", столь многообещающе начавшаяся клятвой Вильгельма Телля, стала явственно попахивать коррупцией. Но теперь она никого больше не волновала. Что будет с Руром — какая разница, если у тебя самого в доме творится черт знает что.

Читатели газет в том году могли вспомнить свою старую игру в числа, как во время войны, когда заголовки пестрели сногсшибательными цифрами взятых в плен солдат противника и отнятого у него добра. Однако на этот раз цифры отражали не военные подвиги, хотя год и начался довольно воинственно, а события на бирже, в обычное время не богатые сюрпризами, точнее — биржевой курс доллара. Начавшиеся колебания курса стали барометром, на который глядели со смесью страха и возбуждения, ожидая со дня на день обесценивания марки. Тут было на что посмотреть. Чем больше рос доллар, тем безудержнее становились фантазии.

Собственно, в обесценивании марки не было ничего нового. Моя первая сигарета, которую я тайком выкурил в 1920 году, уже тогда стоила 50 пфеннигов. К концу 1922 года цены на сигареты возросли в десять, а то и в сто раз по сравнению с довоенным уровнем, а за 1 доллар давали около 500 марок. Но это происходило *постепенно*: зарплата, гонорары и цены росли примерно с одной скоростью. Было неудобно считать в больших числах, но необычного в этом ничего не было. Люди говорили о "повышении цен", как о чем-то, что волнует их меньше прочих проблем.

И вдруг марка спятила. Уже вскоре после Рурской войны доллар подпрыгнул до двадцати тысяч, задержался немного, потом достиг сорока тысяч, опять задержался, а потом с небольшими паузами, рывками, повел счет на десятки и сотни тысяч. Никто не мог объяснить, как это произошло. Мы, протирая глаза, следили за происходящим, как за каким-то природным катаклизмом. Все только и говорили, что о долларе, а потом как-то так случилось, что он полностью разрушил нашу привычную жизнь.

Те, у кого был счет в сберкассе, ипотека или просто деньги в заначке, в один момент просто лишились всего. Почти сразу исчезла разница между теми, кто откладывал последний грош себе на похороны, и теми,

кто владел громадными состояниями. Все было аннулировано. Многие пытались перевести свои деньги в другие банки или в другие формы, просто чтобы посмотреть, что получится. Не получилось ничего: все, у кого было хоть что-то, лишились всего и были вынуждены направить свои мысли в другом, теперь уже самоспасательном направлении.

Стоимость жизни возрастала такими же скачками, потому что торговцы следовали за долларом по пятам. Полкило картошки, еще вчера стоившее пятьдесят тысяч марок, сегодня уже стоило сто тысяч; а зарплата в шестьдесят пять тысяч марок, принесенная человеком домой в пятницу, во вторник могла уйти вся на покупку блока сигарет.

Что было делать? И тут люди открыли новый островок безопасности: акции. Это была единственная форма вложений, которая хоть как-то сопротивлялась обвалу. Не всегда регулярно и не всегда в достойных суммах, однако акционерные компании платили. Каждый чиновник, каждый сотрудник, каждый чернорабочий сделались акционерами. Чтобы купить себе поесть, им достаточно было продать свои акции. В дни выплат они осаждали банки, и стоимость акций взлетала под небеса. Банки лопались от денег. Новые, никому ранее не известные банки появлялись, как грибы из-под земли, и получали фантастические дивиденды. Биржевые отчеты ежедневно читала вся страна. Иногда некоторые акции падали, и вместе с ними тысячи людей падали на социальное дно. В конторах, на фабриках, даже в школах шепотом обсуждались биржевые новости.

Хуже всего пришлось старикам и людям не от мира сего. Многие шли нищенствовать, многие кончали с собой. Молодым и бойким жилось неплохо. В считанные часы они становились свободными, богатыми, независимыми. Ситуация была такова, что инерция мышления и надежды на прошлый опыт карались голодом и гибелью, а импульсивность и быстрая реакция на перемены вознаграждались внезапным чудовищным богатством. Человек мог стать директором банка в двадцать один год, школьник мог играть на бирже, пользуясь советами своих чуть более старших товарищей. Они носили галстуки а-ля Оскар Уайльд, устраивали банкеты с шампанским и содержали своих вдруг быстро посмирневших отцов.

Среди горя, отчаяния и нищеты процветала бурная, горячая молодость, царили жажда наслаждений и атмосфера всеобщего карнавала. Наконец-то деньги были теперь у молодых, а не у стариков; да и сам характер денег изменился настолько, что они могли лишиться своей ценности в течение нескольких часов, поэтому их тратили, не считая, как никогда прежде или после, и совсем не на то, на что их тратили старики.

Внезапно появилось множество баров и ночных клубов. Юные парочки толпились в кварталах развлечений, как в фильмах из жизни высших десяти тысяч. Повсюду все, торопясь насладиться, были заняты любовью. Даже любовь подверглась инфляции. Было самое время ловить шансы, и массы вынуждены были новым богачам эти шансы предоставлять.

Был открыт "новый реализм" любви. Это был всплеск беззаботной, веселой, быстрой и легкой жизни. Неудивительно, что романы тоже развивались быстро и без особых прелиминариев. Молодые люди, учившиеся любви в те дни, миновав стадию романтики, попадали прямо в объятия цинизма. У нас и у моих сверстников было все-таки не так. Нам

тогда было лет по пятнадцать-шестнадцать, и мы отставали года на два, на три. Через несколько лет, вступая в роль любовников с жалкими двадцатью марками в кармане, мы с завистью вспоминали старших, успевших поймать свой шанс. Нам тогда удалось лишь заглянуть в замочную скважину, но и этого было достаточно, чтобы уловить и навсегда запечатлеть в памяти дух времени. Редкая удача — попасть на вечеринку старших, где наверняка будут происходить безумства, незрелый разгул до изнеможения и легкое похмелье наутро от перебора коктейлей; сказочные приключения старших, лица которых были потом отмечены следами вчерашней ночи; неожиданный, возбуждающий поцелуй ярко накрашенной дивы...

Была у этой картины и изнанка. Нищих вдруг расплодилось великое множество; количество сообщений о самоубийствах в газетах также сильно возросло, а полицейскими объявлениями о розыске "взломщиков, не оставивших явных следов", пестрели все афишные тумбы, ибо воровство и грабежи случались везде и всюду в самых крупных размерах. Однажды я увидел старую женщину, — возможно, я должен был бы сказать "даму", — как-то странно сидевшую на скамейке в парке. Вокруг нее собралась маленькая толпа. "Умерла", — сказал один. "От голода", — добавил другой. Я даже не особенно удивился. Мы дома тоже частенько голодали.

Да, мой отец был одним из тех, кто не понял или не желал понимать этого времени, как прежде не желал понимать войну. Следуя правилу "прусский чиновник не может быть спекулянтом", он не покупал акций. Тогда мне это казалось упрямством, совсем не подходящим ему как личности, потому что он был одним из умнейших людей, которых я знал. Сейчас я его понимаю. Сейчас, глядя в прошлое, я могу в какой-то мере даже ощутить то отвращение, с которым он воспринимал всю эту "беспардонность" и ту свою к ней нетерпимость, которую он скрывал за банальными фразами вроде: "Не может быть того, чего быть не должно". К сожалению, практическую свою реализацию эти высокие принципы обретали лишь в анекдотах. А анекдоты могли запросто обернуться трагедией, если бы моя мать вовремя не приспособилась к новой ситуации по-своему.

Вот так и складывалась наша жизнь, жизнь семьи высокопоставленного прусского чиновника. Тридцать первого или первого числа каждого месяца отец получал жалованье, на которое мы и жили — вклады и счета в банке давно обесценились. Чего стоило его жалованье, понять было трудно, каждый месяц оно было разным; один раз сто миллионов означали большие деньги, другой раз и полумиллиарда хватало лишь на мороженое. Во всяком случае, отец старался покупать проездной на метро сразу, чтобы по крайней мере весь следующий месяц ездить на работу и домой бесплатно, хотя путь на метро был неудобен и отнимал много времени. Второе, что отец делал сразу после получки, была оплата счетов за квартиру и нашу учебу, а потом мы всей семьей ходили к парикмахеру. Все, что после этого оставалось от получки, отдавалось матери, и на следующий день все, включая кухарку (но, естественно, исключая отца), вставали в четыре или пять часов утра и ехали в такси на рынок. Там закупалось все, что только возможно, и месячное жалованье старшего советника по правительственным делам полностью уходило на приобретение наименее скоропортящихся продуктов. Огромные сыры, целые свиные ноги, картошка пудами — все это грузилось опять-таки в

такси. Если не помещалось, кухарка с нашей помощью нанимала мальчика с тележкой. Часам к восьми утра, то есть еще до школы, мы возвращались домой, зная, что запаслись провиантом по крайней мере на месяц. Но это было и все, то есть денег на что-либо еще уже не оставалось. Теперь целый месяц денег ждать было неоткуда. Иногда откуда-то приходили запоздалые гонорары или проценты, но чаще мы весь месяц голодали, как церковные крысы, не имея даже мелочи, чтобы проехать на трамвае или купить газету. Не знаю, что бы стало с нашей семьей, если бы в ней случилось несчастье — кто-то бы тяжело заболел или еще что похуже.

Для моих родителей то время, наверное, было жестоким и трудным. Для меня же оно было скорее необычным, чем враждебным. То, что моему отцу приходилось ездить на работу сложным и кружным путем, означало, что его не было дома целый день, а у меня была масса абсолютно свободного и никому не подконтрольного времени. Карманных денег мне давно уже не выдавали, но у меня были старшие приятели, богатые в самом прямом и полном смысле слова, и напроситься к ним на одну из их безумных вечеринок было нетрудно, ибо стоило это им немного. Мне удалось выработать определенное равнодушие как к нищете у нас в доме, так и к богатству приятелей. Я не страдал от первого и не завидовал второму, а просто находил все это необычным и, следовательно, интересным. Суть в том, что в реальной жизни того времени, сколь бы она ни казалась увлекательной, участвовала лишь небольшая часть моего "я". Гораздо сильнее увлекал меня мир книг, в которые я погружался: там-то главное мое "я" и пребывало. Я читал "Будденброков", "Тонио Крёгера", "Нильса Лина" и "Мальте Лауридса Бригге", стихи Верлена, раннего Рильке, Георге и Гофмансталя, "Дориана Грея" Уайльда, "Флейты и кинжалы" Генриха Манна...

И был во многом похож на героев этих книг — уставших от светской жизни декадентов эпохи fin-de-siècle, вечных искателей красоты. Неуклюжим, диковатым шестнадцатилетним подростком, давно выросшим из своих костюмов и срочно нуждавшимся в стрижке, я бродил по лихорадящим, чумным улицам пораженного инфляцией Берлина с видом и ощущением манновского патриция или уайльдовского денди. И ощущения эти ничуть не ослабевали от того, что тем же утром я в очередной раз вместе с горничной грузил на тележку круги сыра и мешки с картошкой.

И потом, разве у меня для таких ощущений не было оснований? Неужели они появились только от чтения книг? Конечно, в шестнадцать лет, особенно между осенью и весной, все впадают в усталость от жизни, скуку и меланхолию, но разве мы, я и мои сверстники, если уж судить объективно, не повидали достаточно, чтобы начать смотреть на жизнь с надменным, слегка насмешливым и усталым разочарованием, находя в себе черты того же Томаса Будденброка или Тонио Крёгера?

Мы повидали великую игру, называвшуюся войной, и испытали шок замирения; мы видели революцию, лишившую нас последних иллюзий, а потому ставшую важнейшим политическим уроком, позднее попали в ежедневный цирк, где все прежние правила жизни были втоптаны в пыль, а возраст и опыт осмеяны. Мы успели уверовать и разувериться в целом ряде противоречивых учений. Сначала мы были пацифистами, потом националистами, потом нас увлек марксизм (революция, имеющая слишком много общего с сексуальной: ни то ни другое учение офи-

циально не признаны, оба любят использовать для обучения шоковый метод, и оба делают одну и ту же ошибку — они выделяют и объявляют главной одну-единственную часть общественного сознания, пусть важную, но в данном конкретном обществе не принятую и большинством игнорируемую, — свободную любовь в одном случае и исторический материализм в другом). Ратенау и его смерть напомнили нам, что и самые великие люди смертны; Рурская война показала, что разницы между самыми благородными и самыми низменными побуждениями нет никакой, если говорить о результатах. Где же было найти что-то еще, что могло бы воодушевить нас? (Потому что для молодежи главное, чтобы было чем воодушевиться.) Нам не осталось ничего, кроме поисков идеальной, не подверженной времени красоты, о которой так вдохновенно писали в своих стихах Георге и Гофмансталь, кроме все того же безвыходного, юношески-наглого скептицизма и, конечно, любовных мечтаний.

У меня тогда не было девушки, которая пробудила бы во мне любовь, но зато был юноша, разделявший мои идеалы и литературные вкусы. У нас была необычная, как сказали бы теперь, патологическая дружба, с мечтаниями, смущением и страстями, какие могут существовать только у подростков и только до тех пор, пока в жизнь одного из них по-настоящему не войдет девушка. Тогда эта способность быстро увядает. После уроков мы часами бродили по улицам, поглядывая на вывески долларового курса, обменивались несколькими снисходительными словами и мыслями о политическом положении, а потом говорили о прочитанных книгах. Мы договорились, что, выходя на очередную прогулку, будем обсуждать каждый раз новую книгу, и нам это удавалось. Так, полные робкого возбуждения, мы осторожно проникали в душу один другого. А вокруг нас в это время всех лихорадило, общество распадалось на части прямо на глазах, германский рейх лежал в обломках, — однако все это служило лишь фоном для наших глубокомысленных диспутов, скажем, о сущности гения и о том, совместима ли гениальность с моральной неустойчивостью и декадентством.

Да, фон был прекрасный: непредсказуемый и незабываемый.

В августе доллар достиг миллиона. Мы прочли об этом с легким изумлением, как будто речь шла о каком-нибудь невероятном спортивном рекорде. Через две недели такие сообщения воспринимались уже со смехом, потому что доллар, будто набравшись на миллионном рубеже новых сил, удесятерил темп и, преодолев один за другим сотенномиллионные барьеры, повел счет на миллиарды. В сентябре миллион уже ничего не стоил, расчетной единицей стал миллиард. В конце октября это был уже биллион. Между тем случилось ужасное: Рейхсбанк прекратил печатать новые деньги. Банкноты устаревали, не успев дойти до окошек касс: 10 миллионов, 100 миллионов — это теперь сколько? Доллар и цены ушли далеко вперед. Не было ничего, что можно было бы использовать в качестве денег для практических расчетов. Торговля на несколько дней замерла, и в бедных кварталах люди, лишенные каких-либо средств платежа, воспользовались собственными кулаками и начали грабить лавки колониальных товаров. Настроение вновь стало революционным.

В середине августа под гром уличных беспорядков пало правительство. Еще некоторое время спустя мы проиграли Рурскую войну. Всем было просто не до нее. Кажется, давно ли мы клялись быть единым народом с братьями в оккупированном Руре? Теперь мы ожидали гибели

Германии, раскола рейха, вообще любой политической катастрофы, сопоставимой с ужасами нашей личной жизни. Слухов ходило великое множество: отделился Рейнланд, отделилась Бавария, вернулся кайзер, вошли французские войска. Политические "союзы", как левые, так и правые, не шевелившиеся годами, вдруг развили бурную деятельность. Они проводили учения в лесах под Берлином; просачивались слухи о некоем "черном рейхсвере", и очень много говорилось о "дне Д".

Отличить правду от вымысла было трудно. На Рейне действительно возникла какая-то республика, продержавшаяся несколько дней. В Саксонии чуть ли не месяц существовало коммунистическое правительство, пока правительство рейха не направило туда войска. И наконец, в один прекрасный день газеты объявили, что кюстринский гарнизон двинулся в поход на Берлин.

В это же время распространился лозунг: "Предателей должен судить феме[1]!" К полицейским объявлениям о розыске воров на афишных тумбах присоединились объявления о розыске убийц и без вести пропавших. Люди исчезали десятками. Почти все они были связаны с тем или иным союзом. Спустя годы их скелеты обнаруживались в лесах или близ лесов под Берлином. В союзах стало правилом расправляться с ненадежными или подозрительными членами без лишней мороки и закапывать их где-нибудь неподалеку.

Слухи о подобных убийствах уже не казались невероятными, как в обычные, цивилизованные времена. Настроение постепенно становилось апокалиптическим. В Берлине сотнями начали появляться "спасители" — длинноволосые люди во власяницах, объявлявшие себя посланниками Бога, призванными спасти мир, для выполнения каковой миссии им тоже надо на что-то жить. Самым популярным из них был некий Хойсер, заклеивавший своими плакатами афишные тумбы и устраивавший массовые радения. Поклонников у него было очень много. В Мюнхене у него объявился конкурент, судя по газетам, некий Гитлер, речи которого, в отличие от первого, носили отнюдь не возвышенный характер; они были непревзойденны по количеству самых жутких угроз и по своей неприкрытой жестокости. Гитлер собирался строить свой Тысячелетний рейх на костях евреев, для чего требовал их всех перебить, а некий Ламберти в Тюрингии намеревался достичь того же, заставив граждан петь, исполнять народные танцы и прыгать с парашютом. У каждого спасителя был свой стиль. Никто уже ничему не удивлялся: времена удивления давно прошли.

Мюнхенский Хойсер, то бишь Гитлер, в ноябре целых два дня не сходил со страниц газет, трезвонивших о его непостижимой попытке устроить революцию в пивном погребке. На самом деле вооруженная до зубов полиция разогнала революционеров сразу же после его ухода из погребка, чем вся революция и закончилась. Однако люди еще целые сутки думали, что это долгожданная революция и есть. Узнав эту новость, обрадованный учитель греческого не без прозорливости предсказал нам, что через несколько лет все снова станут солдатами. Разве тот факт, что подобная авантюра вообще оказалась возможной, не стократ интереснее ее неудачи? Шансы у спасителей явно были. Тогда все было возможно. Доллар стоил биллион. А до рая вообще было подать рукой.

1. Средневековый суд в Германии; тайное судилище.

И тут произошло нечто странное. Вдруг распространился фантастический слух, что скоро опять появятся деньги "с постоянной стоимостью", и через некоторое время они действительно появились. Неказистые маленькие бумажки коричнево-зеленой расцветки с надписью: "Одна марка ренты". Расплачиваясь ими в первый раз, человек с некоторой опаской ждал, что же будет. Но ничего не было. Их действительно принимали, и он получал свой товар, — товар, стоивший биллион. Так же было и на второй день, и на третий, и на следующий. Фантастика!

Доллар перестал расти. Акции тоже. Но стоило перевести их в новые марки, как они фюить! — и превращались в ничто, как и все остальное. Таким образом, ни у кого ничего не осталось. Однако вскоре начали выплачивать в этих марках зарплату и жалованье, а еще через некоторое время, вот чудо-то, появились даже гривенники и пятачки, твердые блестящие монетки. Они приятно позвякивали в кармане, а кроме того, сохраняли свою стоимость. В четверг можно было что-то купить на деньги, полученные в прошлую пятницу. Мир был полон сюрпризов.

За несколько недель до этого канцлером стал Штреземан. Политика вмиг стала гораздо спокойнее. Никто больше не говорил о гибели рейха. Союзы, ворча, вернулись к состоянию, похожему на зимнюю спячку. Из них ушли многие члены. Никто больше не пропадал без вести. Из городов исчезли спасители. Вся политика, казалось, сводится единственно к спору между партиями о том, кто же все-таки изобрел "марку ренты". Националисты утверждали, что это был Гельферих, депутат-консерватор и бывший кайзеровский министр. Левые, не соглашаясь, называли имя доктора Шахта, верного демократа и твердого республиканца. Это были дни после потопа. Все было потеряно, но вода уже начала спадать. Старики не могли вспомнить ничего похожего, чтобы вновь завести свою песню о том, "как было тогда", а молодежь испытала что-то вроде легкого сотрясения мозга. Двадцатилетним директорам банков пришлось снова подыскивать себе места младших клерков, а школьникам — обходиться двадцатью марками карманных денег. Конечно, были и "жертвы стабилизации валюты", кончавшие жизнь самоубийством. Но количество тех, кто начал понемногу вылезать из своих нор, спрашивая себя, неужели опять можно жить, было намного больше.

Общая атмосфера слегка напоминала похмелье, но все-таки облегчение чувствовалось. К Рождеству весь Берлин превратился в огромную рождественскую ярмарку. Каждая вещь стоила десять пфеннигов, и все покупали себе трещотки, марципановых зверушек и прочую детскую дребедень, только чтобы убедиться, что опять стало можно купить что-то за десять пфеннигов. А может быть, и для того, чтобы забыть последний год, все эти последние десять лет, и вновь почувствовать себя ребенком.

Во всех лавках висели плакаты: "Снова по ценам мирного времени". Впервые за много лет настало нечто, похожее на мир.

11

Это и был мир. Начало единственного по-настоящему мирного периода, которое довелось пережить моему поколению в Германии: время с 1924 по 1929 год, когда политикой страны управлял из министерства иностранных дел Густав Штреземан. "Эпоха Штреземана".

Возможно, о политике можно выразиться теми же словами, как говорят о женщинах: лучшая из них — та, о которой меньше всего говорят. Если так, то политика Штреземана несомненно была лучшей. В его времена почти не было политических дебатов. Разве что в первые два-три года: о борьбе с опустошительными последствиями инфляции, о плане Дауэса[1], о Локарно[2] и Туари, о вступлении в Лигу Наций: это были события, которые обсуждались. Но и только: политика перестала быть тем, из-за чего бьют посуду.

Года после 1926 нечего стало и обсуждать. Материалы для аршинных заголовков газетам приходилось разыскивать в других странах.

В нашей стране ничего нового не происходило, все было в порядке, все шло своим чередом. Иногда сменялось правительство, у власти находились то правые партии, то левые. Но большой разницы не было. Министром иностранных дел всегда был Густав Штреземан. Это означало мир, отсутствие кризисов, business as usual[3].

В страну текли деньги, стоимость денег не менялась, бизнес шел хорошо, старики вновь начали понемногу извлекать из сундуков свой житейский опыт, приводить его в порядок и выставлять напоказ, как будто тот никогда не обесценивался. Последнее десятилетие было забыто, как страшный сон. До рая опять стало далеко, спрос на спасителей и революционеров упал до нуля. Общественной сфере требовались лишь исполнительные администраторы, частной — бойкие торговцы. Было вдоволь свободы, покоя, порядка, доброжелательнейшего либерализма всюду и везде, были хорошие зарплаты, хорошая еда и немного общественной скуки. Каждому предлагалось спокойно и безмятежно заниматься своей частной жизнью, устраивая ее по своему вкусу и фасону.

Но тут опять произошло нечто странное — и в этом я вижу одно из важнейших политических событий нашего времени, о котором не писали в газетах. Этого предложения почти никто не принял. Никому было не надо. Оказалось, что целое поколение в Германии не знает, что делать со столь щедро подаренной ему частной жизнью.

Очень молодые и совсем юные немцы примерно двадцати следовавших друг за другом годов рождения привыкли черпать все сколько-нибудь важные события, все поводы для глубоких эмоций, все объекты любви и ненависти, ликования и траура, все сенсации и острые ощущения извне, из общественной сферы, охотно беря их, так сказать, бесплатно, даже если к ним прилагались такие вещи, как бедность, голод, смерть, неразбериха и риск. Когда же поставки этого бесплатного продукта прекратились, они оказались беспомощными, чувствуя, что их ограбили, обделили, приговорив к разочарованию и скуке. Жить своей жизнью, делать эту свою маленькую частную жизнь великой, прекрасной и достойной, наслаждаться ею и находить в ней интерес — этому их никто никогда не учил. Поэтому спад общественной напряженности и возвращение частных свобод были восприняты ими не как подарок, а как самый бессовестный грабеж. Они скучали, постепенно дурея от

1. Репарационный план для Германии. Утвержден 16 авг. 1924 г. на Лондонской конференции держав-победительниц в Первой мировой войне. Чарльз Гейтс Дауэс (1865–1951) — руководил Международным комитетом экспертов.
2. На международной конференции 1925 г. в Локарно Германия, Бельгия, Франция, Италия и Великобритания взяли на себя обязательство совместными усилиями обеспечить мир в Западной Европе.
3. Обычный бизнес (*англ.*).

этой скуки, роптали потихоньку — и чуть ли не с жадностью хватались за каждый промах властей, за каждую неудачу или инцидент в надежде на скорый конец мирного времени и начало новых коллективных авантюр.

Чтобы уж быть точным — а эта проблема требует точности анализа, потому что именно она, по-моему, и является ключом ко всему тому этапу всемирной истории, который сейчас переживаем мы все, — добавлю: так реагировали не все и далеко не каждый из того поколения юных немцев. Были и такие, кто, пусть неумело и с опозданием, в это время, можно сказать, учились жить, находя вкус в своей собственной частной жизни, постепенно отвыкая от сивухи военно-революционных игрищ, и начинали становиться личностями. Именно тогда, невидимо и незаметно, образовалась и начала расширяться та бездонная пропасть, которая разделила потом немецкий народ на нацистов и ненацистов.

Я уже говорил где-то выше, что у моего народа способность к личной жизни и личному счастью выражена слабее, чем у других. Позже, во Франции и Англии, мне довелось с удивлением и не без зависти понаблюдать (и поучиться), какими счастливыми могут ощущать себя люди, каким неисчерпаемым источником энергии может всю жизнь служить, например, французу его каждодневный со вкусом приготовленный обед, солидный мужской разговор за бокалом хорошего вина и красиво обставленные любовные приключения, а англичанину — его сад, забота о животных и бесчисленные, по-детски серьезные спортивные игры и хобби. У среднего немца не было ничего даже похожего. Лишь небольшая прослойка образованных людей — не такая уж маленькая, но все равно в меньшинстве, — умела и до сих пор умеет находить смысл и радость жизни в книгах и музыке, в осознании своей роли в этой жизни и в выработке собственного мировоззрения. Что было у нас, принадлежавших к этой прослойке? Доверительный обмен мнениями, умный разговор за бокалом вина, традиционная и немножко сентиментальная верность старым друзьям и, наконец, любовь к семье и сосредоточенность жизни на ней — вот в чем были наши горести и радости. Десять лет, с 1914 по 1924 год, похоронили под собой все эти ценности, а молодым уже не нужны были эти наши традиции и обычаи.

За пределами же этого образованного слоя главную опасность тогда в Германии представляли душевная пустота и скука. (Опять же исключая некоторые географические окраины — Баварию, Рейнланд, — где все-таки были юг, романтика и юмор.) На просторах же северной и восточной Германии, в этих безликих городах, за всей суетой четкого, аккуратного и лояльно поставленного бизнеса, не говоря уже об администрации, людям грозило и грозит отупение. А еще, конечно, horror vacui[1] и поиски спасения. Спасения в алкоголе, в суевериях или, лучше всего, в каком-нибудь повальном, увлекательном, низкопробном массовом психозе.

Такая ситуация, при которой в Германии лишь сравнительно немногочисленное меньшинство (отнюдь не обязательно связанное с принадлежностью к аристократии или к большому бизнесу) осознавало, что происходит на самом деле и какие могут быть из этой ситуации выходы, — кстати, вот вам еще одна наша особенность, в силу которой Германия в принципе не способна иметь демократическое управление, — эта ситуация в период с 1914 по 1924 год угрожающе обострилась. Взрослое

1. Боязнь пустоты (*лат.*).

поколение, пережив крах всех своих идеалов и надежд, потеряло уверенность и оробело; старики засобирались в отставку, выискивая себе на смену молодых, всячески улещивая их и ожидая от них чудес. Молодые же не знали и не хотели знать ничего, кроме общественной шумихи, сенсаций, анархии и опасной эйфории рискованных игр в числа. Они ждали лишь возможности самим устроить опять все то, во что их так усиленно вовлекали когда-то, только с еще большим размахом, а вся эта частная жизнь была для них "скучной", "буржуазной" и "позавчерашней". А массы, тоже привыкшие было к разным сенсационным беспорядкам, в их отсутствие начали постепенно расслабляться и загнивать, кстати, не без влияния их последнего великого суеверия — педантично цитируемого и торжественно чтимого премудрого св. Маркса, с верой в его чудотворную силу и упованием на автоматическое свершение предсказанного им развития общества.

Так, незаметно для глаза, оказалось подготовлено все для начала великой катастрофы.

На поверхности же в обществе по-прежнему царили счастливый мир, полный штиль, всеобщий порядок, благоденствие и доброжелательность. И даже явные признаки надвигающейся катастрофы казались лишь деталями столь отрадной картины всеобщего благоденствия.

Лори Бауке
Колин Уайт

“Нелетучие голландцы”

Перевод с английского Е. Зиминой

От редакции

Жанр путевых заметок имеет в литературе такую же давнюю традицию, как дневники, письма и мемуары. Свидетельства путешественников, посетивших дальние, экзотические страны, становились шедеврами мировой прозы так же часто, как и записки побывавших в соседних странах и местностях, будь то “Путешествие Марко Поло” или “Путешествие в Гарц”, “Записки русского путешественника” или “Записки туриста”. Путевые записки вызвали к жизни и великие романы-путешествия, такие как “Робинзон Крузо” и “Гулливер”.

В жанре путевых заметок пишут и наши современники, которые используют их как блестяще зарекомендовавшую себя литературную форму, а порой, так сказать, per se: соблазн сравнить чужое со своим, сопоставить уже известное, превратившееся в стереотипы с непосредственно увиденным особенно силен сегодня, когда “плавающих и путешествующих” стало много как никогда.

Мы предлагаем читателю фрагменты книги о голландцах, авторы которой — англичанин Колин Уайт и американка Лори Бауке — прожили в Голландии немало лет и написали о ней веселую, насмешливую и проницательную книгу, где то, что заранее известно о голландцах, вроде любви к цветам, велосипедам и мельницам, зачастую предстает в ином свете, а заодно открывается много нового, порой очень смешного и неожиданного. Пожалуй, получился не столько путеводитель по Голландии, сколько размышления о голландцах. Книга уже выдержала три издания. Читают ее и местные жители и сокрушенно разводят руками: “Все правда!”

Будем знакомы

Люди едут на край света, чтобы посмотреть на великие произведения искусства. Но голландцы живут в стране, которая сама — произведение искусства.

Реклама королевских голландских авиалиний

ПЕРВОЕ впечатление у всех одинаковое — игрушечная страна! Все крошечное, перенаселенное, тесное: дома, улицы, магазины, супермаркеты, парки, скверы, машины... Не удивляйтесь, Гол-

© Colin White, Laurie Boucke, 1995
© Е. Зимина. Перевод, 2002

ландия — третье по плотности населения государство в мире (после Бангладеш и Южной Кореи), и его обитатели овладели искусством использовать каждый сантиметр земли.

Голландия почти целиком расположена на отвоеванной у моря территории. Море легко сдаваться не хотело, и поэтому пришлось установить 60 тысяч насосов, чтобы откачивали воду денно и нощно.

Как только во время трансконтинентального полета объявляют, что самолет пролетает над Голландией, — немедленно смотрите в окошко! Пара секунд — и будет поздно. И правда, на машине за три часа можно всю страну проехать насквозь.

Добравшись до места и привыкнув к разнице не только во времени, но и в атмосферном давлении (Голландия лежит ниже уровня моря), все кидаются осматривать достопримечательности — ветряные мельницы, плантации тюльпанов, сырные рынки, каналы. Что еще? Кофе-шопы, например, в которых продается вовсе не кофе. Какое-то время уйдет на покупку деревянных башмаков и дельфтского фарфора. Можно поехать на природу, поглядеть на могучих фрисландских лошадей или взять напрокат маленький катер. На все вполне хватит недели, а дальше придется призадуматься, как себя развлечь.

Все надежды на изысканные или экзотические блюда местной кухни лучше оставить. Любителям простора или уединения придется поехать в какую-либо другую страну. Больших лесов или гор в Голландии нет. На пляже, в дюнах или в парке не удастся отделаться от ощущения, что здесь уже побывало несметное количество народу. И так оно и есть.

А ведь именно эта страна вдохновляла Рембрандта и Ван Гога!

Флора, фауна, деньги

Во власти цветов

Если вы хотите выразить голландцу благодарность, признательность или симпатию — подарите цветы. Если нужно извиниться или замять ссору, опять же покупайте цветы. Ну а коль вас пригласили в голландский дом на обед, то даже и не думайте появиться на пороге без букета.

Голландцы дарят цветы друг другу по любому поводу. Представители других национальностей прислали бы поздравительную открытку или подарили бы что-нибудь на память, но голландцы себе не изменяют — всегда и везде цветы. "Клогги" (американское прозвище голландцев, от "cloggy" — деревянные башмаки, клумпе) на велосипеде с охапкой цветов — такая же узнаваемая картинка, как француз с длинным батоном хлеба в руках.

Нести букет цветов следует вниз головой, чтобы вода могла свободно стекать по лепесткам — не страшно, что намокнет пальто, это же вода. Вручайте букет прямо с порога и в обертке. Ответная реакция наступит незамедлительно! На лицах хозяев вспыхнут полный восторг и бесконечная признательность. Блаженно улыбаясь, они снимут целло-

фан, подрежут стебли, расправят лепестки, вдоволь налюбуются букетом и только после этого пригласят вас в гостиную.

Собираясь в гости к голландцам, прихватите с собой мачете или саблю — прорубать путь в густых зарослях зелени. Любовь местного населения к растениям настолько велика, что среднестатистическая гостиная напоминает джунгли.

В дополнение к горшкам и кашпо по всей комнате в продуманном порядке расставлены вазы с живыми цветами. Этакий зимний сад. А за окнами комнаты — летний сад, которому обитатели дома также посвящают немало времени. Если же своего дома нет и приходится жить в квартире, то все силы бросаются на озеленение подоконников и балконов. Не беда, что буйная растительность сокращает и без того скромные размеры голландского жилища. Зато красота-то какая!

Голландию привыкли считать страной тюльпанов. Тем не менее здесь их найдешь далеко не в каждом саду, это все выдумки несведущих иностранцев. Тюльпаны закупаются коробками, ящиками, корзинами, но не для себя, а на продажу, а еще больше напоказ. Для самих же голландцев этот символ достижений садово-огородного хозяйства предметом гордости не является.

Как вырастить гульден?

Голландская цветочная промышленность определенно преуспевает и является одним из главных источников дохода страны. За городом поля цветов покрывают землю ярким лоскутным одеялом. Зимние холода и перепады температур цветоводов не пугают — теплиц хватает, и оснащены они первоклассно.

В городах и поселках невероятное количество цветочных магазинов и киосков, цветы продаются даже с тележек, цены на товар вполне доступные. Голландия — один из крупнейших экспортеров цветов в мире. Ежедневно товар продается закупщикам на крупнейшем в Голландии цветочном аукционе в городе Алсмер. Это очень необычный аукцион (сами голландцы именуют его "китайским") — продавцы снижают цену до тех пор, пока не найдется покупатель.

Раз в десять лет в Голландии проходит колоссальная садовая выставка "Флориаде". Для голландцев это событие — двойное наслаждение. Во-первых, любимые цветы, во-вторых, не менее любимые деньги. Впрочем, так ли велика прибыль? В 1982 году "Флориаде" понесла убытки в размере 9 миллионов гульденов. Несмотря на такие серьезные издержки, было объявлено, что выставка прошла с невероятным успехом. Заключался успех, с точки зрения голландцев, в том, что они смогли насладиться 36-миллионным шоу всего за 9 миллионов гульденов. В 1992 году в представлении приняли участие 3,3 миллиона зрителей и было продано 2 миллиона луковиц цветов, но прибыли опять не получилось. Мнения по поводу провала разделились. Половина народонаселения в связи с ростом убытков требовала покончить с выставкой навсегда, а другая призывала к продолжению, надеясь на успех в следующий раз.

Ратовавшие за продолжение явно желали видеть себя в роли почетных устроителей следующей "Флориаде", выставки, которую, по мнению коренного населения, следует считать восьмым чудом света.

Еще более популярным событием у голландцев считается "Блумен-корсо" – ежегодный плавучий парад цветов. Представление начинается в Алсмере, откуда цветочная флотилия плывет через Амстелвен в Амстердам. Происходит парад в сентябре, когда в Европе туристический сезон уже обычно заканчивается. Толпы голландцев взирают на проплывающую пеструю эскадру, восторгаясь великолепной организацией мероприятия и возможностью бесплатного в нем участия. Зрелище незабываемое!

Такое роскошное проматывание денег активизирует воришек – удача просто идет в руки. Стянув у цветоводов охапки и букеты, они тут же продают их всем желающим. Нужно сказать, что нажиться успевают не только воры-одиночки, процветает и организованное воровство.

Садово-огородная истерия распространяется не только на цветы. Все, что растет и зеленеет, должно приносить выгоду. На полях выращиваются и домашние растения, и овощи на экспорт, они же потом заполоняют рынки.

Приобретение нового зеленого члена семьи кладет начало невиданной суматохе. Тут же закупаются все необходимые принадлежности: богато изукрашенные горшки, особая земля, измерители влажности, различные подкормки, средства для придания листьям блеска и прочие важные вещи – на время бережливость уступает место транжирству. Домашняя библиотека пополняется самодельными книжками типа "Наш фикус и как за ним ухаживать" или "1001 прозвище маминого кактуса".

Часто создается впечатление, что голландцы попусту изводят землю, на которой можно было бы посеять что-то путное. И послать урожай, например, голодающему населению Африки, бедственное положение которого вызывает столько эмоций, но... Попробуйте только заикнуться об этом!

Законы о земле

Удивительно, но непрестанное производство тюльпанов, деревьев, помидоров, кормовой свеклы и картошки не привело почву к полному истощению. Наоборот, благодаря регулярному внесению различных удобрений она вполне плодородна или, по крайней мере, была такой до самого недавнего времени.

Помимо искусственных удобрений вносятся и естественные – число коров, свиней и прочих четвероногих обитателей Голландии достигло уже двух десятков миллионов. По правде сказать, здесь очень хорошо все унавожено!

Горя нетерпением нажиться на бесплатном навозе, местные власти организовали "банки удобрений", куда можно вкладывать, а также и брать отнюдь не озонирующий воздух продукт. Для достижения полной денежной выгоды любая из "банковских" операций облагается налогом, причем все это субсидируется правительством страны. И в заключе-

1. Разразившаяся в Европе в начале 2001 года эпидемия ящура катастрофически сократила количество копытных. Плачущие фермеры своими руками убивали любимых животных, по телевизору бесконечно обсуждалось мрачное будущее... Первые страницы газет облетела фотография мертвой свиньи на фоне опустевшей фермы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ние — "навозные банки" были национализированы с целью... "способствования эффективному использованию отходов".

Навозная кампания вызвала в голландских газетах гораздо больший резонанс, чем парниковый эффект, причиной которого, по мнению ученых, являются все те же пресловутые жвачные[1].

Голландцы и растительный мир

Обуреваемые любовью к флоре, голландцы возвели дерево в статус "национального символа". На уход за деревьями каждый город и поселок выделяет в бюджет изрядные суммы. Все деревья страны занесены в реестр, пронумерованы и находятся под постоянным контролем. Состояние здоровья деревьев регулярно проверяется специальной медицинской службой, хирургические операции выполняются "древологом" прямо на месте. Если дерево хорошо себя ведет, вовремя и исправно покрывается листвой и пускает корни как положено, то оно может быть удостоено важного статуса "памятник". На сегодняшний день 10 тысяч голландских деревьев уже носят это почетное звание. Специальные фонды охраны и инициативные группы делают на деревьях фантастический бизнес. Например, в Леувардене пришлось спилить 130-летний платан, чтобы построить дорогу к новому театру. Проститься с пнем пришло огромное количество народу, состоялась траурная церемония с возложением венков. В театре, конечно же, была установлена мемориальная доска в знак уважения к безвременно ушедшему зеленому другу. Неисключено, что при этом пришлось загубить жизнь еще одному его сородичу.

(Варварство по отношению к природе сходит с рук только подрастающему поколению, опекаемому еще более заботливо, чем зеленые насаждения. Познавая природу, детишки с наслаждением калечат и уродуют все, что есть вокруг.)

Отношение к природе можно считать одним из ярких примеров двойного стандарта, по которому живет голландское общество. С одной стороны, голландцы экспортируют горы деревянных башмаков. С другой стороны, их невероятно раздражает стереотипное представление иностранцев о Голландии как стране тех же деревянных башмаков и ветряных мельниц и преуспевающей порноиндустрии. Кстати, местный художник, который делал иллюстрации к настоящей книге, очень беспокоился по поводу ее содержания. Он боялся, что в ней все голландцы будут ходить в деревянных башмаках и снимать с участием своих детей порнофильмы, чтобы потом продать их в Америку.

Стоит ли ради деревянных башмаков, сувенирных мельниц и инкрустированных скамеечек для ног совершать ежедневное "древоубийство"? Вопрос остается открытым. На деле Голландия, как экологически сознательный и яростный борец за сохранение всего живого на нашей планете, является вторым после Японии крупнейшим импортером твердой древесины тропиков. Вероятно, чужие леса менее дороги голландскому сердцу. Во всяком случае, правительство страны издало дек-

рет, отменяющий все ограничения на ввоз ценной древесины из Латинской Америки.

Дети

За двадцать лет проживания в Голландии я ни разу не видел, чтобы ребенка наказывали телесно.

Люка Досси Делфини[1]

Б*еременность и рождение*

Любой голландский родитель считает, что лучшего места, чем Голландия, для вынашивания и рождения ребенка не найдешь. Врачи и младший медперсонал в обязательном порядке проходят акушерские курсы и акушерскую практику. В большинстве случаев поощряются естественные роды, рекомендуется рожать дома. Где бы в конечном счете ни произошли роды, атмосфера нагревается до высшего градуса уюта и интимности. Удивительно, но почему-то по поводу такого важного события цветы дарить не принято. Как только новорожденный заявляет о своем появлении, его тут же окружают вниманием и заботой, порой неумеренными.

В первые недели жизни младенец и мать бесперерывно принимают умиленных посетителей. Приходят все: родственники, друзья, медсестры, советчики и просто поздравители. Изнуренная мать мечтает остаться наедине с младенцем, но обязана оказывать внимание и ему, и назойливым гостям — причем не всегда именно в такой последовательности.

Молодые родители, как, впрочем, и все голландцы, обожают получать подарки. Но, чтобы принять подарок, им необходимо оторваться от любования новорожденным дитятей и переключить внимание на гостя. Цикл повторяется бесконечное число раз, и младенец с первых минут жизни усваивает этикет вручения подарка и выражения благодарности, а также учится бунтарству и свободе самовыражения.

К*ак растет новое поколение*

"Пусть растут свободными!" — вот золотое правило, которому старается следовать современное голландское общество (хотя и в стародавние времена это правило было точно таким же). Дайте детям свободно исследовать и разведывать все, что им хочется. Пусть себе свободно

1. Люка Досси Делфини — современный писатель, историк голландского искусства; цитата из статьи напечатана в журнале "Нэшнл джиогрэфик" за 1986 г.

строят (разрушают), не обращая ни на кого внимания, главное, чтобы это не было опасно для них самих. Пусть становятся независимыми бунтарями, и чем раньше, тем лучше.

Давая детям образование и воспитание, не держите их в узде. Пусть наслаждаются своим ребячеством. Не взваливайте преждевременно обузу взрослости на их хрупкие плечи. Оберегайте неокрепшую детскую душу от ранних забот.

Ян ван Бейфервяйк[1], 1656 год

Сюсюкайте со своими отпрысками и балуйте их, детство так коротко (у голландцев оно заканчивается годам примерно к 30).

В XVII веке голландские дети были гораздо инфантильнее своих сверстников в других странах. Родители умышленно удерживали их в этом состоянии.

Саймон Шейма[2], 1987 год

Процесс воспитания, как правило, выглядит так: родитель принародно и громким голосом объясняет чаду, как следует себя вести. Чадо тут же демонстрирует полное неповиновение, после чего умиленный родитель предоставляет ему полную свободу действий.

Предостережение голландским родителям

Берите уроки у природы: не окружайте свое потомство чрезмерной заботой.

Таня, гиппопотамиха из амстердамского зоопарка, пала жертвой любви к детям. Нежная мать задушила в своих объятиях пятерых из пятнадцати детенышей и еще пятерых обрекла на голодную смерть, не позволяя служащему зоопарка их кормить. Сейчас Таня сидит на противозачаточных таблетках. Ее супруг Йоп происходящее комментировать отказался.

Цветы жизни

Придя к голландцам в гости, не рассчитывайте на задушевную беседу с хозяевами. Их шумное дитя тут же окажется рядом, начнет скакать по комнате, петь, показывать новые игрушки и требовать полного внимания. Ластясь к матери, будет целовать и обнимать ее и, не умолкая ни

1. Ян ван Бейфервяйк — голландский историк и писатель XVII в.
2. Саймон Шейма — современный английский писатель, историк, автор книги "Глазами Рембрандта".

на секунду, задавать самые неожиданные вопросы. Или усядется между родителем и гостем и сосредоточенно станет копировать все их жесты и слова.

Когда же любящая мамаша заметит, что чадо довело гостью почти до истерики, то самым строгим голосом попросит его уйти и дать наконец им поговорить. Дитя полностью проигнорирует ее слова, так что повторять просьбу придется минимум трижды. Не более чем через пять минут отпрыск вернется в объятия все простившей матери, и сцена начнется сначала.

Вообще голландские детки сделают все, чтобы беседа не состоялась: будут визжать, хлопать дверьми, прыгать на стол, толкаться, затеют драку с последующим ревом, и так далее и тому подобное.

Естественно, по такому же образцу ведут себя родители и дети и на публике. Везде — в школе, на улице, в ресторане или в приемной у врача — вы увидите ту же картину. Особенно показателен поход в кино — там уж вам стараниями голландцев всех возрастов кромешный ад просто обеспечен.

А теперь несколько эпизодов, иллюстрирующих вышесказанное.

1. В метро.

Две мамаши с выводком детей едут в гости. Чумазая дочка одной из них липкими руками ощупывает портфель сидящего рядом мужчины. Тот просит девочку не делать этого. Мать, невероятно оскорбленная реакцией пассажира, весьма пространно объясняет ему, как важна для маленького ребенка свобода.

Поезд въезжает на станцию, двери открываются, и один из детей выскакивает из вагона. Мать, увлеченная чтением нотации, замечает его исчезновение, только когда поезд въезжает в туннель, и в ужасе срывает тормозной рычаг.

Обруганный пассажир посмеивается и комментирует: "Свободу ребенку!"

2. В магазине.

Мамаша с пятилетним ребенком бродит по магазину кухонной мебели. Ребенок хватается за все дверцы и дергает все ручки. Мать говорит: "Не трогай двери! Не трогай ящики!" Ребенок и ухом не ведет.

Вот он лезет на шкаф. Уже выходящая из магазина мать громко зовет его. Напоследок он успевает еще десяток раз хлопнуть дверцей шкафа, а мать, не предпринимающая никаких действий, терпеливо ждет, пока обожаемое чадо насладится свободой и утолит исследовательский интерес.

3. В супермаркете.

Пока мать расплачивается в кассе, ребенок утаскивает со стойки кошечный пластиковый пакет. Мнет и выкручивает его, натягивает на голову. Мать не обращает на это никакого внимания. Тогда он приносит его матери и говорит: "Это тебе". "Нельзя", — говорит мать, не глядя на ребенка и укладывая купленное в хозяйственную сумку. Ребенок опять протягивает ей пакет. "Нельзя, милый", — говорит мать. — Это стоит денег. Поэтому мама берет в магазин свою сумку". Ребенок настаивает, мать нежно отказывается. Тогда дитя начинает реветь, бросает пакет на пол и топчет его. Оба удаляются, мать умильно посматривает на орущего ребенка. Пакет остается на полу.

Материальное отношение к делу

Не успев выйти из младенческого возраста, дитя начинает принимать развивающие подарки. Во-первых, мяч. Он появляется в доме, когда ребенок еще не умеет ходить. За мячом следует велосипед — к трем годам все мини-голландцы уже умеют ездить на двухколесном велосипеде. Потом прекрасный подарок от матери (а также и для нее самой) — детский сад: как только ребенку исполнилось 2,5 года, его можно сдавать на попечение воспитателей. Примерно в этом же возрасте дети получают по первой паре коньков.

Дальнейшее воспитание и представления о жизни дети получают в школе. Родители, как правило, сами выбирают школу для своих отпрысков. Обычно имеется три варианта среднего образования — классическое, философское или религиозное. В школах, где дается классическое образование, ребенка могут научить разве что правилам уличного движения. Философское образование свидетельствует о продвинутости родителей. В основе его все та же свобода выражения, поэтому результаты могут оказаться непредсказуемыми. Выбрав христианскую школу, родители отсекают нежелательные контакты с детьми мусульман и представителей иных религий, при этом их никто не сможет обвинить в расизме.

Несколько лет назад разразилась катастрофа: Министерство образования не разрешило детям отсутствовать в школе без уважительной причины (например, если родителям захотелось вдруг покататься на лыжах, а школьные каникулы еще не наступили). К счастью, все обошлось. Министерство свое решение отменило, поняв, какая это дилемма для родителей: и детей дома одних не бросишь, и отказаться от поездки сил не хватает.

После уроков и во время каникул детки используют все возможности поквитаться со взрослыми за ущемление своих прав. Пять-семь лет назад жаждавшая мести мини-мафия практиковала такое, например, наказание, как позвонить в дверь и смыться. Чуть позже методы борьбы изменились. Вооружившись телевизионными пультами управления, дети под покровом темноты крались вдоль соседских домов и переключали каналы работавших в домах телевизоров. Лишенные привычного покоя и уюта голландцы обратились за помощью в "Филипс" — крупнейший электронный гигант страны. Официальный представитель концерна, исследовав вопрос, заявил, что действенного средства борьбы нет. Телевизор, к сожалению, не отличает доброго пользователя от злого. Чтобы как-то утешить публику, представитель посоветовал переставить телевизор подальше от окна или задергивать занавески.

Вы представляете, что значит для голландца зашторенная комната или перестановка мебели? Возмутительное предложение!

Голландское будущее

С той поры как в 60-е годы Голландия стала вполне преуспевающим государством, подрастающее поколение все реже задается вопросом, кем и где работать. Напротив, они растут с уверенностью, что о них по-

заботятся. Кто угодно — родители, государство... И ведь действительно заботятся, чтобы дети и дальше могли плыть и порхать по жизни.

Лет через двадцать стадо рожденных сегодня и выращенных в условиях полной свободы голландцев, этакое божественное племя, станет опорой страны. Финансовым и политическим оплотом, промышленным хребтом. Государством будут управлять дети помешанных на свободе матерей и сосредоточенных на наживе отцов. И помчится-понесется навстречу счастью и благосостоянию крепкий "Летучий голландец"!

Национальные страсти

> Тяга голландцев к оригинальности часто приводит к абсолютной бессмыслице.
>
> Хан Хаммерс,
> член королевской комиссии
> провинции Флеволанд

Прения и обсуждения

Голландцы любят посвящать себя "добрым делам" в форме демонстраций, выступлений, прений и обсуждений.

Национальный пыл в начальной и наиболее спокойной фазе проявляется в виде споров и обсуждений. Стоит встретиться двум представителям нации, как они сразу же затевают глубочайшую и серьезнейшую дискуссию. Остановить их практически невозможно. Говорящий пользуется правом высказаться по полной программе, и ему гарантируется терпеливое внимание, поэтому собрания в офисах тянутся невыносимо долго. Если спросить присутствовавших на собрании, какие же решения были приняты, они дадут стандартный ответ: "Мы не приняли никакого решения. Мы только обсудили проблему".

Услышав такое не один раз, хочется тряхануть их как следует и заорать: "Да перестаньте же вы наконец обсуждать — делайте что-нибудь!" Но это вряд ли поможет, потому что один из постулатов голландской жизни таков: *Лучше обсудить вопрос и не прийти ни к какому решению, чем принять решение без обсуждения.*

Голландцам трудно разговаривать без помощи рук, вот анекдот про Яна и Пита:

Ветреным зимним вечером Ян страстно высказывает наболевшее Питу. Внезапно умолкает и заявляет : "Теперь ты говори, Пит. У меня руки замерзли".

Жалобы, протесты, возражения, апелляции

Когда заканчиваются бесплодные дискуссии, голландцы переходят к следующей фазе решения проблемы, особенно любимой народом. За-

действуются все возможные способы выражения неодобрения и несогласия, а именно: жалобы, протесты, возражения и апелляции.

Если голландцу что-то не нравится, он начинает жаловаться. Жаловаться можно кому угодно, лишь бы слушали. Ворчать и ныть по любому поводу — характерная особенность и стиль жизни нации.

Нажаловавшись всласть, можно переходить к очередному этапу — протесту. Заручась моральной поддержкой участливых слушателей, а также приняв к сведению высказанные ими пространные соображения, голландец выражает протест обидевшей его стороне — обычно в письменной форме.

Вялая реакция на протест может привести к невероятному по силе взрыву возмущения. Сочувствующие слушатели и добровольные советчики немедленно становятся членами инициативной группы, и разногласия можно уладить, только перейдя к новому этапу — возражениям. На этом этапе пускаются в ход все способы, не использовавшиеся ранее: призывы, угрозы, требования и прочие хитрости, могущие привести к победе. Наиболее продвинутые инициативные группы даже выпускают бюллетени местных новостей, чтобы информировать публику о развитии событий.

Высшая и последняя стадия развития конфликта — апелляция. Чтобы выиграть апелляцию, необходимо максимально сконцентрироваться и использовать природную хитрость и смекалку. Битва умов требует высокой маневренности и ведется как в письменной, так и в устной форме. (Однажды мы спросили свою соседку, что нам делать на данном этапе сражения. “Ну, теперь не вздумайте молчать, выскажите им все что положено!”)

Ни один из четырех этапов процедуры обычно не пропускается. Правила должны соблюдаться при выяснении конфликтов любого уровня — от служебных и бюрократических до мелких бытовых, например, при разборках с соседями. В соответствии с этими правилами, все официальные письма и извещения, связанные с финансовой деятельностью правительства, заканчиваются следующим пунктом: “Вы имеете право обжаловать решение правительства”. В заключительной части ежегодной налоговой декларации имеется приписка такого содержания: “Вскоре Вы получите ответ на Ваше письмо, содержащее возражения. Если результат Вас не удовлетворит, можете подать на апелляцию”. На подачу апелляции всегда есть один-два месяца. Ваше письмо, в зависимости от обстоятельств, будет направлено либо в организацию, ответственную за решение конфликта, либо в мэрию, или же самой королеве.

Добрые дела

Любой легально проживающий в Голландии гражданин может устроить демонстрацию — это демократическое право. Независимо от количества демонстрантов — пусть их будет пять человек или пятьдесят тысяч — демонстрацию никто запретить не может. Необходимо только, чтобы она была хорошо организована и согласована с местными властями. Правила во всех городах и поселках разные. Поэтому нужно предварительно предоставить полиции следующие сведения: день, время и в особенности цель мероприятия. Если на этот день и час никаких других

мероприятий не назначено и маршрут, по которому проследуют демонстранты, не пересекается с маршрутами других мероприятий, то вам дадут зеленый свет и даже перекроют движение на улицах, где прошествует демонстрация.

После полного согласования всех условий с властями города вы получите официальное разрешение и можно непосредственно приступать к подготовке торжественного события. Во время демонстрации на улицах будет в два раза больше полицейских, чем обычно. Пугаться этого не нужно: в первую очередь, они просто граждане, и только во вторую — полицейские. Многие из них даже готовы нацепить на униформу значки вашей организации. Вы можете также попросить полицию сопровождать вашу процессию, если определенно хотите, чтобы ваши призывы услышали и никаких курьезов не произошло.

Несогласованные демонстрации не разрешены, но и не запрещены, в частности, если не создают помех движению транспорта и никаких безобразий и нарушений не происходит. Демонстранты обязаны выглядеть прилично, и цель мероприятия не должна быть слишком вызывающей. Кроме того, полицейский отряд будет небольшим и рассчитывать на его поддержку особенно не стоит.

Существует мнение, будто "добрые дела" приносят немалую пользу нации, меньшинствам, угнетенным и всему человечеству в целом. Какому бы событию ни посвящалась манифестация, суть демократии в действии всегда налицо. У иностранцев такое пристрастие голландцев к коллективным действиям вызывает постоянный интерес и удивление. Возможно, благодаря этим страстным выступлениям и демонстрациям в стране до сих пор удается сохранять относительно низкий уровень преступности и насилия.

Демонстрации и протесты стали популярными после Второй мировой войны. Пожилые представители нации в таких акциях, как правило, участия не принимают и относятся к ним отрицательно. Один из иностранных корреспондентов заметил:

> Такого рода выступления не придают голландцам достоинства и противоречат их традиционной трезвости. Это — примета нового времени, которая наверняка канет в Лету. Сам я на это очень надеюсь. Не хотелось бы, чтобы скандальность стала считаться национальной чертой.

Голландский способ

Самым удачным мероприятиям присваивается ранг "голландского способа решения проблемы". Этого почетного звания удостаиваются добрые дела, снискавшие максимальную поддержку населения и полностью соответствующие его жизненным принципам и убеждениям. Ярким примером "голландского способа" может служить способ решения жилищной проблемы в 70-х и 80-х годах XX столетия. Многострадальным родителям не терпелось выпроводить выросших птенцов из насиженного гнезда, а у самих деток не завелось еще денег на покупку жилища. Но в то же время пустовавшего жилья было предостаточно.

Голландцы быстро сориентировались в сложившейся ситуации и выступили в традиционно новаторской манере. Были созданы инициатив-

ные группы, известные в мире как сквотеры (самовольно захватывающие не принадлежащие им жилища). Движение цвело махровым цветом в 80-х. Сквотеры фанатично противились продаже и сдаче внаем пустовавшего жилья (как бы борясь за справедливость и препятствуя спекуляции жильем) и требовали передать им весь незанятый жилой фонд в Амстердаме. Это — "по-голландски".

Началось нашествие сквотеров: они занимали офисные помещения, квартиры, магазины, склады, вообще любые постройки, если те простаивали пустыми в течение нескольких дней. Активность сквотеров привела к жестоким беспорядкам в Амстердаме. Полиция была вынуждена обратиться за помощью к армии, военные танками разгоняли толпу. Конфронтации был положен конец, только когда городские власти согласились отремонтировать за свой счет (с целью последующего заселения) своевольно занятые помещения. Газеты писали: "Теперь сквотеры под контролем..." Один из чиновников городского жилищно-коммунального фонда констатировал, что на ремонтные работы уйдет больше миллиона гульденов — "...достаточно дорогой способ успокоить взбудораженное население, но — голландский".

К середине 80-х сквотеры ушли со сцены, все их требования стали казаться старомодными. В 1991-м, надумав оккупировать маленький островок, они обратились за поддержкой к массам, но в ответ услышали только саркастические смешки, а Министерство водного хозяйства вежливо попросило их "освободить занятые владения".

Есть мнение, что РАРА (Революционная антирасистская ассоциация) отважилась на террористический акт, вдохновившись успехом амстердамских сквотеров. В 1991 году революционеры взорвали две бомбы: одну у дома госсекретаря в Амстердаме и другую у Дворца правосудия в Гааге. Террористы высказали таким образом возмущение действиями правительства. Оно, во-первых, пересмотрело положение о предоставлении иностранцам политического убежища, а во-вторых, вскрылись факты нарушения соответствующих законов. Голландцы были невероятно напуганы действиями террористов и высказывались по этому поводу настолько неодобрительно, что всему миру стало ясно — путь терроризма в Голландии не приживется никогда. Это — не голландский путь.

Женская сила

Освобождение женщины — пожалуй, наиболее яркий пример "национальных страстей"; в борьбе за свободу слабый пол использует все возможные способы улучшить свое положение в обществе. Ежегодно голландское правительство с легкостью отдает феминисткам 12—13 миллионов гульденов на "исследования". Современные голландские фрау столь фанатично почитают особенности своего телосложения, что вознесли женский пол на вершину мироздания. Они, в первую очередь, ЖЕНЩИНЫ и только потом — люди, человеческие особи и пр. У фрау есть свои собственные кафе, книги, журналы, газеты, театры, туристические агентства, объединения и, разумеется, медицинские центры. С помощью средств массовой информации фрау могут создавать (и

непрерывно это делают) различные инициативные группы, несущие радикальные перемены в жизнь общества и меняющие его законы. Это касается не только контроля над рождаемостью, но относится также и к абортам, разводам, однополой любви и проблемам равенства (путем подавления).

Борьба женщин за независимость — типичный и классический пример наваждения, нашедшего на современное голландское общество. Воительницы-голландки готовы устраивать демонстрации по любому поводу, который людям здравомыслящим показался бы ничтожным. Взяв телефонный справочник Амстердама за 1990 год, можно найти не менее тридцати рубрик, посвященных проблемам женщин. Самыми бессмысленными были, например, такие:

женский комитет по борьбе за право на получение пенсии в более раннем возрасте,

мастерские по ремонту дамских велосипедов,

комитет помощи женщинам, живущим на государственную пенсию,

женское объединение по выполнению временных работ,

международный архив женского движения, включающий 45 тысяч томов (в основном на нидерландском языке) информации о женском поле.

Собирая материал для книги, авторы попытались связаться с 33 женскими организациями с целью выяснения основных принципов их работы и задач. Вот результаты исследования:

на двадцать писем ответа так и не пришло,

три письма вернулись назад нераспечатанными,

девять организаций ответили, подробно расписав направления своей работы, в конверт были вложены информационные материалы, брошюры и прочее,

одна организация прислала открытку, в которой спрашивала, кто мы такие, где учили нидерландский и как раздобыли адрес, а также интересовалась, что мы намерены делать с полученной информацией.

Слабовато для феминисток, стремящихся показать всему миру свои страдания в борьбе за свободу! Все полученные нами письма содержали примерно один и тот же постулат:

...мы не выступаем против чего-либо конкретно. Мы всего лишь требуем права жить согласно обычаям этой страны и хотим, чтобы нас считали не просто "вторыми половинами" супружеской пары, а самоценными единицами, и потому и обращались с нами соответственным образом.

На деле, по голландским обычаям, мужчина работает, а женщина сидит дома с детьми и занимается хозяйством.
Несмотря на суфражистский дух затеваемых кампаний, голландские фрау, борющиеся за свободу, целиком и полностью рассчитывают на поддержку правительства. Например, группа поддержки исследований по освобождению женщин ежегодно запрашивает из бюджета 6 миллионов гульденов на изучение женского вопроса, а организация "Женщины в управленческой деятельности", созданная для улучшения положения работающих и стремящихся к карьере женщин, — более 7 миллионов.

Забавно, но в борьбе за равенство и господство многие голландские дамы ведут себя совершенно по-мужски, полностью копируя ненавистную им мужскую манеру поведения, что и отмечалось представителями презренного пола как много лет назад, так и ныне.

Судите сами:

В семье они во всем равны, и нет порой другого способа отличить хозяина от хозяйки, как положить их в одну постель! (Из записок Оуэна Фелтона, 1652 г.)

Большинство голландских женщин начисто лишено вкуса, они даже и на женщин не похожи. Одна походка чего стоит! (Из письма Ханса Элгры, 1992 г.)

Завершая главу, приведем один абзац из приложения к брошюре, выпускаемой женским эмиграционным центром в Амстердаме:

...амстердамские домохозяйки стали придирчивей выбирать овощи на рынке, научившись этому у эмигранток из Марокко, Суринама и Турции. Меняются не только национальные традиции приготовления пищи, меняется мировоззрение.

В*елосипеды, дамбы, патриотизм*

В*елосипеды*

По статистике, их в Голландии более 15 миллионов, в одном только Амстердаме — 600 тысяч. Прирост поголовья велосипедов составляет примерно 15 процентов в год. Из статистики не совсем ясно, включены ли в подсчет битые и ржавые средства передвижения, прикованные цепями к перилам мостов и фонарным столбам по всему городу. Ясно другое — голландцы обожают велосипеды до такой степени, что 85 процентов населения считает необходимым их приобретать. Кроме того, для велосипедов проложены специальные дороги общей протяженностью более 11 тысяч километров. В продаже можно найти двухколесные средства любых форм, размеров и моделей. Мастерские по ремонту — на каждом шагу, там же продаются и запасные части. Процветает также и черный рынок велосипедов, где можно купить ворованный и потому более дешевый товар.

По-нидерландски велосипед называется fiets (созвучно английскому feat, что означает "ловкость", "мастерство"), вероятно, по ассоциации с приводящей его в движение силой. На велосипедах ездят и высокопоставленные лица. Королева Юлиана не считала зазорным сгонять на велике к ближайшему уличному рынку. Вообще надо сказать, что любой велосипедист чувствует себя на дороге королем, вынуждая машины жаться к обочинам или следовать за ним послушным эскортом[1].

1. С 1 мая 2001 года в соответствии с поправкой к существующим правилам дорожного движения автомобиль обязан уступать дорогу велосипеду всегда, независимо от направления движения последнего.

При строительстве жилых домов, автостоянок и станций техобслуживания архитектор всегда помнит о двухколесном чуде. Параллельно всем основным магистралям, за исключением разве что высокоскоростных, проложены трассы для велосипедов. На этих важных артериях города все всерьез: и дорожные знаки установлены, и светофоры.

Велосипед может использоваться как персональный лимузин, грузовик, фургон для мебели или такси, а также для многих других целей, его назначение зависит только от прочности трубчатых металлоконструкций. Велосипед везет на себе ящики, детей, кошек и собак. Если семья большая, то можно установить спереди и сзади дополнительные сиденья для детей. Если семьи или домашних животных нет, то на заднее сиденье усаживаются друзья, приятели, их домашние животные — как порознь, так и в сочетании.

Если нужно перевезти пианино или шкаф, то покупается или арендуется специальный грузовой велосипед — выносливое основательного вида устройство с приделанным впереди огромным контейнером или грузовой платформой.

Голландцы постоянно работают над усовершенствованием велосипедов, оснащая их складными походными стульями, которые можно устанавливать поверх заднего или переднего багажников в зависимости от числа перевозимых пассажиров или использовать на привалах; динамофонарями, которые продолжают работать еще примерно пять минут после окончания движения; громкими долгоиграющими звонками...

Криминальный мир, разумеется, никогда не упускал возможности поживиться за счет перепродажи краденых велосипедов. Специальные полицейские отряды наблюдения не помогали. Когда в 1991 году выяснилось, что число похищенных велосипедов достигло почти миллиона, лучшие технические умы целиком посвятили себя проблеме защиты двухколесных братьев. На велостоянках установили видеокамеры.

В соответствии с государственной программой обеспечения безопасности двухколесных средств транспорта правительство выделило 200 миллионов гульденов на строительство специальных "бункеров" с электронными турникетами, первые из них были внедрены в Эйндховене. Железнодорожная служба также приняла участие в игре, пообещав велосипедным фанатам светлое будущее: дорогие гоночные модели могут теперь ожидать путешествующих хозяев на привокзальных стоянках в отдельных камерах. Кроме хозяев, их забрать никто не может, для этого нужна особая магнитная карточка с идентификационным кодом. Можно было бы даже обсудить вопрос найма надежных и неподкупных роботов, которые станут торжественно выводить из стойла двурогих постояльцев...

Да-а, направить бы этот энтузиазм на борьбу с настоящей преступностью!

Дамбы

Голландцы начали строить дамбы, плотины, каналы и рвы 800 лет назад и продолжают этим заниматься до сих пор. Всю жизнь они бо-

ролись с водой, но вода не сдавалась. Они понастроили ветряных мельниц, которые рассеивали и откачивали воду, мололи муку и превратились благодаря неустанному труду в одну из главных достопримечательностей страны. Результат плодотворной работы именуется голландским ландшафтом: подводная равнина, или почти осушенное морское дно, которое может полностью исчезнуть, если уровень воды поднимется до 20 метров.

Средний рост голландца – 188 см, они, как известно, самые "возвышенные" люди планеты. Если катастрофа действительно произойдет, то эти долговязые особи, как живые перископы, дольше других смогут наблюдать происходящее. По крайней мере, им удастся увидеть свою страну в первозданном виде.

Так и не сумев полностью приручить непокорную воду, голландцы стали экспертами и новаторами в области строительства мостов и водных путей. На стыке Северного и так называемого Южного моря они построили дамбу Афслаутдайк, в результате чего соленое море постепенно превратилось в пресноводное озеро. Сейчас по поверхности дамбы проходит оживленная тридцатикилометровая автомагистраль. Территории вокруг озера подверглись мелиорации, одно время даже обсуждался вопрос о строительстве там нового аэропорта взамен перегруженного Схипхола. Периодически затопляемый наводнениями район дельты Мааса на юге страны укрепили системой гидравлических дамб.

В 1958 году парламент принял решение о защите родины от наводнений. Толчком послужили народные волнения, всколыхнувшие страну после нескольких разрушительных наводнений 1953 года. В конце 60-х проект парламента вызвал немало протестов. Последняя и наиболее сложная его часть должна была, по плану, быть завершена к 1978 году, но произошла задержка. Случилось это потому, что вопрос о режиме работы дамб никак не удавалось решить быстро и без боя. Должен ли быть затвор открытым (для пользы окружающей среды) или закрытым (чтобы обеспечить населению постоянную безопасность)? Проволочки могли привести к войне между планктоном и людьми. Продолжать строительство закрытого барьера было бессмысленно. Тогда и пришло спасительное компромиссное решение – барьер должен быть открыт во время штиля и закрыт в шторм.

В результате завершение проекта отложилось еще на 8 лет, и затраты оказались на 30 процентов выше ожидаемых. В октябре 1986 года Ее Величество Королева Беатрикс официально объявила об открытии штормового заслона. "Нью-Йорк таймс", описывая героическую победу, не забыла процитировать Луиса ван Гестерна: "Вот и пришел конец сказке о том, как маленький голландский мальчик закрыл своим крохотным пальчиком дырку в дамбе и спас страну от наводнения".

Желая извлечь выгоду из своих талантов, голландцы экспортировали технологию контроля уровня воды в страны с засушливым климатом и поделились опытом создания живописных прибрежных ландшафтов.

В родной стране оставшаяся в подчинении вода используется в полной мере. Основные транспортные грузовые пути проходят по каналам и рекам, для перевозок используются главным образом баржи. А зимой, если на каналах встает лед, все население от мала до велика надевает коньки и начинаются соревнования.

Игры в патриотов

Голландия — одна из немногих европейских стран, до сих пор сохраняющая монархию. Королевская семья окружена всеобщей любовью и обожанием, несмотря на непристойный уровень ее благосостояния (голландская королевская фамилия — одна из самых богатых в мире) и громкие скандалы.

Один из скандалов разгорелся вокруг принца Бернарда, мужа удалившейся от дел королевы Юлианы. Неудовлетворенный роскошной жизнью за счет одного только голландского кошелька, он благосклонно принимал "дары" американских оборонных фирм (в частности, фирмы "Локхид"). Как отреагировала всеми любимая королева на такой прискорбный факт? В совершенно голландской манере она пригрозила немедленным отречением от престола, если ее муж окажется втянутым в публичное разбирательство. Проведя расследование, правительство согласилось закрыть дело при условии, что Бернард ван Локхид будет полностью отстранен от официальных должностей.

Не желая отстать по части скандальности от предыдущей королевской четы, следующая (дочь королевы Юлианы, ныне царствующая Беатрикс Оранье-Нассау, и ее избранник Клаус фон Амсберг, опять-таки немец) устроила инаугурацию, заставившую вспомнить празднества гитлерюгенд и вермахта. Победила любовь, и Клаус фон Амсберг стал принцем-консортом (супругом царствующей королевы, но не королем) Нидерландов. При объявлении о королевской помолвке в 1966 году около тысячи разъяренных клогги во время демонстрации протеста скандировали "Клаус, вон!". Семнадцать лет голландцы не желали смиряться с очередным тевтонским нашествием. За это время произошло много событий:

королевским указом после свадьбы Клауса фон Амсберга стали называть Его Королевское Величество Клаус Георг Виллем Отто Фредерик Герт, принц Нидерландов, эсквайр ван Амсберг;

родился Виллем-Александр, крон-принц Нидерландов, первый за последние сто лет наследник голландского трона мужского пола,

Его Королевское Величество пережил психическое расстройство, пришел в себя, но с тех пор начал страдать депрессиями (достаточно частыми и требовавшими пребывания в Италии, где здоровье поправляла игра в гольф),

Его Королевскому Величеству был поставлен диагноз "болезнь Паркинсона".

Сейчас все выглядит совершенно иначе: народ относится с симпатией к "своему" Клаусу и сочувствует ему, разумеется, в меру своей способности сочувствовать.

Тот факт, что голландцы с легкостью диктуют условия королевскому семейству, вполне объясним. Миром правят деньги... Вот слова одного из сторонников королевской власти: "Пока они не требуют слишком многого и не несут чепухи, мы согласны их поддерживать. Президент стоил бы нам ровно столько же — мы же все уже просчитали!" Социальная активность королевы неизменно вызывает восторг у публики. Королева беседует с народом на улицах, ездит на рынок на велосипеде и даже однажды побывала с визитом в районе "красных фонарей" в Амстердаме. Ее популярность по опросу общественного мнения неизменно остается на уровне 90 процентов, против выступает только 4 процента насе-

ления. Многие жители страны поддерживают также и крон-принца Виллема-Александра[1], который в ближайшем будущем станет королем Нидерландов.

Чистота и порядок

Голландцы – в глубине души, а иногда и явно – верят в почти божественные права королевской власти. Например, в то, что вынесенный из дому мусор принадлежит Короне. Если в день, обозначенный для официального вывоза помойки, вынесенные вами на улицу пластиковые пакеты с мусором остаются лежать у входной двери, причин может быть только две:

1. Их Королевские Величества поднакопили достаточно мусора, чтобы наслаждаться им до следующего дня торжественного вывоза.

2. Вам оказана высочайшая честь хранить предназначающуюся Короне дань и считать себя до следующей недели королевским наследником.

Однако не все так хорошо, как кажется. Проблемы возникают незамедлительно.

Можно, например, оставить мусор у подъезда и не тащить мешки обратно домой. Городские власти не знают, кому именно эти мешки принадлежат. Зато соседи знают точно и не упустят возможности затеять свару. Они могут прислать вам ругательное письмо или даже заявиться домой, чтобы прочитать нотацию. Дети, кошки, собаки, птицы и прочие вредители растащат содержимое мешка по всей округе. В этом случае готовьтесь к войне с соседями. Если вы живете в поселке или деревне, местные власти могут применить к вам специальные меры наказания. Специальная организация, в которой работают скучнейшие и самые дотошные представители нации, обязательно проверит бесхозный мешок (старайтесь не бросать в мусорное ведро старые квитанции или письма). Если им удастся определить ваш адрес, то вам будет отправлено письменное предупреждение, к письму будет приложен также фотодокумент – вид распотрошенного мешка как свидетельство вашего безответственного поведения. После второго предупреждения придется идти в полицию и платить штраф. Очень вероятно, что вам предъявят обвинение в хранении краденых вещей – правду не докажешь, и впредь будет неповадно.

Крупногабаритные ненужные больше вещи выставляются на улицу и вывозятся отдельной службой в назначенные дни. Улицы больших городов украшают старыми холодильниками, телевизорами, плитами и стиральными машинами, обычно успевающими исчезнуть до приезда специальной перевозки.

1. 30 марта 2001 года было объявлено о помолвке Виллема-Александра и Максимы Зоррегита, дочери аргентинского премьер-министра при кровавом режиме Фиделы. Максима публично извинилась за недостойное поведение отца. Запятнавшему себя родителю избранницы принца было отказано в присутствии на торжественной церемонии. Восторженная публика, собравшаяся у королевского дворца в Гааге, приветствовала Максиму криками и плакатами "Мы тебя любим!". Аргентинская красавица Максима уже неплохо говорит по-нидерландски и не отстает от королевы в общественной деятельности, чем снискала себе уважение голландцев.

В небольших городах и деревнях местные власти относятся к королевской собственности с гораздо бóльшим пиететом. Вывезти старье можно раз в две недели и по предварительной договоренности. Так что, покупая новогоднюю елку, не забудьте в тот же день сообщить, когда вы намечаете от нее избавиться.

Завершая рассказ о сборе мусора, нельзя не упомянуть о повальном увлечении нации переработкой отходов. Долгое время голландцы противились использованию отходов домашнего хозяйства (а могли бы за их счет слегка приподняться над уровнем моря), но потом с жаром отдались идее переработки. Деревни, поселки и города слились в едином порыве переработать все, что только возможно, и, надо сказать, немало в том преуспели, несмотря на сложные правила сбора и сортировки отходов. Законопослушные голландцы стараются эти правила не нарушать, и страна бодрым шагом движется к чистоте и порядку.

“Архипелаг Павич”

Беседа с Милорадом Павичем и Ясминой Михайлович

От редакции

Все чаще и чаще в литературной критике звучит мысль о кризисе жанра романа, о его постепенном умирании, о том, что он изживает себя. Милорад Павич, культовый сербский писатель, потенциальный претендент на Нобелевскую премию в области литературы, всем своим творчеством эту мысль опровергает. Его романы обладают многомерностью, перспективой, а помещенные в компьютерное пространство, они и вовсе обретают бесконечность. “Я всегда хотел превратить литературу, необратимое искусство, в обратимое. Поэтому мои книги не имеют ни начала, ни конца в классическом понимании этого слова”, — замечает в одном из своих интервью Павич.

В Москву Павич приехал вместе со своей женой, писательницей и литературным критиком Ясминой Михайлович, автором книги “Рассказ о душе и теле. Слои и значения в прозе Милорада Павича”, составителем собраний сочинений Милорада Павича, его биографом и библиографом. По приглашению петербургского издательства “Азбука” они побывали на XIV Международной книжной ярмарке. “Азбука” представила здесь книги писателя “Внутренняя сторона ветра”, “Хазарский словарь” (мужская и женская версии), “Последняя любовь в Константинополе”, сборник “Стеклянная улитка” и последний роман “Звездная мантия”. Павич считает, что он столь популярен среди российских читателей благодаря замечательным переводам его романов на русский язык, выполненным Н. Вагаповой и Л. Савельевой.

Как и во время своего предыдущего визита в столицу, Павич был приглашен в редакцию нашего журнала. Имя писателя стало известно читателям после публикации в 1991 году в "ИЛ" романа "Хазарский словарь"[1], и вот уже на протяжении нескольких лет Павич является нашим постоянным автором. Здесь и состоялась беседа с писателем и его супругой.

Ясмина Михайлович. Знаете, ваш журнал для Павича – не просто издание, в котором печатаются его произведения. Обычно Милорад пишет карандашом или шариковой ручкой, а потом обрабатывает текст на компьютере. Но он, кажется, никогда не рассказывал, *на чем* он пишет. Это может быть тетрадь, бумага, даже очень хорошие, красивые тетради и вообще все, что ему попадется под руку. Однако в доме в каждой комнате есть хотя бы один номер "ИЛ", и фактически эти журналы превратились в рукописи Павича, потому что все пустые белые места, все поля исписаны его рукой.

Милорад Павич. Это правда, правда. Мне лучше всего пишется ночью, лежа в постели. Именно поэтому я всегда пишу карандашом и, как правило, действительно на полях вашего журнала.

"ИЛ". Мы очень этим польщены, если вы не только держите в каждой комнате наш журнал, но еще и работаете на нем, это просто высшее признание. Начиная с двухтысячного года наш журнал выходит в новом формате, там более широкие поля...

М. П. Я должен признаться, что очень люблю читать "Иностранную литературу", в Югославии тоже есть очень хороший периодический журнал под названием "Письмо" – для меня они словно журналы-братья.

"ИЛ". Господин Павич, как вы могли заметить, здесь в аудитории много молодых. Вам не кажется, что вы скорее писатель молодого поколения? Что именно они вас лучше чувствуют, лучше понимают? Или вы никогда над этим не задумывались?

М. П. Откровенно говоря, я не знаю, как это случилось, но это действительно правда. Я надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Но кто знает, ведь приходят новые поколения.

"ИЛ". В Югославии такая же ситуация?

М. П. И там тоже, везде. Самые плохие читатели относились как раз к моему поколению, они просто не были готовы воспринимать такую манеру письма. Но мне кажется, что ничего удивительного нет в том, что молодежь так хорошо воспринимает подобного рода литературу – ей во всем интересно экспериментаторство.

"ИЛ". А вам не было обидно, что ваше поколение вас игнорирует, не было тяжело?

М. П. Очень тяжело. Я не мог понять, почему так произошло. Или я сумасшедший, или все вокруг. Не понимал меня никто – ни мои друзья, ни коллеги.

"ИЛ". Вы с самого начала литературной карьеры решили писать экспериментальные произведения? Вам никогда не хотелось писать в традиционной манере?

М. П. Нет, самым важным для меня было желание изменить привычные способы чтения, усиливая роль и ответственность читателя в процессе создания романа (не стоит забывать, что в мире гораздо больше

1. "ИЛ", 1991, № 3.

талантливых читателей, чем талантливых писателей или литературных критиков).

"ИЛ". А как вы относитесь к тому, что вас называют электронным писателем, романистом компьютерного века? Сильно ли компьютер влияет на ваше мировосприятие, поэтику и стилистику ваших произведений?

М. П. Я написал "Хазарский словарь" задолго до появления у меня компьютера и Интернета. Когда же интернет-технологии получили массовое распространение в мире, а без персонального компьютера практически никто себя не мыслит, мои книги стали еще более востребованными. Кроме того, мои романы нашли "свое тело", свою форму именно в компьютере. Гиперлитература сделала их интерактивными, она показала нам, что романы могут развиваться сразу в нескольких направлениях, подобно человеческому восприятию. В своей статье Ясмина перечислила писателей, чья проза является предтечей гиперлитературы: Лоренс Стерн, Джеймс Джойс, Реймон Кено, Итало Кальвино[1].

Я. М. Я думаю, скоро будут сделаны компьютерные игры по книгам Павича. В двадцать первом веке появилась актуальная задача — соединить изображение и текст. И игра — это самый простой и удобный способ соединения. Мы вообще очень часто играем в компьютерные игры.

М. П. Я называю компьютерные игры романами без слов. Мечтаю написать в соавторстве с Ясминой какую-нибудь игру.

Я. М. Мы часто проводим время по вечерам, играя в видеоигру или читая вслух. То есть оба занятия для нас равноценны.

"ИЛ". В построении большинства ваших романов вы используете определенные формальные структуры, схемы (карты, пособие по гаданию, кроссворд, словарь, шахматы, карту звездного неба и т. д.). Насколько глубоко вы изучаете, например, систему карт таро или астрологию перед написанием романов? Насколько далеко заходит это изучение?

М. П. Я стараюсь как можно глубже изучить предмет, а не ограничиваться информацией, предложенной, скажем, в школьном учебнике или энциклопедии. Например, структура романа "Последняя любовь в Константинополе" действительно основана на системе карт таро. Но это не просто заполнение некой отвлеченной структуры литературным сюжетом: карты таро пронизывают всю книгу, на множестве уровней, так, что порой читатель этого не замечает. Например, в этот роман встроены специфические цвета карт, цвет здесь чрезвычайно важен, нагружен смыслами и аллюзиями. Именно поэтому я не люблю, когда эту книгу издают с картами-иллюстрациями в черно-белом варианте (карты таро, которые вы видите в книге, — это, кстати, работа моего сына-художника). Потому что в такой ситуации утрачивается пророческая сила цвета. Или, например, есть элементы, связанные со звуком, например, птица немая или она кричит каким-то голосом, кто в какую сторону смотрит и т. д.

"ИЛ". А стихи вы пишете?

М. П. Я очень любил писать стихи — литургическую поэзию на языке наших древних церковных преданий, языке, который, к сожалению, уже никто не понимает.

"ИЛ". А вы не прочитаете какой-нибудь фрагмент?

1. Я. Михайлович. Павич и гипербеллетристика. В кн.: М. Павич. Ящик для письменных принадлежностей. СПб., 2000.

М. П. Нет, вы знаете, я не эстрадный поэт и никогда не хотел им быть, это моя идеологическая позиция. В тот момент, когда я начал писать стихи, когда я входил в литературу, эстрадной поэзией очень злоупотребляли. Причем не только у меня в стране, но и в России, насколько я знаю. Поэтому я никогда не учил свои стихи наизусть, чтобы их потом произносить вслух. Но это вовсе не значит, что я не люблю поэзию, что не помню свои поэтические произведения.

Я. М. Да, это правда, почти каждый день я слышу, как Милорад декламирует стихи, причем очень часто на русском языке.

Милорад Павич, кстати, переводчик на сербский язык "Евгения Онегина", на чистом русском, практически без акцента начинает декламировать фетовское "Я пришел к тебе с приветом...".

"ИЛ". Видите ли вы разницу между поэзией и прозой, разумеется, не в формальном, а в онтологическом смысле?

М. П. В молодости я писал стихи, моей первой опубликованной книгой был сборник стихов. А затем я начал "подливать воду в вино", то есть смешивать поэзию и прозу. В семьдесят шестом году вышел сборник моих рассказов "Кони святого Марка", в которых люди, знакомые с моей поэзией, могли узнать пару моих стихотворений, "переодетых" в прозу. Я перестал ощущать границу между разными литературными жанрами. Один литературный критик назвал "Хазарский словарь" сборником стихов. Думаю, он был прав, для меня этот роман — тоже скорее произведение поэтическое.

"ИЛ". Если говорить о жанровом смешении, то такой, наверное запрещенный, вопрос: вас называют постмодернистом, как вы к этому относитесь?

М. П. Стоит один раз признаться в том, что вы хазар, и вас всегда будут называть хазаром... Впрочем, пусть называют, меня это совсем не раздражает.

"ИЛ". А как поэта вы себя чувствуете близким к сербскому эпосу, народным песням?

М. П. Долгое время я занимался историей сербской литературы, писал учебники по литературе семнадцатого — восемнадцатого столетий. Кроме истории сербско-русских литературных связей в них есть разделы и по истории сербского устного творчества. Как писатель, я очень интересовался устным творчеством, балканской мифологией. Это, разумеется, перешло в мои романы: в них много загадок, поговорок, они насквозь мифологичны.

"ИЛ". Трудно ли вам совмещать обе деятельности — преподавание в университете и писательство?

М. П. В сербском языке есть специальное слово, обозначающее человека, у которого два занятия, два ремесла. Именно им меня долгое время и именовали. Конечно, совмещать обе профессии было довольно сложно, но я ушел на пенсию раньше времени, завершив курс преподавания в университете, и теперь все свое время посвящаю литературной деятельности.

"ИЛ". Многие молодые люди любят ваши книги за то, что в них присутствует не просто мифология, но и мистика, фантастика. При этом вы работаете в основном с историческим материалом. Почему вы предпочли писать об истории, а не стали писателем-фантастом? Разве это не было привлекательной стезей для молодого литератора?

М. П. Я не вижу разницы между прошлым и будущим. Если вы стоите на определенной позиции, вы будете чувствовать и прошлое и будущее. Наша литература не должна заниматься ни прошлым, ни будущим, она должна заниматься человеком, то есть его мыслями, разумом, эмоциями, интуицией, фантазией, внутренней и внешней энергией. Задача литературы, думаю, заключается в том, чтобы апеллировать к самым разным уровням восприятия. И тогда читателю не будет скучно, каждый раз, читая новое произведение, он будет ощущать себя так, словно попал в другую комнату.

"ИЛ". Ваша проза очень музыкальна. А каковы ваши музыкальные пристрастия?

М. П. Мы с Ясминой очень любим музыку из кинофильмов – Кустурицы, Альмодовара... Музыку Бреговича... Также мне очень нравятся композиции одной замечательной югославской группы под названием "Хазарская дорога".

"ИЛ". Каковы ваши отношения с писателем Гораном Петровичем, которого часто называют вашим преемником и подражателем? Знакомы ли вы лично?

Я. М. Когда Павич предложил вашему журналу опубликовать один из романов Горана Петровича "Атлас, составленный небом", мы еще не были с ним знакомы. Мы только знали его книги и видели его по телевизору. Когда роман был опубликован в "ИЛ"[1], у нас с Милорадом даже не было номера телефона Петровича, чтобы сообщить ему эту новость. А когда мы наконец-то созвонились, Горан никак не мог поверить, что это Павич с ним говорит. Тем более поверить тому, что именно Павич порекомендовал опубликовать его роман. И тогда мы познакомились и довольно регулярно общаемся. Я бы назвала Петровича "литературным сыном" Павича. У них общая природа фантазии, но Петрович – ни в коем случае не его подражатель. Его фигура для меня – крупное явление в литературе.

М. П. Подражательство, думаю, – это небезопасная тропинка, каждому надо идти своим путем. Но очень часто именно благодаря увлечению тем или иным автором молодой писатель может лучше сориентироваться в литературе. Что касается моих реальных подражателей, то могу рассказать такую забавную историю. Один молодой писатель опубликовал под моим именем собственный рассказ. Но прежде мне позвонили из редакции и спросили, а что я думаю по этому поводу и даю ли свое согласие на то, чтобы рассказ был напечатан. Я спросил, хороший ли рассказ, мне сказали, что да. Тогда я ответил: "Печатайте, почему бы и нет?" И действительно, они опубликовали этот рассказ под моим именем. Я прочитал его и написал в ту же самую газету открытое письмо автору, признался: мне очень приятно, что вы опубликовали это хорошее произведение под моим именем. Но, пишу я, тут есть одна проблема: в вашем рассказе я заметил пару деталей, которые могут быть известны лишь Горану Петровичу и мне, поэтому это вообще, видимо, не ваш рассказ, а Петровича. И когда письмо опубликовали, уже никто не знал, чей это рассказ. И до сих пор никто не знает.

"ИЛ". Последнее время вы пишете вещи фрагментарные, не обращаетесь к форме большого романа, каким был, например, "Пейзаж, на-

1. "ИЛ", 1997, № 6.

рисованный чаем". Вы сознательно отошли от романной формы или это вовсе не означает, что вы не вернетесь к ней никогда?

М. П. Я не знаю. В прошлом году я опубликовал свой последний роман "Звездная мантия". Это книга для не посвященных в астрологию, она имеет свою особую структуру — построена по принципу справочника. У меня были роман-словарь, роман-кроссворд ("Пейзаж, нарисованный чаем"), роман-клепсидра ("Внутренняя сторона ветра"). Теперь вот роман-справочник. Я не люблю повторяться.

"ИЛ". При этом вас часто называют писателем одной книги. Случается ли вам слышать критику за использование одних и тех же элементов сюжета в разных произведениях? И что вы обычно на это отвечаете?

М. П. Некий критик остроумно заметил: с каждой новой книгой Павича общее пространство его произведений сужается. Чтобы вас услышали, надо повторить сказанное по крайней мере два раза. И еще один важный момент: Ясмина однажды нашла подходящее название для всего созданного мной в литературе. Она сказала, что существует своеобразный "Архипелаг Павич". Я постоянно пытаюсь оставить некие открытые каналы между текстами. Мне хочется, чтобы они все неким образом были связаны. Это своеобразная кровеносная система одного организма; для меня постепенно стирается различие между романом и архитектурным произведением. Кроме того, я ничего не повторяю буквально, всегда что-нибудь немного изменяю. В разных местах вы можете увидеть знакомые вам вещи, но они некоторым образом изменены.

"ИЛ". У того, что вы делаете с вашим читателем, есть, думается, точное определение — вы накидываете на него лассо. А вы отчетливо видите читателя, которого хотите "поймать", или просто бросаете наугад?

М. П. Это очень серьезный вопрос, он относится к сущностным вопросам литературы в целом. Суть его, думаю, в том, как писатель представляет своего читателя. И что писатель ожидает от того, для кого он пишет. Я попытаюсь назвать несколько вещей в этой связи: во-первых, я жду, что читатель полюбит меня через то, о чем я пишу. То есть я рассчитываю, что он не останется ко мне равнодушен. Во-вторых, я пытаюсь апеллировать и к мужскому, и к женскому началу в читателе (об этой проблеме, кстати, писала Ясмина). Может, вы помните, что героиня "Пейзажа, нарисованного чаем" оставалась живой, если книгу читала женщина, а если ее читал мужчина, она оказывалась убитой. Таким образом я хотел подчеркнуть большую разницу между двумя восприятиями — мужским и женским.

"ИЛ". Ваши романы обладают поразительной магией, их нельзя просто читать, в них ныряешь...

М. П. Думаю, вы правы. Знаете, я должен признаться, что действительно готовил для моих читателей лассо и очень не любил, когда из него кто-то выскальзывал.

Подготовка материала Алисы Романовой

Карл Любомирский
Я человек-путник

Не так давно, два года назад, на книжных прилавках Москвы и Санкт-Петербурга появилась книга "Моя маленькая жизнь"[1]. Ее автор — Карл Любомирский, австриец, потомок древнего польского рода, вот уже сорок лет живущий в Италии, — пишет по-немецки. Стихи из разных сборников, собранные в этой книге, интересны не только для неискушенного читателя, но и для ценителя поэтического слова. Стихи К. Любомирского органично сочетают в себе минимализм формы с философской глубиной содержания. Скупость словесных средств, присущая этому автору, обнажает суть художественного метода, превращая читателя в соучастника творческого процесса.

Читателям журнала "Иностранная литература" это имя уже знакомо. Первая публикация стихотворений Карла Любомирского на русском языке состоялась именно на страницах журнала[2]. Приехав в Россию на презентацию своей книги, Карл с радостью откликнулся на приглашение прийти в редакцию "Иностранной литературы". Во встрече, помимо сотрудников "ИЛ", участвовали переводчики С. Апт, М. Рудницкий, В. Вебер, Е. Кацева, С. Фридлянд, Е. Соколова.

"Иностранная литература". Прежде всего, нам хотелось бы поздравить господина Любомирского с выходом книги "Моя маленькая жизнь" и выразить надежду, что это не последняя его книга на русском языке. И поскольку один из номеров нашего журнала мы собираемся целиком посвятить австрийским авторам, было бы очень интересно узнать, каковы творческие планы самого господина Любомирского и на что бы он посоветовал нам обратить внимание в современной литературе Австрии.

Карл Любомирский. На мой взгляд, самая яркая и глубокая индивидуальность в современной австрийской литературе — Фридерика Майрёкер. Многогранность ее дарования привносит в нынешнюю литературу много нового. Мы с вами, знаете ли, живем во времена, насыщенные псевдопереживаниями. Поэтому очень трудно сейчас создать что-нибудь ценное. А Фридерика Майрёкер как раз и представляет собой редкое исключение: драматизм внутренней, душевной жизни позволяет ей создавать мир по-настоящему убедительный. Поскольку нам сейчас не хватает ощущения драматизма жизни, сложно написать что-нибудь поистине значительное. Известных имен в литературе много, крупных, на мой взгляд, почти нет.

"ИЛ". А что вы думаете о Рансмайре?

К. Л. Его первая книга понравилась мне больше, чем вторая. Это как с Умберто Эко, который написал книгу, ставшую очень известной, а потом еще несколько хороших. Успех книги слагается из ожидаемого и неожиданного. Ожидаемое диктуется внешним миром, телевидением, прессой.

1. Карл Любомирский. Моя маленькая жизнь. Перев. с нем. Сост. Е. Соколовой. Вступит. статья В. Вебера. М., 2000.
2. "ИЛ", 1995, № 8.

“ИЛ”. Вернемся к вашим творческим планам...

К. Л. Что касается лично меня, я пишу очень медленно. Сейчас работаю над путевыми заметками. Десять-двенадцать лет назад стал перечитывать книги этого рода, созданные пером больших писателей: Кестнера, Вернера Хельвига, Райнхольда Шнайдера и других. Сейчас в немецкой литературе почти никто не пишет в этом жанре.

В путешествии есть магия. Человек создан, чтобы ходить ногами. Раньше физическое время пути совпадало с внутренним, метафизическим. Сейчас же, проведя пять или шесть часов в самолете, человек совершает путь, на который раньше уходили годы. То есть метафизически он появляется в конечной точке своего путешествия гораздо позже, чем оказывается там физически. И значит, он прибывает туда не целиком, а как бы одной своей “точкой”, подобно шару, который касается земли лишь в одной точке. Восприятие таким образом получается и реальным, и метафизическим, из чего и складывается впечатление от путешествия. Я пытаюсь в меру своих сил отображать путешествия именно так, как я их переживал... Из этих заметок пока еще ничего не опубликовано. Мне интересно взглянуть на разные цивилизации, разные страны: Йемен и Израиль, Египет и Иорданию. Сейчас пишу об Индии... Я хочу показать различные уголки мира в одной и той же перспективе, поскольку сам-то я все тот же, человек-путник. Мне хочется сберечь свидетельства своего времени — где же их искать, как не в себе?

“ИЛ”. Что вы думаете о Петере Хандке?

К. Л. По-моему, он-то как раз принадлежит к числу тех писателей, которые останутся в литературе. Сейчас его часто упрекают: то он не ту позицию избрал, то он слишком элитарен. Лично меня мало интересует в художнике политическая рефлексия. Что думал Микеланджело о Медичи, может быть, забавно, но неинтересно. А Хандке... на него сильно нападали в последнее время.

“ИЛ”. Его всегда считали у нас крупным писателем.

К. Л. Да, но это считаете вы, а не немецкая общественность. По меньшей мере, странно судить о значимости художника по его политическим взглядам, а так и поступают. Творчество тонет в морализаторстве. А объективного суждения о художественном произведении нет.

Интересно, осознают ли вообще немецкие критики свою роль в современном литературном процессе? Ведь критика — это не просто позиция, избранная по принципу “нравится, не нравится”, критик должен пытаться быть объективным. А объективности нет. Постоянная оглядка на моду. Во “Франкфуртер альгемайне” вы всегда найдете одни имена, а в “Цайт” и “Шпигель” — другие. Не спровоцировав скандал, писатель не попадет в газеты. Что-то явно не так, если Рансмайр едва удостаивается трех строк, в то время как другие — целых страниц.

Немецкие критики все пытаются навесить ярлык, определить, “левое” это произведение или “правое”, такие в нем прослеживаются тенденции или сякие — в общем, “прочитывают” его, но никогда не рассматривают именно как художественное произведение. Не обращают внимания ни на стиль, ни на язык. Отмечают только направленность. Искусство этого не переносит. Это псевдокритика. Она бесплодна.

И вот Хандке уже по меньшей мере десять лет как в черном списке. Если он сейчас что-нибудь опубликует, критики все равно не найдут у него ни одной хорошей строчки.

“ИЛ”. Но ведь так было всегда. Стоило только писателю по какому-то актуальному вопросу высказать точку зрения, отличную от мнения сильных мира сего, как его сразу начинали травить. Так было и с Гёте. Будем надеяться, что сейчас наконец произойдет возврат к эстетическим ценностям.

К. Л. Будем надеяться.

“ИЛ”. Какие поэтические произведения в Австрии и вообще в немецкоязычном пространстве представляются вам наиболее значительными в последнее время?

К. Л. В последние пятьдесят лет, если употребить сравнение с рекой, водный поток стал очень широким и относительно мелким. Возьмем известные имена. Ингеборг Бахман я не буду сейчас рассматривать. Если вспомнить такие имена, как Карл Кролов или Райнер Кунце, то временами это все-таки ангажированная поэзия... Хорошая в той мере, в какой порождена страданиями поэта, но не более. Например, в поэзии Кунце впечатляет талантливая и очень своеобразная рефлексия в каких-то конкретных ситуациях, но как только ситуация сходит на нет, пропадает и привлекательность этих стихов.

“ИЛ”. Как вообще, по-вашему, соотносятся страдание и талант?

К. Л. Давление может идти как извне, так и изнутри, что случается гораздо реже. У Достоевского давление шло изнутри. Можно сказать, талант — это комок глины, который под внешним воздействием превращается в драгоценный камень.

“ИЛ”. Нам известно, что вы происходите из древнего аристократического польского рода. Что связывает вас с Польшей сейчас?

К. Л. Я был в Польше несколько раз, навещал родственников. Собственно говоря, поехал я туда по двум причинам. Во-первых, чтобы абсолютно непредвзято познакомиться с этой страной. А во-вторых, чтобы понять, насколько она близка лично мне. И она оказалась мне очень близка. Я познакомился со страной, с людьми, с архитектурой, побывал на могилах предков. Что же касается моих аристократических корней, я приехал туда как обычный человек, а не как потомок, к примеру, того Любомирского, который в эпоху царствования Екатерины Великой едва не оказался на польском престоле. Императрица сделала свой выбор в пользу Понятовского. Вообще, мне кажется, это странно, когда внук врача расхаживает в белом халате. Времена, когда титул имел значение, прошли, да и жить в пустой оболочке — дело неблагодарное. Конечно же, мне всегда было интересно узнавать про моих великих предков: например, что в семнадцатом веке среди защитников Вены был Иероним Любомирский, сыгравший в свое время немалую роль. И все же от меня это бесконечно далеко. Лично мне гораздо ближе Ираклиус Любомирский, которому так и не удалось жениться на любимой девушке — она была из королевского рода Виттельсбахов, — и потом он всю жизнь странствовал по Италии и писал драмы.

“ИЛ”. Вы знаете свое генеалогическое древо?

К. Л. Только отчасти. Польские источники прочесть я не могу. Родился я в Тироле. Дед мой, Эммануэль, приехал туда из Кракова по приглашению брата, состоявшего на службе у Габсбургов. Оба брата были архитекторами. В частности, дед мой в Инсбруке проектировал здание университета. Вообще, все дома в Инсбруке, похожие на французский замок, строил мой дед.

“ИЛ”. Разрешите поинтересоваться мнением человека-путника о России. Каковы ваши впечатления? Чего вы ожидали? Есть ли разница между тем, что вы увидели, и тем, что ожидали увидеть?

К. Л. Взгляд путника проявляется в основном в моих заметках. Что же касается России, то я ничего не ждал, потому что всякое ожидание уже есть предубеждение. Я приехал в Россию свободным от ожиданий. За те несколько дней, которые я здесь провел, мне показалось, что люди в России воспринимают свободу с известной долей разочарования. Они так долго ее ждали, а когда наконец добились, оказалось, что свобода — не красивая сказка, а серая реальность. И если у них появилось право что-нибудь купить или куда-нибудь поехать, но нет для этого средств, то это горькая свобода. Интеллектуал переживает свободу иначе, чем шофер. Мне кажется, реформы идут слишком медленно. Я видел на улицах огромное число солдат, матросов, милиционеров, и все время задавал себе вопрос, зачем в двадцать первом веке такая большая армия.

“ИЛ”. Вы австрийский поэт, живете в Италии. Какое влияние это оказывает на ваше творчество, способствует ему или нет?

К. Л. Безусловно способствует. Италия гораздо более динамична, чем северные страны. В Италии семь тысяч километров побережья. Тут чувствуешь влияние Балкан, Северной Африки, Центральной Европы. Две тысячи километров с севера на юг. Восприятие времени различно на юге Италии и на севере. И дело не в ментальности, дело в дистанциях.

“ИЛ”. Но ведь в Италии футбольный стадион в Бари ничуть не менее современен, чем в Турине.

К. Л. На этом уровне всегда все одинаково. Я ничего не имею против футбола, мне кажется, что это прикладная математика, другие назовут это вдохновением... Но то, что творится на трибунах: агрессия, тупая злоба — ужасно... Как в Древнем Риме. И если завтра вновь открыть Колизей и устроить там, как в прежние времена, кровавые зрелища со львами и пленными, от зрителей точно так же не будет отбоя... И все же когда путешествуешь по Италии, в творческом плане становишься гораздо богаче, чем, например, перемещаясь между Зальцбургом и Мюнхеном. В австрийских условиях очень трудно построить самобытный художественный мир, критиком стать можно, писателем — трудно.

“ИЛ”. А что же такое тогда Россия?

К. Л. Россия — это целый мир. Поэтому я был так рад, когда мои стихи вышли в вашем журнале, я сказал себе: этот журнал распространяется на территории в одиннадцать часовых поясов, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Пусть даже во Владивостоке он только в одном экземпляре, не важно.

“ИЛ”. Один экземпляр есть даже на Сахалине.

К. Л. Да, у России много лиц. О какой России идет речь? О России вообще трудно судить. Если человек с Запада думает, что может судить о России, это глупо. Можно судить лишь об отдельных вещах.

“ИЛ”. Вы переводите итальянских поэтов на немецкий язык?

К. Л. Да. Неизвестных. И публикую эти переводы где придется. В венских журналах, в газетах.

“ИЛ”. Кто ваш самый любимый итальянский автор?

К. Л. "Самого любимого" нет. Все зависит от темы. К примеру, Эльза Моранте — большой писатель. Некоторые вещи Квазимодо мне нравятся.

"ИЛ". А из тех, кого вы переводили?

К. Л. Джузеппе Ребора, Кампана. Одного объявили сумасшедшим, Ребора умер в нищете и в полной безвестности. Еще мне очень нравится один поэт, он еще жив, но очень стар, Энцо Фабиани. Это постоянно во всем сомневающийся автор. Литература уверенных — мертва.

"ИЛ". В последнее время в России, да и в мире вообще, появилось много произведений в жанре, так сказать, "фекальной литературы". Как вам кажется, есть у такой литературы будущее?

К. Л. Я считаю, что у нее нет будущего. Знаете, американцы уже перестали жевать резинку. Мы в Европе все еще жуем. Примитивное увлекает. Но глупость не может стать стилем. Сейчас это в моде, но ненадолго. Знаете, в Италии есть один художник, который выставил на всеобщее обозрение коробочку под названием "Экскременты художника". Наверное, в ней было что-то другое, но называлось так. И он продал этот шедевр за триста миллионов лир. Если свобода приводит к такой разнузданности, которая еще и деньги приносит, то большего мы и не заслуживаем. Если люди покупают примитивные книги, думая, что покупают что-то хорошее, значит, они читают то, чего заслуживают. Я же думаю, что ко времени нужно относиться бережнее. У нас только одна жизнь, и тратить час жизни на такую книжную продукцию... А вдруг после этого сразу умрешь? И это будет последняя книжка, прочитанная тобой... нет. В Италии есть очень известный писатель, Джузеппе Понтиджа. Лауреат всех мыслимых премий, о нем постоянно пишут. Сейчас он написал маленькую книжечку, сто восемьдесят страниц, о своем сыне-калеке, о том, почему сын стал таким, о несчастье его и своей жизни. Сейчас сыну двадцать один год. Тысяча страниц содержания на ста восьмидесяти страницах. Вы читаете одну фразу, а чувствуете за ней еще пятнадцать. Очень содержательная и в то же время лаконичная книга. Блестящий язык в такой книге излишен, она требует точности. За это произведение он никогда не получит премии.

"ИЛ". Насколько заметно присутствие российской литературы в современном европейском контексте? Какие имена русских авторов вам знакомы, следите ли вы за переводами, в частности поэзии?

К. Л. К сожалению, нет. Я уже сорок лет живу в Италии и поэтому ничего не могу сказать об австрийских переводах. Скажу только, что в Италии переводят мало и плохо. Например, Эзру Паунда в издании "Мондадори" читать было просто невозможно.

"ИЛ". По-английски читать его тоже трудно.

К. Л. Совсем не трудно, просто перевод плохой.

"ИЛ". Может быть, дело не в "Мондадори", а в Паунде?

К. Л. Я читал его стихи на немецком, в переводе Эвы Хессиг. И это был замечательный перевод. Великолепный.

"ИЛ". А что для вас вообще значит русская литература? Какие писатели вам нравятся?

К. Л. Конечно, я читал Толстого, Достоевского, Горького, Тургенева. Это великие книги, они произвели на меня огромное впечатление. Может быть, это самые важные книги в моей жизни. Важнее, чем итальянские книги, чем французские. С немецкими я не сравниваю. Русская

литература оказала на меня огромное влияние, можно сказать, меня сформировала. Идеальный роман для меня — это роман Достоевского. Я имею в виду не стиль. Достоевский — это бездны. Это мост к греческой трагедии. Носитель судьбы, величие, как у Шекспира. Роман для меня — это повод, предлог показать нечто большее. Как музыка...

"ИЛ". А вам не кажется, что у немецкой литературы много общего с русской?

К. Л. Да. В отличие от романской литературы. Она виртуозна именно в стилистическом плане. Итальянцы получают удовольствие от игры. И в музыке то же самое. Русская литература совсем другая.

"ИЛ". На днях в Москве состоялась русско-германская научная конференция по вопросам отношения к прошлому, преодоления прошлого в Германии после сорок пятого года и в России после девяносто первого года. Связано ли ваше творчество с такой проблемой?

К. Л. Я не ощущаю своей связи с таким понятием, как "преодоление прошлого". Для меня это что-то неосуществимое. Можно начать совершенно новую жизнь. Так же как если бы кто-то вышел из тюрьмы и стал совсем другим человеком. Но вернуться обратно и сказать: сейчас я все сделаю иначе, я изменю прошлое — нельзя. То, что произошло в Германии, Австрии и Италии, нельзя изъять из истории. Можно только одно — рассказать, что произошло, признать: вот что мы, к сожалению, сделали. И постараться, чтобы этого больше не повторилось. Все остальное, по моему мнению, риторика.

Запись беседы В. Агафоновой

Алексей Зверев

"Умирание искусства": 65 лет спустя

Переиздание критического наследия Владимира Вейдле ("Умирание искусства". М., Республика, 2001), второе за последние годы, искушает потолковать о состоятельности или эфемерности литературных пророчеств. Дело в том, что трактат, давший заглавие всей книге, был напечатан еще в 1937-м, а по-французски, под заглавием "Пчелы Аристея", даже годом раньше. Но для нас в советское время он оставался практически недоступным, как почти вся эмигрантская литература, и вышло так, что Вейдле мы читаем уже в совершенно ином контексте: идейном, эстетическом. Миновала целая художественная эпоха, смысл которой Вейдле пытался предугадать, размышляя о новых формах и творческих установках, которые были последним словом в литературе предвоенного времени. Теперь эти прогнозы несложно проверить реальными фактами, констатируя или прозорливость, или слепоту предсказателя.

В сопоставлении теоретических выкладок и свершившейся литературной истории есть свой резон, хотя заняться этим следует вовсе не с целью возвеличивания или, наоборот, компрометации Вейдле как критика. Его реноме уже давно никем не ставится под сомнение, хотя известность Вейдле на родине все еще не соответствует истинной значительности этой фигуры. По богатству познаний, дару внимательного восприятия и умению интерпретировать явления искусства прежде всего в философских аспектах критик Вейдле был настоящим европейцем, его можно сопоставить с самыми крупными авторитетами в тогдашней эстетической теории – с Ортегой, Элиотом. Этого не отнимут у Вейдле никакие перемены литературной моды.

Но все-таки он был человеком своего времени, и, по логике вещей, суждения, высказанные шестьдесят пять лет назад, теперь должны выглядеть устаревшими. Кое-где налет архаики и правда чувствуется; перечитывая Вейдле, иной раз видишь, до чего он далек от нынешних представлений и оценок. Это касается отдельных писательских репутаций, для него, по меньшей мере, проблематичных, а в наши дни сделавшихся бесспорными. Еще важнее, это относится к самому представлению о сущности, о назначении литературы, которое он отстаивал.

Вейдле не стыдился своего консерватизма, приверженности "несомненному и великому прошлому", олицетворенному великими именами – для него прежде всего Пушкиным и Достоевским. Когда от этого прошлого отрекались или подвергали его модной сейчас деконструкции (Вейдле еще застал первые триумфы школы, возвестившей, что канонов не существует, поскольку любой текст можно совершенно по-разному прочесть, а значит, и оценить), он приходил в ужас, который ревнителям современных подходов, вероятно, покажется несколько комичным.

Искусство, в его понимании, оправдывало себя только при условии, что оно "проникнуто борьбой за возрождение чудесного, за отвоевание его у враждебных сил и в конечном счете за утверждение свободы чело-

© А. Зверев, 2002

века вопреки наваждению исторического или биологического рока, грозящего отнять у него самое священное его право — творчество". Вряд ли бы сегодня кто-нибудь решился сказать нечто подобное, не страшась насмешек и обвинений в косности, в отсутствии необходимой иронии, в пристрастии к неподобающей патетике.

Однако, если вдуматься, так ли уж очевидно, что кем-то из пришедших после Вейдле сформулированы более приемлемые и обоснованные мысли о том, для чего существует искусство? Ведь, собственно говоря, этот основной вопрос обычно даже и не обсуждается в эстетике последних десятилетий, очень искушенной, когда нужно объяснить законы, которым подчинена структура художественного текста, или авторскую стратегию, или принципы нарратологии, но редко озабоченной тем, что и структура, и стратегия, и принципы должны же чему-то служить, обладать неким аксиологическим смыслом. Если все-таки заходит речь о реальной или мнимой ценности произведения, почти всегда надо ожидать какого-то демарша, посредством которого эта проблема будет снята как несущественная: либо рассуждений о наступившем "конце истории", когда все ценности относительны, либо попыток доказать, что строгих и надежных критериев эстетической оценки не существует по определению.

Для Вейдле они, разумеется, существовали, хотя он, непосредственный свидетель октябрьского переворота и двух мировых войн, тоже мог бы порассуждать о "конце истории". И пожалуй, с бóльшим основанием, чем изобретатель этого очень востребованного термина американский профессор Фрэнсис Фукуяма, чья одноименная статья, напечатанная в 1989-м, наделала столько шума.

Вся драма, названная у Вейдле "умиранием творчества" в полном значении слова, как раз и проистекала из-за причин не только эстетического, но и внехудожественного свойства. Он считал, что история, окончательно развеяв иллюзии относительно присущих ей элементов разумности, "отравила самые родники искусства" и создала вполне реальную "угрозу культурного разложения". Причем Вейдле тревожили главным образом не те приметы начавшегося разложения, о которых постоянно говорят сегодня, отмечая изобилие разного рода суррогатов литературы, агрессию поп-музыки или массовый успех коммерческого кинематографа. Вейдле видел суть кризиса в "остром перерождении не только внешних оболочек, но самих тканей", из которых состоит искусство. Настоящее искусство или, во всяком случае, имеющее претензию выглядеть настоящим в отличие от тривиальных подделок.

Вот в чем это перерождение выразилось. Искусство, как его себе представлял Вейдле, есть "заново сотворенное живое бытие", неразложимое "ни на какие рассудочные формулы и механически выделенные составные части". Но если, не обольщаясь новизной оболочки, оценить ткань созданного современными художниками, выяснится, что как раз сотворенная жизнь там отсутствует. Есть достоверность свидетельства, мастерство анализа, эффектность композиции, превосходное владение изысканной и необычной стилистикой, словом, многочисленные доказательства, что художник в полной мере наделен "расчленяющим знанием". Но говорить о "целостном прозрении и неделимой вере" уже не приходится. А без прозрения и без веры искусство гибнет.

Теперь такой вывод наверняка покажется слишком резко высказанным, а обеспокоенность Вейдле будет воспринята как не совсем обоснованная или даже напрасная. Ведь свои обобщения он вынес из знакомства с корифеями тогдашней литературы: Прустом, Томасом Манном, Музилем, Лоуренсом, Вирджинией Вулф. По прошествии шести с половиной десятилетий оптика восприятия их творчества переменилась. Вейдле писал о своих современниках и уже поэтому был свободен от пиетета. Сегодня они классики, чей опыт не только надлежит изучать.

Порой приходится его вспомнить и как образец для новых писательских поколений, поскольку становится видно, что этими поколениями растрачен достаточно прочный запас той самой "целостности", которую Вейдле, читая наиболее заметных европейских авторов своего времени, и впрямь напрасно находил утраченной едва ли не полностью.

В оценках этих авторов он несомненно бывал сверх меры пристрастен. Вернувшись сегодня к "Волшебной горе" или к музилевскому "Человеку без свойств", навряд ли кто-то сочтет, что это, в сущности, не литература, а только документы, воссоздающие "распад германской мысли, германской жизни в преддверии войны и революции", — ведь в обеих этих книгах, манновской в особенности, есть сложная, тонко нюансированная духовная проблематика. С дистанции времени Пруст отнюдь не кажется писателем, чья эпопея заставляет думать лишь о "распылении личности и разложении романа". Личность, конечно, показана у Пруста совсем не так, как у Толстого, но невозможно не почувствовать, что "В поисках утраченного времени" — это новое знание о сокровенной жизни человека, а значит, и новое слово в литературе.

Толкования, предложенные Вейдле, не так трудно оспорить, когда дело идет о конкретных именах и произведениях. И появляется чувство, что зря он так настойчиво упрекал писателей своей эпохи за то, что у них формалистические системы потеснили творчество, поэтический вымысел ослаблен, а живое искусство подменила "эссенция искусства".

Тем не менее, представляя себе все последующее, стоило бы воздержаться от запоздалой полемики и отдать должное точности, с какой Вейдле определил хотя бы одну из основных опасностей, подстерегавших даже значительных писателей в закончившемся — календарно, только календарно — столетии. Вейдле понимал ее как "усугубление литературности" в ущерб самой литературе, как навязывание ей "насильственной формулы". Приведенные слова относятся к Вирджинии Вулф и Джойсу; применительно к ним обоим они требуют оговорок или, во всяком случае, должны быть уточнены. Но с самой тенденцией, которая состоит в том, что произведение оказывается литературой о литературе, ни о чем больше, приходилось сталкиваться слишком часто, чтобы не оценить по достоинству аналитический дар Вейдле, разглядевшего эту тенденцию еще в 1937 году.

С тех пор много раз менялись художественные приоритеты, возникли многочисленные новые веяния, прозвучали, приобретя громкий резонанс, еще более многочисленные новые имена. Но страсть к гипертрофированной литературности, угаданная Вейдле уже по ее первым симптомам, не только не прошла, а пожалуй, наоборот, усилилась. Вейдле предлагал заглянуть в душу обычного, непрофессионального читателя, который, открыв, к примеру, книжку Жана Жироду, чувствует себя так, словно он незваным гостем очутился в литературном кафе, где посвященные обсуждают тайны ремесла. Любопытно, какое впечатление вынес бы этот посторонний на пиру богов, доведись ему заглянуть, допустим, в именующиеся художественными тексты Мориса Бланшо, которые начали появляться лет через двадцать после книги Вейдле и появлялись вплоть до 80-х годов.

Одолев Жироду и (случай не такой уж вероятный) справившись с "Улиссом", он гипотетически мог бы примириться с тем, что в этих текстах, само собой, нет ни сюжета, ни характеров, ни коллизий, ни смеха, ни драматизма, то есть отброшены все обветшавшие аксессуары повествования, которое предлагало некую картину мира, пытаясь создать ее средствами литературы. Но как ему освоиться с тем, что коллажи из идей, подчас весьма оргинальных, и опытов фрагментарного письма, для литературоведа, случается, занимательных (хотя лабораторных по своему характеру), преподносят не как философское эссе, не как манифест приверженца постструктурализма, а в качестве прозы? Ведь современни-

ку Вейдле еще памятно, что литература — это не пересказ умозрительных концепций в беллетризированной форме и не изложение современной методологии гуманитарного знания, для ясности дающееся без головоломной терминологии. Что это совершенно особенный, даже уникальный способ постижения действительности и человека.

Бланшо упомянут не случайно, именно этому автору, у нас известному двумя своими сочинениями, причисленными к области литературы, — "Последний человек", "Ожидание забвение" — передовая критика устами отца деконструкции Поля де Мана посулила самые большие шансы на грядущее величие. Бланшо уверенно называют не только писателем, а именно писателем нашего времени, выразившим его сокровенные художественные запросы и устремления. Немало — и почти всегда с восторгом — сказано о том, какой он виртуоз темного, трудного, абсолютно герметичного письма, с какой решительностью преодолевает "мертвящую привычку мимесиса", который, по Аристотелю, есть воссоздание жизни в ее важнейших законах и свойствах (а по Достоевскому — проникновение "в глубины души человеческой"). Но остается без ответа — да и просто не возникает — вопрос, который старомодным Вейдле задан впрямую: для чего "живому человеку" такого рода самоупоенная литературность, эти "развоплощенные и потому бессильные слова"? Не оттого ли, что слова бессильны да и не ставят себе целью что бы то ни было выразить из его реального опыта, читатель, "живой человек", так явно охладевает к литературе? Это видел уже Вейдле и объяснял причину: читатель чувствует, что перед ним не искусство, которое "расширено до мира", а в лучшем случае некий полуфабрикат, где "мир сужен до искусства, приготовлен, препарирован, нужным образом окрашен", чтобы ничто не мешало заняться проблемами модификации и совершенствования самого механизма творчества, словно для художника нет задачи более существенной и важной. И, осознав это, "живой человек" требует в книжной лавке мемуары, документальные повести, биографии, только не романы.

Нынешний "живой человек" поступает точно так же, однако некоторая перемена все-таки произошла. Вейдле подразумевал читателя, еще не до конца разуверившегося в литературе, не привыкшего к тому, что между текстом и реальностью за пределами текста отсутствуют опознаваемые связи и, мало того, такие связи старательно обрываются, если они все-таки возникнут каким-то непроизвольным образом. Теперь этот барьер между литературой и реальностью сделался настолько прочным, что стала считаться естественным положением вещей та аномалия, которую Вейдле зафиксировал шестьдесят пять лет назад: произведение оказывается лишь "свидетельством литературного сознания о самом себе". Не так уж важно, что Кафка, к которому относится приведенное суждение Вейдле, требует, конечно, намного более взвешенной оценки. Существеннее другое: с ходом времени приобрела статус нормы странная ситуация, когда, по словам Вейдле, искусство подменено знанием о его возможностях, которое художник демонстрирует с уверенностью, что это и есть его истинное дело.

Как раз это занятие (и кажется, оно одно) увлекало в последние десятилетия творчества Натали Саррот, словно бы не ею в свое время были написаны "Золотые плоды" и "Детство", произведения совсем иной творческой природы. Им же поглощен теперь Карлос Фуэнтес, и как-то странно вспоминать, что он ведь автор нескольких книг, для которых ключевым было понятие "чудесной реальности", воссозданной латиноамериканскими писателями его поколения с исключительной художественной достоверностью и творческой новизной. Примеры нетрудно множить, но дело не в их количестве, а в том, какой климат стал чуть не самым обычным для современной западной литературы. В том, каков ее, цитируя Вейдле, "основной формирующий принцип".

Усвоив, что это искусство говорит о самом себе, а не о мире, в котором оно существует, к нему — и в общем справедливо — начинают относиться в лучшем случае как к изощренной игре интеллекта. Как к "переодетой философии", если воспользоваться определением Гессе. Или же, еще проще, как к бесцельному соположению структур и формул, которым, отгораживаясь от бытия, занимались в знаменитом романе того же Гессе подданные республики Касталия.

Но "Игра в бисер" принадлежит совершенно конкретной ситуации, когда подобное дистанцирование от социума являлось способом противодействия его безумию, а стало быть, формой самозащиты. Касталия у Гессе расположена "внутри структуры народа, мира, мировой истории". Ее, эту структуру, крайне трудно, чаще всего просто невозможно распознать, знакомясь с текстами, которые стали своего рода фирменным знаком сегодняшней литературы. Может быть, это еще не умирание искусства в том почти неметафорическом значении, какое подразумевал Вейдле, выбирая заголовок для своей книги. Но трудно сомневаться, что болезнь опасна и что она прогрессирует.

Вейдле, впрочем, не считал положение безнадежным. Для него, человека твердых христианских убеждений, существовал выход: возрождение мира на началах веры, когда искусство, "блуждающее в бездорожии", вспомнит о своей потерянной родине и "обретет оправдание в религии". По-французски книга Вейдле называется "Пчелы Аристея": напоминание о четвертой георгике Вергилия, где рассказано, как Аристей, повинный в гибели Эвридики, был наказан богами, которые послали смерть его пчелам, но после искупительной жертвы вернули их к жизни. Требовалась жертва и от искусства, чтобы оно воскресло.

Готовность искусства к такому пути сейчас еще намного более сомнительна, чем было во времена Вейдле. Впрочем, он и сам ощущал, что понадобятся другие способы, чтобы вызволить искусство из безвоздушного пространства, "извлечь из-под стеклянного колпака", расплавить броню, "в которую оно облеклось ради своей защиты". Какие именно способы — этого Вейдле не указал. Но кто бы решился? Довольно и того, что он не отказывал искусству в самой возможности повторить жребий Аристея — возможности куда более проблематичной через шестьдесят пять лет после выхода его книги.

Дневник воображаемых путешествий

Григорий Кружков. *Ностальгия обелисков. Литературные мечтания.* М., Новое литературное обозрение, 2001

Заглавное, задающее ноту всему сборнику многолетних литературных разысканий Григория Кружкова слово "ностальгия" автор поясняет на первой же странице своей предуведомляющей заметки. Здесь он, со ссылкой не только на переведенное три десятилетия назад стихотворение Теофиля Готье "Nostalgie des obélisques", но и на гейневско-лермонтовскую "Сосну и пальму", говорит о "тоске по далекому". Далекому дому, добавлю я, отсюда первая часть книги, посвященная "английской деревеньке" Пушкина, — не зря в названии ее заключительной главки стоит английское "at home" (из пушкинской записи о юности, которая "не имеет нужды в at home", и зрелости, которая "ужасается своего одиночества"). Но это такая даль, которой, как и английского поместья у невыездного русского поэта, в окружающей реальности не существует. Которой, уточню, *еще* и *всегда* нет, почему и ностальгия автора книги, в данном случае по Англии, а еще точнее — по Ирландии, краю и наследию кельтов, неотделима от утопии. И не случайно вторая часть книги толкует о поэтическом братстве поверх физических времен и пространств, о нездешнем и всегдашнем Communio poetarum (Уильям Йейтс тут волею Кружкова "переговаривается" с Вячеславом Ивановым и Николаем Гумилевым, Мандельштамом и Ахматовой). В этом смысле от утопии, можно сказать, неотделима сама поэзия, поскольку живет воображаемым: формам и правам поэтического воображения отведена третья часть книги "Миф и символ" (ее герои — Чехов и Джойс, Платонов, Стивенс и Хини). А предмет части четвертой — предмет, который крайне редко встретишь в книгах о поэзии, но которого в книге переводчика английского нонсенса не могло не быть, — это поэтический юмор, игра, розыгрыш в стихах Бенедиктова и Пастернака, Эндрю Марвелла и Эдварда Лира. Завершают объемистый, с изобретательностью и щедростью иллюстрированный том (которому разве что не повредил бы именной указатель) несколько литературно-детективных эссе автора, давнего, как он сознается, поклонника Шерлока Холмса и его дедуктивной методы, — заметки о Шекспире, Фросте, Киплинге и других.

В отличие от профессиональных филологов, Кружков в своем "практическом", "прикладном", "подсобном" литературоведении идет путями не столько буквы, сколько духа. Ему интересен Другой, важно этого Другого понять, без его предвосхищаемого слова он существовать не может, не хочет, не видит смысла — почему он не только самовластно говорящий поэт, но и внимательно слушающий переводчик, и главки книги ритмически проложены четырьмя десятками его переводов с английского. Допускаю, что конкретные сопоставления Кружкова могут быть для историка словесности уязвимы, а его обобщения для методолога гуманитарных дисциплин спорны. Чувствую мес-

тами некоторую навязчивость и вместе с тем произвольность сравнительно-литературоведческого подхода как такового. Вижу в книге мелкие неточности (так, у Пушкина, конечно же, "Сцена из Фауста", а не "Сцены...") Но своему избранному предмету — странствиям и приключениям поэтического разума на разных широтах и под разными именами, этой одиссее мореплавателя, назвавшего себя Никем, — Кружков неизменно верен. Помнит он и то, что эти пути, по формуле любимого поэта, "воздушные". Далекая страна, которую вместе со своими героями ищет автор книги, это страна поэзии, поэзии, тоскующей по себе самой, такой, какой она могла бы и мечтала быть. И тут "ностальгия обелисков" Кружкова явно вторит мандельштамовской "тоске по мировой культуре", а бешеной крови Рэли и Йейтса, пастернаковской "страсти к разрывам" откликается эрос поэзии как воплощенной любви к недостижимому, Офелии разлук и невстреч (этой томительной стихией женского проникнута вся эпоха модерна — смотри в книге о судьбах Мод Гонн и Лидии Зиновьевой-Аннибал, поэзии Ларисы Рейснер и Анны Ахматовой).

По-своему логично, что главным героем очерков Кружкова становится романтизм, включая его второе рождение — так называемый Серебряный век. Как романтик прочитан Кружковым не только Шекспир (собственно, после самих романтиков другого Шекспира Европа, кажется, уже и не знает), но — через Шекспира, через Китса, через Барри Корнуолла — и Пушкин. Больше того, как поздний романтик — сверстник Метерлинка — увиден Чехов, как неоромантик — через Ницше, Вячеслава Иванова, Андрея Белого — понят Андрей Платонов. Барокко, романтизм, символизм и его завершение в акмеизме — такова, по Кружкову, "героическая" эпоха поэзии, эра открытий и свершений. Как можно понять по книге, дальше для нее (сошлюсь на невеселые кружковские письма о стихотворной продукции современной Америки, с которыми не во всем соглашусь, на его беглые замечания о верлибре) начинается своего рода жизнь после жизни, эпоха забытых секретов и потерянных ключей. Теперь поэзия скорее напоминает — воспользуюсь заглавием переведенного в книге стихотворения Шеймаса Хини — "Исчезающий остров": "Распался этот остров как волна..." Внутренняя тема и книги Кружкова, и самой лирики, тема поэзии как путешествия в неведомое, замыкается в последних строках "Ностальгии обелисков" словами о стыке, шве, рубеже.

И все же том фантастико-изыскательской эссеистики Григория Кружкова — книга, по-моему, счастливого человека. И книга, в свою очередь, тоже счастливая. При обдуманной сложности постройки она богата не сразу открывающимися вторыми, третьими и еще более дальними смыслами. Ее интересно просто перелистывать, ее будет полезно перечитать и перечитывать.

Борис Дубин

Прогулки с идиотом в зимнем лесу

Томас Бернхард. *Стужа.* Перевод с немецкого В. Фадеева. СПб., Symposium, 2000

Недавно в очень хорошем переводе Владимира Фадеева вышел первый роман Томаса Бернхарда (1931—1989), впервые опубликованный в Австрии в 1963-м и тогда сразу же принесший известность тридцатидвухлетнему автору.

В последнее время интерес к Бернхарду, одному из самых значительных немецкоязычных писателей нашего столетия, рас-

пространяется и в России. Если его поздний роман "Старые мастера" (в переводе Б. Хлебникова, 1995), к сожалению, появился в крайне малотиражном издании "Альманах немецкой литературы", то книга "Томас Бернхард. Видимость обманчива и другие пьесы" (М., Ad Marginem, 1999. Перев. М. Рудницкого) доступна, хороша по подбору пьес и по качеству переводов и позволяет составить достаточно адекватное представление о Бернхарде как драматурге. Еще одно свидетельство возрастающего внимания к этому автору — конференция "Творчество Томаса Бернхарда", которая состоялась в РГГУ 13—14 октября 2001 г. В одном из прочитанных на ней докладов — д-ра М. Хубера из Вены — говорилось, среди прочего, о том, что бóльшую часть бернхардовского рукописного наследия составляют подготовительные материалы (три разные редакции) именно к первому роману, к "Стуже", в котором уже проступают чуть ли не все темы последующих произведений Бернхарда.

Сюжет романа, если пересказать его вкратце, таков: хирург Штраух поручает своему студенту-практиканту отправиться в сельскую общину Венг, где поселился его, Штрауха, психически больной брат, бывший художник Штраух, сблизиться с этим братом и понаблюдать за его поведением. Практикант выполняет задание, излагает свои выводы в письмах хирургу и затем уезжает из Венга (потому что осознает, что фактически "шпионил" за Штраухом), после чего художник пропадает без вести — кончает с собой или просто замерзает в зимнем лесу. Бóльшую часть текста (двадцать пять глав из двадцати семи) занимают мизантропические монологи художника Штрауха, произнесенные им во время совместных прогулок с практикантом и потом практикантом записанные; в предпоследней главе воспроизводятся письма-отчеты практиканта хирургу Штраух; последняя глава — рассуждения практиканта о больном художнике и сообщение о его гибели.

Молодой практикант — по сути второй главный герой романа. Он почти все время молчит, но страдает от того отношения к миру, которое выражено в монологах художника, и в записях формулирует собственные суждения. Его, так же как и художника Штрауха, волнует вопрос, вынесенный в эпиграф: "Что говорят обо мне люди? — спросил он (Штраух). — Что я — идиот? Что они говорят?" Для практиканта (и для читателя тоже) это вопрос об отношении к высказываниям Штрауха: что это? только бред сумасшедшего? правдивое описание жизненного крушения конкретного индивида или характеристика условий существования человека вообще?

Дело в том, что в своих монологах Штраух все время затрагивает глобальные философские темы, близкие к темам хайдеггеровской философии, но решает их в ином ключе. В предпоследнем романе Бернхарда "Старые мастера" (1985)[1] один из главных персонажей, Регер, говорит: "Весь ужас заключается для меня в том, что я прихожусь по материнской линии родственником Штифтеру[2], а по отцовской — Хайдеггеру..." — и критикует Хайдеггера, в частности, за его "курьезный" национал-социализм, за обывательскую "манию величия", за отсутствие подлинной "восприимчивости", за приверженность "псевдокрестьянскому" быту.

И все же... Штраух явно смотрит на мир в свете хайдеггеров-

1. Здесь и далее цит. по изд.: Альманах немецкой литературы, вып. 5, М., 1995. Перев. Б. Хлебникова.
2. Вопрос о скрытых аллюзиях на роман Адальберта Штифтера "Бабье лето" в "Стуже" рассматривался в докладе Н. Бакши "Бернхард и классическая традиция", прочитанном в рамках упоминавшейся выше конференции.

ской концепции "вот-бытия" (Dasein), но вносит в нее ощущения обреченности и сострадания людям. Ему близки относящиеся к этой концепции идея уникальности человеческой экзистенции ("Собака может весить примерно столько же, сколько и человек, однако она никогда не жила, понимаете?!"), идея "брошенности" человека ("На том клочке, где, сам не зная как, очутился, где, сам не знаешь кем или чем, разбужен, где вынужден оставаться, — на этом клочке тебе суждено и погибнуть..."), идея "бытия-к-смерти" ("Жизнь отступает, а смерть надвигается, как гора, черная, крутая, неодолимая"; но: "Жизнь — это процесс, который ты непременно проиграешь, что бы ты ни делал и кем бы ты ни был. Это предрешено еще до рождения человека"). У Штрауха часто мелькают такие хайдеггеровские понятия, как "скука" и "страх" (по Хайдеггеру, состояния, заставляющие человека задуматься о смысле бытия), он даже задает своему собеседнику вопросы: "Как вы ощущаете скуку? <...> Вы чувствуете страх? Нет? Да?". Его занимает, например, проблема овеществления мира ("Всё лишь механически употребляется"), негативного влияния техники. Но главное — он, как и Хайдеггер, считает, что человек должен непрерывно мыслить, "проектировать" самого себя, что остановка в этом движении ведет к "отвердению", "замерзанию", смерти. По мнению Штрауха, каждый рано или поздно совершает поворот от подлинной жизни к прозябанию, после чего люди становятся "просто пищеприемниками": "Мрак достигает отверделости безумия. К двадцатому, тридцатому, тридцать пятому году жизни. Потом еще беспощаднее. Я пытался выбраться. Это представляется мне важным". Он уверен, что сам, к несчастью, уже безвозвратно перешел за этот рубеж; что не вполне согласуется с впечатлениями практиканта: "Художник принадлежит к числу людей, которые всё приводят в жидкое состояние. Всё, к чему они прикасаются, начинает плавиться. Характер, самая твердая структура". "Стужа" в романе — метафора условий, в которых существует человек и которые постоянно вынуждают его противостоять угрозе омертвления: "Стужа не прощает неподвижности при длительном пребывании на свежем воздухе, не допускает даже мысли, даже в мыслях остановиться, мы с ним мгновенно замерзли бы при этой мысли, погибли бы при таком ходе мыслей, как погибают звери, когда из страха поддаются искушению остановиться в такой жуткий мороз".

Подобно Хайдеггеру, герои романа наблюдают мир "замерзших", остановившихся в своем развитии людей (в "Бытии и времени" — мир "обезличенного человека", Man; в романе — жители Венга). Только у Бернхарда существование этого мира отчасти обусловлено тем самым патриархальным деревенским бытом, который Хайдеггер имел склонность идеализировать. В романе деревня предстает как "заповедник грубости и слабоумия", как наиболее наглядный пример того, что угрожает людям повсюду.

Эти и некоторые другие произведения Бернхарда отличает своеобразная "оптика": ткань повествования (в данном случае отдельные монологи Штрауха) и то, о чем повествуется, можно представить себе как груду осколков зеркала; какой бы осколок ты ни поднял, увидишь в нем себя — себя в мире, в целостности мироустройства; вообще conditio humana. Природа здесь — те рамки, в которых вынужден существовать человек; конкретно-зримое — а не просто метафорическое — воплощение времени (приближающего нас к увяданию/старости/смерти) и сопротивления среды, которое в конце концов гасит всякий импульс к движению. Животные в общих

чертах повторяют человеческую судьбу (они, как художник Штраух, уходят подальше от других, когда чувствуют приближение гибели; собаки, лая, пытаются выпустить наружу свой страх и освободиться от него, а человек делает то же самое с помощью речи; птицы, жирея, теряют способность петь, как человек начинает деградировать, увязая в быте). Вместе с тем и природа, и животные также "отражают" человека в том смысле, что становятся жертвами его ошибок и преступлений: строительство современной электростанции в окрестностях Венга приводит к распространению среди местных жителей туберкулеза и массового пьянства, а страшные останки угнанных скотокрадами и хищнически забитых коров — свидетельство "подлого смертоносного плебейства". Глаз мертвой коровы, вдруг привлекший внимание практиканта, — один из огромных остановившихся (погашенных человеком) миров.

Да и сам Штраух тоже — такой уже почти остановившийся целостный мир; вслушиваясь в слова художника, практикант постепенно познает этот мир другого человека (мир, в котором — прежде теперешней, конечной стадии — были, как оказывается, и творчество, и редкая душевная деликатность, и не понятая, лишенная ответного чувства привязанность к родным, и любовь к женщине, и те интимные воспоминания, превратившиеся в "силу привычки", что не позволяют Штрауху уехать из Венга). Одновременно молодой человек узнает в судьбе Штрауха, как в зеркале, свою судьбу; и, втягиваясь в человеческие отношения с художником — вместо изначально навязанного ему безразличного субъектно-объектного отношения, — меняется сам.

Книга не дает прямого ответа на скрытый за строками эпиграфа вопрос: действительно ли жизнь (в представлении Бернхарда) так безысходно трагична, какой она видится через призму монологов Штрауха? Мне кажется, что да, в представлении Бернхарда она безысходно трагична. И одновременно смешна. И требует постоянных героических усилий. И способна приносить радость. Произведения Бернхарда часто интерпретируют как чуть ли не бессвязные словоизлияния злого насмешника и мизантропа. Действительно, структурные элементы (монологи, отдельные метафоры), из которых состоят "Стужа" и другие его романы, почти все напоминают, повторю, осколки кривых зеркал, линзы наподобие мертвого коровьего глаза, немилосердно искажающие перспективу. Почему? Потому что Бернхард каждый раз заставляет нас взглянуть на мир с позиции человека, достигшего критической точки своего бытия, — человека, который находится в состоянии аффекта и чьи слова, следовательно, *нельзя* безоговорочно принимать на веру (ни, тем более, отождествлять с мыслями автора). Штраух столь категоричен в своих пессимистических выводах, во-первых, потому, что психически болен или просто стар (старость тоже трактуется в романе как болезнь — остановка в развитии), а во-вторых, потому, что намеренно провоцирует оппонента, внушает ему собственное понимание жизни, используя доказательства "от противного". Точно так же обстоит дело и с Регером, героем романа "Старые мастера". Его яростные инвективы в адрес великих мастеров прошлого (без которых, как постепенно выясняется, он вообще не мыслит своей жизни) и по поводу разных аспектов современной австрийской действительности суть не что иное, как следствие недавно пережитого шока, потери самого близкого ему человека — жены. "Злой" смех Регера, как и смех Штрауха, — это оружие самообороны, средство против "замерзания". Такой смех — как и вообще пресловутый бернхардов-

ский нигилизм — не отрицает возможности достижения (в рамках заведомо конечной и несовершенной человеческой жизни) относительной гармонии или счастья, а лишь напоминает о невероятной хрупкости всех подобных состояний. Как ни странно, сто́ит чуть внимательней присмотреться к бернхардовским мизантропам типа Штрауха или Регера, и ты понимаешь, что они далеко не худшим образом распорядились своей жизнью: "Вот уже более тридцати лет я могу считать себя счастливым человеком, хотя по своей натуре я не приспособлен для того, чтобы быть счастливым, сказал вчера Регер. Впрочем, даже самый разнесчастный человек может стать вполне счастливым, когда речь идет о том, что называется его *делом*".

Татьяна Баскакова

Зарницы постмодернизма

Н. И. Полторацкая. *Меланхолия мандаринов: Экзистенциалистская критика в контексте французской культуры*. СПб., Алетейя, 2000 (Gallicinium)

Эта книга привлекает своими большими притязаниями. Отталкиваясь от творчества Ж.-П. Сартра, одного из самых репрезентативных писателей XX века, Н. И. Полторацкая пытается набросать общую картину движения французской, и даже не только французской, литературной мысли целого столетия, которая охватывает и философию, и психологию, и теорию языка и литературы, и много другого. Литература толкует обо всем, Сартр интересовался всем — обо всем пишет и его русский критик.

По словам автора монографии, задачей было "уловить 'внутреннюю связность' (выражение видного представителя структурализма Мишеля Фуко) в изменениях конфигурации французской культуры, акцентируя внимание именно на 'связности'". То есть различные литературные идеи рассматриваются как факты единой культуры, единой мыслительной схемы. Многообещающая программа! Правда, сразу вспоминаешь, что Фуко (который, кстати, не признавал себя структуралистом и вряд ли может быть вполне подведен под эту характеристику) описывал внутренне связные "дискурсивные формации" в истории культуры с помощью новаторской и точно разработанной системы категорий, а у Н. И. Полторацкой в качестве обобщающей категории служит придуманный еще в XVIII веке "дух времени", и поясняется это понятие цитатами из Гегеля и Шпенглера. Мыслители знаменитые, но далекие друг от друга, и трудно рассчитывать на точность понятия, которое бы опиралось сразу на них обоих. "Дух времени" веет где хочет, и его следы легко усмотреть повсюду. Используя столь неопределенный критерий, интеллектуальная история XX века предстает как история единого потока, вперемешку увлекающего за собой самых разных авторов, идеи, концепции.

Такова и композиционная структура монографии. В нашей издательской практике мало-помалу утверждается принятая на Западе система выделения цитат в научном тексте, когда цитаты оформляются отдельными абзацами, мелким шрифтом. Система разумная: хорошую научную работу можно читать, "пропуская весь петит", прослеживая только авторскую мысль без иллюстраций, и при таком чтении она должна сохранять свою собственную "внутреннюю связность". Так вот, книгу Н. И. Полторацкой подобным образом читать нельзя, даже если разместить цитаты на западный манер. Дело в том, что они здесь не иллюстрируют собой те-

зисы, но сплошь и рядом заменяют их — а заодно и логические связки, выводы, доказательства... Конечно, филологу положено много цитировать; но только ведь чужое слово, как правило, не говорит само за себя — его нужно разбирать, разъяснять, вычленять из него точные идеи и понятия, прослеживать его внутреннюю логику, "слепые точки", противоречия — только тогда оно образует вместе с авторским текстом настоящий диалог. Если же пренебречь различиями между своим и чужим словом (между метаязыком и языком-объектом, как выражаются логики), то вместо диалога получится сплошная, неартикулированная масса.

В книге Н. И. Полторацкой цитаты не анализируются, не комментируются подробно; они просто примыкают одна к другой, монтируются с помощью выражений "сходным образом...", "а такой-то полагает, что...", "об этом Сартр писал..." Не успев разобраться в одной цитате, автор спешит приклеить к ней другую, часто связанную с нею лишь по аналогии. Любимый композиционный прием — заканчивать главу авторитетной цитатой, не объясняя, какое отношение она имеет к сказанному выше и какие выводы из нее вытекают: "...в завершение... приведем слова Р. Барта..." (с. 152). Следует длинная цитата из Барта, откуда можно вычитать много разных мыслей; которая же из них важна нашему критику? Нет ответа. Точка. Следующая глава.

Любопытно и происхождение цитат. Следя за их источниками, быстро обращаешь внимание, что несколько книг используются необычайно часто. Дело в том, что по ним цитируются и излагаются идеи *других* авторов: Макс Вебер — по Л. Д. Гудкову, теоретики постмодернизма — по Н. Б. Маньковской, множество прочих мыслителей — по словарям "Современная западная философия" и "Современное зарубежное литературоведение". То есть огромное количество (многие десятки!) цитат и пересказов взято из вторых рук, главным образом из обзорных и справочных изданий. Что же, на реферативные изложения вообще нельзя ссылаться? В педагогических целях — допустимо, а вот качество оригинальной научной работы издавна оценивается, в числе прочего, по использованию *первичных* источников. Ведь даже квалифицированный реферат чужих идей неизбежно тенденциозен, он спрямляет, упрощает их, делает более "внутренне связными", чем они есть на самом деле. Скажем, Поль Рикёр — в высшей степени почтенный философ; но Н. И. Полторацкая использует его книгу "Конфликт интерпретаций" как универсальное справочное пособие по современным теориям — она переписывает и пересказывает Рикёра без всяких комментариев целыми страницами, по его книге излагает и Гуссерля, и Соссюра, и Леви-Стросса, и Хомского (заодно, кстати, повторяя ошибки перевода этой книги, который среди специалистов знаменит своей безграмотностью)... А ведь все эти теоретики ныне доступны не только в оригинале, но и в качественных переводных изданиях, где они представлены, конечно же, полнее, чем в рикёровской критике.

Отдельный случай — цитаты из Ролана Барта. Их в книге исключительно много — правда, все они только из одного русского издания Барта "Избранные работы". Если уж Н. И. Полторацкая так ценит этого автора, можно было бы использовать и другие его тексты — хотя бы также переведенные на русский "Нулевую степень письма" или "S/Z", где некоторые из его концепций разработаны полнее и четче. И конечно же, Барт замечательный критик, у которого много важных и полезных идей. Но автор монографии переписывает их без разбора, не обращая внимания, вы-

сказывал ли Барт действительно оригинальные, именно им выработанные мысли, излагал ли идеи предшественников или даже (как в цитате на с. 368) насмешливо резюмировал враждебные ему идеологические представления. Не важно: все эти цитаты вводятся одинаково почтительными формулами "как заметил Р. Барт...", "...утверждал Барт", "удачное выражение Барта". Даже утверждение, что дважды два — четыре, что литературная критика — это "диалог двух исторических эпох и двух субъективностей", снабжено ссылкой на мэтра. Увы, Ролан Барт стал классиком, его теперь цитируют ради опоры на авторитет — узнал бы он, перевернулся бы в гробу.

Иного рода странность связана с цитатами из самого Ж.-П. Сартра. Конечно, Н. И. Полторацкая не была обязана упоминать (и не упоминает) в своей библиографии труды много писавшего об этом авторе С. И. Великовского. Удивительно, однако, другое. В 1998 году издательство "Ладомир" выпустило составленный покойным ученым том литературной критики Сартра "Ситуации", включавший работу "Что такое литература?" и ряд статей. В рецензируемой монографии цитируются некоторые тексты этого сборника, порой в тех же переводах — но лишь по разрозненным, труднодоступным публикациям в периодике. Не назван сборник 1998 года и в комментариях к недавно выпущенному Н. И. Полторацкой новому переводу книги "Что такое литература?" Вряд ли это сознательный бойкот — но ведь тогда получается, что критик просто не знает одного из основных изданий Сартра на русском языке?

Я не случайно так задерживаюсь на технике цитирования и не спешу переходить к содержанию монографии. Во-первых, эта "техника" — то, с чем прежде всего и сталкивается читатель книги, пытаясь добраться до содержания. А во-вторых, это никакая и не техника, это авторский *метод*, метод монтажа по ассоциации, склеивания случайно собранных, в немалой части вторичных цитат; а метод исследования предопределяет его содержание. Когда метод нестрог, то и содержание расплывчато; недаром эту книгу так трудно излагать, резюмировать. Судя по оглавлению, по тематике глав, речь в ней идет об интереснейших вещах: Сартр и теория романа, время и хронология в романе, маргинальное положение интеллектуала-"мандарина" в обществе, кризис языка в современной культуре, проблемы биографического жанра... В чутье на "вкусные" сюжеты Н. И. Полторацкой не откажешь; вот только изложение этих материй подчинено все той же зыбкой логике ассоциаций.

Примеры заняли бы слишком много места; приведу лишь один — главу под названием "'Корневые метафоры'" культурного контекста 60-х годов". Звучит заманчиво и значительно: надо полагать, будет предпринята попытка синтезировать "дух времени" через характерные символические мотивы эпохи. Нет, сначала автор дает подборку авторитетных цитат (разного времени, не только 60-х годов), подтверждающих — а кто в этом сомневался? — что в метафорах скрыт глубокий культурный смысл; потом, как будто в качестве примера, упоминает, что в "полицейском романе" 50—60-х годов (цитата из Сартра) используется "культурный код загадки" (цитата из Барта), — но это ведь не метафора, а точный термин бартовской теории текста. Кстати, и "полицейский роман" в переводе с французского обычно называют *детективом,* а этому жанру как-никак полтораста лет, и 60-е годы тут мало чем выделяются. Далее, через новую серию громоздких цитат, вводится еще ряд мотивов современной литературы — дешифровка, демистификация, лабиринт, миф; но, кро-

ме разве что лабиринта (который опять-таки не составляет исключительного достояния 60-х годов), все это тоже никакие не метафоры. Тогда зачем же был нужен вступительный пассаж о познавательной роли метафоры? И вообще, о чем глава?

Если попытаться определить, "о чем" вся книга Н. И. Полторацкой, то ответ обнаружится, пожалуй, в следующей торжественной фразе: "Мы попробуем... разглядеть в творениях Сартра зарницы постмодернизма" (с. 31). Среди мелькающих на страницах этой книги течений и направлений — экзистенциализма и нового романа, структурализма и герменевтики, сюрреализма и постструктурализма... — именно *постмодернизм* помещен на особо почетное, верховное место, и при его упоминаниях нет-нет и звучит вновь высокий штиль: "в условиях становления постфаллогоцентрической цивилизации..." (с. 94—95), "мы оглядываемся... из иных времен: из эпохи постмодерна, "постсциентизма"(с. 118), "в нашу эпоху торжества постмодерн" (с. 147) и т. д. Откуда так знакома эта фразеология? да по советской пропаганде. Сегодня, оглядываясь в прошлое из эпохи победившего постструктурализма, развитого постфаллологоцентризма и торжества постнеоклассического знания, мы отмечаем юбилей Жан-Поля Сартра, одного из предшественников научного постмодернизма, прозорливо разглядевшего в ночи зарницы нового всесильного учения...

Ей-богу, это не надуманная придирка — к подобной риторике неизбежно ведет любая идея единого потока, устремленного к предопределенному итогу. Хотя, судя по цитатам, Н. И. Полторацкая судит о постмодернизме главным образом из вторых рук, он вызывает у нее такое почтение, что все предшествующее ("творения Сартра", например) оценивается не более чем как его предыстория. Даром он пытался отменить "большие нарративы", его русский интерпретатор строит свой собственный большой нарратив, магистральный сюжет эпохи, где история современности увенчивается высшей стадией — не коммунизмом, так самим же постмодернизмом.

Кстати, и одиозные факты истории того реального коммунизма, которому мы были свидетелями, освещаются в книге очень уклончиво. Говорится, например, о развитии культурных связей между Францией и СССР, "пока события "пражской весны" не вызвали протеста у западноевропейских писателей" (с. 235—236), а ведь на самом деле западную интеллигенцию возмутили не какие-то там "события", а одно конкретное событие — советская военная интервенция в Чехословакию в 1968 году (не весной, а в конце лета). Потом, в той же главе, начальственное указание А. А. Жданова о том, что соцреализм "должен рассматривать настоящее сквозь призму будущего", удостоено похвалы — ни много ни мало — за "переливчатость смысла" (очередная цитатка из Барта, введенная так, будто он именно эти слова Жданова и хвалил), а затем следует обобщение: не надо думать, что ждановская установка так уж плоха, ведь она "отвечает духу начавшейся в XX веке эпохи, когда в одной только нашей стране многомиллионные (!) массы людей в едином порыве сделали ставку на светлое будущее" (с. 242; восклицательный знак в скобках принадлежит автору книги). Почему бы тогда не оправдать заодно и многомиллионный порыв *немецкого* народа примерно в ту же эпоху — тоже ведь стремились в светлое будущее, на тысячу лет вперед заглядывали... Скорее всего тут нет сознательной идеологической тенденции, это просто очередное проявление методологического приема: сваливать все цитаты в одну кучу, сливать все слова и дела в одно русло, где всё едино — что Жданов, что Барт, что "пражская

весна", что ее подавление. Насколько же далека такая метода от творчества Сартра, с его пафосом исторической ответственности и морального выбора.

Как говорится, Н. И. Полторацкая проделала немалую работу и стремилась написать серьезный труд. Как говорится, не обошлось без частных неточностей, иные из которых даже повторяются неоднократно, — скажем, известный испанский писатель (впоследствии министр культуры Испании) Хорхе Семпрун именуется во французской транскрипции "Ж. Сампрен", а *гештальтпсихология* систематически смешивается с *гештальттерапией* (на самом деле это разные школы, и по времени, и по сути). Но главное — в другом: метод мышления по аналогии, когда вместо точных понятий мелькают "зарницы", способен обесценить и знания, и благие намерения исследователя.

В риторике рецензируемой книги встречается и такой прием, как "презумпция истинности", когда бремя критики предложенных автором аналогий перекладывается на воображаемого оппонента: "Кто возьмет на себя смелость определить расстояние, отделяющее "расщепление" Сартра от "деконструкции" Ж. Деррида?" (с. 346) По этой логике выходит, что и вся книга, пока никто не "возьмет на себя смелость" доказать обратное, должна "по умолчанию" почитаться шедевром.

Ладно, так и быть. Вот — постарался доказать.

С. Зенкин

Китай

Библиотечный бум

В течение последних нескольких лет модернизации подверглись сразу четыре крупнейшие библиотеки Китая: в Чжэцзяне, Нинбо, Шаосине и Шанхае. Изменились они до неузнаваемости — и внешне, и по сути.

Здание шанхайской библиотеки состоит из двух высоких башен (в одной хранится литература по точным наукам, в другой — по гуманитарным и естественным), соединенных между собой стеклянным коридором. Вокруг библиотеки — цветущий сад. Тут же гостиница и ресторан — приезжающие в Шанхай ученые могут полностью посвятить себя научным изысканиям, не заботясь о бытовых проблемах. Работники библиотеки Шаосина постарались сделать библиотеку удобной для всех без исключения посетителей. В детских залах — трехъярусные вертящиеся стеллажи с яркими книжками и круглые столы, которые по желанию можно разобрать на шесть маленьких треугольных пюпитров, во взрослых читальных залах в отдельных шкафах выставлены все новинки. Под периодику отведены отдельные помещения с длинными столами — ведь газетный формат существенно превышает книжный. Роскошным интерьером может похвастаться библиотека в Нинбо: гранитные стены мягких оттенков, прозрачный потолок, зимний сад с огромным количеством живых растений создают атмосферу уюта и доброжелательности. Не уступает ей и библиотека провинции Чжэцзян (находится она в городе Ханчжоу). Колонны из золотистого полированного гранита делят огромное помещение на отдельные секторы. У подножья колонн стоят мягкие кресла и диваны темно-синего цвета. Стойки выдачи книг отделаны черно-белым мрамором.

Изменилась и "политика" библиотек. Первую и главную свою задачу директора библиотек видят в развитии информационных технологий: к примеру, работники библиотеки Шаосина сейчас работают над созданием виртуальной библиотеки культуры и искусства своего города, уделяя особое внимание опере, городской архитектуре, шелковой индустрии и каллиграфии. Результат, по их собственным словам, уже превзошел все ожидания: база данных оказалась очень полезной местным бизнесменам и потенциальным инвесторам — наличие подробной информации о нуждах потребителя стимулирует экономическое развитие как города, так и всей провинции. Интернет незаменим и в плане межбиблиотечных связей.

Каждая крупная библиотека — научный центр. И китайские библиотеки — не исключение. Шанхайская библиотека занимается изданием справочных пособий. В 2000 году вышел в свет "полный каталог китайских генеалогий шанхайской библиотеки". Он представляет собой аннотированную библиографию для ученых, занимающихся историей отдельных регионов Китая и жизнеописанием родов, с ней связанных. В библиотеке Чжэцзяня есть музей, в котором собраны шедевры скульптуры и каллиграфии разных эпох; работники библиотеки часто проводят экспертизу редких документов.

Мексика

Ритуальное сожжение мексиканских фильмов

У мексиканских ацтеков существовала традиция: раз в 52 года, на большом празднике Нового огня, позволялось грабить пышные захоронения и даже разрушать пирамиды. Много лет спустя испанские конкистадоры сжигали туземные рукописи. Похоже, современные мексиканцы унаследовали варварские инстинкты своих предков и без должного уважения относятся к национальному достоянию. Даже важнейшие документы, находящиеся в государственных архивах, гниют и плесневеют, поскольку условия их хранения не соответствуют нормам. А иногда их и намеренно уничтожают, если не находятся энтузиасты, готовые противостоять подобному вандализму. Совсем недавно французскому инженеру-звукооператору Сибилле Айем, которая живет и работает в Мехико с

1978 года, удалось спасти от сожжения 35 000 катушек с фильмами. Руководство центральной кинотеки Мехико решило уничтожить их под предлогом проведения инвентаризации, после которой постоянный фонд кинотеки должен был включать ровно 200 фильмов, не больше и не меньше. Вскоре из здания хранилища кинотеки потянулась вереница мусорных машин.

Однако до сожжения дело не дошло. Директор складов мексиканского Института кино Герардо Ортис Трехо забрал катушки и отвез на склад Института. Это своего рода пересылочный пункт, где сортируются копии, снятые с мексиканских фильмов.

Дирекция кинотеки требовала, чтобы Ортис Трехо сжег самовольно захваченные фильмы, и предупреждала, что добьется его увольнения, если он расскажет о происшедшем прессе. Чтобы спасти положение, Ортису Трехо пришлось поспешно отобрать около ста пленок, объявить их бракованными и сжечь. К счастью, в это время в кинотеке снова сменилось руководство: директором стал Альфредо Хоскович, ревностный патриот мексиканского кинематографа. Он принял сторону Ортиса Трехо и развернул широкую кампанию в защиту подлежащих списанию фильмов. Конфликт с Институтом кино был таким образом исчерпан.

Но теперь пленкам угрожает другая опасность. По закону лаборатории, в которых их проявляют, обязаны сохранять негативы. Многие независимые продюсеры в течение нескольких десятилетий пользовались услугами одной из крупнейших лабораторий страны, хранившей негативы в большом трехэтажном здании, арендованном у некоей Патрисии Миллет. Недавно владелица заявила, что предполагает в ближайшее время отправить дом на снос, и попросила продюсеров и режиссеров забрать негативы. До сих пор на эту просьбу откликнулись только наследники Фернандо де Фуэнтеса и семейство Гаскон. Что случится с остальными пленками, которые хранятся на складе, никто не знает. Мексиканский Институт кино отчаянно торгуется с разными организациями и ищет те, которые взяли бы на себя заботу о негативах, но, похоже, до них никому нет дела.

Польша

Пятая "Ника" — Ежи Пильху

В октябре прошлого года в Варшаве состоялась пятая церемония вручения польской литературной премии "Ника". "Главный смысл литературных премий в том, чтобы напомнить всем: книги читать стоит", — отметил, открывая торжество, президент Польши Александр Квасьневский.

В финал вышли семеро: Петр Шевц, Генрик Гринберг, Даниель Артур Лисковацкий, Войцех Тохман, Ян Томаш Гросс, Кинга Дунин и Ежи Пильх. Перед жюри стояла трудная задача: выбрать лучшую среди книг совершенно разных жанров — от эссе до романа.

Председатель жюри профессор Мария Яньон огласила вердикт: "Ника" присуждена Ежи Пильху за книгу "У хмельного ангела". "Творчество Пильха, — сказала она, — отличается своеобразным стилем и дарит истинную радость читателям".

В ответном слове лауреат назвал себя ветераном борьбы за "Нику" (все три предыдущие его произведения: "Монолог из норы"[1], "Тезисы о глупости, ;житии и умирании" и "Безвозвратно утраченная леворукость"[2] уже выдвигались на премию) и поблагодарил всех "болельщиков" своего творчества.

На следующий день Е. Пильх дал интервью Магдалене Михальской для "Газеты выборчей". На вопрос, не подумывает ли он, получив все литературные награды в Польше, попытаться выйти на международную арену, писатель ответил: "Это тот редкий случай, когда думание мало что дает. Нужны переводчики, переводы, иностранные издатели, а с этим дела обстоят по-разному. Например, мои книги пока больше всего переводят и издают в Литве. Конечно, меня это не огорчает — наоборот, но больших международных перспектив не сулит. А в ближайшие месяцы моя книга "Иные удовольствия" должна выйти в престижном американском издательстве".

США

Нести поэзию в массы

Когда Биллу Коллинзу позвонили из Библиотеки Конгресса и сообщили, что он стал очередным американским поэтом-лауреатом, то он был просто ошеломлен: "У меня возникло ощущение, будто я всю жизнь просидел на скамье запасных поэзии, но вот наконец тренер поз-

1. "ИЛ", 1999, № 1.
2. "ИЛ", 2000, № 8.

вал и меня: "Коллинз, на выход!" Это ли не подарок к 60-летию поэта — и подарок вполне заслуженный, — ведь у Билла Коллинза вышло шесть книг общим тиражом 100 000 экземпляров и один компакт-диск, "Рэндом хаус" издает книгу его избранных (и новых) произведений под названием "Одиночное плавание по комнате".

Надо сказать, что некоторым стихотворениям Коллинза грозило забвение из-за причуд памяти самого автора. Его элегия "Строчки, потерянные среди деревьев" рассказывает о печальной судьбе стихотворения, которое, едва сложившись во время прогулки автора по лесу, тут же было забыто ("проскочило сквозь решето памяти, словно горстка монет"). Автор смирился с тем, что оно ушло в "обитель забытых строк, имен, преданных забвению, и мимолетных снов, как тот, что снился мне вчера..."

Поэт-лауреат Билл Коллинз

Какими же видятся новоиспеченному лауреату его обязанности? Легкими, утверждает он в интервью журналу "Ньюсуик". Впрочем, Билл Коллинз, как и некоторые из его предшественников, готов усложнить себе жизнь добровольной миссией — нести поэзию в массы. "Отчасти я уже делаю это: ведь каждым своим стихотворением я стараюсь установить контакт с читателями, — поясняет он. — А теперь представился случай заниматься этим официально".

"Но почему поэзию требуется нести в массы?" — спрашивает его собеседник. Логика лауреата проста: "Нести что-то в массы требуется тогда, когда чему-то (или кому-то) не хватает популярности. Возьмем пресловутые месячники: ведь нет месячника американского телевидения или месячника под названием "Все смотрим американское кино!". А вот месячник американской поэзии есть — значит, интерес к ней слабоват. Но кампания за расширение круга любителей поэзии дает свои плоды: сегодня, например, поэтические чтения распространены не меньше, чем собрания Общества анонимных алкоголиков".

Кстати, Билл Коллинз и сам часто выступает с чтением своих стихов. Многие из них буквально пронизаны юмором. Между тем, было время, когда поэт считал, что смешному не место в его произведениях, и они получались чересчур серьезными, заумными, тяжеловесными — сам Коллинз признает, что они были откровенно плохи. "А все из-за романтиков, — сетует он. — Романтики изгнали юмор из поэзии. Вот Шекспир писал весело. И Чосер писал весело. А романтики заменили смешное и сексуальное пейзажами. Нет, такая замена совсем не равноценна, поэтому в моих стихах всегда находится место и смеху, и пейзажам, а иногда — и сексу. Но рядом с веселыми стихами существовали и будут существовать стихи о смерти. Ведь именно эта тема каждое утро будит и поднимает с постели нас, поэтов".

Франция

Метро-стихи и другие произведения

Настоящим литературным ударником можно назвать Жака Жуэ: в течение полугода он выпустил в свет роман на сайте издательства "П.О.Л.", в этом же издательстве у него вышли сборник стихотворений и еще один роман, а издательства "Сток" и "Отреман" опубликовали две книги прозы. Жак Жуэ — драматург, поэт и прозаик, член литературного объединения "Улипо", сплотившего приверженцев экспериментального письма, идет в современной французской беллетристике по стопам таких оригинальных авторов, как Перек, Рубо или итальянец Кальвино. При этом он пробует себя в самых разных жанрах и формах, от пьес и стихов до надписей на стенах.

Так, еще 1 апреля 1992 года Жак Жуэ взял на себя обязательство писать каждый день по стихотворению (некоторые из них уже опубликованы). Этот странный долг он назвал "метроманией", и в поисках вдохновения ежедневно совершал длительные путешествия в парижском метро. Там и рождались его поэтические миниатюры. Творческий акт тщательно разработан и соблюдается неукоснительно: стихотворение сочиняется только во время движения поезда, а записывается на остановках; число строк соответствует числу остановок (минус одна), пересадка отмечена

сменой строфы. Плутовать строго запрещено!

Между прочим, еще один член "Улипо", математик Пьер Розанстиль, разработал свою систему создания поэтических произведений и предложил ее Жаку Жуэ для сочинения оригинальной поэмы "Кружево парижского метро". Главным условием было проехать за один день через все станции столичной подземки. Эксперимент удался: поэт-пассажир, несмотря на некоторую усталость (все-таки пятнадцать часов под землей!), не сбился с ритма. "Метро-стихи" — вовсе не стихи о метро, это, скорее, крошечные путешествия за кулисы общества, написанные под гул движущегося поезда с использованием столь любимого автором грубоватого разговорного языка.

Не откажешь в оригинальности и прочим произведениям Жака Жуэ. Например, "Собрание для чистки", формально будучи романом, полностью лишено повествований и описаний. Скорее, книга напоминает пьесу или сценарий и создает для читателя эффект присутствия. Другая книга, "Аннетт и Этна", оказывается гигантским палиндромом. Читателю предоставляется возможность самому выбрать маршрут для темпераментной Аннетт, которая либо поднимается на Этну, либо спускается с нее. А вот главный герой "Дикаря" чудак Поль, вдохновленный Гогеном, занят поисками идеальной одежды, дающей ясно почувствовать, каким человек окажется, если ее снимет.

Жак Жуэ намерен идти дальше и расширить свой интернетовский суперроман с пикантным названием "La République de Mek-Ouyes" (что можно перевести как "Республика Ма Ихъяитс"), скромно представленный "Франс-Кюльтюр" как "La République de Mab-Oul" ("Республика Ма Ихшаров"). В состав романа вошли не только "Собрание для чистки", но и ряд уже опубликованных текстов, среди которых "Директор музея подарков глав иностранных государств", "Финалы", "Гора Р" и другие. Похоже, фабрика идей и слов по имени Жак Жуэ работает бесперебойно и на полную мощность.

По материалам газеты "Либерасьон" [Франция], журналов "Американ лайбрериз", "Ньюсуик" [США], "Курье интернасьональ" [Франция].

Совместные российско-французские литературные премии

Состоялась ежегодная церемония вручения литературных премий, учрежденных посольством Франции в Москве и редакцией журнала *Иностранная литература*

Состав жюри:
Председатель – Доминик Фернандес [Франция], Александр Адабашьян [Россия], Анн Кольдефи-Фокар [Франция], Ирина Кузнецова [Россия], Мишель Парфенов [Франция], Григорий Чхартишвили [Россия].

За 2000 год присуждены:

премия **имени Мориса Вакснахера**
[лучший перевод произведения французской литературы] –
Вере Мильчиной
за перевод книги Оноре де Бальзака
Изнанка современной истории,

премия **имени Анатоля Леруа-Больe**
[лучшее произведение о Франции, написанное в России] –
Георгию Косикову
за книгу *Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму,*
составление, перевод, вступление и комментарии,

почетный диплом **программы *Пушкин*** –
издательству Симпозиум.

Авторы номера

Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
[р. 1965]. Французский писатель, журналист, критик.

Автор романов *Каникулы в отключке* [*Vacances dans le coma*, 1994], *Любовь длится три года* [*L'amour dure trois ans*, 1997]. В *ИЛ* опубликованы его новеллы из сборника *Рассказики под экстази* [2001, № 11].
Роман *99 франков* публикуется по изданию *99 francs* [Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 2000].

Сальвадор Эсприу
Salvador Espriu
[1913–1985]. Каталонский поэт, писатель, драматург.

Автор романов *Доктор Рип* [*El Dr. Rip*, 1931], *Лайа* [*Laia*, 1932], сборников рассказов *Аспекты* [*Aspectes*, 1934], *Ариадна в гротескном лабиринте* [*Ariadna al laberint grotesc*, 1935], *Летиция и другая проза* [*Letizia y otras prosas*, 1937], книг стихов *Кладбище Синеры* [*Cementiri de Sinera*, 1946], *Путник и стена* [*El caminant y el mur*, 1954], *Бычья шкура* [*La pell de brau*, 1960] и др., пьес *Первая история Эстер* [*Primera historia d'Ester*, 1948], *Антигона* [*Antígona*, 1955], *Федра* [*Fedra*, 1955]. На русском языке опубликован сборник Сальвадора Эсприу. *Избранное* [1988]. Стихи С. Эсприу публиковались в *ИЛ* [1978, № 10; 1986, № 2; 1987, № 7].
Публикуемые стихотворения взяты из книги *Стихотворения* [*Obres complets*. Barcelona, Edicions-62, 1968].

Милорад Павич
Милорад Павић
[р. 1929]. Сербский писатель, литературовед, академик сербской Академии наук и искусств.

Автор поэтических сборников, сборников рассказов, в т. ч. *Русская борзая* [*Руски хрт*, 1979], *Новые белградские рассказы* [*Нове београдске приче*, 1981], романов *Хазарский словарь* [*Хазарски речник*, 1984; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 3], *Пейзаж, нарисованный чаем* [*Предео сликан чајем*, 1988; рус. перев. 1991], *Внутренняя сторона ветра* [*Унутрашња страна ветра*, 1991; рус. перев. 1997], *Последняя любовь в Константинополе* [*Последња љубав у Цариграду*, 1994, рус. перев *ИЛ*, 1997, № 7], пьесы *Вечность и еще один день* [*Заувек и дан више*, 1993; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 7]. В *ИЛ* были напечатаны также новелла *Шляпа из рыбьей чешуи* [1997, № 1], рассказы *Корсет* [1998, № 4], *Дамаскин* и *Стеклянная улитка* [1999, № 10].
Подробную информацию о публикациях М. Павича можно найти в Интернете по адресу http://www.khazars.com
Публикуемый рассказ получен редакцией в рукописи.

Ясмина Михайлович
Jasmina Mihailović
Сербский литератор и критик. Директор Совета по распространению сербской литературы за рубежом при организации *Всемирное сербское сообщество* [*World Serbian Union*] с центром в Женеве.

Автор книги *Притчи о душе и теле* [1992] и нескольких биографических и критических работ о творчестве Милорада Павича.
В *ИЛ* опубликован рассказ Я. Михайлович *Три стола* [1998, № 4].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Частная коллекция* [*Privatna kolekcija*. Beograd, Dereta, 2000].

Джейн Остин
Jane Austen
[1775–1817]. Английская писательница.

Автор романов *Нортенгерское аббатство* [*Northanger Abbey*, 1797–1798], *Здравый смысл и чувствительность* [*Sense and Sensibility*, 1811], *Гордость и предубеждение* [*Pride and Prejudice*, 1813], *Мэнсфилд-парк* [*Mansfield Park*,

1814], *Эмма* [*Emma*, 1816], *Убеждение* [*Persuasion*, 1818] и др., известных в России. В *ИЛ* [1981, № 7] напечатан рассказ Дж. Остин *Три сестры*.
Публикуемый перевод выполнен по книге *Леди Сьюзен* [*Lady Susan*. LONDON, MARTIN SECKER].

СЕБАСТИАН ХАФНЕР
SEBASTIAN HAFFNER
[1907–1999]. Немецкий юрист, журналист, писатель.

Автор исторических исследований о Бисмарке, Черчилле, Гитлере.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933* [STUTTGART-MÜNCHEN, DVA, 2000].

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20–30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчица с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2000].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчица с сербского и хорватского языков, лауреат премии *Библиотеки журнала "Иностранная литература"* за 1997 г.

Автор ряда публикаций по современной югославской литературе в периодических изданиях нашей страны и Югославии. В ее переводе публиковались произведения М. Павича, Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича и др., работы югославских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались романы Р. Чандлера, Д. Хэммета, Э. Бёрджесса, У. Тревора, рассказы Д. Кольера, Дж. Тэрбера, Ш. О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др.
Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Евгений Николаевич Колесов
[р. 1951]. Поэт, переводчик с немецкого.

В его переводе издан роман М. Шпербера *Слеза в океане* [1991]. В *ИЛ* в его переводах выходили *Письма в Древний Китай* Г. Розендорфера [1993, № 1], стихи А. Густас [1996, № 2], повесть У. Видмера *Рай забвения* [1998, № 9], рассказы М. Сутера [2001, № 10].

Елена Михайловна Зимина
Переводчица с английского.

Автор ряда статей о Голландии, опубликованных в периодической печати. В ближайшее время в Издательстве Независимая Газета должен выйти ее перевод книги К. Шоу *Королевский Вавилон*.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ **Р**УДАКОВ ▫ **В**АЛЕРИЙ **В**ОЛКОВ ▫ **А**НАТОЛИЙ **З**ВЕРЕВ ▫ **В**ЛАДИМИР **Я**КОВЛЕВ ▫ **И**ГОРЬ **К**ИСЛИЦЫН ▫ **А**ЛЕКСАНДР **С**ИТНИКОВ ▫ **О**ЛЬГА **Б**УЛГАКОВА ▫ **С**ЕРГЕЙ **А**ЛФЕРОВ ▫ **Л**ЮДМИЛА **П**ОПЕНКО ▫ **О**ЛЕГ **С**ЛЕПОВ ▫ **К**АТЯ **М**ЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
американского художника
Джеймса Розенквиста
Мэрилин Монро, I [1962]

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 16.1.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2787.
Тираж 10 200 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

Общественно-публицистический иллюстрированный журнал

ПЕРСОНА - журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У них это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала - те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры, в частности. Наша задача - напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

Подписной индекс:

38678

Объединенный каталог "Подписка-2002" "Пресса России"

Подписной индекс:

80905

Каталог агентства "Роспечать" 2002г. "Газеты. Журналы"

Адрес: 121019, г.Москва, ул. Новый Арбат, 21 Телефоны: 291-20-05, 291-50-27.

[3] 2002

"Я, ФЕЛЛИНИ": ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ / РАССКАЗЫ ХАНИФА КУРЕЙШИ И МЕРСЕ РОДОРЕДЫ / ПОЭМА ТАДЕУША РУЖЕВИЧА "БЕСПРЕСТАННОЕ ОПУСКАНИЕ" / "ДЕСЯТЬ" ПЛЮС "ОДИННАДЦАТЬ": НОВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА МЕРВИНА ПИКА "ТИТУС ГРОАНСКИЙ" / ИНТЕРВЬЮ С АЛЕНОМ РОБ-ГРИЙЕ

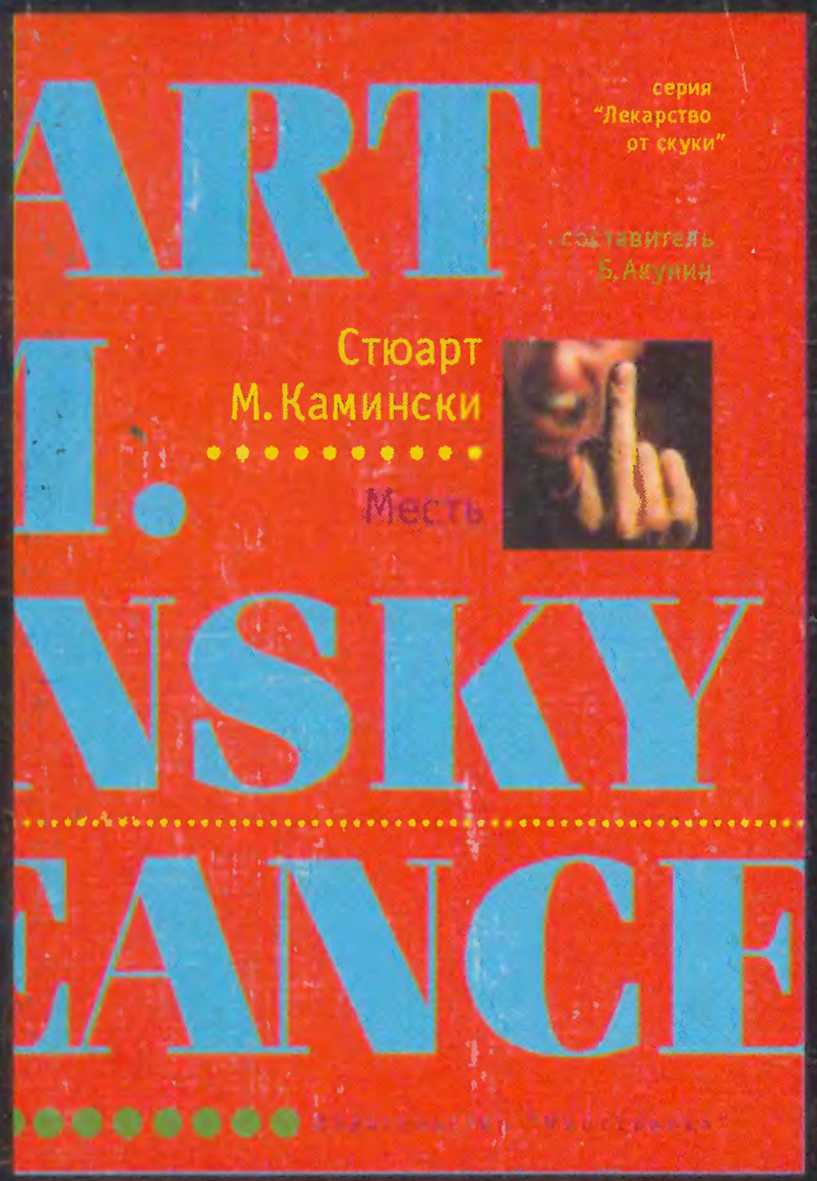
ИНДЕКС 70394

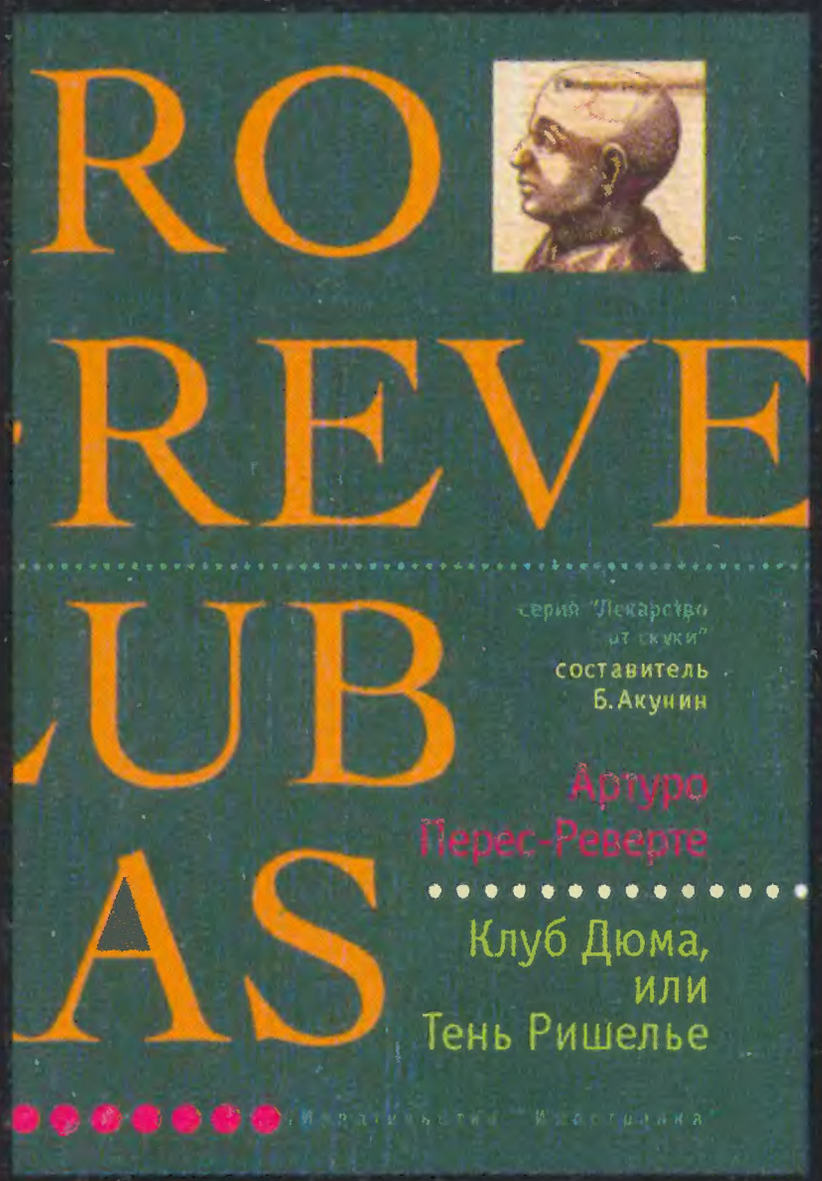
Новая серия издательства "Иностранка"

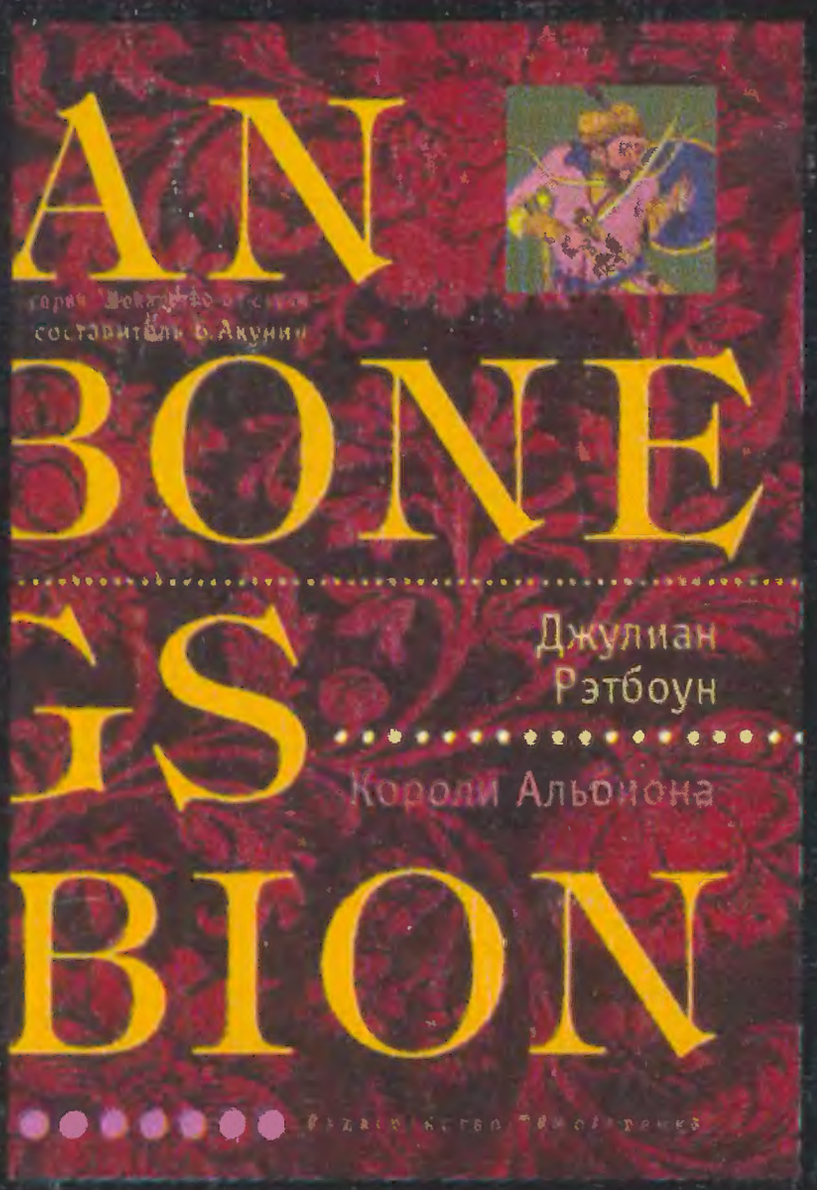
"Лекарство от скуки"

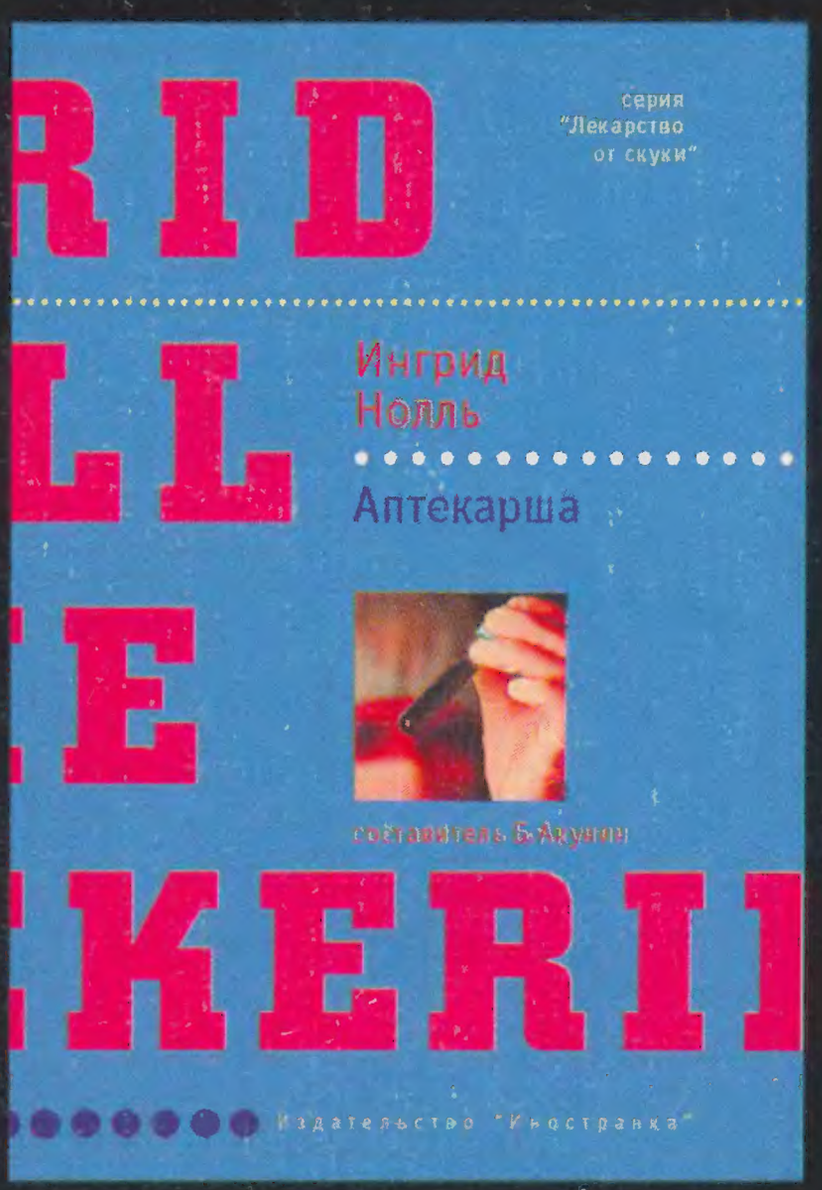
составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру









По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №2, 1-288